

КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

89

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ РОССИИ

Первые чтения памяти **ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА**

Париж, 24—25 марта 1996
«От диссидентства —
к демократии»

Геннадий Осипов
Лариса Пияшева
Андрей Зубов

Священник
Георгий Кочетков
Игорь Виноградов



Душа еще в онтологическом предбытии, но уже на пути к самой себе; Жаня знает, кто его трясет за плечо, зло трясет — Американец, неандерталец пещерный, бич партизан, его голос: «Умерла насякомая!..»
Евгений Федоров

Это та же страна, только уже и площе, и красны языки, и пусты эмпирии, и на свадебных кухнях Священные Тёщи все трубят «Марсельезу» в свои батареи.



Митрополит *Антоний*



И порой столько дыма в нечаянных взорах, и всегда столько крови на улице Мира, что в минуты досуга я нюхаю порох и стреляю в увертливых служащих тира
Игорь Петров

Возможно, я плохой христианин, но в 39 году, если бы меня не мобилизовали, я бы ушел добровольцем, потому что в уродливой ситуации военная реакция может быть менее уродливой, чем та, с которой она призвана бороться...



Александр Бразинский

Юрий Давыдов
Рената Гальцева
Лев Аннинский
Борис Гройс
Евгений Ермолин
Станислав Рассадин
Юрий Малецкий

Я был в то время заместителем Лужкова и в этот день — 3 октября 1993 года — дежурным по городу...

ФЕНОМЕН ПОСТМОДЕРНИЗМА

**В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»
БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ:**

Новые стихи:

**Владимира Леоновича
Владимира Соколова**

**Евгения Рейна
Олега Чухонцева**

Новые («пропущенные») главы из цикла «Бунт»
Евгения Федорова

Повесть—воспоминание **Зои Маслениковой**
«Французский. оазис»

Повесть **Марианны Веховой** «Бумажные маки»

Новые повести и рассказы **Василия Аксенова, Сергея Бабаяна,
Теодора Вульфовича, Сергея Каледина, Михаила Кураева,
Владимира Маканина, Евгения Попова, Сергея Юрского**

В разделе «РОССИЯ»

«Интервью с самим собой» **Сергея Аверинцева**

Статья **Ю.Н. Давыдова** о современной экономической ситуации
в России

Материалы конференции «Россия на путях правопреемства»
(Москва, май 1996)

В разделе «ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ»

Публикации из архива «Континента» («парижского» — 1974—1992)

Материалы из архива **Н.А. Бердяева**

Неопубликованные письма **Б. Пастернака**

Из «Диктофонного дневника» **Д. Панина**

В разделе «РЕЛИГИЯ»

Антоний, митрополит Сурожский. Интервью журналу «Континент»
«Современный мир и проблема искупления». Материалы Круг-
лого стола в редакции «Континента»

Очерк о **Илларионе Алфеева** о поездке в Тибет

В разделе «ГНОЗИС»

Статья **Якова Кротова** «Подлинная история Туринской плащаницы»

Далее см. с. 3 обложки





**Финансирование
типографского и редакционно-издательского процесса
выпуска журнала «Континент» обеспечивается
ИНКОМБАНКом**

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*

Выходит 4 раза в год

МОСКВА • ПАРИЖ

89

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Издатели:

Редакция журнала «Континент»
Издательство «Московский рабочий»

Учредитель — И.И. Виноградов

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

**Адрес редакции: 101923, Москва,
Чистопрудный бульвар, 8.
Телефон: (095) 928-97-42
Факс: (095) 201-57-41**

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

Редакция пользуется автомобилем «Москвич»,
предоставленным АО «МОСКВИЧ»

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Василий АКСЕНОВ	Роберт КОНКВЕСТ
Виктор АСТАФЬЕВ	Наум КОРЖАВИН
Ценко БАРЕВ	Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр БЛОК	Александр КЫРЛЕЖЕВ
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС	Николаус ЛОБКОВИЦ
Галина ВИШНЕВСКАЯ	Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Георгий ВЛАДИМОВ	Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Ежи ГЕДРОЙЦ	Жорж НИВА
Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ	Амос ОЗ
Пауль ГОМА	Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Алла ДЕМИДОВА	Лариса ПИЯШЕВА
Ион ДРУЦЭ	Виктор СПАРРЕ
Андрей ЗУБОВ	Витторио СТРАДА
Вячеслав ИВАНОВ	Карл-Густав ШТРЕМ
Фазиль ИСКАНДЕР	Юлиу ЭДЛИС
Оливье КЛЕМАН	Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

- Израиль Юлия Эйдельман
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375
- Италия Джулия Филипелли
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (2) 86-45-47-23
- Канада Ольга Бутенко
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎ /fax (418) 688-1221
- США Эдуард Лозанский
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010, fax (202) 667-4244
- Франция Татьяна Максимова
5 rue Chalgrin, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56
- Швейцария Жан-Филипп Жаккар
104 rue de Carouge
1205 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 321-4052
- Нелли Биуль-Зедгинидзе
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-40-69

СОДЕРЖАНИЕ

Игорь ПЕТРОВ	
На прекрасных цепях. <i>Стихи</i>	9
Евгений ФЕДОРОВ	
Умерла насякомая. Смена вех: 1953	16
Марк БЕРДИЧЕВСКИЙ	
Три стихотворения.	123
Юлиу ЭДЛИС	
Два рассказа из цикла «Тучки небесные...»	128
Анатолий НАЙМАН	
И я жил в Риме. <i>Стихи</i>	155
Анатолий АЗОЛЬСКИЙ	
Из цикла «Ожоги». <i>Рассказы</i>	160
Владимир САЛИМОН	
Я города не узнаю... <i>Стихи</i>	178
Борис ЕВСЕЕВ	
Узкая лента жизни. <i>Рассказ</i>	184
Вячеслав ИВАНОВ	
Пять стихотворений.	196

РОССИЯ

Прошлое, настоящее, будущее России	
<i>Первые Чтения памяти Владимира Максимова</i>	
«От диссидентства — к демократии»	199
Геннадий ОСИПОВ	
Реформы в России и современная социально-политическая ситуация в стране	199
Лариса ПИЯШЕВА	
Экономическое будущее России	203
Игорь ВИНОГРАДОВ	
Реформирование России в условиях духовного кризиса общества	212
Священник Георгий КОЧЕТКОВ	
Церковь и государство в современной России	220
Андрей ЗУБОВ	
Россия на путях правопреемства.	228

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Александр БРАГИНСКИЙ

Это было похоже на суд Линча 235

РЕЛИГИЯ

АНТОНИЙ, митрополит Сурожский

Взаимоотношения Церкви и мира с православной точки зрения 244

Яков КРОТОВ

Где встречаются веры. Диалог христианства и иудаизма . . 265

Борис ФАЛИКОВ

Лютер и Чайтанья: демократизация кришнаизма на Западе 285

ГНОЗИС

Постмодернизм в современном мире 300

Юрий ДАВЫДОВ

Современность под знаком «пост-» 301

Рената ГАЛЬЦЕВА

Второе крушение гуманизма 317

Борис ГРОЙС

«Постмодернизм принадлежит прошлому». 325

Лев АННИНСКИЙ

Можно ли обойтись без постмодернизма? 327

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Евгений ЕРМОЛИН

Между кладбищем и свалкой. 333

Станислав РАССАДИН

Номенклатура-2. Полемика 350

По поводу повести Юрия Малецкого «Любью» 373

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» 383

РАЗНОЕ

Рената ГАЛЬЦЕВА

Соломоново решение, или Новая цензура.

Горестные заметы 410

НА ПРЕКРАСНЫХ ЦЕПЯХ

* * *

Это та же страна, только уже и площе,
и красны языки, и пусты эмпиреи,
и на свадебных кухнях Священные Тёщи
всё трубят «Марсельезу» в свои батареи.

И порой столько дыма в нечаянных взорах,
и всегда столько крови на улице Мира,
что в минуты досуга я нюхаю порох
и стреляю в увёртливых служащих тира.

А старушки считают вчерашние крошки,
а на встречу с прекрасным съезжаются крыши.
И в полуночных сводках крылатые кошки
говорят, что виновны подводные мыши.

И на южной границе копают окопы
победитель войны со своими словами —
боевой генерал с головой вместо жопы
и его заместитель с тремя головами.

А за ними в бинокли следят из столицы
корифеи с кирпичным лицом обороны,
им согласно Уставу пора застрелиться,
только, видно, и здесь не хватает патронов.

Ну а я, как всегда, прохожу с интересом
чью-то личную жизнь, и веду непростую,
не щадя живота, битву с собственным весом,
и ломаю нешуточной задницей стулья,

**Игорь
ПЕТРОВ**

— родился в 1969 году в г. Йошкар-Ола. Окончил Московский физико-технический институт. Работает по специальности в одной из московских фирм. Автор книги стихов «В царстве тающих льдин» (Йошкар-Ола, 1995). Живет в Москве.

и бегу, как козёл, за девицей вприпрыжку,
и дарю ей пригоршню помятых черешен,
и читаю стихи, несмотря на отдышку,
и порой соблазняю, хотя уже реже.

Но однажды в час бубен в метро тесноватом
я смотрел, как сограждане давят сограждан,
и при тряске из них лезла грязная вата...
это даже сначала нестрашно.

1996

* * *

Где время струйкою течёт
меж пальцев, скрюченных нелепо,
где на дарованный почёт
глядят из собственного склепа,
где бьют лопатами червей
и гонят веником дракона,
где оскоплённый Соловей
пугает девственниц с балкона,
где долг пиита состоит
из одиночества и денег
и где заслуженный джигит
гарцует, сев на муравейник,
там по паркету, не спеша,
ведёт к известному пределу
одна великая душа
одно посредственное тело.
А телу хочется сорвать
аплодисменты, прочь из рамок
ничейной пьесы, воевать
какой-нибудь зловонный замок,
носить пустую кобуру,
колоть глаза, рубить капусту
и завершать свою игру
холодным дуэлем «пусто-пусто».
А телу хочется любить
и, не гнушаясь переделок,
по воле случая лепить
из темноты изящных девок,
и почему-то их бросать,
и музицировать с Маммоной,
и для души тайком насрать

в ботинок ражему ОМОНу.
Да, что касается души,
о ней, почти как о погоде.
Она живёт в такой глуши,
что до нее едва доходит
неясный шум крылатых фраз
и вознесения со свистом,
она же слушает рассказ
кого-то в облаке пушистом,
и трепыхается, и спит,
и заставляет чахлый разум,
пока нелёгкая скрипит,
писать стихи зеленоглазым
прекрасным дамочкам, среди
которых много тех, что сами
имеют стигмы на груди
и видят плотников мужьями,
гоняют чад на водоём,
но те всё время мочат ноги.
А кто-то в облаке своём
напоминает в эпилоге,
как воспарила, не спеша,
и, отряхнувшись, улетела
одна великая душа,
оставив стервам только тело.

1995

* * *

Когда во мне ломается пружина,
и сердце уместается в ладони,
я тру бугылку, чтобы вызвать джина
и тру другую, чтобы вызвать тоник.

И находя себя слегка поддатым,
я прячусь между жирных многоточий
и вяло отмечаю, что когда-то
я был гораздо более устойчив.

И падал свысока, и верил тонко,
и ждал чудес, и мне казалась близкой
слепая философия котёнка,
рождённая его молочной миской.

Ну а теперь в тени стеклянных зданий
всё спуталось: распутство и геройство,
и все попытки умственных страданий
влекут собой душевное расстройство.

И кореша с детьми играют в фанты,
венчая вечер пьяною разборкой.
И хрен с ней, с многогранностью таланта,
коль кубик вечно падает шестёркой.

И после джина, я, прикрывши дланью
свои уста, бегу в сортир смеяться
над тем, как сокровенные желанья
скрываются в дали канализаций.

1996

* * *

По льду вперемешку с песком неровно ступает кобыла
и тянет бесформенный воз трагической русской судьбы.
А в небе бьют колокола, и всё остаётся, как было,
и хлещет святая вода из лопнувшей летом трубы.

И мы с нетерпением ждём явления птицы-героя
с огнём в бесноватых глазах и с ласкою в светлом крыле,
ведь мы так искусны в любви, в любви к своему геморрою,
к могилам убитых друзей и к женщинам на помеле.

Ведь нам так по кайфу считать немного врождённой убогость,
вполголоса хаять народ, вполуха ему сострадать,
и мы понастроим церквей, поселим в них Господа Бога
и будем смиренно гадать, когда снизойдёт благодать.

И птица-герой воспарит на тёплое место возницы,
и трахнет родную судьбу, и кинет кобыле овёс,
и с нашей горбатой страной уже ничего не случится,
и снег замечает следы кровавых квадратных колёс.

1995

На прекрасных цепях

В суете,
в суете этих будничных сплетен
у дороги, по которой уходят в тираж,
я записывал мысли на волчьем сезонном билете

и в волнении ел карандаш,
ведь вчера
у меня взяли пробу пера
и сказали, что вроде бы годен,
и сказали, что полный вперёд,
и мне выдадут орден,
если наш генерал не помрёт.
Но случился всемирный потоп,
и я спорил взахлёб
со слепцами, глядевшими в воду,
и я выбрал свободу,
и под нею почти облысел,
и под нею жасмином пропах,
и под нею спокойно висел
на прекрасных цепях,
на прекрасных цепях,
на прекрасных цепях
второпях
я влюбился не так,
как влюбляются здесь,
я был редкий простака,
и без ветра не плавал.
И она мне сказала: «Во мне кто-то есть»,
я подумал: «Наверное, дьявол».
И я выбрал мечту,
и играл с ней в трик-трах,
я молился кресту
уходящего дня,
пряча душу на теле
подруги; с утра
небеса покраснели,
увидев меня.
И днями ковались победы,
и ночами смотрелось в окно,
и только во время обеда
я не думал о подвигах, но
я однажды решил,
что не буду искать на губах
вкус того, как я жил
на прекрасных цепях,
на прекрасных цепях,
на прекрасных цепях,
где мне кажется — ах! —

наступило великое лето,
лето свадеб и голых колен,
где в лесу, расположенном где-то,
буратины растут из полен,
где Добрыня из щели в Кремле
говорит почерневшей земле:
«Повернись ко мне лесом»,
где я чувствую весом,
что я скоро начну улетать,
и пытаюсь глотать
вместо брома тяжелую воду,
и по-прежнему верю в свободу
незнакомки, идущей со мной
по дороге длинной
до постели; мы с ней говорим
о поэзии, о цветах и прохожих репьях.
Незнакомка, я буду твоим
на прекрасных цепях,
на прекрасных цепях,
на прекрасных цепях
я испытывал страх
от того, что я стал незаметен,
и я вспомнил дни те
в суете
этих будничных сплетен.

1995

Послесловия

1

Вокруг звезды знакомой по сто раз
мы облетим, как спутники смешные.
И наряду с булыжниками нас
не включают в космогонию блажные
учёные мужчины. Только вдруг,
придя на мимолётное свиданье,
мы очутимся в центре мироздания,
и звёзды закружатся нас вокруг.

2

Ведя по ходу вечности тетрадь,
так хочется внезапного прогресса:
разбогатеть, поручкаться с принцессой,
а если повезёт — и переспать,

сваять нетленку, заслужить мундир,
постричься и повеситься в чулане,
вдруг осознав, что ты создал наш мир
по мере исполнения желаний.

3

Я принял схиму. Перестал глотать
холодный борщ, ругаться с тётей Клавой.
И я с любым легко бы счёлся славой,
тем более, что нечего считать.

И знал народ, что не проходит дня
без нравственных побед в духовной сфере,
и сам я в богоизбранность поверил,
и Бог забаллотировал меня.

4

Уродлив мир глазами мудреца,
в нём начисто отсутствует загадка.
И линии прекрасного лица
не лишены известных недостатков.

И наша жизнь, казавшаяся мне
мистерией с загадочным исходом,
с его высот становится вполне
коротким заурядным анекдотом.

5

Смотри в глаза — и ты увидишь в них
морской простор, заботливо согретый
лучами солнца, пару озорных
корабликов, что над пучиной этой

играют в догонялки. Белизна
пейзажа изумительна. И вскоре
ты позабудешь то, что после нас
уже не будет никакого моря.

УМЕРЛА НАСЯКОМАЯ

Смена вех: год 1953

Предлагаемая вниманию читателей «Континента» новая повесть Евгения Федорова входит в задуманный автором большой повествовательный цикл под общим названием «Бунт», некоторые части которого уже были опубликованы — повести «Жареный петух» («Нева», № 9, 1990 г.), «Илиада Жени Васяева, год 1949» («Звезда», № 4, 1994 г.) и «Одиссея» («Новый мир», №№ 5, 6, 1994 г.). Повесть «Умерла насякомая. Смена вех: год 1953» связана с ними и сюжетно, и героями (прежде всего главным героем — Женей Васяевым), но так же, как и они, представляет собою внутренне завершенный цельный текст, свободно воспринимаемый и при самостоятельном, отдельном чтении. В целом же цикл этот видится автору в следующем составе (включая пока еще не опубликованные его части) и при следующей последовательности составляющих его текстов (некоторые из них, перечисленные самостоятельно, входили в качестве глав в названные выше уже опубликованные повести):

БУНТ

1. Витька и Саша, год 1947 («Нева», № 9, 1990, старое название: «Двенадцать»);
2. Явление нового героя, Женьки Васяева, год 1949 («Звезда», №4, 1994), старое название: «Илиада Жени Васяева»);
3. Утопия, год 1949 («Нева», № 9, 1990);
4. Облако в штанах, год 1949 («Нева», № 9, 1990);
5. Триумф Женьки Васяева, год 1949;
6. Вот к чему приводит потеря девственности;
7. Витька и Саша, год 1949;
8. Роковая женщина;
9. Крах Женьки Васяева, год 1950 («Новый мир», № 5, 1994, старое название: «Каргопольлаг, год 1950»);
10. Одиссея, год 1952 («Новый мир», № 5, 1994);
11. «Умерла насякомая. Смена вех: год 1953» «Континент», № 89, 1996).

«Континент» получил согласие автора познакомить в дальнейшем читателей журнала и с некоторыми из названных здесь и пока еще не опубликованными фрагментами цикла.

Так начинаются войны. Это — точно, ей-ей. Спонтанно, негаданно. Так началась и эта война. Вы-то, надеемся, в курсе огромных событий, не могли забыть, как Федя Куцик убыл на радостных быстрых крыльях из лагеря. Гром среди голубого, ясного неба. Умопомрачительное везение, ничего не скажешь, фантастика, тысяча и одна ночь, выигрышный в лотерею билет: помилование, всамделишное. И такое было у нас на комендантском, всё было: благословен ОЛП. Не слышно, чтобы кому-нибудь скостили срок. До войны случалось — и частенько, и объясняли это исключительной добротой дедушки Калинина, всесоюзного старосты. А ту хитрую, умную бумагу на имя Шверника сварганил для Куцика не кто иной, как Витька Щеглов. Николай Николаевич Грибов лишь стиль осторожно, умно правил, но этого никто не знает; сам же Грибов назвал вдохновенное творение Витьки «гениальным». Неслыханная удача, привалившая Куцику, можахнула по мозгам и нервам эзков, взбаламутила прокисшее болото, хипеж поднялся, тарарам. К Витьке началось паломничество, валом валил народ, и по случайно сохранившемуся приличному образцу, с которого Куцик неуверенной рукой передрал магический текст, замастырино было (без всяких преувеличений) свыше тысячи заявлений-просьб в Президиум Верховного Совета СССР, шквал обрушился на Шверника и его выдавший виды аппарат. Но там, вверху, сидят не полные дураки, а люди с пониманием, с опытом, — ждали чего-нибудь этакова,

**Евгений
ФЕДОРОВ**

— родился в 1929 году в г. Иваново. В 1949 году, студентом 1 курса филологического факультета МГУ (искусствоведческое отделение), был арестован органами Госбезопасности по обвинению в групповой антисоветской деятельности. Решением Особого Совещания был приговорен к 8 годам исправительно-трудовых работ в лагерях общего типа. В 1954 году был реабилитирован, затем восстановлен в МГУ, исторический факультет которого окончил в 1959 году. Работал экскурсоводом в Третьяковской галерее, впоследствии — в сфере информатики. Автор книги «Жареный петух», в которую, кроме одноименной повести, вошли еще две: «Былое и думы» и «Тайны семейного альбома» (Москва, 1992), а также названных выше в редакционном предисловии повестей, напечатанных в журналах «Нева», «Звезда» и «Новый мир». Лауреат парижской литературной премии им. В. Даля и финалист Букеровской премии 1995 года.

в ус посмеиваясь. Словом, номер не прошел: обидно быстро получили стандартно-скучные отказы. Наш духовный вождь и подлинный буревестник Николай Михайлович Минаев по случаю исхода Куцика из лагеря разразился псалмом-поэмой, разом развеял плотный пальгуновский туман, связав события ОЛПа с совещанием на Бермудских островах, где нашим «подвели муде к бороде» (на Бермуде!), и с войной в Корее, а сверх этого одарил нас крутым, возвышенным сюжетом о России, с сугубо русской темой и сугубо русской идеей, замково-краеугольным камнем которой было построение Царства Божия на земле, да не просто так, на одной шестой, а непременно вместе со всем человечеством, и эти яркие соблазнительные мысли о народе как-то умело сочетались с апокалипсическими и эсхатологическими мотивами, с пронзительным виденьем ближайшего будущего. Третья мировая война не когда-то там будет, а уже во всю пылает, хотя еще и не объявлена, идет скрытая и скрываемая мобилизация. Мы жадно ловили каждое слово Минаева, горé имели сердца, тянули к нему головы и провидчески-пророческая речь нашего Нострадамуса на какое-то время стала символом веры; и мы высокомерно взирали на тех, кто трусливо и суеверно заваливался в беспробудный пессимизм, не чувствовал чугунной поступи Истории, отрещивался, что войной не пахнет. Смех. Как можно так ничего не видеть, ничего не понимать! История символически проявляется, раскрывается порою в незначительных заковыристых сюжетах, в частном. Нужно уметь видеть. Как так Запад не готов? Той славной осенью на ОЛПе бурно, как никогда раньше, лезли отовсюду опять. Нашествие опять. Мать-перемать, сколько их! Мириады. И в уборной. Даже на крыше уборной. Громадные надрывно расхлестанные несусветные лопухи, каких не бывает, что-то раблезианское в самой природе, символическое. Примета верная. И 40-й год, и 41-й были страсть как грибными. На эти вездесущие подмигивающие лопухи не влияли никакие Стокгольмские воззвания, они перли и перли, все вверх. Зная дальнейшую судьбу Феди Куцика, заметим, лучше цыгану не хлебать воли-волюшки. Замысловаты, забористо-вычурны загибончики судьбы-индейки. Древние греки хорошо знали ее забавы и фокусы, сложили миф о царе Эдипе. Исхитрялся Эдип, а только приближал роковую гибель. Современное сознание решительно отвергает то, что Платон называет «веретеном Ананке», которое «придает всему вращательное движение» (фатум), но что-то вроде предопределения допускает, и это предопределение («на роду написано») каким-то образом может сочетаться с тем, что Кант

называет «свободной волей». Не все, мол, что случается с человеком, записано в книге судеб, а лишь нечто общее. Катавасия Куцика доходчиво нас пырнула, и мы чесали затылки, глубоко-мысленно вздыхали.

В лагерь Куцик не то чтобы совершенно случайно или там по недоразумению залетел, ну — обыкновенная история, неинтересная. Работал цыган на мясокомбинате. Работенка добрая, живая, и есть что украсть. Нет, Федя отнюдь не вор, но не есть же щи пустыми. Щи должны быть жирными, спросите кого угодно. Разве в Лефортовской тюрьме это щи? Щи, хоть х.. полощи! Не вспоминать! Федя жил и не тужил. Завернет Федя кусину подходящего и непредосудительного мяса в газету, добро зело, играючи перебросит через забор, а на обратном пути домой подшустрит, подберет его. И весь мухлеж. Сплошь все так жили. Таков был климат на мясокомбинате. Справедливости ради скажем, что и администрация полагала, что на кусок мяса для щей имеет полное право работник предприятия. Наглеть не надо. Придерживайся уныло-пресно-смирненного благоразумия, и всё будет славно, хорошо. Но не для Феде этот рецепт, Федею то и дело смущает бес. Не бес, а змий зеленый, искуситель, губитель, разитель. Не зря на плече у Феде татуировка, залюбуешься, искусство: «Вот что нас губит!» Изображены картинно губительные символы, среди них и бутылка. Накачался Федя с получки родимой, траливали, легкость необыкновенная и веселое дурошлепство, окрыленность, море по колено. Отрубил тесаком от туши щедрый, добрый кусину, вырезка, глаз-то опытный, хорошо набитый, хотя и помрачен алкоголем, завернул кус в газеты, протекло, а — нормально, и, вместо того, чтобы умно, преспокойно и бесхлопотно перебросить кус через забор, не раз так делал, нахожена дорожка, пошел с мясом прямо через проходную, открыто нес, без царя в голове, дурь, пьянь. Разве то кража? Кураж, а не кража. Младая кровь играет, а бельма пьяные. Ну и попух. Сгребли балагура с поличным. Никуда не денешься. Протокол. Написан, подписан, ушел куда-то. Эх, пока не поздно, замять бы дело, порвать бумагу, а умника отодрать за уши и — отпустить: проспись! Общая ситуация: Указ-то недавно вышел, чернила не просохли. Попал на конвейер, следствие, прокурор, суд, даже защитник был, что-то вякал. Итог — восемь лет дуботолу. А если пристрастно глянуть, легко отделался. Могли и четвертную воткнуть под горячую руку. Окончилась судебная бодяга насмешкой над молодой Феединой жизнью, погиб во цвете лет. Рассказывает Федя свою историю, очень глупую и жалостливую, ну как тут не подьелдыкнуть;

Колобок вернет обязательно перл: «А не надо совершать преступлений, и вы не будете сидеть в лагере». Открылся — получай. Хороша формула, отшлифована, чеканна. Редкое везение, пришло Феде помилование, улизнул из зубастой пасти лагеря. Выскочил радостно, как морковка, рванул в омечтанное и гадательное будущее, влекомый «тоской журавлиной», к родным берегам за цветком счастья, летел на всех парах в теплую Молдавию. Цыгане шумною толпою по Бессарабии кочуют. Болтался какое-то время наш Федя в родных местах, но, видать, милые закоулочки не очень-то нам, воруягам, рады, а встречают угрюмо, недоверчиво. Мамочка, мама! Если верить Феде, то он очень был способным, до пяти лет сосал материнскую грудь, курить начал, а все к титьке тянулся, прилаживался, подымит, титьку попробует. Но матери, которая все прощает блудному сыну, давно нет.

Одним словом, вернулся Федя обратно в наше Ерцево: здесь, на Севере, люди нужны, легче устроиться. А красивый парень Федя, шевелюра отличная, смоль. Вернулся и слету женился. На местной, на трескоедке. Трюизм: легко оженить бывшего зэка. И баба нужна, и уют, хоть немного уюта, нормальной жизни, как у людей. Нинка-то работала на ОЛПе зубным техником, и мы на нее заглядывались, сеансов набирались. Федя, еще будучи зэком, к ней клеился, клинья подбивал, околачивался около зубокабинета, и Нинка откликалась ясной улыбкой на его зубоскальство: явный аванс. Очень может, если бы да кабы этот сокол не улетел из северных краев трескоедства в теплую, солнечную Молдавию, а смело и решительно направился с Нинкой в ЗАГС, был бы лад, ништяк. За время путешествия Феде за тридевять земель в поисках синей птицы у нас здесь события неслись вскачь: жизнь Нинки пошла сикось-накось. По простоте и доброте душевной Нинка в зону водку проносила, просили зэки, ну и не отказывала, не из корысти какой носила, а так. Кто-то дунул. Засыпалась. 47-Г, аморалочка. Была такая статейка, проститутки и всякий сброд по ней шли, статья административная. И за связь вольняшек с зэками ее совали. Дернули Нинку к куму, дручили. Она ревела, искренней коровой выла, взახлеб. Опер уже утешать начал, перестарался, тут, в кабинете на диване и оформил несчастную, находящуюся в состоянии истерики, испортил красную девушку. Эх, лиха беда — начало! Не ругай меня, мамаша, это было в первый раз. Потом, говорили у нас, а быть может люди врут, у ней что-то с начальником режима было, затем (дорога вниз легка — эту дефиницию во всех отношениях надо признать справедливой) вообще по рукам пошла, себя потеряла в излише-

ствах, аж со стрелками путалась, как последняя халява, которую все гонят и позорят. Как-то заглянула в казарму к стрелкам в поисках очередного загульного хахала, а там ее на хор поставили, пропустили, еле ноги унесла, знать, далеко ей до нашей Зойки, батарейки разом сели. Всё это мы знали, кто досконально знал, кто в общих чертах, мыли-перемывали Нинке косточки. Но цыган, амнистированная птаха, улетевшая в табор, ни о чем таком и этаким не слышал. Представляете, поселковая свадьба гуляет, Федя пьет без продыха второй день. А чего не нарезать как следует, раз такое. Право имеет. Горько! Горько! Дым столбом и коромыслом. Вологодские колядки, лукоморье, чин чинарем, как у людей. Свадьба еще в полном разгаре, а жених-ухарь, веселенький, к нам на станцию приперся, вольняшка, паспорт имеет, пропустили. Ну — хвастает. Штамп в паспорте демонстрирует, а, мол, к штампу и приданое, дом в три окна, удоистая вологодская корова. А? Зять любит взять! Нинка еще ему кожанку справила. Форсит Федя кожанкой, молодой женой похвается, как в былинах: «умный хвастает доброй матушкой, глупый хвастает молодой женой». «Девушкой оказалась», — узнаем мы. «Удачлив ты, парень, счастье само тебе в руки плывет», — первый прицельный выстрел, прячет улыбку-издевку Колобок, страсть к паясничанью, вечный театр и комедь, искусство для искусства, так, скуки ради, хлебом не корми, а дай возможность красное словцо вглядеть; вроде с пониманием и сочувствием слушает: с пьяных глаз Федя не кумекает, куда прохиндей клонит, и продолжает развязно рассказ, шпарит азартно дальше, заврался и остановиться не может, словно дух вранья и хвастовства сполна излился на него. Рисует живые и всем интересные подробности первой брачной ночи. «Целка! Кровавая целка!» — слышим мы в который раз, а Колобок, флибустьер-ушкуйник, вкрадчиво поддакивает, шут, вроде искренне завидует Феде и всему верит. Ждет паузы, тщательно уже прицелился, эффектно — в этом-то он мастак! — пускает вмятый шар, полновесный вирус зла: «И я слышал, девушка. Стрелки е... говорили, что девушка». Увлеченный успехом Федя ухом не повел. Да мало ли что этот гумозник, курвец, хорек вонючий, блямкает, язык без костей, да кому, как не ему, законному мужу, лучше знать, чистой ли голубицей вошла Нинка на брачное ложе или оказалась б/у.

Да. Видать достал Федю мерзопакостный язык Колобка. От нас-то ушел вроде веселым, счастливым, гордым; а не таким вернулся к пирующим гостям и сдобной жене. стакан хлестанул и — выброс. Да какой! Плотину прорвало. Начались попреки,

укоры, нарастал мрачный сюжет. Вообще-то обычная история здешних свадеб. Вирус, пущенный Колобком, овладел душою Феде, сработал на все сто. Горяча цыганская кровь, не ваша, северная, трескородская. Нинка перед мужем во всю раболепствует, остудить старается, дует, как на утюг. «Федя, милый, не надо. Я же знаю, что ты хороший. Не будь таким». Не помогает. Не может Федя образумиться, а слова Нинки только масло в огонь подливают. Тактика умиротворения в таком тяжелом случае явно порочна. Почувствовал Федя слабину, что здесь боятся его и его цыганского норова, — раскочегарился, во всю мощь праведного гнева выломался, прямо черт на плечи Феде скакнул, оседлал, овладел им. «Знаешь, кто ты? — это уже не Федя кричит, а само безумие, переросшее в стихийное бедствие. — Блядь рваная!» И — хватить Нинку за роскошную косу, и в морду кулаком въехал, и еще по мордасам, в кровь расшиб, кулак-то у Феде свинцовый, вмиг вывеску вологодскую разукрасил. Педагогика на всех парах. Да и как не учить вас, баб, бесстыжих и подлых? «Говори, сука, кого на свое тело пускала? Все пусть знают!» Бурлит, кипит цыганская кровь, кровавый туман глаза застилает, огненные молнии кривляются. И еще по морде: бац. Вырвалась от мужа Нинка да бежать. Федя за нею, топор в его крепких, верных руках. Уделал бы молодуху, да на страшной черте родными Нинки да гостями остановлен был. Нинка где-то у соседней заныкалась, дрожала. «Она кума на свое тело пускала!» — в раздрыгье пьяной ревет Федя, жалко ему самого себя, обливается горькими, пьяными слезами. «Утоплюсь!» — хорошую руладу запустил; а поэт охарактеризовал бы состояние Феде: «горло бредит бритвою». Топиться, озеро рядом; в глубинах озера хоронится наш мистический Китеж, где-то оно совсем под боком, летом мы явственно слышим, как плещутся зубастые щуки, мощные удары их хвостов слагают дикий гимн жизни и свободе — нам на зло! Но то летом, а нынче озеро еще подо льдом, крепок лед, еще долго, чуть ли не до середины мая на озере лед держится. Распсиховался Федя, рассудок потерял, пустился наутек в густую, непроглядную темень, сгинул, ищи неслуха, ветер в поле. Погода поганая, стужа, ой, пропадет пьяная буйная головешка, взбеленная. Царство безумия: утром-то Федя не понимал что и как, обнаружил себя в КПЗ. Провал памяти, полный. Тупо улыбается. Подозревает, что выкинул какое-нибудь коленце.

А было вот что. Долетел он на быстрых крыльях безумия до славного озера; а как утопишься? Толстенный лед. И вообще вокруг темно, холодно, абсолютная дрянь кругом и вокруг. Неда-

леко от озера железнодорожные рельсы чернеют, местная ветка, узкоколейка. Обрадовался, бухнулся на рельсы, голову устроил на рельсе, поезда ждет. У Феде характер, на ветер слов не бросает, держит. Ищет смерти. А где ее найдешь, поезда редко ходят. Пьяного-то мороз хорошо достает, и стало Феде худо: коченеет. Один на один в схватке со злобной северной стихией. Стужа до мозга костей пробирает, продирает, а райские сны, облегчающие замерзание, не идут в голову, да и нет этих снов, выдумки. Кто это придумал очарованные сны? Кинулся Федя на мерцающий вдали огонек. Сторожка. Он стучится, — пустите, узел судьбы затягивается все туже, туже. Внемлет сердобольная сторожиха, надрывно рыдающий, срывающийся акцент: «Мать, пусти, замерзаю! Спаси!» Судьба сжалилась над неслухом, открыла сторожиха; ввалился в тепло. Отогрелся, отошел в гостеприимном тепле, вновь овладел Федей черт, приказывающий натворить что-нибудь страшное и ужасное, чтобы и небу было тошно, и людям невыносимо; и, хотя дома его ждала молодуха, законная и любящая жена, распаренная деревенской баней, вся розовая и прекрасная, бросился в порыве антропоцентрической свободы, как бешеный вепрь, на старуху-стрелочницу, его спасительницу, что гостеприимно открыла дверь, сжалилась, пустила обогреться замерзающего странника, рассмотрев в его лице Христа. Вот и дари пасхальное яичко! Как же так? Наш Федя издал какой-то животно-утробный звук, переходящий в волчье завывание, перебиваемое бульканьем, клокотанием, набросился на старуху. «Чего еще? Да пошел, озорной!» — отчаянно отбивалась бабуся, брыкалась, кобенилась почему зря, не подступишься, дико вопила, морду Феде в кровь расцарапала, разодрала — боевой была. Но и Федя не прост. Что втемяшится — не отступит; разбушевался всерьез, цапнул первую попавшуюся увесистую железяку, пошел в сердцах поливать железякой гостеприимную стрелочницу. Жизнь, молодость, безоглядно-варварский напор (еще Ницше воспел дионисийский гимн жизни, а за ним и Бергсон что-то-такое вякал) произвели на бабусяю должное впечатление, да и как не произвести, и она вняла, что к чему, вняла, с кем имеет дело, что перед нею не хлюпик, не мальчик, а настоящий мужчина, серьезный — разом поумнела: бабье ближе к земле быстро умнеет; размагнитилась, ослабла, оказалась в пограничной ситуации, как выразился бы Ясперс, преодолела суетность повседневной нравственности, которой следует человек будучи членом какого-либо коллективного целого, обратилась к своему внутреннему «Я», к своей внутренней сущности: дзинь, экзистенциальное озарение, как

миленькая задрала старомодную юбку, сильно поношенную, подвернула ее и сама же гигантские байковые трусища сблочила, уступила молодому, горячему, страстному желанию, ощутила лирическое волнение, как в промелькнувшей молнией молодости, ловила воздух, ощущала приток жизненной энергии в сей предельный момент, хотя это все явилось следствием безвыходной ситуации, никем не предвиденной. Отдадим справедливость Колобку, у него был богатейший опыт интимных отношений со старухами; и Колобок не мог не сморозить о роковой жертве Феде: «Не долго рыпалась старуха в цыганских опытных руках». Да и как не словить экзистенциальное озарение, когда тебя, шестидесятилетнюю с хвостиком, не на шутку и что есть силы поливают железякой, того гляди ненароком жизнь отнимут, по ногам, по бедрам, по чему попало, не разбираясь, лупшуют, выкладываются, раззудись плечо! И, как от молодухи, требуют искренней любви! В этом деле искренность очень ценится. Знаем школьные прописи. Умри, но не давай! Идеализм. Чернышевский. Идиллический 19 век, не знавший страшных катаклизмов, вообще ничего не знавший, а мы живем в эпоху Апокалипсиса, того и гляди тебе тазобедренную кость перешибут и скажут: так и было. Да и васяевский следователь, гражданин майор (на последних допросах: подполковник) учил уму-разуму, плюнь на интеллигентско-мещанскую мораль, береги здоровье: «Если насилие неизбежно — расслабьтесь». Ницше обобщил: удача любит молодых, сильных, тевтонцев, белокурых (знать, не только белокурых: Федя-то цыган, жгучий брюнет, да и Адик не числится в блондинах). И другой предтеча, Маркс, в мужчине любил силу, в женщине слабость, да и пролетариат Маркс боготворил не сам по себе, не как униженных и оскорбленных, а как силу, которая ниспровергнет в вечный бездонный тартар устои старого мира. Справил Федя грязное мужское дело, продемонстрировал, на что способна и какова горячая цыганская кровь, воспетая в народных песнях, тут же, в тесной сторожке, ухнул в глубочайший сон, тихий и безгрешный, как в раннем детстве, когда еще за титьку держался да курить принаравливался, очнулся в КПЗ, напрочь не ведает, что натворил, каких и сколько дров наломал. Казенный дом; комбинация из четырех пальцев, как в песне: костюмчик новенький, колесики со скрипом я на тюремный на бушлатик променял. И смирительно-неодолимая армада срока, безнадега впереди, несусветные, страшно и подумать, двенадцать лет. Екклесиологически-дидактическое возвращение на круги своя. А что вы хотели? Не по голове же дурня гладить? Да давить таких и

давить! Изнасилование с отягчающими обстоятельствами, тяжелые побои, почти увечья. Плохая статья, к тому же: рецидив. Ни под какую амнистию не попадет, сидеть от звонка до звонка. Если бы не муж стрелочницы-сторожихи, многое сошло бы с рук разбушевавшемуся забулдыге, замяли бы, Нинка очень старалась, ходила к старухе в больницу, слезы обильно лила, просила. Нинка полюбила красавца Федю. И счастье было так близко, так возможно. Фортуна нон пенис, — как справедливо говаривали справедливые римляне, — в руки не возьмешь (что тоже верно).

Вся в кровоподтеках лежала в больнице бабуся, подняться с койки, чтобы дойти до уборной, не могла, боль отбрасывала назад, в прежнее положение; но в конце концов все зажило, как-то вывернулась, встала. К суду оправилась от недугов. Ходила — может, не бодро, но ходила. Вмешался муж, старый угрюмый ревнивец, не веривший и на йоту жене, второй своей половине: знал, что старуха безумно похотлива, успокоиться не желает несмотря на годы. Он требовал расстрела, буйствовал-бушевал, крикуна пришлось вывести из зала суда. Вот вам результат: Федю — по новой! Как-то уж чересчур нравоучительно, притча, не нуждающаяся в интерпретации, законченность, завершенность, чистота фигуры (Федя вроде не уходил от нас — в том же бараке, на тех же нарах, только на верхних, нижние заняты, свято место пусто не бывает), какую находим лишь в художественных произведениях, да и то не в прозе (великие произведения литературы несовершенны, имеют многочисленные изъяны), а в музыкальной, живописной форме. Федя опять с нами, головушка брита, дурной сон; есть, есть что-то от мутного кошмара, мучительного. А мы, кто завидовал Феде, злорадствуем, испытываем подленькое чувство. Почему-то нам приятно и радостно, что Федя вновь обручен с лагерем, блудный сын возвратился в отчий дом, туда, где кармой ему и предписано быть. Подл человек, ой, подл. Зависть, Олеша: в чужих руках всегда х.. толще. Нинка, несчастная обездоленная баба, вдова соломенная, утешительную передачу Феде то и дело приносит. Жалеет. Она добрая, хорошая. Ну — любовь, всепрощающая любовь. Твердит, сама себя уговаривает, заговаривает: «Федя хороший, хороший». Все простила русская дуреха беспутному забулдыге, приняла, как должное, жалкий жребий, готова ждать двенадцать лет. И будет ждать. Васька Колобок, перпетум мобиль, поганый язык, и тут не упустил фарт, оседлал крылатого Пегаса (минута — и стихи свободно потекут): «Изнасиловать старушку — это может каждый шкет, Ты попробуй старушонку в шестьдесят примерно лет». Чем не стихи? Складно,

ладно. Раскинем мозгами, признаем: и настроение есть, за сердце хватает, и мысль игриво разит, как меч острый; можно говорить и о богатстве, смелости, новизне рифмы: шкет—лет. Хоть куды. Маяковский бы позавидовал, а Ахматова не поскупилась бы и за такую находку на водку дала бы. Колобок, задрыга солнечная, дурашливая, наш Франсуа Виньон, наглый школьник и ангел ворующий, радует нас складными, сочными виршами, развлекает. Мы, ээки, подозреваем, что так называемая «лагерная поэзия» должна производить на эстетов удручающее впечатление. Чего-то в ней не хватает. В ней есть правда, но это не стихи. Не стихи, да и только. Поэзии не ночевало. Но мы, лагерники, не эстеты. Нам голые, обнаженные чувства подавай и правду.

Ну, черт с ней, поэзией, вернемся к нашей прозе. Кто бы мог подумать, что Витька Щеглов, джентельмен удачи, счастливчик, воспримет историю Феде Куцика не как шумную и пустую буффонаду, а как нечто, имеющее прямое отношение к нему, Витьке, как тревожащий знак, как черную метку, как удар колокола фатума. Загудел, загудел колокол, и дремлющие единороги, кентавры и прочие чудовища, демоны подсознания ожили, проснулись, выскочили на свободу, с неожиданной легкостью овладели душою Витьки, исказили его личность. У Витьки — паника в глазах! Ведь это он писал Феде бумагу, поучаствовал в том, что должно быть ведомо лишь далеким звездам. За все надо платить, платить наличными. А где их взять? Срок-то Витька — х.ё-муё — одолевает, позади пять лет. На общих не был, за зону не выходил, если не считать карантина да недели клепки. Владзилевский, главный бухгалтер ОЛПа, без Витьки ни шагу, советуется, все согласует; оказывает Витьке, как говаривали в старину, «великие ласки». И гражданин начальник ОЛПа лейтенант Кошелев ценит Витьку, ведь именно благодаря смелому и изворотливому уму серого кардинала наш славный ОЛП держит первое место среди других ОЛПов Каргопольяга, а Каргопольяг держит переходящее Красное знамя среди всех лесных лагерей Союза; это придумал мозговитый Витька, Витькина выдумка: второй раз оприходовать распил Лесозавода: завод как-то загрузил и отправил потребителю в два раза больше кубатуры, чем распилил. Вспомним, Женька Васяев так непутево вел учет. У Витьки умная голова на плечах, ясная. А вот история с Куциком подкосила Витьку-везунчика, легко проскальзывающего между Сциллой и Харибдой (даже с жутким Кононовым сумел ладить): из улыбочатого, легкого человека, всеобщего любимчика, вежливого, со всеми ровного,

он превратился в угрюмого бирюка, притом сразу, обвалью: от нас, корешей-фашистов, отпочковался, дистанцию держит, порвал со всеми отношения, демонстративно перешел из барака придурков, где преспокойно обитал в чистенькой отдельной кабинке, в общий барак к работягам. В одночасье скрутило парня, душа съезжилась, затосковала; глаза лихорадочно блестят, злая бессонница одолела, лежит на нарах с открытыми глазами, словно белены объелся, шепчет кабалистические заклинания, чушь какую-то: «колдуй баба, колдуй дед, заколдованный билет». Не слышит, когда к нему обращаются, корчи нешуточного страха, потеря воли, полуанабиоз. Словно кто сглазил Витьку, порчу навел на нормального малого, превратив в запуганного, задроченного зэка. Хочется стукнуть по башке, крикнуть: — Назад (в объективность)! Тяжкие вздохи, словно мощный генератор отрицательной энергии работает. — Фу! Не верится, что это тот самый Витька. Зачем-то сообщил Жене, что сидит по бытовой статье. Женя знает его дело со всеми нюансами и подробностями. Такого много. Довоенное детство, безоблачно, с нянькой; ребенок к няньке привязался. Война грянула. А нянька у родственников на Смоленщине гостила, подзадержалась, оказалась на оккупированной территории, след простыл. После войны, когда Витька уже учился в МГУ, прорезалась увесистой посылкой из Штатов. На имя Витьки. Шмотки, в их числе солдатские ботинки, не ботинки, а картинки, сносу нет, в этих ботинках Витька щеголял на лекциях в МГУ, всем на зависть. Они его и погубили. Стали за Витькой следить, а слежка однозначно кончается. А хороши американские ботинки, и в пир, и в мир, и в добрые люди, на любую погоду, подошва толстенная, да такие ботинки на барахолке с руками оторвали бы. Заболелся Витька второго срока, лагерного. А что вы думаете, вызовут в спецчасть, вчинят крепкий жребий, уже не пять лет, а червонец. Притаился Витька, надеется обмануть лукавого, обойти злой рок, тихо лежит на нарах, лишь порой разоблачает себя: «Фу!» Рвущий душу, булькающий звук. А нам-то, остающимся в лагере зэкам, поведение Витьки просто противно. Нельзя же так лицо терять! Нельзя отречься от лагерного братства, как от какой-то заразной скверны. Бог ему судья, но это некрасиво. Открылись ворота, и в положенный час выскользнул Витька из лагеря, вышел бы и в том случае, если бы не паниковал, если бы оставался человеком. У вахты Витьку поджидала верная жена, птичка-невеличка, колибри. В этот раз ее Женька Васяев хорошо разглядел, совсем девчурка, худа, субтильна, малявка, а груди очень выпирают, на такие груди

опасно смотреть зэку. Скрывал Витька, что у его жены такие груди, не хвастал.

И на Леху Алексеева сюжетец Куцика нагнал тоску, хоть и не такую черную, как на Витьку. У Алексеева самое страшное позади, срок за половину сильно перевалил. Хорошо бы жить на воле, чтобы сюда, за колпачую проволоку, больше не залетать, а это значит — нельзя ни в коем случае срываться в похмельно-пьяную темноту. У Алексеева и Куцика характеры схожие, может и была какая разница, да раки съели. Алексеев ас, да еще какой ас, а присмирел, ощутил за спиной холодное дыхание фатума. Раздрыг личности, в общем-то цельной и простой. Понимал, что надо себя менять и менять радикально. Глубинная важная часть его натуры, ядро личности, вовсе не желало отмирать, хотело сохраниться и приумножиться, он был и хотел оставаться сорви-головой со скандально-зычным голосом, а под банкой он именно такой, дерзкий и бесстрашный. Любил себя куражным, чуточку дурным. Предстоит сражение за направление сердца, предстоит борьба тяжкая, в которой нет радости, нет просвета, изнурительная борьба без шансов на успех, борьба с самим собою, опустошающая; срыв и — новый срок. Прощай все усилия и старания, псу под хвост. Все насмарку. Зачем было мучить себя. Как можно отчуждать от себя свою самость и сущность? Не рок тяготеет над ним, а бутылка. Он не властен над собою, над своими страстями, над своей зависимостью от нее. Ясна драматургия: характер определяет судьбу, проклятый характер. Стал Алексеев как-то тише, осторожнее, не так увлеченно с полочки за воротник закладывает. Нет, не то чтобы остепенился, завязал. До Мити ему далеко: у Мити твердая установка на то, чтобы выйти из лагеря. Митя — кремень.

Таковы наши главные новости, а они увлекательны, как «Три мушкетера» Дюма. А кроме того мы чуть ли не каждый день друженько стекаемся к скверу, что разбит перед столовой, а сквер-то наш замечательный, с фонтаном, во всю мощь цветут разные цветы, весной яркие, сияющие тюльпаны и еще что-то (в ботанике мы не сильны), ближе к осени — благородные, тучные розы, их щедрый, густой дурман останавливает зэков, склонных к сентиментальности, и зэкам кажется, что цветок их окликнул: полюбуйся мной! Парфюм! А порою цветущие розы вызывают странно-болезненное чувство, гнетущее, щемящее. Путь цветка — путь жизни. То — Бергсон; Пруст же сравнивает цветы с роскошным половым органом. Как все интересно! Зэк, не опускай хвост, держи его пистолетом. Будет и на твоей улице празд-

ник! Дух захватывает, когда цветов много! Садовник-старикан многоопытен, старается, неправдоподобную красотищу наводит и дарит нам, окаянным. Да и наша столовая вышла после ремонта неузнаваемой, преображенной, украшенной помпезной, мощной колоннадой о восьми колоннах, прямо как у Большого театра проклятой Москвы, в пику вам постарались, впечатляющая символическая завершенность, под мрамор општукатурена, размах вавилонский, я те дам. Архитектура, как кто-то сказал — застывшая музыка. И — право! Столовая запросто превращается в клуб, в театр: отличная сцена. Наш клуб любит культбригада, смело ведомая вальяжно-барственным гением Гладкова: все репетиции у нас. На этой сцене блистает приснодева Вера Карташева, покоровшая сердца эзков.

В общем и целом, надо честно признаться, жизнь лучшает. И на воле и у нас. Питание в столовой улучшилось, да загляните в ларек, в обычный лагерный ларек. Чего только там нет! Ой, следует признаться, что мы быстро и очень развратились: забыли страх Божий: собираемся в сквере, трепемся оголтело и почем зря, мировые проблемы решаем, а наши посиделки величаем парламентом. А? Каково? Как вам это нравится? Чем не парламент? Выявились разные политические направления, западники, славянофилы. И — болото, так, ни то и ни сё. Шумим, шумим! Как родной завод. Как улей! Минаев по-прежнему всецело и безраздельно владеет умами и сердцами нашими, правит бал, восседает этаким королем Лиром, этаким столп и утверждение истины, распространяет вокруг себя сильное магнетически-харизматическое поле. Его авторитет почти вне конкуренции. Полет мысли по-прежнему ярок и красносмотрителен; речь его никто не прерывает. Да и как прервешь: он окормляет нас идеями-истинами, требует, чтобы мы не принимали свободу из рук «этих мерзавцев». Боже крепкий! Со щитом или на щите! Пламя войны пылает в Корее, не сегодня так завтра, а уж точно — весной, к маю, зеленеющему, оно всерьез захватит и Россию. Война, поражение большевизма, безоговорочная капитуляция, оккупация так лет на пятьдесят, за время которой страна приобщится к демократии, к истинной демократии, сама воссияет, станет маяком и светом мира. И свет во тьме светить будет, и тьма его не объемлет. «Не сдаюсь, продолжаю борьбу, — смело вещает Минаев. — Успокоюсь, когда американские войска будут стоять на Среднерусской равнине. Россия над пропастью. А вы, штабс-капитан, помалкивайте!» Минаев почему-то вдруг крысится на Николая Николаевича Грибова, который вообще-то помалкивал, слыл

болотом, но тут, видать, вознамерился вставить неуместную реплику, что-то брякнуть такое-эдакое языком шатающимся. «Прорвали мне Россию, господин штабс-капитан, — кричал на Грибова Минаев. — Надо было воевать лучше! Картишки, винт, шампанское с коньячком. Вот и сидите в лагерях, господа офицеры, работайте лакеями да шоферами во Франции. Так вам и надо, золотопогонники! А какая могла быть Россия! Вторая Америка! Главное ее богатство — люди. Уровень: Витте, Столыпин. А ныне одни неучи, недоумки. Нет глубоких людей, корневых. В России всегда недооценивали корни, связь с почвой. Нам нужны не Несмеяновы и Эренбурги — болтуны, пустышки, — а грамотные, умные инженеры, работники, знатоки производства. Я тут подошел к Померанцу. Думаю, поучусь. О Достоевском спросил. Он числит себя крупнейшим специалистом по Достоевскому. Что я услышал в ответ. Витиевато, длинно, пусто, скучно. На такого-то повлияд, такого-то имел предшественником. И это их наука. И это после Бердяева, Розанова? Нос хотелось зажать. Нет, не по зубам вам русский гений! Именно Достоевский завещал нам не терять русской мысли, заботиться о её чистоте».

Как-то раз и Женя Васяев рискнул вставить словечко в одну из речей Минаева: «Можно я скажу?» «Ну», — благосклонное. «Вот мы, — робко лепечет наш герой, заикается даже, хотя и не заика. — Вот мы вас, Николай Михайлович, понесем на руках и двинем в президенты! И рывкнем: достоин! Бьем челом!» То был страстный романтический порыв молодого горячего сердца, совсем не шутка, хотя кто его знает, чуть-чуть, самую малость от ёрничества в духе Колобка здесь было, ой, возможно. Эта решительная идея, как льстивая змея, укусила сердце Минаева (куда деться: слаб человек! О, как слаб!); и он мысленно сопоставил себя с серятиной, с которой привелось ему общаться и жить в бараке придурни, с полициями всякими да теми, кто оказался приспешником Гитлера; да еще эти прибалты с узко-картофельным национализмом; пришел к вполне естественному выводу, что он, если говорить всерьез, самый достойный и подходящий кандидат на сей высокий, ответственный пост. Все же слова Женьки Васяева его сконфузили, и он патетически нетвердым жестом отклонил шапку Мономаха, изобразил испуг на лице. Ему желалось чуточку задержаться на этой идее, пожевать, помусолить сладкий сюжетец. «Тигун тебе на язык! — изображает еще больший испуг Николай Михайлович. — Нехорошо шутишь, мой юный друг. Да ты ничего ровным счетом, я вижу, не смыслишь в сей деликатной материи. Президентом в России может стать

лишь лучший из лучших, примерный из примерных. Не надо забывать: это — Россия, Святая Русь. Спросят тебя, мой юный друг, кто твой выдвиженец и каков его моральный облик. И останется тебе честно сказать избирателю, что женщин очень любил твой кандидат и они его любили. Да, женщины — моя слабость, погибель. Каюсь, каюсь. И выпить я не дурак». «Николай Михайлович! — тут мы все хором и вразной взмолились, затрепыхались, не отстаем от Минаева. — А кто без греха? Вы же наш учитель, у вас ум и кругозор. А то двинем Лепина в президенты, воевал, царица полей, походка почти как у военного, прихрамывает, ранен, боевая рана!» «Ну уж нет! — заявил Минаев. — Только не Лепин. Только не этот ишиботник, змеиное семя! Он же не любит Россию! Ой, оставьте», — взаправду взмолился Николай Михайлович, словно видел в нас ловеласов и соблазнительей, льющих в уши мед лести, а себя представлял девицей, которая тает от лести, все еще сохраняет подвижное равновесие, недалеко от падения. Вопрос бодро и поспешно ставится на голосование, и мы угождаем Минаеву: единогласно. Дружный хор радостно грянул аллилуйю. Полный триумф. «А мы вроде бы парламент». «Поднимай выше. Собор!» Вновь избранный первый президент свободной, демократической, омытой кровью России царственно гладит бороду, слегка поправляет харизматический нимб; взметнул руку, ораторско-стратегический жест, известный со времен Рима; всё стихает. «Вечное закладывается сегодня, здесь, — достойно, эпично, державно начал тронную речь наш президент, мысленно определяя космическую роль России в мире. — Новая конституция должна быть проста и ясна, ясна ребенку, ежу. Кто посягнет на частную собственность — голову долой. В новую конституцию ввернем крохотную преамбулу, совсем кроху. Частная собственность священна и неприкосновенна. Разрешена купля и продажа собственности, в том числе и земли. Частная собственность — мощнейший стимул, даст взрыв созидательной энергии, а стихия рынка являет собою тот архимедов рычаг, которым будет сдвинута с мертвой точки и получит невиданное ускорение экономика. На другой день расцветет Россия. Долой русский аграрный социализм и русскую общину! Долой многоукладную экономику. Чистый капитализм — вот что спасет Россию. Вот о чем мечтал Столыпин. Заработают рычаги рынка. Шустри, вертись. Не спи. Долой сонное царство, обломовщину! Спросите рабочего, колхозника, труженика: почему все так плохо? Почему в лагерном ларьке три сорта сыра, а в любой дыре до революции было десять сортов? Он не ответит вам, что

все дело в системе, что все зло от социализма. Он молвит простое слово, вскрывающее общую глубинную причину всех наших бед: бесхозяйственность. Ловите? Чувствуете? Бес-хозяйственность. Хозяина, значит нет. О, великий и могучий русский язык! Какое точное слово, какой лад и глубина! Вскроем философию слова, его метасмысл. Бес-хозяйственность — нет хозяина, нет частной собственности!» (Надо отдать должное и признать, что анализ слова «бесхозяйственность» был проведен Минаевым на уровне лучших страниц Хайдеггера: позавидуешь!) Мы все в преизбыточном восторге от тронной лекции президента. Ум мощный, подвижный, живое слово увлекает, волнует, подчиняет, интонация, интонация. Слово это Бог; естественно, не писаное слово, а живое, властное, Логос: — Да будет Свет! Мы, молодежь, а это значит до тридцати лет, горячие головы, увлечены смелыми шагами по преобразованию России. Мы с Президентом. Революцию делают молодые. Мы задаем тон, а остальные почтительно внемлют, изредка оказывают глухое сопротивление, мол, тише едешь — дальше будешь; ямщик, не гони лошадей. Кому раздать землю? В деревне одни старики и старухи, да пьянь, да лодыри, разложилась давно деревня, нет труженика, сплошной перекур. И на заводах не лучше. Да кому раздать? А что делать с теми, кто продал душу сатане? С эренбургскими, твардовскими, с физиками-атомщиками, имен мы их не знаем, но кто-то создал бомбу Сталину? «На фонарь их!» — говорит Минаев. И это будет политически и нравственно наиболее целесообразное решение. Минаев вновь делает властный жест, бушующий парламент стихает: «Великий китайский мудрец сказал: исправьте слова! А что сие значит? Все очень просто, но трудно. Называйте вещи их истинными, внутренними именами. Вора зовите вором, проститутку — проституткой, преступника, изверга — преступником, а не великим человеком, гением. Эренбурга давно пора вздернуть, не писатель это, проститутка. Без суда и следствия. И — физиков! Нет, физиков-атомщиков будем судить в назидание потомству». Наш парламент функционирует, вертится вдохновенно, без выходов. Все пикейные жилеты, Фан Фаньчи и Сидоры Поликарповичи включились в затягивающую, засасывающую, самозабвенную игру. Приступаем к выработке новой конституции. А чем же еще должен заниматься парламент? Разработки, наработки пригодятся для будущего, ведь большевики не вечны! Печем законы, как блины.

Следует отметить, что поначалу Лепин от нас дистанцировался, не принимал участия в играх, не разделял нашей увлеченности

и хмеля. Видите ли, ему не понравилось, что мы избрали Минаева президентом, избрали всенародно, единогласно. Слышим ворчание: «Страна дураков. Хорош подарочек. Да он же антисемит, черносотенец. Русофят, махровый шовинист, Союз русского народа. Через каждые два слова — Гей, славяне! Толстой, Достоевский, утрем нос Европе. Сторонись, русские идут. Смирись, Кавказ, идет Ермолов! Да, знаю, Пушкин был монархистом, но мы его любим не только за это. За всей этой безудержной болтовней о тоске русского человека о вселенской правде, о всемирном братстве, без Россией, без Латвий, стоит махровый русский империализм. Ясно, как день. И мы штудировали Достоевского, насквозь видим вас, мазуриков. Константинополь должен быть наш!» Лицо Лепина искажается судорогой, а на бесцветных губах появляется что-то напоминающее пену, но это лишь на мгновение: он справляется с чувствами, выбросами, выплесками; лицо его вновь одеревенело, сделалось мраморным; он стойчески изрек: «Так. Так даже лучше. Я беру второе место. Я — вице-президент». Все радостно, охотно согласились. Единство и единомыслие. Всем сестрам по серьгам. Учитесь компромиссам. Лепин даже пробормотал нечто вроде формального извинения, мол, погорячился, с кем не бывает, берет свои слова обратно — Минаев не черносотенец, а типично русский человек со всеми достоинствами и недостатками. «Это типично русское явление». Самое время ответить на вопрос, кто такой Лепин и откуда он взялся? Почему о нем не было слышно? Почему именно он, не кто-нибудь другой, признан второй по весу фигурой ОЛПа? Не Мелетинский, не Кузнецов, не Померанц, не Грибов Николай Николаевич, а Лепин? Как бы это объяснить и деликатно, и просто? Ну, Лепин почти военный, во всяком случае можно смело сказать, что его поддерживает армия, в частности маршал Конев. А еще. Давно пора бросить взгляд в сторону Лепина, рассказать о нем подробнее, не забывать завета Пушкина:

...В часы,
Свободные от подвигов духовных,
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель будешь:
Войну и мир, управу государей,
Угодников святые чудеса...

Вонмем. Время оно. Год, уже говорилось, 1953-й, год Лепина! Его звездный час. Подвиги Лепина (обрыв постепенности, тяготины, предельно крутой загиб судеб, угодников святые чудеса)

мы приберегли на закуску. Река времен бурно несет всех туда, куда никто не ведает. Речь начинается о том, что в то злополучное времечко, ныне целиком и полностью ушедшее в песок, лишь Лепин оказался на уровне крутой шекспировской драматургии, взорвал лагерные стереотипы, а это вам не жук чихнул. Швырнул перчатку в лицо лагерной реальности, бросился в объятия абсурда, залокомотивил Историю, вперед и выше, сдернул и выправил непокорный вектор эпохи. Так вот: в вице-президентах Лепин оказался не невзначайно, не дуриком, а по праву. На время он затмил Минаева, и мы только и говорили о Лепине, о его подвиге. Да, Лепин «прибил яйца к нарам», вступил в единоборство с чудовищной системой. Впереди нас ждут крутые сюжетные виражи, смена вех, новая мифология, парашные бури и натиски. Скорее, скорее в сторону Лепина. Перво-наперво следует рассказать без ретуши, как гордо, мощно, вдохновенно Лепин начал лагерь. Это вам не чета рефлектирующему Женьке Васяеву, который, угодив в е..стосную пасть ОЛПа-2 в 49-м, зафитилил не на шутку, ходя тенью невзрачной, полупризрак, вялотекущая шизофрения, затруханная, задроченная лагерем, лупцевали кому положено и кому не положено, не поспей начальник конвоя, спаситель, забили бы, — и такое после триумфа в Бутырках? Эх, поделом! Не таков Лепин. Уж в карантине Лепин пошпотапал и крепко заушил Шелкопляса, коменданта карангина, ссученного, а то был гой еси добрый молодец, огнедышащее чудовище метра аж три росту, да одна будка страшна — панику вызывала. Безумству храбрых поем мы песню. Уставился Лепин в глаза Шелкопляса и переглядел: затем ловко и находчиво плюнул в страшную харю. Есть упоение в бою. Сообщаем, Лепин добровольцем ушел в ополчение, затем фронт, знал назубок эффектные приемы рукопашного боя, мог запросто переглядеть противника в гляделки, а лишь тот отведет глаза, заморгает, следует лукавый точный удар в поддых, еще удар, нокаут, открылся слишком Шелкопляс (на, бей!), получай, знай наших, сука позорная, подлая! Противник повержен ниц. Коня, коня, полцарства за коня! Миг победы! Ура, мы ломим, гнутя шведы. Огнедышащий Шелкопляс, гроза карангина, землитель, многоопытный мастер заплечных дел, превратился в карася. Разумеется, когда мы упомянули о святых чудесах угодников, мы не это имели в виду. Превращение в карася надо понимать как гиперболу, образ высокохудожественный. Победа Лепина бесспорна, а бой не место для сантиментов и гуманистических стандартов; да и какая разница, все ли было по рыцарским правилам? Крепко потоптал, пошпотапал Лепин зверю-

гу Шелкопляса. То была всамделишная победа духа (ну и сноровки) над темною, грубой физической силой, победа космоса, разума, и эта блестящая победа наделала немало шума, поразила воображение. Правда, нашлись и ядовитые языки, злословили, что удар, военная хитрость, нанесен ниже пояса, отнюдь не в поддых, а в то место роковое. Клевета. Антисемитская вылазка. Не такой человек Лепин, чтобы использовать запрещенные приемы. Все проходило по строгим правилам дуэлей, по всем преданиям старины. Сами видите, выламывается Лепин из лагерной пошло-усредненной обыденности, раритет это, герой нашего времени. Лепин кому хочешь покажет кузькину мать, ему палец в рот не клади, и ко всему этому Лепин не сухарь-интеллектуал, а нежное сердце.

Спешим перейти к главному событию. Все по порядку. После инцидента с Шелкоплясом авторитет Лепина страшно вырос в наших глазах; мы с радостью подали ему руку дружбы, зауважали, а Женька Васяев проявил прыть, назойливую активность, лётал по ОЛПу, икру метал, и ему, представляете, посчастливилось (через Щеглова, который все мог; еще были задействованы Сорокин, Шустов) устроить Лепина в бригаду «подсобников» нормировщиком. Честно говоря, место шикарное, мечта поэта, волшебная сказка. Без солидной лапы не обошлось. Ах, закат! Ах, белые ночи! Везуха баснословная. Вот кому удача подвернула — рот разинешь. Вообще-то мы не очень представляли, чем именно занимается бригада, называемая «подсобники», а нынче и подавно выяснить не удастся, давно дело было, быльем поросло. Говорилось, что они перебирают пряники. В тепле, как у Христа за пазухой. Эдак неспеша и со вкусом пряники перебирают, чтобы брака не было. Лучше меньше, да лучше. Кто-то перебирает пряники, а кто-то должен эту работу нормировать, и этим «кто-то» оказался Лепин. Для тех, кто перебирает, он придурок — х.. соси, читай газету, прокурором будешь к лету. Еще раз возгласим: — Вонмем! В ту самую бригаду, где Лепин оказался с легкой руки Женьки Васяева нормировщиком, Фан Фанычем, дали уборщицу с 15-го ОЛПа, Ирку Семенову. Об Ирке нам мало что известно. На комендантском она никогда не обитала. Ее видел Колобок, ныне бесконвойник. Но разве можно верить Колобку? Ну, фигуристая девка, откровенный стандартно-классический идеал: «полна пазуха титек и велика срака!» Хороша девка! Сдобная. Злые языки, таких немало, прибавляли, что это мордovorotик: «страшнее войны». Но с лица-то, чай, не воду пить, а фигура, все признавали, хоть куды — грудь пышная, талия — опытный

раздевающий глаз легко прорентгенит под бушлатом и ватными брюками отличный ландшафт. Впрочем, все это было бы неважно, если бы Ирка не оказалась на жизненном пути Лепина, то бишь на подсобном хозяйстве. Отметить надо, что Лепин был сильно близорук; когда в его обширном и печальном кабинете явилась Ирка (с ведром и половой тряпкой), он быстро и предусмотрительно снял очки: ему внушили, что в очках он страшен. При вопиющей близорукости Ирку он и не мог видеть, а воспринимал некое расплывшееся, не имеющее четких границ, пятно; однако пылкое воображение в интеллигибельном порыве, в соответствии с главными положениями немецкой гештальт-психологической школы, конструировало из размытого пятна идеальные женские формы, отнюдь не фигуристую девку, а некое небесное создание, эльфа, нос непременно уточкой. Всполох. Вскипело, взыграло семя в мошонке, интенсивно сублимировалось, со страшной силой ударило в голову, и голова пошла кругами. Я помню чудное мгновенье. Сделал Лепин стойку. Да, мы забыли, описывая ландшафт и носик уточкой, еще кой о чем, Ирка не только с ландшафтом: она еще и философ, да, ужалена философией, училась на 5-м курсе философского факультета МГУ, знала, что такое философский зуд, этот зуд привел ее к нам в Каргопольлаг. Итак, избирательное сродство: и Лепин философ, гегельянец, не растается, как Саша Краснов, с «Наукой логики», здоровенный кирпич, крайне необходимый в условиях лагеря, прекрасный транквилизатор, духовный меч и щит, защищающий вас от всяких там тревог и зловещих страхов. Хватит о ландшафтах и неприличных мошонках. Спиноза шлифовал стекла. Яков Бёме был сапожником. Баба мыла избу. На подсобном хозяйстве уборщица необходима, уж очень они мусорят, когда перебирают пряники, а пряник хрупок, нежен, требует бережного обращения. Отходов много. Завершив уборку, запахнув бушлатик, Ирка прямехонько устремлялась в кабинет к Лепину, и они начинали глотать пилюли транквилизатора, чесать языки о всякия премудрости — о Гегеле, о судьбах цивилизации, о том, что же первично: дух или материя. Уменьские разговорчики, оторваться друг от друга не могут, время, как у Эйнштейна-Бергсона, летит быстрее лани, кончается десятичасовой рабочий день. Скорей бы утро, да на работу! От томления сердца у Лепина бессонница, вертится на нарах, в костях ломота, вздыхает, больной, сухой — это драма, спасу нет, не до смеха, нудит, ой как нудит, сплошное мучение, тяжело иго свинцового инстинкта, ну за что хорошему человеку жало в плоть вонзил бесконечный и трансцендентный Бог? А утром

Лепина ждет арифмометр, нет и нет, не придумывайте, он не делает ошибок, четко, автомат, бессонница не сказалась на работе, легко обработаны данные вчерашней выработки, план хорошо выполнен и перевыполнен, молодцы, право молодцы! Отлично перебирают пряники, насобачились, сбоев нет, а норма известна. Быстро, как быстрая молния, Лепин дробит арифмометр, не меняет руки. Является Ирка, красное солнышко заглянуло; Лепин задирает глаза в потолок (поднебесье: штукатурка), распускает павлиний хвост, закатывает лекцию об эстетике Гегеля и с помощью уже объезженного Гегеля топит женский ум в метафизических вопросах, глубина, размах обобщений, Индия, Египет, пирамиды, символическое искусство, становление, наличное бытие. Речист. Ирка его вдохновляет. Опять расстаются, опять бессонная ночь, маета, сухостой, ад, ад. Ночи безумные, ночи бессонные, а тут кто-то подсунил ему (дьявол не дремлет!) «Сонеты» Шекспира. В Москве еще в продажу не поступали, а у нас на ОЛПе уже болтаются, пожалуйста. Эта книженция оказала дополнительное воздействие на покосившиеся мозги Лепина. Все то же избирательное сродство. Не мы находим книгу, а книга находит нас. «Твоя ль вина, что милый образ твой Не позволяет мне сомкнуть ресниц?» Сонет № 61, будь он проклят, не в бровь, а в глаз. Шекспир, Шекспир во всем виноват, раскаленная игла пронзила сердце, а в голове поднялся вихрь, пляска каких-то пташек завершается отчаянным танцем маленьких лебедей. Лебединое озеро: явившись на подсобное хозяйство, Лепин не сел за арифмометр, а закатал лагерные штаны, закатал кальсоны, заголил неприличные интенсивно-бледные ноги, волосатые, выхватил у Ирки половую тряпку, ощутил прилив бешеной энергии и восторг, Шекспир репродуцировался в кинетическую энергию, пошел яростно тереть пол (пока у себя в кабинете, заметим). Таков портрет Лепина в интерьере подсобного хозяйства, год 1953, самое начало, январь.

Знаете, подвиг был оценен дамой. Пол вымыт, а у них, у Лепина с Иркой возник интим. Нет, не подумайте плохого! Они сели, как два голубка, рядышком, ворковали, Лепин разрешил себе взять ее руку в свою и так держал, политично, жаркою страстью пылая, а других вольностей и наглостей себе не разрешал; она не отнимала, таяла, как воск от лица огня. Она, счастливая собеседница философа и сама философ, учуяла женской душой, какой отличный мужик рядом с ней: от него, как от печи, пышет. Так и пышет. Пора бы от слов перейти к делу, атаковать, закрыть дверь изнутри на ключ, расстелить новый,

отличный бушлат нормировщика на полу. Язык любви глуп и трубадурен, Лепин строит куры Гегелем, не забывает Достоевского. Блистает, блистает. Стихи подпустил. Изысканный бродит жираф. После жирафа впал в транс, ощутил нечто такое, что смело можно назвать озарением, постижением последнего смысла и назначения сущего; прорыв, черпанул откуда-то из сверхсознания. Трам-бам-бам: гнозис, молниеносное прозрение истины, и Истина, еще голенькая, тепленькая, как невеста в первую брачную ночь, еще ни к чему не приписанная, явилась его изумленному взору. «Вот я, здравствуйте. Ваша!» А внутренний голос властно лепил: «Рожай!» И он, взглянув в небеса (в штукатурное небо), разродился, выдал жестокий романс, всё о розах и грезях. Не Гегель, не Достоевский, а свое, истинная импровизация, бурное извержение совершенно нового слова. Оно и чуть лирично, а главным образом феерично. Итак, отбросив далеко и за мельницу привычное восхищение гегелевскими диалектическими спиральями, крепко закрученными, он разрядился изящным интеллектуальным пируэтом, открыл златые уста, потекла золотая речь, ткался философский ковер сложного рисунка. Через пылающее сердце проходит космическая ось мира, и он, Лепин, принимает жизнь, красоту мира во всех материально-телесных формах: иллюминация, улица Горького в праздник, хрусталь, брызги шампанского, белоснежные скатерти ресторана. А те, кто считает, что солнечно-праздничная сторона жизни лишь так, позолота, которая сотрется, а за нею выступят серые суровые будни, голое наличное бытие, враги жизни, анафема им! Ты трус, ты христианин! Ему, Лепину, жаль таких людей. Он презирает их. Это — мразь, плесень. Это — уроды, искалеченные скопчеством, двухтысячелетием христианства, постхристианской индустриальной цивилизацией: сладкогласые евнухи, не имеющие и права быть учителями жизни. Жизнь промелькнет мимо них. Он, Лепин, принимает жизнь просто, без всяких слюней и пакостного христианского юродства, без сюсюканья, декаданса, скопчества. Жизнь — это солнечная, яркая поверхность бытия, радость и любовь в глубинном, онтологическом смысле слова, в эллинском смысле. Пиршество красок, воспринимаемое глазом, пластика, яркое цветенье улыбок, классическое сияние юного тела. Истина не там, где тень и мрак, а там, где свет, она и есть свет. Там подлинная онтологическая глубина. А тень есть ложь, кривда, редукция, ретро, извращение, небытие, это паразит, не имеющий собственной онтологической самости, собственной экзистенции. В твоей светозарной улыбке больше бытия и истины, чем во всех

учебниках по физиологии. Улыбка, я и ты: общение — прорыв к бытию. А из учебника по физиологии нельзя узнать о тайне жизни, о великой истине, которая открывается глазу, когда он воспринимает красоту мира Божьего. Истина в пропорциях юного женского тела, в грации движений, в нежности голоса, в сиянии красоты, освещенной внутренним огнем. Как сказал Тютчев: «Но есть сильней очарованье!» Это и есть истина в последней инстанции, а физиология, химия, физика, астрономия — все эти эволюции звезд — пустое! Всё это уводит в абстракцию, в бездну актуального затягивающего небытия. А интенсивная глубина там, где нарастает жизнь, нарастает сущее, бытие в цветущей сложности. Математика, с ее дурной бесконечностью, самая лживая, подлая наука, фантом. Она бултыхается в сфере пустых, выдуманных, вымученных абстрактных объектов. У тебя красивая рука, красивый нежный голос, магичен таинственный блеск твоих глаз. А физиология, химия, молекулы, прочая шухера и микрошобла, электроны — дрянь, грехопадение, обеднение, кастрация сущего бытия, отпадение от символа и онтологической полноты жизни, чушь собачья, гротескная абстракция, редукция, падение в черную бездну небытия. Электроны менее истинны и реальны в своей актуальной абстракции, актуальной кривде, чем твоя божественная улыбка. В них нет сущего. Нежность твоих глаз — вот сущее. Человек, его естество — воля к подлинному, наличному бытию. И тот, кто сказал, я есть истина, знал, что говорит. Так называемая объективность — продукт абсолютного метода, мнимость, тень. Метод, придуманный, привнесённый Декартом, Галилеем, Ньютоном дал успех, сотворил новую цивилизацию, но он лишь прагматичен. Он обедняет, искушает нас, уводит от жизни в мнимость... Найдено нужное слово, слово-семя, и Лепин ощутил себя сильным, ощутил себя Адамом, дающим миру внутреннее и внешние смыслы. И он бросил это слово-семя: «Я феноменалист! Истину надо пережить. Я пережил...»

Так (или почти так) говорил Лепин. Он пел, фонтанировал, охваченный океаническим чувством слияния с абсолютным, которое знакомо лишь мистикам и большим художникам. Бурное извержение слова-семени. Вышел сеятель сеять. На какую почву упадет семя? Вопрос вопросов. Ему внемлет Ирка, настырная интеллектуалка, не зря поди осчастливила философский факультет МГУ, а затем загремела в лагерь: семя-слово упало на взрыхленную, влажную почву. Мужчина лобит глазами, а женщина ушами. Ирка уловлена; окончательно. Но что творится с Лепиным? Он внезапно привскакивает, бесцеремонно отбрасывает

руку Ирки, пусть немного грубоватую, очень крупную, даже слишком крупную, но все же то была женская рука. Прямо-таки отшвыривает. Как бы отрекается от нее (ведет себя, как тот идол: «Пришлите срочно для Надежды Константиновны революционного матроса!»): «Извиняюсь! Где мои очки?» Эйнштейн кокетничал с корреспондентами, когда говорил, что не пользуется записными книжками: гениальные мысли заскакивают в голову крайне редко, а потому не забываются. По здравому рассуждению, представляется, что прав Лепин, а не великий физик. Очень можно всё запомнить. А сны, а тем паче все то, что открылось в трансе, мгновенно забывается. Эйнштейн пижонил, пустое блямкал. Лепин прыгнул к столу (сей взбег! сей взмах!), напялил на нос очки (Ирка впервые видит его в очках), схватил плохо очиненный карандаш, пошел-помчался катать, вдохновленный Святым Духом, весь лист записал, другой начал. Порывно. А память цепкая. Так рождается великое! То был набросок, который в дальнейшем был усилен, трансформирован, развит, на его основе вылилось лучшее эссе Лепина, получившее скромное название «Предмет». Именно эссе сейчас сравнивают с открытием Коперника. Существует даже мнение, что это единственное, что останется от нашего века, скудного философскими прозрениями. Ущербен век, перепевы, нет новых идей. А как же Ирка? «Не будь хамом! — оскорбилась она. Обида, ей нанесено оскорбление как женщине. Даже — увечье. Как он мог? Бездна черствости и бестактности. — Свинья! Дурак! Чурбан, чурка». Она зло хлопнула дверью: «Не прощу». Как всё хорошо шло, но сразу вдребезги разбилась тарелка. Шекспир в комедии «Сон в летнюю ночь» говорит: «Я никогда не слышал, чтобы был гладок путь истинной любви». Лепин так ничего и не понял, даже не заметил, что оскорбил женское сердце и упустил шанс. На другой день она ему сполна выдала! Он — к ней, рьяно, с кипучей энергией Кагановича драит дурацкий пол в кабинете, на карачках ползает с половой тряпкой, елозит, что есть силы выжимает тряпку. Бесполезно. Ирке противны его ноги, рахитично-худые, бледные, волосатые, фу, глаза бы не смотрели. Он зовет ее, сольемся в экстазе, а она нарочито громко зевнула, от скуки ворон ловит, мудреная штука эта философия, зло подумала: «За мной, мальчик, не гонись». Чашка разбилась, не склеишь. Колобок, поганец, вездеход, накрыл их с поличным: голубки ссорятся, девка в самом соку и силе нос воротит, а это что за сморчок, недомерок, глаз сплошной, кто-то в детстве перешагнул, не растет больше, насморк, а не человек! Клинья подбивает? Сразу сообразил луче-

зарный озорник, здесь открывается отличная возможность порезвиться: пустил слушок, что «еврейчик» ранен на войне не в ногу, а в причинное место, дефективен. Подлая сплетня хорошо координировалась с общим обликом Лепина. И — результат. Разнеслась сплетня морем разливанным, достигла ушей Ирки (постарались: завидовали Лепину), вновь слово упало на взрыхленную почву, дало богатый урожай: оскорбленная женщина радехонька услышать что-нибудь такое, какую-нибудь гадость. Хохотала до упада. Остановиться не могла. В нашем лагере смеются самозабвенно, искренне, от всей души. Ах, вот в чем дело! Эх, бабё проклятое, подлюги безмозглые. Сколько они нам крови портят. Не угодишь им. Лепину в голову не приходит, что подло, низко оклеветан в глазах любимой женщины. Ему намекнули. Опять не понял: туп. Пришлось разжевать, назвать вещи своими именами. Кошмар! Джамбаттиста Вико: циклится история, замыкается на саму себя. Лепина преследует клевета, идет по пятам, цепляется, липнет. Было. В госпитале, где он лежал раненный в ногу. Их посещали милые девушки, приносили что-нибудь вкусненькое. Мой этот, а мой этот. Поделили раненых. Воздух госпиталя насквозь пропитан флюидами любви, и хотя медикаментов, бинтов не хватало, раны рубцевались чудесным образом, воины не залеживались, опять шли на передовую, на их местах появлялись новые. И у Лепина оказалась своя девочка, милая, ее звали не то Ирой, не то Мирой, да это сейчас уже не так важно и интересно. Эта не то Ира, не то Мира исправно посещала героя, даже влюбилась, долго ли. Над ней посмеялись, шепнули, что герой-то того, ранен, не мужчина теперь, кое-что оторвало напрочь. Раненые развлекались скуки ради, а пассия Лепина, не то Ира, не то Мира, смущена, раз ненароком спросила, как он себя чувствует, как рана, а Лепин глаза потупил, покраснел. И бедная девушка покраснела. Улика. Исчезла девушка из госпиталя. Женщине очень важно знать, в каком месте у вас боевая рана. Она нацелилась продолжать потомство и имеет право всё знать, знать правду. Пусть без ноги, без глаза, но должен быть муж! Аналогичная история у Стерна описана («Тристрам Шенди»). А Лепин был ранен в тыльное место, как герой романа «Война и мир» капитан Тушин, и постеснялся сказать Дульцинее, что ранен в ногу: могла подумать, что он бежал, драпал, а немец, сволочь, пульнул...

То — в госпитале, а тут лагерь, опять та же история, та же клевета, Колобок запустил апокриф: дефективен еврейчик, порчен войною, Ирка злилась, думала: отсюда вся философская заумь. У Боккаччо есть чудная новелла, в которой герой демон-

стрирует свое хозяйство, чтобы опровергнуть наветы юной жены, проистекающие из недостаточной грамотности и осведомленности. О, это жемчужина мировой литературы, шедевр из шедевров! Именно эту новеллу имел в виду поэт, когда пел: «Я полюбил блаженное наследство, Чужих певцов блуждающие сны». Детство, издевательства старших над маленькими: «Ты мальчик или девочка? Докажи!» Затем следует совет, хихиканье: «Чтобы доказать — надо снять и показать!» И Лепин решил идти напролом. И в этом мы не видим ничего безумного. Пусть Kafka считает евреев «запутанными», не из их числа Лепин. Храбр, как лев. Неудобно? Неудобно надевать штаны через голову, а снимать для любимой очень даже удобно, все снимают: такова жизнь, тем паче если ты движем всепоглощающей страстью. Шекспир здесь рыщет, десять Шекспиров! «Я не эксгибиционист, но когда надо!» Расстегнул свой кушак, ширинку, спускает лагерные штаны и кальсоны. Полобуйся, моя королева! Дымящийся! Сосредоточение воли (Шопенгауэр). Всем бы такое счастье. Историческая справедливость требует, чтобы мы во всеуслышанье заявили, что эта самая палка об одном конце, тайный уд, у Лепина был первого сорта и по габаритам несоразмерен с его плюгавой комплекцией. Такой и показать не стыдно, да таким, как сказано, «чертей глушить!» Е...а мать! — сказала египетская королева, увидя х.. персидского царя. Существует сложная градация: детский, кадетский, штатский, солдатский, пленный, военный и — самый здоровенный! У Лепина, как у Алексева, самый здоровенный, а Алексеев неспроста прозван Лукой Мудищевым. Минаев сделал прелюбопытнейшее лингвистическое изыскание, что означает фамилия Лепин. На одном из европейских языков «le pin» это сосна, пихта (вспомним Фрейда «Толкование сновидений»), и одновременно то самое, о чем не говорят, чему не учат в школе, иными словами, фамилию Лепин на русский язык можно и должно переводить как: Мудищев! Конечно, до Рокотова и Лепину, и Алексеву далеко, Рокотов вне конкуренции не только в Каргопольяге, но и в Союзе, тайный уд Рокотова велик, устойчив и, как уверяли девочки, разумеется, деклассированные, зверски сладок. Но и Лепин не подкачал. Маленькое дерево, подмигивает русская народная поговорка (Даль), в сук растет. Если такая прямо-таки елда явится во сне четырнадцатилетней девочке, когда ее душа в плену невинной робости фрейдистских страхов, ой, не приведи Господь, целка может лопнуть. Не напрасно русская частушка одергивает ухарей: «Субчик-голубчик, стой, не балуй, Девкам моим не показывай ... Ху-до нам ... в дерёвне пряники жевать...» Да

это не Лепин, а конь с яйцами. Да здесь вся мощь двенадцати израилевых колен! Маячит. Обрезан. Как это красиво! А красота, сказал Достоевский, спасет мир! А Лепин еще демонстрирует свою неприглядную волосатую задницу, на которой шрам, очень напоминающий гексагональную звезду, то бишь след злого осколка, последствие войны. Вообще-то вполне справедливо и законно будет утверждение, что рана не на правом полушарии, а на ноге, да и кто его знает, где кончается нога и начинается это самое позорное, тыльное место, в котором, по выражению популярной русской пословицы, сконцентрирована вся правда? Это сугубо философская проблема, даже схоластическая. Нам остается восхищаться мужеством Лепина и — молчать.

А как же Ирка? Этой дурехе выпало счастье лицезреть подлинную мужскую мощь, лицезреть чудо! А она вместо того, чтобы прийти в восторг и восхищение: полномасштабный уд, излучающий космическую энергию и революционное высокомерие, — она, словно маленькая, словно зассыха четырнадцатилетняя, выскочила, как оппаренная, из кабинета и — драть, не оглядываясь. Глубинным бабьим нутром она осознала, что имеет дело с великолепным мужчиной, даже мысль мелькнула, что в этом первофеномене «кость есть». Но — девичий стыд сборол: жутко покраснела и улепетнула. Дура, ой, дура! Непонятно, откуда вынырнула на свет подлая параша, что Лепин в задницу ранен, драпал от немца. Эта параша сразу облетела весь ОЛП, смеху-то, смеху! Нашлись злопыхатели, такие непременно отыщутся, сколько в лагере полицаев, бандеровцев, пособников, вроде Шевченко, явных и тайных черносотенцев, кишмя кишат, сколько мрази всякой и всяческой, что творила безобразия на оккупированной территории. Открыли грязные рты. 5-й Ташкентский! Не допустим немца-гада до родного Апхабада. Родину можно любить и в Ташкенте. Лучше быть пять минут трусом, драпать, чем всю жизнь мертвым. Кто-то уж рассказывал, что видел своими собственными глазами, как Лепин драпал (блиц-драп), а Фриц смачно, со смехом пульнул ему в зад, убегающему врассыпную, летел быстрее быстрого, быстрее, чем заяц от орла, увлекал паникой за собой других, быстрее молнии пронесся сквозь заградотряды, те уразуметь не успели, что эта за скорость света, откуда взялась. Но мы-то знали, что это чистая, гнусная, отвратительная черносотенная клевета. Лепин не трус, а воин, наш защитник, силен духом, встретит трехметрового Голиафа, ничуть не устрашится, задаст перца и жару, как задал жару трехметровому страшилищу Шелкоплясу, да еще ему в сучью харю хорошенько, ловко, удачно

плевок посадил. Мы все это доподлинно знали. Но юная дева оказалась не на высоте, ее неразумное сердце не перенесло насмешек и экивоков, разговоров про то, что ее рыцарь драпал, увлекая за собой фронты. Она-то прекрасно знала, что Лепин не трус, не летел со всех ног от немца, вшивого. Но он смешон, а это непереносимо. Волос долог, ум короток. Она вовсе перестала Лепина кнокать, нос воротит, капризно плечиком поводит. Сердцу не прикажешь. Силой мил не станешь. Женское канальство и кокетство отвратительны. Ирка стала играть с Лепиным, как кошка с мышкой. И не подпускает, и не отпускает. Развлекается. Пьет кровь, готова высушить, в труху превратить мужика. Разве такое можно выдержать? И Лепин сорвался, за.. в голову. Прыг, скок, вырвал тряпку, пошел мыть полы, да не у себя в кабинете, где никто из посторонних не видит, а — дурь невообразимая, безрассудная! — во всех цехах подсобного хозяйства, рьяно, с полномасштабным фаллическим неистовством, и хотя к обеденному перерыву Лепин завершал мытье полов, успевал во второй половине дня педантично-ювелирную работу нормировщика закончить, всё подписать, наряды закрыть, как положено; и — получается: вроде производство не страдает и никому не должно быть дела, что он играет на карачках с половой тряпкой, — ан нет. Не так все гладко, как вы думаете. Бригадники, ну те, кто пряники перебирают, нашли поведение мужественного нормировщика непристойным, оскорбительным. Возмутились. Нормировщик — бугор средней руки, шишка, должен вести себя подобающе, внушать страх, желание заискивать, пресмыкаться. Должен быть в образе и стиле. Кто-то пряники перебирает, кто-то полы моет, а кто-то сидит в отдельном кабинете, нормирует, с туфтой борется, следит, как другие вкалывают. Разделение труда, ориентация на особенности, склонности — зарок роста производительности труда, прогресса. А что мы имеем? Хаос, нарушение субординации. Что он, контуженный? Те, кто перебирал пряники, бросили рабочие места, сгрудились, глазают, как Лепин с иступленно-лиловым лицом, отрешенный, не обращая ни на кого внимания, в мазохистском экстазе устремлен целиком в авантюру: с половой тряпкой елозит по полу цеха, штаны деловито засучены, обнажены покрытые густой шерстью, как у орангутанга, ноги, тщедушно-цыплячи. Да как он с такими хилыми ногами порешил, потоптал Шелкопяса, поди в руках силища непомерная? Драит, выкладывается. Офонарел что ли?

Да кто бы мог подумать, что этот сухарь, арифмометр будет захвачен всепоглощающей страстью? Сгрудились, яблоку негде

упасть. Обстановка сделалась взрывоопасной в социальном смысле. Шустов, начальник цеха, вмиг просек, что дело дрянь (сработал государственный инстинкт), с наскока шуганул было работяг, кончай пое..нь, кому говорят, по местам, быстро! Не вашего ума дело, что здесь творится! Живо! Вкальвать, упираться! В бараний рог согну! Ни в какую. Бунт. Глазеют на Лепина, смех...ки, не уходят. Дорога вниз легка. Разладить производственный процесс ничего не стоит. Никто начальника не слушает. Дисциплина пала, неразбериха, агрессивная вязкость, анархия. Хоть караул кричи. Нависает срыв плана, свинцовой тучей нависает, как неизбежность. Кранты, разгонят. А Лепин: раз и — вновь вернулся в ипостась нормировщика, ручкой арифмометра ловко орудует, наряды химичит. Но мы-то люди, а не автоматы. У нас нервы, общая возбудимость. Не можем так быстро, как Лепин, перестроиться, переключиться, обсуждаем, ахаем, зубоскалим, диву даемся. Так остаток дня и прошел: план — побоку, е..сь он в рот, план-то. Чужая боль, заботы, не наша боль, не наши заботы. Чужую боль никто не чувствует. Что в итоге? ЧП, скандалище. Шустов, начальник цеха, мечется; сбит с толку: его плоский прагматичный ум не вмещает фантастический взбрык ужаленного любовью философа, вчерашнего гегельянца, а ныне феноменалиста-мистика. Как? Что такое? У Лепина душа оказалась не просто теплой и мягкой, как ... (сравнение не находится, забылось), а он по-серьезному сбрендил, с фаллической решимостью выломался из нормы. А это и есть нарушение естественного и заведенного (не нами: нашими отцами) порядка вещей, ослабление организованного принципа, устранение, изъятие его. Хаос. Грязной тачкой рук не пачкай! Форменное и сплошняком идущее неприличие. Срам! А коли так, принимай неотложные меры. Шустов, пример примерных, хотел, как лучше, повел себя, как и должен был вести себя на его месте бывалый в передрягах, зоркий, опытный администратор, умеющий с людьми работать. Надо спасать положение, пресечь безобразие, оздоровить обстановку, вырвать зло с корнем, а больное место прижечь каленым железом. Необходима энергичная мера по обеспечению стабильности и работоспособности цеха. И Шустов выбросил присуху-уборщицу из подсобного хозяйства, чтобы духу ее здесь не было! Лепин ему нужен. Лепин уже стал незаменим, такие на дороге не валяются, а вместо этой петли-поганки другую завтра пришлют, полно их в Каргопольяге, до Москвы раком не переставишь, будет знать, как нашим выдающимся нормировщикам голову дурить, охму-рять...

Ну, а Лепин? Лепин оказался на высоте. Это рыцарь не в стихах, как некоторые, а на деле, в жизни. Его поведение с порога отвергает догмы Шаламова. Трусов плодила наша планета, всё же ей выпала честь! Разумеется, рыцари порою путают обычный медный таз с золотым шлемом, путают по близорукости да еще потому, что наш глаз воспринимает не «наличное бытие», а нечто исковерканное психоидеологией: видим то, что хотим видеть. Дон-Кихоты, рыцари, мушкетеры смело швыряют вызов брутальной, отвратительной действительности, сломя голову кидаются на ветряные мельницы, на помощь тому, кто слаб и не способен сам себя защитить. Лагерная пропись, умри сегодня, а я умру завтра, ими опровергнута: они готовы умереть за Дульцинею, умереть сейчас, здесь, всегда. Георгий Победоносец, символ мужества и рыцарства, спасает от изувера-дракона принцессу. И — Добрыня. Мифы, песни: «Не встретить тебя, я б не был уркаганом». И Лепин таков, одной с ними закваски, одного рода. Да, Лепин, не задумываясь, отринул (тем самым отверг) приземленную шаламовскую догматику, обидную для рода человеческого, отверг фаллически страстно, стремительно, бесстрашно. Лепин таков! Вонмем: страсти по Лепину. Услышал Лепин, что Ирку шутанули на общие, весь так и задрожал от благородного негодования, зрак его осветился внутренним огнем, сделался отчетливо и интенсивно красным, прямо-таки красно-кровавым, страшным, а лицо, обычно серое, бесцветное, стало белым, как бумага; губы сухие, бескровные, зазмеились брезгливостью. С каким ничтожеством мелким, мстительным он вынужден иметь дело! Затем Лепин из омута страсти нежной, сосущей, из бездны скорби непомерной выудил, запулил вдохновенно-пронзительное слово: свершил чудо! Остановил бег солнца, как когда-то Иисус Навин, слово взломало, перевернуло ситуацию. Редко, но и ныне случается. Шустов, его начальник, позже разводил руками, рассуждал, что и сам не понимает, как и почему поддался напору обезумевшего, чокнутого идиота: с бригады, обслуживающей подсобное хозяйство, турнули на общие не Ирку, а Лепина, рыцаря печального образа, умеющего безошибочно и быстро крутить хитрый арифмометр. Так это положено по чину и мифу: рыцарю положено спасать юную прекрасную деву от огнедышащего монстра. Подвиг есть подвиг. Снимем шляпу. И Ирка, виновница опасной смуты, бури и натиска, вышла из воды совершенно сухой, осталась в привилегированной бригаде, где перебирают пряники, в той же должности уборщицы. Шустов наконец очухался, выдал версию, почему уступил Лепину: боялся, что этот идиотик еще в

запретку сиганет или еще что-нибудь эдакое над собою сотворит. Нам хотелось прикрикнуть на Лепина: «Остановись, безумец!» Лучше сидеть в тепле, перебирать пряники, чем упираться на сортиплощадке, куда угодил Лепин: рожками, рожками! Закатай ему в глаз! Эй, студент, не темни! Бей в глаз, делай клоуна! А кто-нибудь обязательно прибавит: — Глаз не п..., без глаза жить можно. Добавка мизерна, но она дает качественный прорыв, ломает душу. На этой сортиплощадке Женька Васяев обрел излишний экзистенциальный опыт, припекло, покорчился-покорчился и — слабосилка, поплыл. Не таков Лепин. Лагерь он начал блистательно, мощно. Теперь самого себя принес в жертву на алтарь любви. Страдания молодого Лепина, ох, ах! Пылкое, нежное сердце, а доски по цепям все плывут, плывут. Это тебе не пряники перебирать! Ты хотел этого, Жорж Данден! А Лепин не пальцем делан, не маменькин сынок, отнесся к новому качеству с терпением Иова, стойчески (Эпиктет, стоик, был рабом, считал, что можно быть свободным, счастливым и в рабстве). Сортиплощадка: риторика цепей, визг, скрип, сплошная какофония, и это коноё....о продолжается десять часов, да на развод, на дорогу на завод часа полтора уходит, да перерыв. Намотаешься за день, крепко ухайдакаешься, и, как гнойный Иов, взвоешь, проклянешь всех и вся. Срок-то у Лепина хотя и детский, но его на параше не просидишь: гудит родной завод, извещает о конце смены, те, кто на бассейне, багор воткнули, к вахте ушли, а здесь всё пятидесятка плывет, еще минут пятнадцать будут плыть доски, в раскаленном мозгу Лепина пошли порхать мелкими крылышками мотыльки, фу-ты, ну-ты, что-то странное с головой, галлюцинации? Откуда взялись эти проклятые насекомые, сколько их, глянь, они быстро выэволюционировались в карликовых лебедей, опять мутация, лебеди, прекрасные лебеди, превратились в ворон да преогромных, каких не бывает, пляшут, хихикают, кривляются, красные языки показывают, дразнят, подобно ведьмам Макбета, толкают на что-то, подстрекают, провоцируют.

Вонмем! Вонмем! Последний парад наступает, еще взбрык, эксцентрический безумный взбрык и! — откроются новые дали: следующий том мировой истории будет лежать на другой полке, а наш том завершается взбрыком Лепина... С распухшей от бесовских наваждений головой Лепин возвращается после трудового дня на благословенный, давно бесконфликтный ОЛП, счастливо живущий под державою лейтенанта Кошелева, и надо же беде случиться (а может, то власть фатума, проявившегося в стечении обстоятельств): как раз когда бригада № 3 заходила на ОЛП,

подзадержавшийся на работе (весь день пекся о благе эков и о выполнении плана) гражданин лейтенант Кошелев, слуга царю, отец солдатам, брел к вахте, брел неспешной походкой пожилого человека, удрученного хроническим радикулитом. Кошелев и Лепин оказались друг против друга; эка Лепин наткнулся взглядом на гражданина начальника, взгляд эка сделался злое..ч, страшен, черен, inferнален, интенсивен, как пламя паяльной лампы, способен по внутренней температуре сжечь и превратить в пепел всю бесконечную вселенную. Моча в голову ударила. Не иначе. Дальнейшее выходит за рамки разумения. Время Лепина! Внезапа, хищная внезапа; кровь забухала в висках: без внешнего повода, спонтанно, как восстание на броненосце «Потемкин», молнией, как суровый ангел мщения, и внезапой Лепин подскочил к гражданину начальнику ОЛПа лейтенанту Кошелеву да хватить его, здорово живешь, за обшлага шинели цапнул, уцепился бульдогом, не оторвешь, в священном безумии вылил чашу гнева: «Это тебе так не пройдет! У меня руки длинные!» «Ты ... — инда поперхнулся от неожиданности гражданин начальник ОЛПа лейтенант Кошелев, словно ему рыба кость ненароком в горло заскочила. Пауза длилась века, прежде чем он откашлялся. — Ты что, с х.. сорвался?..» Все в шоке, inferнальной мухой, укусившей эка Лепина, ошарашены. Это похлеще, чем пушкинское: «Ужо тебе, строитель чудотворный!» Ой, похлеще! Общее смущение, глубокое, глубинное. Известно всем, между нормальным кадровым эком, пусть даже у этого эка детский срок, и вольняшкой, каким-нибудь Лубой, лежит бездна, а тут перед нами — да о чем говорить! — нарушен естественный закон: бесноватый корчится в судорогах, не отпускает обшлага шинели, опять проклятия, опять что-то о длинных руках и о чем-то совсем непонятном: смейся, паяц, над разбитой любовью, что-то из оперы Пуччини. Вот так будет вскрыт нарыв и наступит Апокалипсис, конец истории! Уже наступил: вихрь Апокалипсиса взметнулся до небес, заполнил весь небосвод, глаза на лоб лезут, и, хотя гражданин начальник лейтенант Кошелев, сообразив, легонько, одной левой, стряхнул с себя бесноватого, двинулся к вахте, мы продолжали еще долго стоять, открыв е..... и в отпаде, в страхе замерли наши души, волосы встали дыбом; мы были не в состоянии врубиться в высший мистический смысл событий, происходящих на наших глазах, увидеть, прозреть становление нового. Что-то предчувствовали. Ведь бесноватый, сжигаемый темным демоном безумия, предупредил нас о «длинных руках». А что если в этом есть капля правды? Приливы, отливы — действие луны на рас-

стояния, гравитация? Случайное совпадение, мистика тупого случая? Прежде всего, что ждет безумца? БУР? Этак каждый начнет хватать начальников лагерей за шкуру! Всем казалось — огромный, карающий меч навис над Лепиным. Ведь и за меньшее БУР полагался. Сотрут землители в лагерную пыль. Обломают роги. Увели нашего Лепина в изолятор, увели-то увели, но знать звезды были к нему благосклонны, как скажут астрологи, а мы в смятении пожмем плечами, покачаем головами. Нам осталось диву даваться. Если предположить: начальник комендантского ОЛПа, гражданин лейтенант Кошелев, прочитал в гневном зраке Лепина свою судьбу (и не только свою) и — не решился. Утром рассеялся дым сражения (в головах — сгустился), Лепина выпустили из изолятора, как если бы вчера у вахты ничего такого не произошло. Проехало. Апокалипсис продолжается, да какой! Может и правда, существовал обширный и непуточный заговор (на что-то такое намекает Авторханов в изящной и хитро проаргументированной работе), и эта коварная закулиса охватила своей сетью полмира и наш благословенный ОЛП? Ждали сигнала. И Лепин подал сигнал. А что если Лепин, так умно рассуждающий о кроте Истории, и есть та сила, которая подстегивает события, сдвигает их с места, пронеслась сломя голову гоголевская тройка, тише на поворотах! Эх, берегись, пошла! Феноменально, а по последствиям даже ноуменально. Как в песне: «Но вот сверкнули яйца, и океан затих»...

Вот мы все толкуем о Лепине, о бешеной гоголевской тройке, символизирующей Россию, об Истории, а где наш такой-разэтакий салага, отогревшийся на электростанции после сортиплощадки и ОП, вновь обретший себя, где этот олень, вялотекущая пшизофрения? Как можно было прошляпить поворотный момент Истории? Ослеп? Хорош гусь. Гораций в таких сюжетах осторожничает, мол, «иногда и Гомер дремлет». Нет, Женька Васяев не дремал. Иное приключилось, романтическое, извиняющее. Дело в том, что в эти поворотные, драматические дни на наш славный ОЛП пожаловала культбригада, долгожданная, всегда желанная, артисты, значит, приехали, ну, естественно, и артистки, а это значит и Вера Карташева, прима и приснодева. Кто-то, наверняка то был Альпеец (Гладков почему-то отказался), представил нашего героя замечательной артистке, волшебнице сцены. Еще раз напомним, что Вера у нас девственница, ровесница нашему герою. Нашему чудику уже не девятнадцать лет, столько было в момент ареста, но возраст все еще такой, который ни одна женщина не

назовет серьезным, кроме, может быть, семнадцатилетних дур. И он все еще девственник: мужской лагпункт, баб нет. Остается похоть очей. Ее осуждал апостол. Очень хотелось с Верой поговорить; опасно: глянешь — глаз вывихнешь. Осторожнее, осторожнее. Очень тянуло. Настал долгожданный миг: он увидит ее, сливку культбригады, увидит не в огнях рампы или где-то вдали, идущей на репетицию под охраной надзирателей, а рядом; он сбрил паршивые усики, говорили, что ему не идут, держит на одеревенелом кончике языка комплиментарное слово; в бедном сердце юноши отдаются ее легкие, быстрые, веселые, шаловливые шаги: она — сияние. Опутил религиозно-мистический трепет и страх. Язык отсох — заробел наш девственник, душонка шмыг в пятки, еще учащенное, еще отчаянное забилось сердце, и он что-то малосуразное из себя выдавил, запинаясь промямлил. И — смолк. Цыпа-лапа. Магнетическое воздействие, чара. Когда на востоке светило встает, все звезды бледнеют и тают, как лед: и Рита — юношеская вечная любовь, и Зойка — дива, царица Каргопольяга. Одна она, Вера, неизреченная красота. Восхищение, страх; он видит ее лишь боковым зрением, не решается заглянуть в глаза: богиня, ослепнешь. Он ее не столько видит, сколько чувствует: она улыбается ему, дарит рублем, сказал бы Некрасов. Чудо обыкновенное — его вымученное слово, заикающееся, корявое угодило в десятку: лик девушки просиял. Словно впервые одарена комплиментом, о котором мечтала всю жизнь, как будто она еще не устала от пристального внимания и славы. Улыбка — удар в самое сердце. Колдовская улыбка девственницы, и — наш герой совсем плох, раздавлен ее сияющей, бесспорной, гордой красотой; пыжится из себя что-то выдавить, никак. Ему остается лишь внимать. Благая участь...

Она сходу защебетала, мило затараторила, пулеметная речь без знаков препинания, каскад, шлюзы открылись; причитания громкие, сбилась на свое, личное — тараторит; он — весь внимание, робкий неврастеник, стыдливый; его начинает знобить, как на допросах Кононова в Лефортовке, душа не в состоянии вынести сияния ее лика; а она все гонит слова, захлебывается в них, спешит выговориться, выложить последнее, рассказать о себе, словно сто лет немоты и вот — прорыв к родной душе: изливает наболевшее сердце, а голос нежен — музыка сфер. Исповедь горячего чистого сердца. Слова ее смущают юношу, ранят. Строптивое, гордое сердце девушки, и он напряженно следит за траекторией ее страстной исповеди. Измучена и замучена. Она устала от непрерывной борьбы роковой, непрекращающейся. Каждую

минуту она обязана быть начеку, неусыпно хранить бдительность, чтобы выйти из лагеря без утрат, сохранить себя, свое сокровище, которое природой дано каждой девушке, и нужно уметь блюсти порядок и в теле, и в сердце, а мужики, кобели проклятые, лезут и лезут к сокровищу, ломятся, спасу нет, а тем паче покоя, под юбку лезут, тот же Гладков — ловок, тащит куда-то в укромный уголок, донимает. Одно на уме: лапать, склонить, сломить. И подженимся! А на женских ОЛПах атакуют коблы наглые, отвратные, ими кишат женские бараки. Ее пребывание в культбригаде сводится к непрестанной, непрерывной титанической борьбе за себя. Она ежесекундно отбивается, вырывается, царапается, кусается, лупит всех и чем попадая по их глупым башкам кулаками, пинается, а они все бесстыдней, упорней, настырней лезут, настырничают, рвутся к ее бесценному сокровищу. Она вся в синяках, в страшных сине-буро-малиновых, лиловых, фиолетовых; кровоподтеки жуткие не успевают зажить, на их месте другие, еще страшнее, затвердевают сгустки крови, глядь, гангрена разыграется. Как она ненавидит всех: и мужчин, и женщин — коблов проклятых, подлых. И неистовых ковырялок. Грязь, грязные животные, свиньи, павианы. Одно у всех на уме: ее тело. Отдай им тело на растерзание. Лапать, мучить, обжимать, тискать. А мне это не нужно! Слышите! Не нужно! Хочу что-нибудь чистое! Хочу лазурь небесную. Свиньи, павианы, макаки. Свиньи любят есть из одного корыта. И не с кем поговорить. Некому душу отвести. Только и слышишь: «Верка, подженимся». Ждите, так и разбежалась, легла. Да вы мне мерзки, отвратительны. На ее прекрасном лице — маска отвращения и ужаса. А словоизвержение продолжается, набирает силу. Раз в месяц ее, невинную сардиночку, чуть ли не силком волокут в санчасть, извольте продемонстрировать сокровище, отчитаться; комиссия за комиссией, дотошничают, и Вера сложила руки в трубу, выразительно и наглядно изобразила, как это происходит, как исследуют, как она сидит на гинекологическом кресле, а комиссия изучает в идеальном ли порядке интимное девичье хозяйство и не подарила ли она за это время какому-либо зэку или вольняшке кое-что, а у нашего стыдливого до болезненности юного героя вновь выступили капли на лбу, и он душой шарахнулся в сторону, полез под буфет; уши пылают, не знает куда глаза деть, а она тараторит без запятых и точек. О дрязгах в культбригаде забурлил сказ. И здесь на нее жмут и давят, принуждают к сожительству, и здесь силовые методы, а она тверда, как алмаз, ни в какую, гордо-героически блюдет честь, чистоту, непорочность, смело несет тяжелый венец

девственности, самоотверженно раскидывает насильников, и в этой вечной борьбе смысл и предназначение ее жизни. Страшно залететь в лагерь чистой, невинной девушкой. Никому, врагине не пожелает. Ад! Ад сущий: грубость, хамство, наглость, мат. И высокочтимый Гладков, что вы думаете — матерщинник не лучше этих, всех. А она-то дура в него верила, молилась на него, как на бога. Как не молиться. Небожитель, олимпиец, избранник муз, яркая индивидуальность, бездна вкуса, везде и всюду желанный человек. Да никакая это не индивидуальность, а старая похотливая скотина, грязная свинья, мерзкая. Эгоцентрик! Нарцисс! Самоупоенный, самовлюбленный Нарцисс, целиком поглощенный собою: говорить может только о самом себе, о своих успехах. Притом рассказывает одно и то же, сказка про белого бычка. Уверяю вас, большего эгоцентрика свет не видывал. Похотлив и хитер, страсть как любит обучать молоденьких артисток высокому и прекрасному искусству поцелуя: мейерхольдовский, марафонский поцелуй! И в эту бессовестную скотину я почти влюбила. А потому что неопытная дура! Теперь эту свинью я насквозь вижу. Глазки сальные, пошлые. Стихи, видите ли, преподнес. Ему плохо, одинок. Никто не пожалеет. Никто не понимает. А его понимать надо, эту скотину. Мои ножки ошеломили и свели его с ума. На каждом женском ОЛПе баба, все мало. Любвеобильное сердце. За меня принял. Твоей святости не нарушит поэта чистая рука, а сам, дошлый, коленки гладит, выше, выше ухватистую, опытную руку запускает. Бух на четвереньки, задом толстым виляет: изображает страсть и самозабвение любви. Как скотина, на четвереньках. А слона, слона, как из огнетушителя хлещет. А я, дура, все слушаю, уши распустила. Глядь, бесцеремонен, под юбкой шурует, что-то бормочет о молодом, прекрасном, упругом лоне Истины. Я как заору: «Очки снимите, старый дурак!» Ну — наглец! Ну — фат! Чулки порвешь, беззубый. Противен ты мне. Гадость. На-ко-си — выкуси. И дева-воительница от всей широты девичьей души залепила ловеласу по очкам, очки полетели, описали правильную, весьма красивую дугу: дзюнь сделали. Враз в себя пришел, куда вся страсть, все чувства делись: напускное всё; прозвиздал, как змий гремучий: «Очки!» Съел? Идиот несчастный, чулки новые порвал. Маньяк, лечиться надо. Да, я строптива, не собираюсь стелиться. И не думала! Гнушаюсь я! А душонка мелкая. Окуневскую выжил, за меня принял. Злопамятен. Я вышла на аплодисменты, а — по его натырке, точно! — на сцену кинули страшный этот, моржовый член, гигантский. Узнала почерк. Очень остроумно. Девственницу надо

поразить! Умно. А потом этот член моржовый, гигантский в моем чемодане оказался, в белье. Перепачкал все. Сволочь! Гнида!

Почему меня все ненавидят? Что я им сделала? Опять на гинекологический стул потащили. Подлец! Изучайте, завидуйте! Не ваша! Ваша не буду! Все, все сволочи! Оскорбляете, а я чиста. За годы лагеря уразумела дева-воительница важную истину: если девушка сама не хочет, тверда, силком ее мужику не взять, безнадежное дело, мать-природа дарит невинности акробатическую ловкость, увертливость, силу непомерную. Природа сама себя защищает. «Я делаюсь сверхъестественно сильной, — гордо сказала воительница. — Цепи могу рвать». Ноги враз деревенеют, их словно судорога сводит, закручивает, перекручивает; начинает всю ломать, выворачивать, как в припадке эпилепсии, но то не эпилепсия, а иное. И прилив сил, легким щелчком могу убить, а от моей эпилепсии у вашего брата машинка начинает барахлить, сбои, виснет, гаснет: позор, бегство позорное... Опять откровенности, словно Вера не с восхищенным ею юношей говорит, стыдливым и робким, а с подружкой, трещит, трещит, рисует откровенные картины, увлечена; наш девственник покорно внемлет, а кровь от откровений Веры сворачивается в сыворотку, стынет, стыд курочит душу; а ведь он, ее слушатель, не может и не хочет отделить себя от тех, кого так ненавидит и презирает благоразумная дева-ратница, он, Васяев, не лучше этих пакостников, грязна мужская природа, и у него воображение сверхразвращено, и он готов встать пред нею на колени, целовать, как Гладков, ее прелестные ноги, не лучше он толстяка Гладкова, не бросит он, Васяев, в Гладкова камень, первым не бросит, вообще не бросит. Вечная борьба мужчины и женщины. А сближает ли половой акт души? А если бы Вера-девственница попалась в опытные, безжалостные лапы Куцика и тот отделал ее как следует железкой, то как? Сдалась на милость победителя? Бери самое дорогое, но сохрани жизнь, здоровье. Бери велосипед и — уматывай. А вдруг сияющей деве в критический момент придет на помощь мистика и магия? Легкий щелчок и — всё: машинка испортилась, опозорился, бежать, бежать, нет для мужика большего позора. А крепость остается целехонькой. Благоразумной деве, возможно, следовало родиться мужчиной. Вере чуждо всё женское, чуждо и противно: она по ту сторону секса и Эроса. Ошибка природы? И в Жанне д'Арк, непреклонно-неприступно-строгой воительнице-деве, смело ведущей на французский трон дофина, освободившей Орлеан, что-то было такое-эдакое, и это что-то лишило рыцарей, мужчин-рыцарей, важной потенции, а

тем самым и воли к победе; не зря, поди, ее сожгли на костре, за такое и надо сжигать. И у Куцика ничего бы не получилось, машинка, как выразилась Вера, не сработала бы! Интересно, и Диана, богиня охоты, и Афина — девственницы. Зовите Фрейда, пусть объяснит людям, в чем тут дело? И наш Розанов с пристальным вниманием вглядывался в подобные случаи, коллекционировал их. Жанне д'Арк было девятнадцать лет, совсем девочка. Жене чудилось, что он слышит не только шорох ресниц Веры, но и шорох ее еще не родившихся мыслей, которые сперматический логос еще не прояснил, не оформил в слова, не пробудил к жизни, слышит копошение ее нежных, робких чувств, страхов: чувствует Веру нутром, потому что и сам девственник: наитие, шестое чувство. Сопереживание, вчувствование, стигмация. «Я с вами отдохнула душою», — говорит Вера. Не помнил, как оказался в бараке, как привнес уют, привычным движением взгромоздил бушлат между нар, укрепил; не возбраняется так вешать бушлат правилами лагерного распорядка, надзиратели замечаний не делают. Бухнул на нары, закутав голову телогрейкой. Солнечный удар, сказал бы Бунин. Душа пела цыганкой, оглох, не слышал, что творится в бараке, даже вполуха не воспринял ничего. Так и скovyрнулся в дали сна одетым. На следующий день машинально продул водомерное стекло, хорошо отработано движение руки; отпустил сменщика, зашуровал топку. Перед глазами — Вера, огни рампы — и быстрой ножкой ножку бьет. Заметил наконец, что вокруг какая-то дрянь и мура, спросил; Алексей Алексеевич смутил Женю, поведал о подвиге Лепина, о «длинных руках», о том, что утром Лепин выпущен из изолятора как ни в чем не бывало. Это — да! Ку-ку! Начинается. Вот оно, утро магов! Наш герой впал в состояние эйфорического возбуждения. А все только и говорят о Лепине, лишь он на слуху, притча во языцех. Накатилось, колотун мучает, переходит в пляску святого Витта, зуб на зуб не попадает. Все мы ходим, как очумелые. Пришли в зону, Женя поскакал к Лепину, бегаёт вприпрыжку за ним, как радостная, ласковая собачонка, в глаза заглядывает, заискивает, подлаживается, не отстаёт, как тень, в друзья лезет, весь вась-вась и на цирлах. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Как так и каким образом этот философ-мистик на глазах у всех творит чудеса? Действие на расстоянии? Раскрой кухню алхимии! Зазвал Лепина к себе в барак чаевничать, подлизывается, потчует вишневым вареньем, мама непутевому сынку из далекой Москвы прислала в посылке: чай готов, извольте бриться. На ушах стоит Женя, чтобы выведать тайну, а Лепин скользок, как налим,

уклончив, витиеват, не отрицает метафору «длинных рук», не отрицает, что к происшедшему имеет прямое отношение, но и не обнажает правду и прием — что-то маловразумительное: тезис, антитезис, синтез, генезис, становление. Рассказал, что в молодости Гегель был маститым мистиком и в какие-то там общества входил, но из корыстных побуждений и желания объять необъятное, ухватить целое мира системой, упорядочить всё, утратил мистический дар, который ему был дан сполна, а он, Лепин, не утратил, владеет великим магическим даром, Индией духа, как выразился поэт, умело этим даром пользуется. Что-то намекнул об особых полномочиях «свыше», о таинственном Ариале, он-де лишь ответил на зов свыше, — эта способность откликаться на таинственный зов укоренена в уникальной природе еврейской души, а когда слово становится динамической плотью, оно может не только горы сдвигать, но и действовать на расстоянии; да! масштаб и замах не шуточный, то ли еще будет, жди: не Минаева слушай, а его, Лепина. Еще все увидят его силу и ахнут. Расскажи, раскрой. Договаривай! Не тяни резину и kota за хвост. Открой, декодируй тайну! Ну же, будь человеком. Да не ломай ваньку, не вертись, как кожа на х.., а говори прямо, как ты это делаешь! А Лепин лишь мелкие улыбочки давит бесцветными, тонкими губами. Сфинкс, непробиваемый сфинкс. Непрозрачен, темнит. Да, он, Лепин, знает, как тяжела схватка с материей и хаосом мира. Лишь глубокомысленный отбред. Раскрой ребус! Я понять тебя хочу, темный твой язык учу. В рот буду смотреть. Вместо того, чтобы самому слушать и выбивать из Лепина истину, Женя вдруг воспылал, заявил, что ему все это близко, что и он совершал нечто подобное, посягал на законы материального мира, подчинял их своей воле. Женя выдал сюжет про то, как своей волей изменил ситуацию на бассейне, о Яшке Желтухине рассказал, об увечье напарника, да, в тот момент у него проявились мистико-теургические способности, и он как бы узурпировал божественные прерогативы, создал реальность по своему вкусу, вернул Желтухина на бассейн, а другой напарник получил увечье. Действие на расстоянии. Традиция связывает победу Александра Невского, победу на Куликовом поле, победу над Наполеоном с молитвами святых угодников, которые хотя и находились далеко от поля брани, но повлияли на исход исторических событий. Тайна и вечная загадка. Зачем Женя это всё плел, зачем утверждал, что мистически, ну если не равномогущен, то подобен Лепину?

Лепин утрамбовывает вишневое варенье, что прислала мама, бедная мама (напрасно старушка ждет сына домой!). Остановись,

это не каша! Выжрал все варенье, встал, спасибо Жене не сказал, задумчиво, рассеянно, отрешенно удалился. Вот так. Фома Аквинский на завтрак у короля рассеянно умял омара, один умял, доев, рассеянно произнес: «Свершилось!» История циклится, завихрение. Ничто не ново под луною. В бригаде примитивно истолковали влюбленность Жени в Лепина, решили, что Женя еврей, к своему тянется, к родной кровинке, ну не на сто процентов еврей, фамилия-то русская, Васяев, а так: полукровка, мать еврейка, черненькая, приезжала на свидания, видели: химик, словом, с прожидью. Наш герой чуть ли не месяц числился евреем. Он-то ровным счетом ничего не заметил, отношение к нему никак не изменилось. Версию эту решительно отринул Американец. Вынес властный, твердый, выламывающий вердикт: «Не еврей!», а на: «Это еще почему?» —последовало пиф-паф, очень сильное: «Уши не те!» Точка, внятно, чеканно. Неандерталец, а поди ты, срезал: нокаут. Вот что значит высокий профессионал! Глаз набит, наметан. Пошел против общественного мнения, верил в истинность своей атрибуции. Ну — спец! Не зря, поди, наша обожаемая власть ему четвертную сунула и еще пять по рогам!

Где-то в эти волнительные дни у Жени состоялся разговор с Gladковым, и этот разговор убил всю влюбленность нашего героя в замечательную артистку. С кем было обсуждать Веру, как не с Gladковым! Словом, Женя закинул робкую удочку о талантах Веры, памятуя, что в одном из предшествующих разговоров Gladков назвал ее «гениальной». Зря лез, ответ смутил юношу, расстроил. Может, и называл гениальной. Не помнит. На сцене Вера — одно, ярка; в жизни, вне сцены — другое: банальна, пресна, глупа, дура безнадежная. И —воображала, о себе много мнит. Тщеславна. Рампа ее преобразует, волшебное преобразование, умело и ловко симулирует чувства, все в ней жизнь и все свобода. А в быту — невыносима, кукла, холодная статуя, стерва, лед в сердце, змея. Да, на сцене отлично изображает томление и страсть. Игра. Без аплодисментов не может жить. Рептилия, рептилия и: «Дура, каких мало». У Жени было ощущение, словно кто ему в душу плюнул. Он сменил тему, нарочито сменил, и, будучи настроен на восторг со стороны Gladкова, стал хвастать, каким он крепким орешком оказался для следователя, не по зубам. А триумф в Бутырках! Представляете, ей-ей, не вру: другие на полу лежали, а мне сразу и вне очереди лучшее место предоставили на нарах. Женя ничего не понял. Что же случилось? Что

он такого сказал? Враз испортились отношения, нажил врага в лице Гладкова. Дружба развалилась: наступил ледниковый период, отнюдь не малый. Зачем ты, дура лошадь, хвастаешь своими добродетелями? Твой собеседник, маститый Гладков, может их не иметь! Верочка-Вера! Где ты? Твой образ деформировался. Завтра с утра на работу, а сна нет, злая бессонница, спатушки, спатушки, считать до ста, до тысячи, считать пробегающих оленей, надо уснуть, забыться хоть на полчаса, и лишь когда окончательно и бесповоротно уразумел, что все усилия бесполезны, что как ни считай тусклых, недоделанных оленей, все равно ни в одном глазу, а продолжается пляска святого Витта; после того, как принял бессонницу, ее неодолимую мощь, отдался ей, признал ее полную и безраздельную власть, придется мучиться у котла, изнемогать, как изнемогал не раз в родимой Лефортовке после суровых, с пристрастием допросов, сознание Жени пошло туманиться, заволоклось легкой дымкой, наконец-то его сморил сон: сверзился камнем (куда-то), сон был абсолютен, глубок, небытие естественнее бытия, должно быть небытие, и сон вне времени, не знает времени родной брат смерти (Шопенгауэр). Но вот явились сновидения, признаки живого, что-то неподобающее, что-то амбициозно-запретное, анальные казусы: залез в жопу сом, а за ним налим, и вся рыба за ним, пошла невнятица, абракадабра, затем развернулись подмигивающие фрейдистские дали, что-то вроде банального, скучного сна Попова: подлетел Женя к вахте с баулом (сон, по Фрейд, — осуществление желания: нашему герою свобода корячиться, выходит из лагеря), однако оказывается и смех, и грех, телогрейка накинута на голое тело, спешил, забыл в сумятице надеть штаны; стоит без штанов, голый, голые ноги и не только ноги (сон Попова), а бежать в барак — пропустишь шанс, отверзнутся ворота, всех пропустят, а Женя останется здесь навсегда. Лучше так выйти. Но начинает драть стыд зубастый, стыдобушка отчаянная; как собака стыд дерет; откуда-то возникла Вера, век свободки не видать, красючка. Она берет его за обе руки, крепко целует, у него прерывается дыхание, Чейн-Стокс, губы Веры абсолютно холодны. Она шипит змеей: Пора, пора, проснись, не медли боле, Веди полки скорее на Москву — Очисти Кремль, садись на трон московский, Тогда за мной шли брачного посла. Опять целует, ледышка, поцелуй окончателен, темный властный зов в небытие, в холодную бездну, и его душа на этот раз откликается на зов, тихо, безропотно повинуется мощному зову, подается ему навстречу, спазмы, прерывистое дыхание, Чейн-Стокс от поцелуя, от ледяных губ Веры, и вот страшный

спор жизни с мудрым демоном небытия, самоуничтожения заканчивается победой демонического начала; на этот раз он знает, что Вера — это и есть смерть-смертушка, и тогда, в слабосилке, приходила она, отпустила, сжалилась, погуляй, погуляй, а нынче он ощутил ее необоримый магнетизм, встал пред нею на карачки, как Гладков. Ему представляется вполне естественным и должным, что Вера, дева-воительница, Жанна д'Арк, трансформируется в мальчишку лет восемнадцати, ведь Жанна д'Арк мечтала родиться мужчиной; уже не Вера, а новобранец зеленый, в руках у него автомат, мальчик этот испуган до смерти, от страха он нажимает на спусковой курок, прошивает Женю, как швейная машина; грудную клетку, частично горло, и Женя захлебывается собственной кровью и собственной блевотиной, сознание мутится, уплывает; так просто: конец. «Твой сон пророчески-неясный, Как откровение духов». Сон лучше просекает душу событий, чем явь с ее скучной фактографией и здравым смыслом. Голос: «Смерти нет». Тишина и покой, и лишь на губах осталось холодное послевкусие поцелуя рептилии-девственницы нескончаемое, лед на губах...

А кто-то рвется достать его из небытия, опять столкнуть в кошмар лагеря, Истории; на гопе, между сном и еще чем-то, что и явью, бодрствованием не назовешь. «Химик, сходи поссать!» — то голос Колобка. «Спать горазд», — голос Мити; он же резонно прибавляет: «Проспишь царство небесное». Душа еще в онтологическом предбытии, но уже на пути к самой себе; Женя знает, кто его трясет за плечо, зло трясет — Американец, неандерталец пещерный, бич партизан, его голос: «Умерла насякомая!» Удар грома, молния: сон слетел, ёкнуло радостью сердечко, забилося учашенно, дало свечку. Вскочил, воспарил. Они — други милые — носороги: Женя и Американец, родственные души, корешки, обнялись крепко, по-русски, порыв молодых, горячих, честных сердец; Американец — гитлерюгендец, изверг рода человеческого, увлекательной судьбы человек, издал дремуче-первобытный рык, переходящий в дико-победную песнь-вой (Новалис назвал бы подобный рык полубожественным-полужвериным), в радостном порыве оторвал Женю от пола, поднял, как легкое перышко — неандертальская силица, нерастраченная, мощь питона, экстаз, задушит, так крепка свастика объятия и идеи, и бедный Женя синеть начал — медведь, гориллоид! Исполнилось. Ликуй, фашисты! Ваше время. У Жени на глазах крупный бисер, счастье вселенское, бурлящее, космическое. И Димиденко, самостийная Украина, руку дружбы тянет, жмет, чиста душа у Димиденко,

соседа Жени по нарам. «Хай живе Степан Бандера и его сообщники!» Все люди — братья. Наш праздник. Бей, барабан! Ликуй, змеиное семя! Ликуюем четвертый день. Удар по рельсу. Еще, еще. Троекратно. Жесткая сторона нашей жизни — поверка. Обрыдлый звук, пакостный. Не слышать бы никогда. Надзиратели влетели в зону, разбежались бодро по баракам, гонят нас к репродуктору, нечего на нарах валяться, нежиться. А Женя Васяев — наше недоразумение и многогочие, видите ли, взбрыкнул, не вынесла душа поэта, как краном, его поволокло на подвиг. Подражание Лепину. Да чем он хуже? Из того же теста! И он взыскан и призван Всевышним, шлея под хвост попала, раздухарился, кинул шухерный фортель по примеру мятежного Лепина, закусил удила, ищет авантюру бури и натиска на хобот. У нашего недотепы, оказывается, есть амбиции, принципы. К ногам народного кумира не клонит гордой головы. Хочу быть честным, не лыком шит. Никаких компромиссов, словно кто на хвост соли насыпал. Пушкин вразумлял нас старательно, создал гениальный образ Савельича: «Чего тебе стоит, плюнь да поцелуй у злодея руку». Мудро. Не залупайся. А Женька Васяев стихийно, шумно, как дикое и преогромное стадо бизонов, скатился по деревянной, сильно обледенелой на зиму лестнице (дневальный Савич мышшей не ловит, сбил бы лед, а то и голову запросто можно сломать. Как надзиратели ходят?); шмыгнул шустрым мышонком в уборную, отважно и первым делом спустил штаны, обнажив не жирные, но отнюдь не дистрофичные, поклеванные жареным петухом ягодичы, вполне приличные, ладные полушария. Воссел орлом. Я не парю, сижу орлом. Пушкин? Где? У Пушкина всё есть. Крепок, зол, зубаст архангельский мороз, е..т студента-химика. Небо с овчинку, а мы все одно не сдаемся, бунтуем как умеем, так и протестуем. Дурак, вот кто ты. Кому нужен твой протест? А морозец знатен, роскошествует, находчиво хозяйничает во всю злую ярость зимы, жалит, вызверился, рвет на куски беспомощные и ни в чем не повинные полушария, пробирает. Ой, пробирает! Полундра, спасайся, кто может! Ой, ознобляет. Отморозишь, дуралей, себе полушария, очнись. Живи тихо, без Апокалипсиса. Не высовывайся. Рассказывали: изголодавшийся, безумный ээк завалил на снег маруху, спешит, ничего не подстелил ей, голый зад на снегу, ему нетерпение, а ей какво на снегу, будешь резвой, когда на снегу, что на муравьиной куче, хорошо мужику, всегда сверху, а тут приходится что есть мочи и честно подмахивать, длинна минута, да не одна, вперед и выше, когда ж из него жизнь бабахнет, Бергсон, Библия, плодитесь и размно-

жайтесь, за этим занятием находят в окаменелостях всякую тварь: жучков, паучков, черепах — жуткое чувство сильнее смерти, самец не успевает заветное семя швырнуть, гибнет, не сдаётся, мощный порыв, пронизывающий вселенную. У них порыв, творческая эволюция, а ты-то чего, идиот? Глаза бы на тебя не смотрели! Посинел, время раздвинулось, уплотнилось, как в аду у Данте, не поддается обобщающим усилиям ума, петух во всю старается, подлая птица, злее, чем в Лефортовской тюрьме, в карцере, а здоровье на рынке не купишь. Всё; сил нет, закругляю героическую симфонию. Хотел штаны подтянуть, тут в уборную нагринул страх, сам окаянный Скурлат, старший надзиратель Ланчиков (не сомневался Ланчиков, что никого нет; глянул для порядка): «Падло! Ё...й фашист!» Высокое напряжение должно вызвать сильную молнию: ждет. Скулящий взгляд: больше не буду. Весь съёжился. Будь здоров — сапожище, е...т, кровью харкать будешь, мокрое место останется. Душа нашего героя наполнилась новой искренностью — прошиб понос. Как это кстати. Честная медвежья болезнь, бешеное буйство стихий, в права вступила всевластная физиология, то, что Бахтин робко и нерешительно называл «прозаикой мифа», смущая своих интерпретаторов; и — спасение: надзиратель потерял азарт и кураж, плюнул, не внял зову, рвущемуся из глубин народной души. Может, полезно бы поучить охломона для острастки. Не забывайся! Судьба, как явление смысла, отложила встречу бедолаги с вечностью; погуляй, милок, погуляй, в твоей-то жизни нет ничего лишнего, как в хорошей драме, семя погибели ты несешь в самом себе. Женя клял себя, презирал, продолжал сидеть в позе удобной, ладной для крепкого удара сапога. Ты, протопоп, упрям. Еще сильнее уплотнилось время, Эйнштейн приехал в Токио, но — отбой, звук надолго завис в воздухе. Годить давно нет сил, спех, первым делом подтянуть портки, рвать в барак из обжигающих холодом объятий девы-воительницы, рептилии. К людям, в тепло. В сосульку превратился, руки не слушаются, отмерзли, того гляди совсем и вовсе отвалятся, не получается никак застегнуть ширинку, слушники, чужие, ладно, потом, не на бал, чай.

Выбежал, выскочил из уборной, глянул, ну — пленер: за уборной запретка, девственный снежок, приснодева, сияет, сверкает, искрится, переливается всеми цветами радуги, как Люциферово крыло; куда ни глянь — вышки, вышки, они отнюдь не портят пейзажа, даже делают его сказочным, не вышки, а волшеббно-сказочные избушки на курьих ножках, замысловато-ажурных, утилитарная сторона, понятная каждому ээку, сочетается с

эстетической; на выпшках — попки, охраняют нас, фашистов, от гнева народного, мерзнут попки, так вам и надо; если дальше глянуть — новая, отремонтированная столовая с умопомрачительной колоннадой, проект ее, говорили, подан на Сталинскую премию. А что тут такого? Будет премия — Тальберг, автор проекта, уйдет из лагеря. На это весь расчет. Лучшее создание деревянной архитектуры XX-го века. В лагере Гениев хоть отбавляй. Кто великую теорему Ферма докажет, кто готов отыскать (знает где) 10-ю главу Евгения Онегина, кто изобрел прибор, позволяющий преодолевать гравитацию, кто знает, как создать оружие, более мощное, чем атомная бомба. А пока — колючей проволокой наш лагерь обнесен, и она покрыта инеем, напоминает затейливые финтифлюшки растительного орнамента. Изолятор — радушный, вневременный символ цивилизации. Знай — край. Вокруг и рядом с уборной побитый ночью снег — типичная картиночка. И на всё это солнце-личина, волчья свекла, злое.....я, вырви глаз, льет холодный, вычурный, inferнально-неестественный свет, распустило дикобразные космы. Небо какое-то белесое, как скверно стиранные зэчьи кальсоны, давит неуютностью. Вдали — лес, чернеет. Мы его не сажали. И пилить не хотим. Всё в таком ракурсе. Эдакая трехмудия: Земля, по учению Коперника, ходит вокруг беспринципного Солнца, ходит-лётает в холодном мраке, меняются времена года, зима — лето. А у нас ничего не меняется! Ставшее, изолятор, господствует над становлением, перспективно обеспечивая господство результирующего вектора, заданного репрессивным законом культуры. Идиот, лети в барак! Не глазей! Он уже в бараке. Шалимов, дневальный, предусмотрел, очень кстати, кипятилок. Хватил кипятка, шмыг под одеяло, укрылся телогрейкой, а сверху еще и бушлатом. Это там в Москве — чуть что: ангина, грипп; за зиму несколько раз гриппует. Здесь климат лучше, терпкий здоровый еловый дух. Лес вокруг. Но я его не сажал! С тех пор, как побывал в ОП и вырвался из лап ее, той, что в белом, не болел ничем, не знает, как в санчасть двери открываются. В ночь — на работу. Идея! С Ульманисом стоит. Как? Сгадаем? Отметить надо. А то! На паритетных началах. Куркуль ты, жмот! Закатим пир. Пир на весь мир. Пришли, отпустили смену, погнали бесконвойника-шоферу за горючим. Обязательно коньячка. Нечего жалеть подкожные, армянского подавай нам, фашистам, самого лучшего. Кутить так кутить. Сдожим. Мама, бедная мама, еще пришлет денег. Финансовый тыл у нашего героя прочен. И лимончик будет не лишен. Сахарок — растолочь требуется. Текст, текст начинается:

трудное место, прогрессивно мыслящий читатель очень даже смутится, узнав, как жили ээки в лагерях. Жирно жили. Не во всех, наверно. В магазине поселка было чем полакомиться. И дешево. Все плоды земные невпроворот. И лимоны, и ананасы. Чего только нет! И коньяки любые, янтарные. И — даром. Не только у вольняшек, и в лагерном ларьке ассортимент богат, всяческая снедь на полках: масло, сало, кефиры, разные консервы, шпроты, осетрина в томате, сыры, колбасы. Ну и неизменные крабы тихоокеанские. Когда-то их завезли, еще в 49-м, все никак не съедим. Не очень крабы идут, питательности маловато, пустое. Были бы деньги. У ээка, конечно, в кармане блоха на аркане, но раз-то в месяц он может позволить себе праздник, побаловаться. И — позволял, подлец.

Не успели наши друзья, Женя и Ульманис, оглянуться, подготовиться, а ловкач-шоферюга приволок коньяка три бутылки и закусь, нежнейшего осетра в томате, очень недурно законсервирована осетрина. Сгодится, можно каждый день есть, как картошку, не надоедает. Цена отнюдь не кусается, каждую весну снижаются цены, и это очень чувствуется. Волшебен звук открывающейся бутылки, не сравним ни с чем! Шоферу набулькали стакан, норма. Давай, хлестани от наших щедрот. Утощайся, закусь что надо. Угодно — осетринка. Все у нас есть, бацилла всяческая. И — навалом. Противень картошки, на сале поджарена, хавай от пуза: мы сегодня добрые, угощаем. Кутим. Наш праздник. Не ваш, вольняшки, сучье племя, а наш. Шофер выдрессирован, на чужой каравай не больно рот разевает: знает меру. Хлестанул стакан, да, коньяка, пять звездочек; вы скажете, его рюмочками коньячными пить, э! пустое. Не учите нас жить. Нам не до мерехлюндий и хорошего тона. Мы — сами с усами. Шофер, пьянь, дрянь человечешко, вся шоферня такая. Ну — выжрал стакан, ткнул в противень, поддел картошку, осетринку в томате попробовал. Отвалил. Ветер в спину. Катись колбаской да будь осторожен, не выдавай нас в канаве, Ванюха, х... тебе в ухо, не гони машину! Себе честно, аккуратно разлили, не торопятся, ночь впереди длинная, сдвинули разом: динь-дзинь! Красиво. Пригубили, по-смаковали, опрокинули. И первый глоток, и второй с придыханием принят. Обожгло, лимончиком снят ожог. Добро. Внезапный мрак, затем светящая тьма и — наше вам с кисточкой: целостное, прямо-таки религиозное восприятие мира. Мир прекрасен! Незабываемый эффект первых ста грамм! И стало неизреченно хорошо. Продлись, продлись, очарование! Мягко, ласково коньяк. Ульманис в сердечном порыве сентиментально вдыхает

пары чудесного напитка; поэт Ульманис: коньяк у него оказался «нежен, как девушка». Каждый зэк у нас Гомер. И лирический, и эпический. Во всяком уж случае: в душе. Пушкин — распространенная кличка блатного мира. Двинули еще по одной, еще махнули. Нектар, живительная влага, душевно, славно пьянит. Потчуем друг друга. Быстрыми веселыми стаканами опорожнили первую и вторую бутылку. Ублажаем себя, смакуем. А то! Закусь бацильная, царская. Тресковая печень — очень в жилу. Непременная осетрина в томатном соусе. И это все с жареной картошкой. Услада. Ешь — не хочу. Ой, утети. Наш день. Ульманис всё на осетрину нажимает, утрамбовывает ее, прибалт, он, как кот, рыбу любит, они все на рыбе помешаны, как и наши вологодско-архангельские трескоеды, мечтающие об отделении от России, Яшка Желтухин любит сдвоить: «Мы не русские, мы вологодские». Испокон веков чухна бросала свой ветхий невод в неведомые воды. А что станет с Россией, если Лепин окажется прав: оттепель, весна, лагеря распустят? Все по домам? Лучше не загадывать. Как-нибудь. Сдвоили лагерь. Сдвоим и весну, тихо, мирно разойдемся по своим баракам. Ульманис рассказывает (уважь, слушай), что армянский коньяк очень Черчилль почитал, возлюбил его страстно, а у Черчилля губа не дура. Ящиками заказывал, и плывут эти ящики с первоклассным коньяком по балтийским волнам, к ним, в Англию. Правь, Британия, морями! Черчилль большой гурман, ой, гурман! Языки наши стали чуть заплетаться, а в глазах слезы, слезы счастья. Не знаю, ой, не знаю. Петь охота, горланят, запузыривают, искренние голоса, разливанная радость: «Химия, химия, вся залупа синяя». Они рвутся переорать, перекозлить какофонию пяти локобилей, пова vita: разгулялись фашисты. Ульманис — под завязку. Женя оказался крепче, приходится и за кочегара рожками шуровать время от времени топку, на водомерное стекло поглядывать, регулировать насос и за машиниста. Как-нибудь. И Ной в переломный момент мировой истории надрался, стелька, стыд из портов вывалился, возраст весьма и весьма, пятьсот с серьезным гаком, тогда крепкие были, долго жили, не то что нынешнее племя...

Пришла, наконец, дневная смена; опоздала, как всегда. Идут в зону. У Ульманиса вестибулярный аппарат, который где-то в голове, шибко забарахлил, сбои дает. Заносит Ульманиса всё на левую ногу, хромота вылезла, припадает, не слушается нога, автономна, гуляет сама по себе. Не засыпался бы на вахте. Ульманис у вахты пошукал в закромах души последние силенки,

собрал волю в кулак, вдохнул в добродетельно-протестантские легкие воздух, умело задержал дыхание (если у вас есть воля, можно не дышать сколь угодно долго: Диоген, задержав дыхание, заглотив язык, оборвал жизнь), — разило, как из винного погреба, поднатужился, сделал бесстрастно-деревянное лицо: маска (у прибалтов значительные, топорно-деревянные лица), неуклюжей медвежьей походкой на ватных ногах заковылял на надзирателя, в доверительном, простодушном порыве распростер тяжелые медвежьи руки, предварительно расстегнув бушлат: шмон так шмон, положено. Надзиратель похлопал его по бокам, для проформы, небрежно и невнимательно, холодно, да и им, надзирателям не до нас, у них свои думы, жди новаций, ослабления режима, а значит под нож угодишь. Строгость нужна, строгость и строгость. Другого языка подлец-зэк не понимает. Проскочили. Ну — планида! В зоне. Потекла ребятня по ОЛПу, кто куда, в основном валим в столовую, а кое-кто в барак, что-нибудь в столовую захватить, сальца, припустили в разные стороны, как наглые, быстрые тараканы. Можно вздохнуть, расшнуроваться, расслабиться. Два шага сделал Ульманис, почувствовал себя отяжелевшим, больным, развезло, повис на Жене. «Хоть ноги как-то передвигай!» Фу-ты, ну-ты. Передвигай протезы! Через «не могу» дотащились до барака, и тут дело застопорилось. Ни в какую, а надо вверх по лестнице, обледенелой. Заваливается. Что делать Женьке? Не оставлять же в беде товарища, как у Джека Лондона поступает «косоглазая сволочь». Вместе пили. Свалится, замерзнет. Пьяные легко замерзают. Оказывается, ему по нужде, мочевой пузырь того и гляди лопнет, резь, почки здорового организма стремятся вывести излишки алкоголя, умно и чудно всё устроено в человеке, есть и опасность, не донести можно, с кем грех не случался, дело житейское. Так. Сиволапый Ульманис опять наладил волю в кулак, похилился в уборную. Женя остался ждать. Не идти же с ним. Справится, не маленький; да и не нянька ему, не напоминать же тебе, моя радость отменно цивилизованная, не забудь ширинку расстегнуть, хозяйство извлечь; непоседа Колобок непременно в таком случае сыграл бы с косолапым прибалтийским зверем злую шутку в духе Саши Ганкина, ей-ей. Сколько ждать можно? Чего он там делает? Уснул? Нет и нет Ульманиса. Что за напасть? Придется, а куда деться, разве-дать.

Взору его открылась выразительная, знакомая с детства жанровая картинка. Всё нормально: тело Ульманиса, подкошенное алкоголем, возлежало на полу уборной. Неприглядная стелька,

ну — настоящая Россия! В этой уборной наш герой вчера в откровенном полоумии подражал Лепину, во всю прыть фрондировал, потянуло на подвиг. Видать, латыш поскользнулся, потерял равновесие и — сыграл; а встать не может: отключка дохлая. Холера тебе в бок! Только этого мне не хватало! Возись. Здоров буйвол. Женя дернул латыша, тот рванулся, что-то промычал, нет, попытка подняться не удалась, бес шуткует: опять отключка. Что делать? Душу за други своя. Женя готов с ним возиться, помогать. Нет, латыш намерен сам подняться на ноги, с рьяной страстью выполняет попытку — неудача; еще тщится, тяжело дышит, вновь на полу мертвецкого ползуна изобразил картинно, распластался в виде латинского креста, руку левую сильно окровавил о густопсово-готические устремления, исправно бабахаящие вверх из черных дыр в дырявый потолок, в пустое бесконечное небо, перепугавшее пустотой неврастеника Паскаля: нерукотворные сталагмиты, бесподобно-причудливо выросшие за зиму, результат злых стараний, интересно оформлены дедом Морозом, напоминают великолепный Петропавловский собор в Ленинграде с его невообразимой, неумолимой, сверкающей, ликующей иглой, отчаянно стреляющей в вечное небо, дырявляющей его в готической истерике: на ваших глазах смело творится игровое вертикальное пространство. Вверх, непрерываемо вверх! Так помоги латышу. Сердечный привет! В чем дело? Ни в какую. Сам. Не желает Ульманис, чтобы ему кто-то помогал, чтобы кто-то другой вывел из безнадежно-дохлого положения. Могу не пособлять. Сам, так сам. Твое дело. Заядличай, очарованная душа, валяй, старайся. Мне лучше. Самообслуживание. Тщится Ульманис подняться, тщетно, не получается. О, горе ты. Дай пособию, вместе, как-нибудь. Опять грохнулся, вновь оказался в том же плачевно-жалком состоянии. Не сдастся, стоит в мрачно-динамической правде (физически: лежит, дохлое дело), себе в ущерб упраздняет помощь товарища, распластан в уборной, хорошо, что моча замерзает: лед. Еще один порыв, попытка, бурный хорал Лютера, бездна упорства, спор с судьбою, с ее логикой; Запад, удавшийся Запад, русак давно бы капитулировал и в глубоком отпаде преспокойно замерзал, уж во всяком случае не отказывался бы от помощи, а латыш что-то кому-то доказывает, бубнит шурум-бурум (то по-ихнему), сердито, что-то отчаянно-непреклонное, принципиальное; порыв и — хряк, всё без толка, всё завершается конвульсивными рыпаньями конечностей, тело обретает прежний безрадостный ракурс латинского креста. Существует ли какая возможность пособить ближнему, с которым

пили, когда тот упраздняет и не приемлет чистосердечную помощь? Что-то туманит Ульманису мозг, мешает признать поражение, принять постороннюю помощь. Нам не понять. У Лескова есть рассказ «Железная воля». Не об этом ли? Схлестнулись в смертельной схватке дух с плотью. Дух силен, плоть немощна. А ты, русский, оскорбляешь его своим присутствием, оскорбляешь, как свидетель немощи его духа, унижаешь. Вот так. Граница между добром и злом раздвинулась до невозможного и непонятного. Пьяная бредятина? Ложный принцип? Удручающий кантовский императив? О чем? В чем тайна Европы, тайна гордой фаустовской души? Зачем так упрямо кураж держит, не сдается? Злитя, укусить готов. Вот вам бунт свободного, удавшегося Запада против вязко-мутного неподвижного Востока, против Руси. Так-то так, но в чем подошлека сей вычур и мути? Объясните! Ждем. Нам, русским, этого не понять. Темный лес. Что там в их воспаленном мозгу? Крестовые походы, готика, парламент, свобода? Окорябал руки, кровь, а не успокаивается, линию гнет, утомониться не желает, а вестибулярный аппарат вовсе сдох. Прими руку помощи. Ну, бывает. Не дури. Отбрыкивается латышская сердитка, злобится, словно Женя ему первый и главный враг, словно Женя задался целью нарушить важную иерархию ценностей, их западный, космический порядок. Выкрутасы переходят всякие границы, дико, отчаянно брыкается, живая голая эмоция, а в помощи ближнего видит издевательство, отчуждение важного принципа, на котором покоится западный мир. Исступленный, романтический конфликт с действительностью, упорствует в идеализме, а силенок подняться на ноги нет. Полная самоотдача, впустую, рецидив, еще рывок, снова-здорово пластина безнадежного выдал, исходная позиция, крестом распластан, распят, окорябал руку на лютых, бодливых готических шпилях, окровавил вконец, спяну не замечает, анестезия, на своем бубнящем языке что-то старается выразить; слова непонятны, язык заплетается, мычит, пугающее мычание, мычит агрессивно в бессильной злобе. Сам! Сам! Беса тешит. Диалектика трагического отчаянья, тот редчайший пошиб, когда миф способен победить, задрать реальность. Гвардия погибает, но не сдается. Великая этика протестантизма сформировала новый тип человека, упорного, настырного, со специфической ментальностью, пугающего Азию. Новая попытка подняться, еще один благородный порыв, властно-спиритуалистически-агрессивный, как захваты-вающие душу формы готики: дух рвется вверх, Макс Вебер, ну, чистый Макс Вебер!

Тут наш герой, мысль которого до этого шла в фарватере тривиальщины, как бы прыгнул выше своей головы, проник в бунтующую скомканно-косноязычную абракадабру Ульманиса, разгадал смысл причуды, смысл мычания, понял, почему ему, Жене, возбраняется подать руку дружбы. Женя дико и неприлично захохотал, постигнув «вещим оком» (выражение Гёте) идею: мозг его озарила молния благодатно-радостного проникновения. Ульманис долдонит: «Я не такой, как русская свинья!» Каково! Риторический перл. Горе сердца! Чудный загадочный мир западного человека! «Мой милый, как же я тебя люблю! Не такой, не такой», — уговаривал, успокаивал Женя. Балтийская гордость, подлинная, усредненная протестантская этика, упорство; и эта замечательная этика способствовала становлению нужного для победы и жизни типа людей: упорных, смелых, свободных, создавших великую европейскую цивилизацию. Родной ты мой, дай я тебя поцелую. Другой ты! Не русская свинья, нет! Свободная Европа, страна святых чудес, а мы свиньи, русские свиньи, пьянь, темная, вечная, непробудная; дорог, дорог ты мне в этом чистом искреннем порыве, вошел, навсегда овладел моим сердцем, поклон тебе, Европа, не один, а три. С чувством, с каким Версильов целовал святые камни вечного города Рима, Женя влетел в барак, кликнул задрыгу Колобка, в темпе и без дураков подхватили вдвоем упрямого, непокорного Ульманиса, поволокли; ах, нашта-тырного бы спирта, в шапку да в нос, на ноги бы можно поставить, а то тяжел, буйвол, рьяно бунтует, всё противопоставляет высокий идеал пошлой действительности, волокут сиволапого дьявола, куль-кулем, втащили в хоромы, то бишь в четвертую секцию барака, где механизаторы, взгромоздили его оскорбленное достоинство на нары, благо нижние нары. Дюж прибалтийский куркуль. Огромен. Центнер с гаком, хорошим. Благополучно, нравоучительно. Так завершились счастливые деньки для Женьки Васяева, пылкого юноши. Раны на сильных, грубых руках латыша, напоминающие зияющие стигматы святых угодников (восточная церковь почему-то с недоверием и подозрением относится к подобному выражению святости), быстро, прямо на глазах, как у фокусника в цирке, затянулись. Ничуть не гноились. В старину-то экскременты использовались для врачевания ран: народная медицина — дело верное. Не забывайте, что и пенициллин готовится черт знает из чего, какой-то грибок, рвотная отвратная плесень. Потрясно. Это открытие робкого, вдумчивого, наблюдательного Флеминга. Как это Флемингу в голову взбрело, что сей рвотный грибок можно использовать для врачевания?

То были иступленно-горячечные деньки, но они миновали, вот уже месяц прошел с тех пор, как Лепин продемонстрировал «длинные руки», поучив гражданина начальника ОЛПа лейтенанта Кошелева, а у нас на поверхностно-эмпирическом уровне ничегошеньки не переменялось. Лагерь догматствует, как и ране. А мы-то надеялись. Видать, сущее не слишком восприимчиво к новому, к гераклитовскому становлению. Развод. Ни свет, ни заря. Мы разбираемся по пятеркам, конвой раскручивает обычную канитель, напутствует, шаг вправо, шаг влево считается побегом, предупреждает и напоминает, чтобы не очень забывались, а мы, как завелось, дружно, отважно, молодо, агрессивно-задорно, даже нахально лепим в ответ: «Понятно!» — «Следуй вперед!» Гиблое, тусклое, бесформенное, как медузообразное желе, настоящее. А как хочется движения, кинетики, господства становления над ставшим! Но вот — твою мать! — хлестануло. Сила невообразимая, ярче тысячи солнц, ярче всех Хиросим: амнистия! Жопа! Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. С неба звездочка упала прямо на х.. петуху! Жареному? Тряхануло. Сабантуй. Весело было нам! В зобу дыханье сперло. Берегись, пошла! Бабах и мимо. Однако: в Указе есть волнующие, задирающие душу и насовсем пронзающие ее слова, и мы, фашисты, в замешательстве и остоленении, с жадностью хлебали их: «Признать необходимым пересмотреть уголовное законодательство...» А? Каково? Не терпится понять, что сия торжественная шарада, излучающая мощную магнетическую энергию и приводящая к самозарождению параш, значит? Ума не приложишь. А ведь неспроста! Ведь в Указе каждое слово сто раз выверено! Вдумайтесь, вслушайтесь! Клио, дочь Зевса и Мнемозины, муза Истории, ее изображают с грифельной палочкой в руках, она косноязычна, ее посулы неясны, символичны, полностью, как бы хотелось, не феноменологизированы, недоовоплощены, паллиативны. Конечно, вольняшки, эта нелюдь, не соизволили даже внимательно прочитать обжигающие слова. Где им! Но мы, фашисты, схватили наживку, слух-то у нас обоетрен, ну и зрение, мы подвергли их глубокому всестороннему юридическому, лингвистическому, философскому анализу и извлекли из них максимум информации и смысла. Мы ухватились за посулы, толмачим их и так, и сяк. Ах, что вы! Ах, бросьте! Мы живем по кодексу 27-го года, устаревшему, пора менять, давно, особым чутьем, спинным мозгом сознаем, что кодекс (Новый!) должен быть облегченным и соответствовать требованиям жизни. Наш паровоз летит вперед. Приди, приди ко мне, желанная свобodka,

я обогрею тебя ласковой рукой! Да, мы, фашисты, прокляты, отвержены миром и обществом, но зерно милосердия ведь может прорасти и в абсолютных глубинах проклятия? А почему бы и нет? Вот тут-то и вдруг мы осознали, что опять Лепин нас объегорил, что он один по амнистии идет на волю (пять лет, детский срок, попадает под Указ) и, распустив «длинные руки», он греб под себя. А, право, молодец! Ловкач! Смотри, да это похлеще трюка барона Мюнхгаузена, схватившего себя за волосы и вытавившего себя из болота! Всё можно объяснить жутким везением, случаем, стечением обстоятельств. А это и есть чудо. В такой день не к лицу нам, остающимся в лагере, кручина. Во всю стараемся. Без Колобка, разумеется (а то!), не обошлось, здоров на импровизации, выдумки — артист, комик; чего его не берет Гладков в культбригаду? Скоморох-затейник, дар. Смеху-то. Во! дает мудило грешный, художник истинный. Стол, что обычно в курилке, перенесен на середину барака, на столе — Колобок, голый. Свет в бараке вырублен, мрак тьмуций. Скоморох стоит раком, время от времени выпускает густую, привычно-мощную струю газа, Алексеев успеваает поджечь, чередает тьмы и пламени, шпукарство доведено до мастерства, лад и артистизм. Зеленова-то-голубое пламя, демоническое. И как бы из ниоткуда: «Да будет свет». Свет во тьме светит, и тьма его не объяла. Далече грянуло «ура!», самозабвенный, радостно-самозабвенный гогот, восторженно-захлебывающийся. Поросячий визг, галдеж, телячьи восторги; бесовские скакания Колобка. Опять голубое пламя, ор, слезы. Нам сидеть и сидеть, амнистия прошла мимо нас. Мы — несчастные сукины дети. Робя, не трусь! И мы визжим, заходимся в безумии, доходим. Алексеев умело подладил, поспевает, Колобок хорошо держит дьявольское пламя. Зрелище захватывающее, ей-ей, тяжелые думы забыты, рвем животики. Игра, представление — бальзам на раны. И наш приснопамятный герой, Женя Васяев, захвачен чудным, засасывающим зрелищем, которое сняло боль, действует, как обезболивающее, пурген, катарсис, до коликов гогочет, заходится смехом утробным. Он когда-то, забыл когда, на химфаке МГУ учился, там есть специальные сероводородные комнаты, лаборатория качественного анализа, вспомни. В осадке лев! Россия, матушка Русь, очнись! Шабаш, дурдом! Босх, ад. Никакой не Босх, здесь русский дух, здесь Русью пахнет, а смысл и суть мистерии, как всем известно, нельзя уразуметь, если в ней не участвуешь, лишь тупо со стороны глазеешь. Мы серьезные люди, долгосрочники, фашисты, насильники, убийцы, душегубы. Ночь бесконечно темна. Так горько и

обидно, когда правительство навстречу не идет! Волком душа рвется выть. А не надо совершать преступлений, и вы не будете сидеть в лагере.

Весна, весенние ветра, сквозняки, параша. В Каргопольлаге ряд ОЛПов ликвидированы, стоят пустые бараки, к нам, на комендантский, пожаловали Рокотов (новое имя, будущий миллионер, в хрущевскую эпоху о нем услышим), Магалиф (тот самый), Бирон (ах, Эдик Бирон, так с ним наш герой сидел в Лефортовке: «Юноша бледный, со взором горящим», — эй, молодая Россия! Кузьма! Кузьма. Кого я вижу, Васяев!). Эдик Бирон легко вписался в избранный круг, окунулся с головой в затеи и азартные парламентские игры, ветер, ветер на всем белом свете, а мы играем, свистопляска. А тут еще это, ой, опять фантастика: в «Известиях» напечатано послание Эйзенхауэра русскому народу (ну и другим народам СССР) — такого не было, и мы это послание до дыр зачитываем, каждое слово мусолим, взвешиваем. Ум за разум заходит. Сенсация. К чему бы? Минаев вдохновенно и с большим подъемом интерпретирует послание Эйзенхауэра, да это и есть долгожданный ультиматум — дух захватывает, кровь стынет, все эти годы мы ждали этого события. Вот оно, перед нами! Мы смущены очевидностью. Что-то вроде этого уже говаривал Минаев и раньше, в частности, в связи с освобождением Куцика; мы отлично понимаем, что политические прогнозы никогда не бывают абсолютно точны, какими являются вычисленные математиками-астрономами затмения солнца. Да-с, таков текущий момент, и наше служение истине не напрасно. Блаженны изгнанные правды ради! Минаев, вдохновенный кудесник, ласково оглаживает фактурную, импозантную русую бороду, побитую слегка сединой: честная борода, прямо скажем, ортодоксальная, полностью лицо закрывает, всё же по неуловимым признакам очевидно, что лицо лоснится тысячу ямочек-улыбочек. «Что я говорил! О, мои предвосхищения! У меня абсолютный политический слух. Нужна беспрецедентная орлиная зоркость, чтобы это все предвосхитить. Данте полагал, что нужно три глаза, чтобы видеть одновременно настоящее, прошедшее и грядущее, все три цвета времени. Тяжко быть Кассандрой. Эх, малoverы. Коллективное руководство, крыловское трио: лебедь, рак да щука, неспособно к энергичным, волевым действиям и быстрым реакциям. Всё не согласуешь. Во внешней политике нет целевого вектора, одни зигзаги. Теперь: или уступи, или большая война. Первым требованием США будут права человека, ликвидация лагерей рабского труда. Позор: раб-

ство в двадцатом веке! Ложь, скверна, насилие. Все акценты расставлены, мысль послания проста и титанична. А какие перлы: «человечество, распятое на железном кресте»! Как? Звучит? Я благодарен американскому президенту, что он через голову правителей, через голову этой шушеры, обратился к нам. Высота, дух захватывает. Впервые выступление американского президента полностью публикуется в нашей прессе — это что-то да значит. Там — паника. Запаникуешь, узнав, что «противник будет уничтожен мгновенно и жестоко». Сим победиши! Политическая воля, зрелость, мудрость. Каждое слово взвешено, выверено. Текст наверняка готовил Даллес. Ку-ку! Наш человек. Не зря его называют не иначе, как «поджигатель войны номер один». Так окрестила его трусливая псиноголовая коммунистическая пресса». Минаев в ударе. Мы ему внимаем, энергия мысли Минаева передается нам. Только война! Глупое сердце, молчи. Так, не иначе.

Подошел Эдик Бирон, зоил вреднощий; на нем завидный форменный пояс пожарника, видать, на «отлично» сдал экзамен. «Эй, пожарник, когда сахар будут давать? Читал «Известия»? Бирон отличился: прикинулся, что не понял, о чем его спросили, напялил маску недоумения; ну мы растолковываем о чем разговор, мол, обсуждаем послание Эйзенхауэра, взволнованы. Ожидаем манны небесной. Переломный момент истории: или-или! «Шутить изволите!» — Бирон за словом в карман не лезет, он в роли Мефистофеля, уловив, что мы заодно с Минаевым и серьезно восприняли послание генерала Эйзенхауэра, дерзает выдать крендель, сбить пену, испортить обедню. Трубный глас? Ультиматум? «Николай Михайлович, побойтесь Бога, вы же умный человек! Вы что, дальтоники, синих груш объелись? Ослепли?» Ворон каркает. С откровенно-сладоэротической беззаконной улыбочкой Бирон цедит яд по капле — что в послании Эйзенхауэра нет ничего заслуживающего внимания, а подоплекой писания является «нездоровое стремление к миру». К миру любой ценой. Второй Мюнхен. Американцы не хотят воевать, не хотят и не могут. Большевики непобедимы! Да, его, Бирона, не нужно убеждать, что эта система отвратительна, жестока и бесчеловечна, да, да! но она имеет отличную историческую перспективу, за нею будущее, и все проникательные люди Запада связывают с ней свой успех. Да, свободный мир, Европа, прекрасны, но старый мир, как сказал поэт, а наши поэты провидцы, томится «в муке сладкой», обречен на неминуемую гибель, на исчезновение и небытие. Силы зла, тьмы, большевизма победят, а Запад подни-

мет лапки и сдастся без борьбы, и это не за горами. Наступит новый мировой порядок, подомнем под себя Европу, растерзаем и слопаем со всей их фантастической техникой. Бомбы они никогда не бросят, кишка тонка. Так говорил Бирон. Кинжально. Звезданул «серпом по яйцам». Отстрелялся, всем видом показывает, что диалогическое общение с нами тяжело и бесполезно. Что с дураками, то есть с нами, говорить: скука, беспросветная скука...

А Минаев, наш вождь и наш президент, заклокотал, на наших глазах преобразился в преогромного индюка. И не мудрено: в словах Бирона было циничное оскорбление, неуважение к сединам, к старости и мудрости. Обнаглела молодежь. Словно кто-то крикнул Минаеву: «Фас!» С цепи сорвался: пошел поливать крепким словесным дрыном. «Щенок! Недоносок! Комсомолец! Да ты еще в люльке качался, а я уже в лагере сидел». Дальше — больше. Слово за слово, затягивающаяся удавка, пошла густая зернистая феня, в ухо-горло-нос, буря мглою небо кроет, разящая наповал сказуемость; задал Минаев шороха. Трам-бам-бам, кордебалет. Скандал в благородном семействе. Вот поднимается наш вождь и запевала, красивый статный старик, рост-то рост, вот бы кому пошла и была впору генеральская папаха, воспетая Мазусом; спина прямая — офицеродность, старая закалка; громовая туча с богатыми внушительными молниями, я те дам; Зевс Громовержец. И всё это надвигается на Бирона, и Бирон дрогнул, хоть и не робкого десятка, за свободное слово можно и по шикарной вывеске словить. Бирон сунул руки за ремень, пытается с достоинством, не потеряв лица, ретироваться, улизнуть от разбушевавшегося президента. Вслед ему, словно лопнувшая адская склянка, гремело: «Комсомолец!» Анафема! Горячее слово, окрашенное раскатистой фонетикой, изничтожало, летело вдогонку. Минаев минуты не сомневался, что Бирон отбросит гонор, кичливость, «приползет» извиняться, признает, что России положено пройти через всеобщее покаяние, согласится, что послание Эйзенхауэра есть «великий ультиматум», поворотная точка мировой истории.

Но у каждого барона свои фантазии: Бирон виниться не намеревался. К чему? А, собственно, почему он должен унижаться? Васяев считал своим долгом уладить их отношения. Одна из его реплик спровоцировала этот никому не нужный скандал. Чужую беду руками разведу. Заходит к Бирону с одной стороны, начал эдак бодренько: «Ремень у тебя классный. Завидки берут. Он готов потушить все пожары, но не хочет тушить только мой. Слушай, язва здешних мест, утомонись. Что тебе стоит, извинись перед стариканом. Уважь, уважь седины. Сделай первый шаг. Худой мир

лучше доброй ссоры. Он же тебе в отцы годится». Тяжелый разговор, зря вмешался. Остается тяжело вздохнуть. Бирон скрипнул заржавленно: «Дай твое ухо». Женя покорно подставил ухо, услышал, эдак ласково сказано, в доверительных интонациях: «Катись к е..... матери на легком катере». Затем делает морду, словно зубной скорбью сполохнут, внезапно полонен: «Брысь, малолетка! А, собственно, в чем дело? Извиняться — не мой жанр. Не христианин я и не раб: обид прощать я не умею. Поверь, я не ошибаюсь, это гнусный старикашка, пустозвон и пустомеля, помело поганое, с души ворстит. Оракул, Нострадамус, звездочет х..в. Какой ужас, если Минаев действительно станет президентом! Представляешь, — этому чернушнику, всаднику без головы, пикейному жилету предоставили свободу слова. Вот когда вспомнишь о Берии! Не удивлюсь, если его выберут. Россию не излечишь от глупости. Чихал и трухал на вашу пошлую демократию, на ваш парламент. Неужели не ясно, что демократия — это худшее рабство. Вспомни судьбу Сократа: пятьсот ремесленников, лавочников и другой сволочи обрекли на смерть лучшего и умнейшего из людей. Мало тебе? Плевал! Парламент, парламент. Сеют землю рожью, а живут ложью. На святой Руси всё так. Страшны не диктатура, не лагерь, а демократическая нивелировка и власть пустобрехов-демагогов, говорильня без берегов. А у русских сильна страсть ко всему прекрасному и возвышенному, пойдут за краснобаем. Я не с вами, краснобаи и пустомели. Я — против. Оперетта, а не президент. Как ты можешь слушать этого дурака? Мочегонный аппарат. Элементарное требование гигиены — отойти в сторону, не пачкаться. Ради Бога, избавь меня от таких друзей, от вашей пошлости, примитива. Надоело, смените руку. Хуже горькой редьки, оскомины; парламент, онанизмом занимаетесь, приятные ощущения испытываете, и вам кажется, что вы творите мировую историю, что у вас ценные наработки для будущей демократии. Волжования, вещаете от имени прогресса и цивилизации. Я единственный трезвый среди пьяных и безумных. У меня нет шор. Я вижу истину нагой. Так говорил Ницше. В России правду никто не любит. Во лжи живете. Ссете землю рожью, а живете ложью. Всё. Точка». Затем, как бы желая пресечь разговор на эту тему, Бирон спросил о Витьке Щеглове. Женя дал исчерпывающий отчет. «Что ты говоришь! — аффективно дивится Бирон. — Быть не может! Во, бля, время летит, стрела времени. Пять лет — сон пустой!» Потом (и вскоре) Женя увидел Бирона, фланирующего по ОЛПу с Лепиным. О чем-то оживленно судачат. Что у них общего?.. Спелись, снюхались.

Трогательное единение, одного росточка, нашли друг друга. Дуэт: Минаева чехвостят, козни. Заговор. Не грубо, а через 17. Слух-то у Жени острый, долетели злопыхательства: «Фальшивый божок, Филофей Псковский. Чего стоит его эрудиция и подержанная мудрость. Авторитарные манеры, а умом не богат». В pendant Бирону лягает Минаева и Лепин: «Идея царства Божия на земле, увольте, не русская идея. Это — еврейская идея. Еврей не удовлетворен загробным миром, хочет рай на земле, здесь, сейчас. По существу, в этой стране ничего не меняется. Перевернется русская свинья на другой бок, хрюкнет. Всё останется по-старому, бездарно, бесцветно». Так, антипрезидентский заговор зреет.

У нашего героя Жени Васяева вскоре возникли неприятности, и ему оказалось не до этой дребедени. Сглупил и вляпался Женя. Мазанул. А всё почему? Ветер, ветер на всем белом свете. Весенние сквозняки. Амнистия, журавль в небе. История, самокатящееся колесо, весна, параша, но всё же надо бы тебе, милоч, помнить, что пока хозяином и князем мира сего является ГУЛАГ. Не забывайся, не чирикай! Опять — и в который раз! — на нас нагрянула беда, то бишь комиссия из ГУЛАГа. Готовят этап. И за пределы. В наше тихое житье-бытье ворвались страхи. Опять напасти, нервы клочками летят. Чур не я. Опять куда-то фашистов вывозят. В чем замысел ГУЛАГа, неясно. Но и на этот раз участь миновала нашего красюка, остался в Каргопольлаге, в благодатном лагере общего типа. А лучше бы тебе, салага и олень, уйти на этап, со своими, керями и фашистами, полициядами и власовцами. Не знаешь, где потеряешь, где найдешь. Да не от его свободной, доброй воли зависело, идти на этап или притормозиться в Каргопольлаге. Пронесло. Радовался. А крутой Шевченко, столько лет незаменимый старший машинист, крепко державший в бригаде дисциплину, влетел в черный список. Сразу слинял. У старшого статья-то нехорошая, пособничество. На немцев старался, снаряды фронту подвозил. «Кушать было надо». «Не крути нам яйца, холуй немецкий!» Что только ни делалось, чтобы Шевченко изъять из списков, на ушах стояли: Луба к самому Карабицину ходил, плакался. Незаменим Шевченко! Бесплезно. Списки определял, мудрил не Карабицин, а Бармалей, полковник, прикативший к нам из ГУЛАГа, а владыка ГУЛАГ, известно всем и каждому, верхняя инстанция — осади, смолкни. Рим высказался. ГУЛАГ не только эков тасует, но и начальнику лагеря может запросто рога обломать. Приказ — под козырек. Будет исполнено. Слушаюсь и повинуюсь. Приказы ГУЛАГа не

обсуждают, а исполняют: панически, бегом, всё бегом. Знакомо, шаблон, это мы уже проходили и хорошо усвоили: «Мне не нужно, чтобы ты работал, мне нужно, чтобы ты мучился!» А кого же двинут на место Шевченко? Свято место пусто не бывает. Думали, очередь Мити. Степенен. И машину знает. Нас, бригадников, привела в замешательство и смущение последняя воля Шевченко. Он определил за себя в старшие не корректного, серьезного, чинно-невозмутимого Митю, а Алексеева, лихого казака, да это всё одно, что Федю Куцика делать старшим, двуликий Янус, оборотень, от одной улыбочки которого кровь стьнет. Да кто он такой? Скандалист и склочник, к алкоголю не воздержан. Летчик, ас. Мама, я летчика люблю, Мама, я за летчика пойду! Лука Мудицев: И поднимая х..м гири, Порой смешил царя до слез. Война, есть что вспомнить, счастливое времечко: Алексеев пере.. всех баб: русских, полек, немок. А нам-то что? Нам не жаль. Свинью подложил Шевченко. Будем помнить! Но никто из нас не решился роптать, поправить Шевченко, сказать, что Алексеев не годится: не по Сеньке шапка. Алексеев так Алексеев. Нам, татарам, одна х.... Не нашего ума дело. Будем жить-куковать под Алексеевым, новый бугор, маршл. На полу спали, да не упали. Обласкал Шевченко и нашего героя, Женьку, кинул кус, вознес в чине: в машинисты двинул, лычка. А почему бы и нет? Чем он других хуже? Вроде постиг все хитрости, старальщик. Не боги горшки обжигают. Сдюжит. А кочегар классный. Пар держит — любо-дорого. Не смотрите, что маменькин сынок и лось, умеет. Не шустрил, а получается, тихой сапой в машинисты пролез. Само в руки плывет. Не отказываться же? За хвост удачу! И Малышев, который еще недавно готов был выбросить Женю из его королевского логова (не по чину!) и обработать, как Бог черепаху, смирился: теперь-то, когда Женя машинист, его место в углу и на нижних нарах законно и неоспоримо, никто не покусится. Авторитет Шевченко был настолько велик и непререкаем, что и после его ухода на этап все распоряжения и веления имели силу, а вот говорят, что Александр II подписал конституцию, но после его убийства никто об этой конституции и не вспомнил. Наш герой в новом статусе, машинист. Ура! Самый подходящий момент освободиться от ига, накоси-выкуси, поцелуй мой сифилитичный, хватит, попили кровушки: и с какой это радости он будет вечно делить кровное, что присылает мама, с каким-то шалопутом Алексеевым? Сорви-голова, шалый, буйан, выпивоха (последнее время стал меньше закладывать), без царя в голове, убийца подлый. Из грязи в князи.

По-тихому, как на Угре, освободимся от дани. Стояние на Угре, Иван III...

Жене вручен локомотив № 4, новый, чешский, «Грамм-6», люкс, конфетка, полностью автоматизирован, удобно, ладно, продумано. Тянет — зверь. Почему-то инструкция по монтажу отсутствовала. Шли ощупью, по наитию. Вроде всё приладили, всё подогнали. Раскочегарили. Поехали (с орехами)! Маховики закрутились. Всё хорошо. Поставили под нагрузку, ну что за чертовщина? Из насоса вода во всю хлещет. Без нагрузки всё нормально, а под нагрузкой — беда да и только. Стоп! Остановили, вокруг походили, почесали затылки: а х.. его знает? Снова пустили, подключили к сети. Опять — двадцать пять, сама собою болезнь не прошла почему-то. Всемирный потоп, залило всё кругом — где Ковчег и каждой твари по паре? Можно и так работать, но как-то не фильтикультиapisto: к насосу подойдешь — до костей проберет, сушишь потом, майся. Тут Малышев, русский горе-умелец, руки-крюки, из тех, о ком Лесков писал, что блоху подкует, а лошадь не сумеет, схватил кувалду — нам такое раз плюнуть! — наладился по крышке насоса лупить, из-под которой вода во всю хлестала, а за руку головотяпа никто не успел схватить. Представьте, о чудо! насос заработал нормально, кувалда помогла. Кругом сухо, благодать. Жестко, хорошо качает насос. Уразумели позже, где собака зарыта. Достаточно было отверткой чуть-чуть подрегулировать. Не ведаем, что творим. Вышел из строя умный, хитрый, толковый автомат, регулирующий объем подачи воды в котел в зависимости от нагрузки. Где нам, лопухам. Да и нынче это лучший локомотив на станции, сильнее наших-то. А за первый год эксплуатации он потерял 40% мощности (такая потеря мощности при нормальной эксплуатации должна была наступить через 70 лет работы). За человека умные автоматы вкальывают, а машинисту остается лишь ворон считать да кочегара угнетать, да жучить. Пузогрейство, а на наших локомотивах каждые три часа изволь малерупы заправлять, масленки подливать, проморгаешь, подшипник полетит, задымит, авария. Работа машиниста легче (кочегар топку чистит), чище, улыбочатее, чем у кочегара. Ответственность? Тяготы шапки Мономаха сильно преувеличены, смотри, чтобы кочегар не дремал, чтобы веки его не отяжелели, чтобы он не упустил воду. Дрючить и угнетать надо кочегара, неустанно и неусыпно. Ленив кочегар и спать горазд, на ходу, подлец, спит. Взбодри, взбодри его! Пощекочи, не давай расслабиться, улизнуть в анабиоз, огорчи. Вздрючь, чтобы жизнь не казалась кочегару сладким, как мед, раем. Ты вахты не кончил,

не смеешь идти, Механик тобой недоволен! Американец, да за этим глаз и глаз нужен, сядет на горб и на горбу машиниста в рай ехать наладится! Такого погонять и не слезать.

Почему-то мы все предполагали, что без умного и доглядистого Шевченки наше хозяйство встанет, развалится под действием неумолимой энтропии. Мы ошиблись. Проехали месяц, а на электростанции всё работает, пыхтят огнедышащие машины, крутятся маховики, хлопают ремни, и по этим хлопкам опытное ухо определит, какой локомотив везет, а какой филонит, не прибегая к умному прибору, улавливающему косинус фи, снует и мелькает шток, туда-сюда, суетливо старается, дымит машинное масло; как и при Шевченки, пар упрямо давит на поршни, тепловая энергия переходит в механическую, а та вращает генераторы, всё по науке, электростанция обеспечивает объекты электроэнергией. Даже простоев, аварий без Шевченке стало меньше. Заглядываем в день грядущего, становящегося. Ну, до первого ремонта, разберем, вытащим систему, вычистим дымогарные трубы, а собрать не сумеем, что-нибудь обязательно забудем, что-нибудь перепутаем. И нас разгонят. Страшно без Шевченки, сиротливо. Но прошел и ремонт, ничего, живы. Всё вертится. Сами себе и своим глазам не верим. Оказывается, и без Шевченки работать можем, ученые. Да без Шевченки лучше стало.

Дошел до Женьки Васяева пакостный слушок-подлянка. Вроде он, Женя, о себе много вообразил, в старшие вместо Алексеева метит. Дрянь и гремучая ерундистика. Не придавал должного значения пересудам. Пустил на самотек: образуется само. Эх, святая простота, съерундил и оплошал ты, а пора бы поумнеть, не первый день в лагере. Всеми виной атмосфера на ОЛПе, параша, разговоры о новом кодексе. Женя не осознает нависшей опасности, очень расслабился, беспечен, кроток. А там, в сокровенной тиши кабинета, Алексеев целестремленно и с большим аппетитом плетет козни, заводит, настраивает Лубу против Жени: химик, мол, совсем от рук отбился, мышей не ловит, книжки во время работы читает; а кто за машиной следить будет? Я? Ой, не к добру: жди аварий. Луба-то, гражданин начальник, и сам прекрасно видит, что Женя книжки читает, не слепой, давно на это смотрит сквозь пальцы. Чего беспокоиться, без аварий Женя работает. Коварная капля долбит камень не силой, а частым падением, дятлил, дятлил острым носом Алексеев: завел Лубу. Решил Луба задать химику перца, силу, власть показать, сколько можно так нагло инструкцию котлонадзора нарушать? Для кого писана? В бараний рог скручу! Устремился Луба к локомотиву № 4, весь

такой рыкающий лев, мини-подтянка отлично сработала, из-за пояса рвет пистолет: «Порядка не вижу! Ты что здесь п...й мух ловишь? Что здесь, читальня? — Гаркнул, а желчь еще сильнее разлилась, уже невменяем. — Какого х..?» И Алексеев тут как тут, лыбится, этот знает, к чему при...ться, дает порядком серьезную подножку, у! харя паскудная, блудливо-пакостная. Опять этот обрыдлый проклятый мотор, вечный нонсенс, на который мохнатая пылица нарастает стремительно, упрямо, бесповоротно, и этот поганый мотор издали напоминает невероятную по габаритам мезозойскую саблевидную крысу, что выставлена на удивление и показ в зоологическом музее МГУ. Еще вчера мотор стоял у локомотива № 3, кто же его выдумал вчинить нам, кто же его перетащил, работа тяжелая. И вместо того, чтобы проглотить обиду, смолчать, наш нескладный, нелепый герой пошел отстаивать свою естественную правоту, притом проявил достаточную ловкость, сноровистость, гибкость ума: отлично отлягулся. Держался с необыкновенным достоинством, проявил себя борцом за правду и права: «Напраслина, гражданин начальник! Так и разбежались мотор драить. Нет, нам это не сподручно. Мы на этот триппер и обтирочного материала не берем». Принцип, не будем. Этот распроклятый мотор всегда числился за локомотивом № 3, пусть они с ним и мудочаются. Это их работенка, а нам своей достаточно. Традиция. При Шевченко так было. Пусть так и будет. Возможно, Женя взял очень самоуверенный тон: глаза Лубы сделались вьюжно-белесыми, налился гневом, как Медуза Горгона, и в рык: «Обтирочный материал? Какой ты говорок, облизал в п... творог. Языком лизать заставлю! Цыц!» Луба развернулся, картинно зашагал к своему кабинету — весь целеустремленная воля. Да, так надо, всех надо держать на коротком поводке. Распустились. Ощутил себя сильным администратором, подавившим опасный бунт. Наш-то герой, Женя Васяев, думал, что пронесет: снял первую стружку, остынет, забудет; думал, отделается выволочкой, разносом. Ан — нет. Напомнили, кто он и где находится. Эх, лажовник, олень, плакала лычка, погорел, как швед под Полтавой: слетел с машинистов. Другим не такое с рук сходило, аварии, коренной летит, останавливается производство, и — ничего. Послали в котельную лопатить. Да это гибель Титаника! Еще хорошо в бригаде остался. Котельня — не повал, даже не сортиплощадка, где всё еще вкалывает Лепин. Не надо было залупаться. Помолчи, за умного сойдешь. А великий Бисмарк в тяжелых ситуациях, если верить Розанову, бормотал на непонятном языке (то есть — на русском): «Ничего. Как-нибудь».

Наш герой поник гордой головой. Кажется, ополчились супротив тебя все силы ада. Угораздило. Знай край, да не падай: не должен так беспечно себя вести зрелый лагерник. Всему виной амнистия, параша. Женя прячется за вынужденную, деланую, фальшивую, плохо приклеенную улыбочку, заходит на станцию (в гадюшник подлый: как улей гудит), ловит на себе цепляющие, кусающие взгляды бригадников. Чужак. Унижен, сослан на Камчатку, далеко зафутболили. Его личность, жалкая, ничтожная, символизирует скандал. Шевченковский выдвигенец, а нынче кто? Сор, мусор, безблагодатная последняя спица в колеснице, тварь дрожащая, бледная немочь. Пал ниже Жилиева, обсевок в поле, оплеван, презреннее Колобка; разлад с самим собою, скоропортящийся продукт, молоко скисшее. Удар не держит. Да, жертва несправедного суда. А кто виноват? Сам же и виноват. Знал на зубок догмы лагеря, амнистия, амнистия, и — опростоволосился, раздухарился, захваченный весенним сквознячком, подогрет парашами, пустыми мечтами о ликвидации лагерей рабского труда. Оттепели обманчивы и коварны. Цыган шубу продает. Ласточка Крылова. Дули весенние ветры, врачей-отравителей выпустили. А тебе сидеть, чучело гороховое! Против ветра да в условиях лагеря не советуется опорожнять мочевого пузыря. Алексеев — бугор, погоняло, все смирились, признали его старшинство. Дураков нет, вернее мало, вернее один Женя Васяев. Никто не думает заступаться за погорельца. Заповедь: не залупайся. И еще: падающее подтолкни! Умри сегодня, а я умру завтра. Обойди несчастенького, отойди от недотепы, а то микроб (горе-злосчастье!) на тебя перескочит: заразно. Будь сильным. Будь всегда на плаву, легок, весел. Алмаз тонет, а мы плывем и плывем, хоть бы хны, подгребаем, наша хата с краю, ничего не знаю, знать не хочу, в ваши дурацкие игры не играю. Около Жилиева Колобок вертится: «Василий Иванович, у комара х.. есть? А ты видел?» Не видел, но знает: есть. Априорное знание. Физика, берегись метафизики. Надоел клёшник, паясничанье, кривлянье, выкрутасы, не человек, а козьявка, вшей в лагере вывел. Вечное озорство, вот и разинул свою поганую варежку: «Химику дали по п...е мешалкой!» Гумозник! Позорник! Сучий потрох. Гнойник, паскудник. Падла! Сума переметная, а ведь к Жене хорошо относится. Говно сраное, лишь бы подье....ть, хлебом не корми, искусство для искусства, игра, поганка белобрысая, подлая. Опять даванул на Женю синевой небесной глаз, залился смехом, хиханьки да хаханьки. А Жене не до смеха. Какие там шутки, полх.. в желудке. Плох. Расклеился Женя, мокрая курица, удар не держит. Бери

пример с Лепина, нестигаемый, ходит гоголем. Ему хорошо. Можно и гоголем ходить, когда знаешь, что амнистирован: последние деньки с нами. А Жене выкарабкиваться из трясины. Уцепись, держись, не падай. Жилиев вроде бы сочувствует Жене, тихо, чтобы никто не слышал: «У, гнида!» Это об Алексее: Алексеев перестал Жилиева на подмену машинистом ставить, в кочегарах держит. «Давал тебе натырку правильную», — шепчет Жилиев. Когда давал? А Жилиеву мнится, что учил Женю жить, учил язык не распускать, а Женя не послушал, майся, майся. «Дуся, соседка, мой свет», — с солидной пристойностью роняет слова Митя, резонер. Эх, Митю бы в старшие, убивец, а мужик справедливый, нашего героя кнокает: лучшего соседа Жене не надо, повезло с соседом. «Эх ты, блюдечко, жопа с ручкой!» — «Я думал», — начал было оправдываться Женя. «Думают-то люди умные, — сразу перебил Митя, — петухи индейские, певчие архиерейские, а нам с тобой думать не положено! Еще помни: «я» это последняя буква в алфавите! Мы должны не думать, а ориентироваться. Эх, тюха-матюха, колушаев брат, в натуре, не валяй ваньку, ублажи! Темный ты какой...»

Да, оплошал. Русский человек задним умом крепок. Так. Опять-таки никогда Женя так глупо-негоже не зевнул бы ферзя, если бы не весенние ветры и косноязычные намеки Клио, ее подмигивание, посулы, всё идет к одному, откроются ворота ОЛПа, для тебя откроются, изрекутся простые сердобольные слова: «Чеши, дурак! Чтобы духа твоего здесь не было!» Вся недовоплощенность материализуется головокружительно быстро. Кремлевских врачей выпустили, а чем мы хуже? Вот и потерял бдительность. Раз сошло с рук, в уборной, Ланчиков пожалел, пощадил, а тут поволокло по кочкам, фраернулся крепко, так тебе, простофиля, сохатый, и надо, умнее будешь. А числил себя в битых фраерах, прошедших огни и воды, трын-трава, умею жить и выживать, свет в конце туннеля, ну — забыл, что ты в лагере, а сыны века сего, тот же правильный Митя, прозорливей сынов света. Получай на чай по шапке, сплошная педагогическая поэма. И ты должен себя знать, ведь, в отличие от героического Лепина, не держишь удара судьбы. Опамятовался — это хорошо. Отсеки свою волно, наступи на горло собственной песне, скриводушничай, лети в Каноссу. Афоризм житейской мудрости: унижение — мать победы. В чем загвоздка? Наведем мосты, не впервой. С начальством надо жить вась-вась, а не как Америка с Кореей. Получил наш герой посылку из дома, принес в барак, распределил в тумбочке куда что — так. Осталось тебе, дураку, преодолеть

гордыню, всякие там тухло-кабинетные, не имеющие отношения к догматствующему лагерю кантовские приличные императивы, включая и звездное небо, что над нами, и розарий, что перед столовой; и Женя Васяев переломил себя, сделал самое простое и самое трудное: плюнул на гордость и суверенитет, покончил с вреднейшим умопомрачением, которое, как тьма египетская у негра в жопе в двенадцать часов ночи, застлала мозги (и засрала!). И — выкарабкался. Скоропалительно на другой день заманул брагу, как делал при Шевченке, как велит обычай. Рецепт браги прост. Напиток дивный. Чинно, прилично, не для одного себя старается, мудрует, всей страждущей п...обращения обломится. Пусть до усрачки лакают! Не жалко. Ведь жалко у пчелки в жопке. Бормотуха бродит во славу. Дрожжи хорошие. Шик, блеск, труби фанфары. Рука-то у Жени опытная, набитая (что похвалить мы в нем должны!). Женя увлечен, улыбается, священнодействует не спеша, не торопясь; отделил сусло, аккуратно слил увеселительный, раззадоривающий напиток. Комментарии излишни. Жизнь побеждает. С волками жить, по-волчьи выть. И с подобающей случаю улыбкой. Он искренен и не кривит душой, смело смотрит в глаза Алексееву, нет, он не собирается вступать в выяснение отношений, всё и так ясно, он вдохновенно улыбается; дело: и старшой заулыбался, ловит что к чему, ловит, что Женя искренен, рад угостить его, Алексеева. Непредсказуем этот человек, а потому особенно опасен, на сей раз не кочевряжится: согнул Женю, доволен. Посиделки. Трали-вали. Почесали языки о браге, профессионально и со вкусом. Эх, змеевик бы! Сердечный разговор, тихий, дрейфует спокойно от сюжета к сюжету. «Хороший ты парень, надежный, — промурлыкал Алексеев, и Жене тепло на душе, мир снизошел — пусть худой, но мир. — Ты меня знаешь. Подойди, скажи, Леха, мне х...о, сделаю, расшибусь, для тебя сделаю. Не замыкайся». Уже с полублатным надрывом: «Всё он! Чего ему надо? Работаешь хорошо, стараешься. Я же вижу, что стараешься. Сноровисто работаешь, огрехов нет. Я же вижу!» Алексеев сулит держать мазу, все уладить, спустить на тормозах, изображает из себя эдакую широкую русскую натуру; загвоздка (да Женя это знает): место машиниста занято, надо повременить, потянуть фазана, а с завтрашнего дня Женя будет кочегаром выходить на подмену. А так сразу взять да вернуть на локомотив № 4 — это за пределами возможностей старшего машиниста. Электростанция — не общие работы, не проходной двор, как лесосех с его сортплощадкой. Когда-то Глядковский разом скомкал сюжет, турнул трескоеда Желтухина на сортплощадку. Сия

история с Яшкой Желтухиным — ржавый гвоздь в памяти Жени: забит по шляпку и гниет. И свербит. Где Глядкоцкий? Где сейчас Шевченко? С Алексеевым поговорил ладно, душевно. Черный юмор. Подготавливая перевод в машинисты, Алексеев выдвинул Женю на Доску почета, как лучшего работника электростанции. Пришлось идти к фотографу, сидеть перед объективом. Бирон, язва, узрел, каркает, желчь льет: «Стой, стой мужик! А это кто? Не узнаешь? При приходе новой власти спросят: где ты был, Васяев? В лагере, — гордо ответит Васяев. А за какие-такие заслуги ты оказался на Доске почета в лагере смерти?» Плевали на Бирона, пусть себе ядом дышит. А он, Васяев, как ванька-встанька, в который раз поднимается с четверенек, выпрямляется: он головку вскидывает и опять повеселел. Да, жизнь в лагере ставила его раком, но он из тех, кому это идет на пользу, углубляет душу: он лучше понимает людей, понимает тех, кто споткнулся, упал. И себя лучше понимает. Он из тех, кого полезно ткнуть, как щенка, носом в свое дерьмо. Не возносись главою непокорной! И Витьку Щеглова он отлично понимал. Страх ломает душу. Ураганный, безумный страх. Женя знает, что такое страх. Залечь на дно, анабиоз, от всех отшатнуться. Подл, подл человек. После подвига Лепина, после освобождения кремлевских врачей, после амнистии в сердце нашего героя перемены. У сердца свои законы. Зачем арапа своего младая любит Дездемона? Ум не в ладах с сердцем. Он всё еще старается себя обманывать, принуждает: «Я не имею права не ждать войны!» Его сердце не ждет и не хочет войны. «Я — предатель, предаю лагерное братство». Скрывает от других, что так изискариотился. Стыдно! Да, он подл и не хочет войны, а хочет, намылился выйти из лагеря. Да в случае войны нас всех здесь расстреляют на другой день. И правильно сделают. Чего чикаться с пятой колонной? Раздрызг. Муторно на душе...

Вечерняя звезда, звезда Каргопольлага, непрерывающееся, непредсказуемое восьмое чудо света, словом, Зойка, наша Зойка! Привезла на ОЛП товар (в ларек), ошастливила. Разверзлись ворота: «Вот и я!» И так просто. Благая весть, что на ОЛПе баба, да какая, Зойка, наша гордость и краса, мгновенно облетела все бараки. Множится зэчья великая радость. Что есть духу чешем, скачем вприпрыжку туда, к ларьку, где она, царица, разгружает товар, окружили, облепили, как пчелы матку, жрем ее, шасть-шасть, шнырь-шнырь жадными голодными глазами, прошупываем ее фигуру (у зэка глаза — я те дам, голодные, раздевающий рентген); грубый бушлат, ватные брюки — всё нипочем, ошупы-

ваем тайный ландшафт и сладкие, медовые райские куши. Красючка! Наша Зойка! Не женщина, а шаровая молния! Эх! Ах! Век свободки не видать, лишь бы ее, Зойку, лицезреть! Пьем ее сияющую женственность, ее чару, набираемся богатых сеансов. Присосались пиявки, взасос. В одном рассказе Лесков использует идиому «ангельская любовь». А что сие значит? Да и есть ли она? Эта самая «ангельская любовь» вредна эку ущербному, измученному без бабы. Не зря, поди, Святое Писание предупреждает: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, прелюбодействует с нею в сердце своем. Да, всякий, если ты не тухлый доходяга, едва волочащий ноги, если ты не скорбный фитиль урожайного 49-го года (да таких нынче нет, вывелись), не зырь на кралпо-красючку, а тем паче не е... глазами Афродиту нашу, Зойку несравненную, пламенную, да таких и не было на белом свете со времен Гомера, куда ее ни тронь, везде у ней огонь, да наша Зойка еще как потягается с прекрасной Еленой, обалденна Зойка, абсолютное совершенство, мистическая самка, ослепнешь того гляди, лопнут глаза, и это не метафора, не риторическое преувеличение, а сама истина. Зойка — сладостная молитва лагеря, молитва бытия. В этот раз наш-то Женька Васяев не трогал похотливыми глазами Зойку, не обжигался, не заряжался райскими кущами, а был в нетях: вкальвал, в котельне лопатил. Вернулись бригады на ОЛП, а Колобок, зараза прилипчатая, шустряк чертов, умело начал шурупы вкручивать, что Зойка лишь Женей интересовалась, где, мол, ее ненаглядный химик, где эта чудная лапочка, пупсык, избранник ее сердца. Мой, мой, никому не отдам. О, честный Яго, не говори столь сладких слов. Вижу, что заливаешь, по глазам вижу, а хочу верить. Очень ты, гумозник со смеющимися васильковыми глазами, ловко в душу петлю закинул. Женя неуверенно отмахивается. А стервец продолжает мучить, слабинку надывал, ну как тут не клюнуть, Женя всё еще девственник, боится женщин, как огня. А вдруг сама судьба стучится в дверь? А что если Зойка ему предназначена? Колобок клянется, что всё чистая правда, пытала Зойка, спрашивала, как там мой красавчик? Так и не знает Женя, брехал Колобок, барбос, или нет?..

Не одного Женю достал Колобок: и Минаев, авторитет, президент, опростоволосился! Влип крепко. Намылился было Минаев гляннуть на прославленную красючку, идет, что-то себе под нос напевает беспечное, вилы-грабли, да припозднился: разгрузила царица товар, улыбнулась всем, хвостом вильнула, упоркнула за ворота ОЛПа, нет ее, уже и след простыл. Стоим мы ошеломленные, хайло разинули: чудо! Сполна сеансов набрались, хватит на

месяц для страстных объятий с Дунькой Кулаковой. У Колобка, шебутного задрыги, гений в ноздрях, сходу унюхал сдобную добычу, взял след и уже стоит перед Минаевым, глаза смеются, васильковые чудесные глаза. Паук плетет паутину, без мыла в душу лезет, наращивает канитель, а сюжет сам собой прорастает, цветет пышно, здорово: сила женщины в ее слабости, беззащитности, а что касается горячего сердца Зойки, ее знойного, безграничного демократизма, брехня это. Всё от зависти. Зойка — чудо! Она меняет прописи и вечные скрижали женского лагеря, его стилистические ориентиры. Она — запевала и зачинательница нового движения женских лагпунктов. Их смелый лозунг: вольняшкам не даем! Баста! Только с зэком! Тут хоть трамвай, а с вольняшками ни-ни. И это феминистское движение перекинулось благодаря этапам на другие лагеря Севера — Ветлаг, Воркута. Если зэчка сойдется с крапивным семенем, что в золотых погонах, — смерть ей! И Зойка ни с кем не якшается, лишь с Семеновой конь водит, вместе хавают. Семенову знаешь? Ваш-то очкарик, еврейчик — из-за Семеновой набросился на начальника ОЛПа. Прилипала, есть такая рыба-паразит: прилип к Минаеву, вдохновенно и азартно галоши заливаает, художественная натура, на скорую руку микстурит правду с вымыслом, складывая их в нужной пропорции. В голове Колобка расцвел и уже созрел дьявольский замысел; нахваливает товар, как зазывала Охотного ряда: «Совсем пацанка, бриллиант чистой воды!» Откупорил ловко Колобок нашего президента: доверился шельме, пройде, поганцу, доверился, как малый ребенок, сделался жертвою наглого блефа и аферы, Шекспир, 12 ночь. Вся бодяга быстро завершилась тем, что Николай Михайлович поспешно утек к себе в одомашненную кабинку, от кого-то заслоняясь, хотя в кабинке был один-одинешенек, радостно катал «ксиву»: порыв сердца; и эту «ксиву» Колобок, успокаивая Минаева, что всё будет в порядке, взялся переправить на 15-й ОЛП, женский. Выгорело. Эпистолярный жанр хорошо известен русской (и не только русской) словесности. Завязалась, понятное дело, переписка, замелькали ксивы-ловушки-шашни. Ответ на «ксиву» Минаева творил под общее идиотское улюлюканье Шалимов, жох, выжига, хватка бульдожья, дневальный барака, где счастливо обитал Женька Васяев; Гопка-Колобок вручал ответ, при том нес чушь несусветную, мало смущаясь, что в новеллах зияют швы и прорехи. Романтический, блаженный плен сердца и полное помрачение ума-разума. Любовь слепа, зла, полюбишь и козла. И — заочницу. На эту тему отважно изошрялась мировая литература, но случай

с Минаевым похлеще, позабористей, в лагере всё ярче. Зойки (Зойкиных писем) не существует, плод тифозного бреда, мнимое число, конструкция воспаленного воображения. А кто знает — может, это был всё же один из жирных флюидов, пущенных нашей кралей, когда она заглянула с продуктами на ОЛП? И этот сладкий флюид продолжал свое существование, преспокойно гулял, летал, порхал, носился по ОЛПу, пока не поразил высокой болезнью нашего многоуважаемого президента. Как не вспомнить схему Ростана: Сирано де Бержерак. Ну, не один к одному, а вариации на тему с учетом места и времени. В лагере время течет иначе, чем у вас, на воле, здесь сердца воспаляются стремительно, по притче: блатной, как жаркий жадный вепрь, заскакивает в женский барак, хватить за руку первую попавшуюся: «Дорогая, природа ликует, а у нас с тобой пятнадцать минут!» Долго ли умеючи. Природа женщин одарила. Пеннорожденная, волоокая, царственная, несравненная Зойка, жрица любви, хмыкала: «Умеючи — долго!» Зоя — это жизнь! Зойка, п...а-разбойник! Зоя, не давай стоя начальнику конвоя! И выделяла наша Афродита в качестве сексуального экстремиста особой мощи, спускающего два раза, не вынимая, Алексеева Леху; очень чтит Леху (в чем, в чем, а в мужиках Зойка толк знала, это дело ой как любила), но в ее сердечной вечно-бабской ипостаси тянулась к обворожительному девственнику, Ивану-царевичу, растерявшемуся мямле, вскормленному Бергсоном, как волк, мечтающему о женщине, робкому, трусливому, как заяц (разыгравшееся воображение это ад; страшные тайны ада). Колобок был предприимчивым затейником и мастаком на выдумки. Выцыганил каким-то образом у прижимистого Ульманиса нарядный платок, преогромный, таким, поди, у великого Гоголя пользовался Акакий Акакиевич, не платок, а серьезное-пресерьезное море, хоть две шинели заворачивай. Эти латыши, народ небольшой, сколько их, обчелся, а вот к гигантомании дюже склонны. Понятно — компенсация национальной ущербности, всё идет по Фрейду. Платок Ульманиса был доставлен и торжественно вручен вместе с очередной «ксивой». Сущий пустяк, мелочь, а приятно: внимание. Тонкий психологический этюд: фокус-покус, удавка затягивающая. Глянул Минаев на синенький скромный платочек: слезы так и брызнули. Сердце екнуло, сильно завибрировало, оползень, испекся, рехнулся. Какой же он невнимательный, черствый сухарь. Захотелось украсить и скрасить жизнь Зойки в лагере, побаловать чем-нибудь девочку. Передал через задрыгу Колобка для заочницы хороший кус колбасы, консервы, сало, всё, что в посылке жена прислала.

Фурор, удача. Да, мы стеною за любовь, но это не любовь, а какое-то извращение: Зойки-то нет, блеф, уж в Дуньке Кулаковой больше истины и правды, чем в Зойке-фантоме, чем в таком заочном дрочь-комбинате. Барак зашелся от гогота. Нашим негодникам, вампирам-кроссосам только этого было и надо. Опутали, ошельмовали — да так легко, просто. Совсем спятил? Добытчики-ловчачи поймали калорийный трофей, торжествовали, потешались. И наш герой принимал участие в бурном, клокочущем, бесстыдном веселии, которое и возможно только на нашем благословенном ОЛПе. У нас всё лучше, чем у вас, вольняшки; и смеху, веселья больше, и бабы наши слаще, и артисты у нас лучше, талантливее, та же Вера Карташева, и здоровье наше крепче, вас переживем! И врачи наши лучше!

Приспичило канальствовать напропалую, развивать успех. Теперь Минаев получал из дома «ящик», полностью передавал содержимое Колобку, а голубоглазый стервец и задрыга с вечно дурацкой светлой, солнечной улыбкой отделялся мелочью, пачкой дешевых папирос из ларька: перебьется старый дурак и греховодник. В бараке развлечение, каждый вечер вслух и с выражением читаются любовные послания-простыни Минаева. Чтение завершается радостно-бесноватыми скаканиями, прыжками юркого, одуревшего от успеха Колобка. А Шалимов хорош, волчья натура, прожженная сука, труха в душе, опаснее Алексева, хоть и Алексеев не мед. С таким, как Шалимов, лучше на узенькой тропинке в горах не встречаться — криводушен, свиреп, беспощаден, отвратный тип, злая, подлая самость, всё нутро прогнило, и если бы нашего героя попросили показать образцово-типичного лагерника, не задумываясь и секунды, ткнул бы в Шалимова: лицо-личина лагеря. Где у кого-то следы совести, у этого х... вырос. А спинной мозг великолепно развит! Не бытовик, не убийца, как Алексеев, в антипартизанах не был, не вешатель, а наш: у Шалимова родная 58-10, балалайка. Агрессивная, хищная воля. А воля, по Шопенгауэру, — это что-то тупо-слепое, злобное, бессмысленное, это объективирующая сила, создающая мир, материю, враждебную самой себе: негодяйствующие полипы, рвущие пищу у самих себя, австралийские муравьи, которых можно разрезать, художественный бой между головой, челостью, хвостом; гиена, жрущая свои кишки; и лагерь жрет сам себя, сам себя уничтожает. Вернее, так было в прошлом, год 49-й. Мало оказалось Шалимову продовольственной посылки, чего мелочиться, самое время брать быка за рога; взял — не отпускай, держи, челюсти мощные. Пора фраера выставить — и как следует выста-

вить. Нагло нашпугатурил письмо, пусть старый мерин вручит подателю двести рублей. Нахрапистая афера. Двести рублей для лагеря — это весомая сумма, настоящие деньги. Не канючил, а твердое: вынь да положь. Безапелляционное, с обновленной наглостью. Обнаженный прием. Гони. Сарынь на кичку! Аферисты-шкурники разохотились, раскатали губу, пустили слюнки. Не поверите: получилось. Старый дурак ничего не заподозрил, лётал по ОЛПу, собирал по кускам, выложил голубоглазому стервятнику две бумажки, каждая достоинством по сто рублей, хрустящие, новенькие простыни, здоровый кус, богатый. Колобок, пройда, аж поперхнулся, глянув на простыни: совесть-химера выиграла, высунула вреднющую головку, кусанула. Не таков Шалимов — крут, иных повадок, серьезно настроен, не упустить фортуна, а фраера и положено мыгть. Не грех. Жизнь выше морали и совести; заскоки, выбросы совести есть не что иное, как преступление против основ жизни. У Ницше что-то такое говорит гениальный перс. А у Колобка в коленках дрожь: разыграли старого осла, надо честь знать, отпустить: дыши. Не считаясь и не сообразуясь с Шалимовым, сгношил водочки, закусочки на мзду несправедную. Хватило. С лихвой. Завалились в кабинку к Минаеву, развернули богатый харч (эх, сладок грех!), дорвались, поддали, сходу одну поллитру усыновили, расторопно принялись за вторую, охали, наворачивали консервы, хлеб белый с маслом и красной икрой, все такое, за жизнь разговор повели, рассказы разные, байки, параша, новый кодекс облегченный. Тут-то наша шельма белобрысая, веснучатая, рот до ушей, хоть завязочки пришей, солнце детского рисунка сияющее и вломался со страшной правдой. Шалимов багровеет, гневом обуян; зачем раскрывать карты? Ницше против Распятого, против декаданса, жизнь против нравственности и смерти. Жизнь — это борьба. Гоббс: «борьба всех против каждого». Доброта, честность — это болезнь. Человек — это больной зверь (Шалимов, уже в бараке, о Минаеве: «Вот как я его держал!» Зрительный образ: мертвой хваткой за жабры). А Колобок заливается, чертяка, играет, егозит лживо-смеющимися голубыми, как лазурь небесная, глазами, чистыми, прекрасными; силится правду до Минаева донести: нет никакой Зойки, блеф, мнимость; а письма писал этот грамотей-сквалыга. Похож? Похож на Трумена? Опять залился смехом, требует, чтобы Минаев признал, что Шалимов — двойник Трумена, сходство поразительное, ну, вылитый Трумен, одноклеточно-однойцевый близнец, погорел за сходство, кто-то свистнул, что Шалимов родной брат Трумена, трагедия внешности (сколько двойников! поделщик

Жени, Марат, похож на Сталина, опять же — трагедия внешности!), как раз в газетах был портрет нового президента США; конечно, выяснили, что никакой не брат, но дверь МГБ открывается лишь в одну сторону, нет ошибок, взяли — срок. Ну, еще по одной? Минаев сидит, на правду Колобка никак не реагирует, долго до жирафа истина доходит, к поверхности сознания никак не пробьется, да ведь это ушат холодной воды на раскаленное добела сердце любви, любви последней; сидит, будто истукан, спина прямая, дворянская кость; лицо в бороде, видно: мел. Мать-перемать, растуды его в качель, да он из штопора выйти не может: немой вопль, челюсть страшно отклячилась, как у покойника, буркалы лезут из орбит, вот-вот покатаются по полу, успевай собирай; язык проглотил, заглотал; нем; лишь колоритную, честную бороду машинально мучит, теребит, угнетает конвульсивными чужими пальцами: ой, сейчас скользнет на пол это царственное тело: конец! Слава Тебе, Господи! Наконец-то! Возопил, взревел Минаев, да как: пар выпустил, рвануло надгробное душе-раздирающее стенание русской простой бабы, в голос воеет, блажит дурным голосом. Ну, нам стало полегче, а то думали, окачур, страху набрались. Так-то, оказывается, можно горячо, крепко фикцию возлюбить. Еще как! А разнится ли любовь к живой женщине во плоти от того чувства, высокой болезни, которая завладела сердцем нашего стареющего президента? Всегда же мы любим не реальный объект, не живую женщину, а некий образ, сконструированный воспаленным воображением, и эту конструкцию бурно, властно, беспощадно проецируем на живую женщину. Это и есть тот архетип, платоновский первообраз, прафеномен, это является истинным предметом вожделения. Женщина, в которую мы влюблены, не что иное, как «призрак мозга» (Шопенгауэр), продукт интенсивной работы воображения, источником и мотором которого является ядро глубинного «я»; здесь мы имеем дело с истинной теургией, с подлинным творчеством: Рита, реальная девушка в коричневом платице школьницы, лишь опровочировала этот мощный, глубинный процесс, явилась объектом ладного гештальтирования, сублимации и автоэротизма; не случайно наш герой в образе Риты сумел увидеть женщину его рода, женщину пращуров, чуть ли не праматерь рода — Еву. А вот является сияющая женственностью Зойка, и свежий образ разворотил психику Жени, вытеснил из нее всех Ев, покорила душу девственника. А за Зойкой появилась Вера Карташева, потеснила Зойку. Гладков ловко плесканул в душу Жени яда, отравил; Вера рождается в пророческом сне, мистический

образ смерти; коснулась губ юноши ледяными губами. Холод заполнил сердце, обернулась фигурой в белом: смертушка.

Веселая афера Колобка мигом делается достоянием ОЛПа, поражает воображение эзков. И Бирон, и Лепин злорадствовали, что сей анекдот приключился с Минаевым. Так ему и надо. Дерьмо собачье. Столп черносотенства! Ясновидец? Инфляция авторитета, не президент, а круглый дурак. Весенний ветер. Ветер, ветер На всем белом свете. Сердце Жени рвется туда, за ворота ОЛПа, в Москву, сердцем он давно не желает войны. Ум его давно не в ладах с сердцем. Умом он настрого запрещает себе надежды на что-то сомнительное, позорное, что исключает американскую оккупацию. Мы взбесились. Веселый май, безудержный шантаж, вечный май в душах эзков. Все писали письма на 15-й женский лагпункт, все получали ответы-фикции: дрочь-комбинат повальный. Веселые проказы, у всех оказались заочницы. Видимо, большая часть их, как у Минаева, была мнимой. Любовью дышал ОЛП. А тут еще Ворошилов подмигнул, пообещал в выступлении на празднике 1-го мая широкомасштабную амнистию и опять же новый кодекс. Как не спятить с ума? Весело было нам, славные деньки. Где-то в мае получил Женя письмо от Сашы Краснова, друга по воле, подельника, ну, не совсем подельника, почти, все они были птенцами гнезда Кузьмы, одна бражка, роились, спорили. Тьма годин позади. И Женя, и Саша в одном лагере, Каргопольлаг, но не встретились, всю дорогу на разных лагпунктах, широк, необъятен Каргопольлаг, как Россия, от южных гор до северных морей. Краснов на 37-м, рядом. Может, промысел и задумка в том, что они не пересеклись, разминулись — или всё это канальство случая? Роковые не встречи? Эту тему чувствовали Ахматова, Пастернак, в их жизни не встречи несли символическую нагрузку. Тайна не встреч? Краснов с комендантского ушел на этап (местный) в тот печальный ветреный день, когда другой этап, с которым прибыл Женя, подошел к воротам ОЛПа, и Женя разглядел, распознал Сашу, но Саша его не увидел, не признал, и Женя решил, что обознался. Ан нет, то был Саша. Точно. Предание старины глубокой, злополучный 49-й. Саша произвел впечатление на Витьку Щеглова; Витька хорошо, с увлечением рассказывал о Саше, о его романтической влюбленности в учетчицу Ирену, польку; из-за этой польки Саша рванул в побег: безумство. По Витьке получалось, окровавленные, отрубленные пальцы вырвали Сашу из плена марксизма. Женя не принимал сердцем этой версии. Другое. Любовь. Саша скрытен, Витька да-

же не знал, были ли Ирена и утопист-мечтатель близки. Какой разговор, да. Только так! Не может быть двух мнений. Издалека и при стратегически правильной оптике виднее: сор мелких липких хаотических фактов затемняет подлинный смысл событий, залепляет глаз чепухой. Физическая близость с любимой женщиной позволила Саше осуществить прорыв через частокол бездушных абстракций к единичному, конкретному (твоя рука в моей руке!), к живой жизни. Чаровница развила, просветила юного марксиста: Саше открылся мир простых вещей, который и есть истина в последней инстанции, а не эти чудовища и утопии, созданные разумом, его диктатурой, палочной дисциплиной. Интуиция, Бергсон. Давай ронять слова, Как сад янтарь и цедру, Рассеянно и щедро. В тот год долго стояла золотая осень, редкостная, славная, хорошо такой осенью ходить по грибы, упиваться истушленно-пронзительной красотой осеннего леса, вдохновенно жарить опят в сметане, на душе тишина, покой, а жизнь, как тишина осенняя, подробна, а тут лагерь, кажинный день Женю берут в е..стос и прямо на разводе, бей в глаз, делай клоуна, п...юлей убогому вешают, все вместе, разом, дружно, получай непотребство. Давно дело было.

Ксиву от Саши торжественно вручил Аркин, второй режиссер культбригады, личность известная, движение умов определяющая. Жене давно хотелось пообщаться с Аркиным, почесать язычок о чем-нибудь высоком и прекрасном. Случай свел их. «В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в том, в котором мы живем», — начал Аркин, уточнил, что дело было на 37-м, нагнал его, Аркина, юноша, весь такой готический, верста коломенская, стропила, орясина; дядя Степа сует письмо, при этом краснеет, как девица. «Не знаю, что и думать? — продолжал Аркин. — Это ваш друг? Правда? Извините, ради Бога. Этот верзила сходу набросился на меня, насильовал битых три часа. Не понимаете буквально. Ха-ха! Не подумайте плохого. Не успел сказать двух слов, не зная меня, с места в карьер — во что веруешь? И — шерсть дыбом. Кого только в лагере не встретишь. Ван дер Вельде. Крик поднял на весь ОЛП. Сходу решил обратить меня, человека много его старше, выдавшего виды, в свою веру. Ико-ноборец. Тигр кровожадный. Савонарола». Оказывается, все мы, кто в культбригаде, подлецы, прохвосты, коллаборационисты, продавшиеся большевикам. Анафемствует! Зэк не должен работать в культбригаде, не должен здороваться с начальниками ОЛПа: бред собачий. У вашего друга ум мертвый, помраченный, искажающий картину мира. Механический ум. Колесики вертят-

ся, крутятся. Всё впустую, пробуксовывают. Одни умозрительные императивы, непосильные моральные требования. И где? И это в лагере? Да это выглядит мало сказать нелепым! Это — аморально! Хоть бы Ибсена прочитал. Я не поклонник Гладкова, вы, наверно, знаете, но в одном он абсолютно прав. Искусство вынуждено ценить не только аплодисменты зрителя, но и ласки начальства. Ваш друг дурно воспитан. Назойлив. А язык какой. Вызывающе пошлый, безблагодатный. Серятина. Без божества, без вдохновенья. Собеседника не слушает. Разделался с культбригадой, за физиков принялся. Как смели сделать Сталину атомную бомбу? Кричит: подонки, суки, прохвосты. Ты ему про Фому, а он про Ерему. Мешает Божий дар с яичницей. После общения с ним испытываешь позыв в баню сходить, отмыться. У меня, простите, идиосинкразия на пошлость. А память у вашего друга сильная, щеголяет, цитаты, цитаты. Из Гегеля. Мне бы такую».

Затем разговор с Аркиным как-то само собой перекинулся к Саше Краснова на литературу, Женя подкрался к любимой теме, чтобы пропеть псалом и хвалу Достоевскому. Достоевский не только его любимый писатель; больше, чем писатель: Бог! Женя разговорился, сделался словоохотлив и простодушен: изголодался по умненьким разговорам, а тут новый человек, причастный к искусству. Восторженно заявил, что «Братьев Карамазовых» читает, как Евангелие, читает, перечитывает, кусками знает наизусть, может шпарить, находит всё новое и новое, неисчерпаемая книга, перенасыщена смыслом. Шопенгауэр, Бергсон — да; но Достоевский нужнее, ближе. Даже старец Зосима интересен, актуален. У Достоевского всё гениально, каждая строчка, это не метафорическая эквилибристика, не изящная словесность Тургенева, а откровение; он, Женя, жаждет истины, и ему подавай истину и откровение, пьет Достоевского, как Тангал, и насытиться не может. У Аркина выразительная, живая пластика лица, вкрадчивые интонации (понимает вас с полуслова!): «В юности все мы увлекались Достоевским. Современная литература многим обязана гению Достоевского, вышла из него. Смелый патолог, Одиссей духа, бездна, смелый, бесстрашный антрополог, а так называемые последние вопросы, детские вопросы, — это самые волнующие. Но, юноша, судите сами, Достоевский жил и писал в благополучнейшем девятнадцатом веке, гуманном и просвещенном, а сейчас какой на дворе? Двадцатый. Предвидел, предсказал он многое, поразительно многое, но нам есть что ему возразить, возразить старцу Зосиме. На дворе эпоха Гитлера, Сталина,

страшных лагерей, ада крошечного; обесценилась человеческая жизнь, дегуманизировалась». — «Бесы? — алчно вцепился Женя, вдарился в опровержения, нескладно, нещадно, горячо бьет словом. Это — его тема, он сейчас опровергнет Аркина, поразит умом и талантом. Кириллов? Ставрогин? А чего стоят Верховенские? Оба: отец и сын, отцы и дети! А Иван Карамазов? А «Легенда о Великом инквизиторе»? Сверхсовременна! О нас. Пофантазируем. Москва, весенняя Москва, май, помните библиотеку Ленина, дом Пашкова, во всю силу благоухает сирень, буйные прекрасные кусты сирени, дурмящий запах. Как у Пушкина. Воздух дышит лимоном и лавром. Вы заметили, что Достоевский использует метафору Пушкина? Восхитительная ночь, трели, рулады соловьев, Александровский сад, на улицах одни поэты и воры. Москва, столица великой страны, материализовавшей великую утопию, спит спокойным сном. Спят все без задних ног. Горит лишь одно окно: в Кремле. Эренбург: человек у руля. У штурвала! Какая ответственность, какой груз на плечах семидесятилетнего старца. Любимый город может спать спокойно, когда Великий Ус не спит, бодрствует, бдит. Аскетическая обстановка кабинета. Детали, подробности: аскетика во всем. Пофантазируем дальше, дерзнем. Вертухай вводит в кабинет старого-престарого старика: пуговицы на брюках оторваны, брюки срамно спадают, завязаны платком; седая флора бороды взъерошена, клочок вырван. Похож, как две капли воды, на портрет. Это Маркс. Это великий Маркс, именем которого совершаются циклопическо-геологические преобразования. Ус молчит. Рябой, маленький ростом, Пипин Короткий состарившийся, но — харизма, дышит колдовским магнетизмом. Они смотрят друг на друга: молчание, молчание. Они одни: вертухай отпущен. Сталин не выдерживает, его старческий глаз начинает ягуриться опасной желтизной, ввинчивается в Маркса: «Зачем ты пришел? Ты это или не ты? Нет, молчи. Молчи. Да и что ты можешь добавить к тому, что тобою уже сказано? Мы повторяем твой бред. Да, государство отомрет, но диалектически: через свое усиление! Революция победит во всем мире, но сначала в одной стране. Отсталой, со слабым пролетариатом. В крестьянской стране! Диалектика, спирали диалектики. Да, мы тебя исправили. Не мы, жизнь. Нелегко освободить человека от первородного греха, так называемой частной собственности. Но мы это делаем, идем вперед, смело, опираясь на предрассудки, на национальные чувства русского человека. Только вперед! А твои фантазии о свободе мы отбросили, упростили спирали. Мы притворяемся, когда надо, и патриотами, вспоми-

наем Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова, но не забываем великой и высокой цели. Так творится история, творится твоим именем. Множится твоя слава! Зачем ты пришел? Мешать? Ну — лети отсюда! Лети, идиот, и не появляйся!» Маркс молча приближается к Великому Усу, целует его, тихо уходит. Исчерпан сюжет!» Тут Женя сбился, смолк, устыдился своей горячности, а Аркин сказал слова, о которых Женя и мечтать не мог: «Вы должны писать! Ваш жребий!» У нашего героя бурно заболталось в груди сердечко, в зобу дыхание сперло, пот на лбу крупными каплями выступил: расцвел, ощутил себя именинником, как когда-то в Бутырках. Он слушает Аркина, пьет медовую речь про то, что он, Женя, создан, чтобы стать писателем. Радость! По сусекам души расплескалась радость. Важный, творческий разговор, как на очной ставке с Кузьмой, Женя вывернул свою душу перед Аркиным прямо наизнанку, выговорился, утолил интеллектуальный голод, ощутил доверие к этому замечательному, необыкновенно умному и чуткому человеку. А как же иначе? Чувство приязни всегда взаимно. Не жалеет, что разогнал тему, высказался до конца и сполна, нашел достойные уши, нашел умного слушателя...

В бараке Женя прочел под аккомпанемент зэчьего густого трепса письмо Саши Краснова. Не розыгрыш. Его почерк. Твердый, чистый, ровный. Без единой помарки. Таким ровным красивым почерком, можно сказать, каллиграфическим, была оформлена документация погрузки, журнал, спецификации, пинтовка саней, распинтовка. Гёте не сомневался, что в почерке проявляется эссенция души. Письмо суховато, фактография, без дружеских экивоков. Саша работает на электростанции (как и Женя), был кочегаром, выдвинут в машинисты (а Женя снят). Анекдот: ноздря в ноздю. Сходные судьбы. Схожи, но совершенно различны, как их почерки. Шмыгнуло в Лету несколько дней, Бирон, о, византиец! с нескрываемым наслаждением пересказал, что будто бы Аркин в весьма обидных выражениях отозвался об умственных способностях нашего героя, впрямь вообразившего себя писателем, властителем дум; прямо-таки по стенке размазан Женя: и примитивная личность, незрел, инфантилен; пылкий восторженный юнец, умом не богатый, и что-то еще о вялотекущей пшизофрении; еще: Аркин пошутил, мол, не надо зарывать талант, пишите, пишите, а Женя рванулся целовать Аркину руку, еле успел отдернуть! Межумочен, лишен интеллектуальной сложности, неотесан, не восприимчив к новой литературе. О Прусте, Джойсе, Кафке слыхом не слыхивал, остановился в

развитии на сладком Тургеневе. Современная молодежь мало читает. Можно подумать, что русская литература закончилась Тургеневым, Григоровичем, Боборыкиным. А Андрей Белый? А Бабель? А одесская школа? Олеша? В порядке просветительства думал дать ему томик Пруста. Францию губит хороший вкус, русских — лень, отсутствие всякого вкуса, полное неуважение к форме. Холодный душ. Накололся Женя, крепко. Бесстыдное вранье. Какой Боборыкин? Женя пел гимн Достоевскому, а причём тут Боборыкин? Сволочь! Зачем ему было все переименовывать? Бедный юнец: обидели. И никто не пожалел, никто не объяснил бедняге, что в этом состоит искусство рассказа: рассказчик (как и художник) ради выразительности и колоритности деформирует действительность, заостряет, усиливает акценты, заменяет реальность ярким гротескным вымыслом, яркой карнавальностью. Это — важнейший принцип искусства и суть эстетического вымысла. Это знал Гёте, подчеркивал. И тот же Пруст. И — Шпенглер. Наличное бытие, то, что здесь-и-теперь, несовершенно, недоовоплощено, смысл проявлен ослабленно, робко, а потому художник обязан выявить истину и смысл, педалировать и окарикатурить реальность, но, разумеется, при этом должна быть не забыта умная, тонкая дозировка вымысла и правды, и эта умная дозировка может дать сплав высочайшей эстетической пробы. Прием Аркина полностью оправдан и поэтически, и эстетически. Это — метафора! Она не знает границ и рвется, ах, всё выше, всё выше к экстравагантности.

Остуд, обида. Тертулиан где-то когда-то сказал, что по природе всякая душа — христианка. Так-то так, но в каждой душе живут и иноприродные ей существа. Не только живут, но порою полностью одолевают душу, начинают во всю свирепствовать. Злые, гадкие мысли так и застучали о череп, мутные чувства захлестнули сердце, лукавый впрыснул в него яд, прожег, опять же атмосфера ОЛПа, опять же — Лепин, параша, иначе как объяснить, с языка само слетело слово, от фонаря брякнул: «Мне достоверно известно, что Аркин педераст». Отсюда — Пруст. Всё-таки всему виною не Женя, а пресловутое воздушное течение ОЛПа. Отсюда все промахи и неудачи: с машинистов слетел, лопатит в котельне. Бирон фальшиво, херувимски улыбнулся, нарочито глаза закатил; затем похотливо и кровожадно потер руки, которые, видать, давно чесались, почувал на плечах еще не распустившиеся крылья, они быстро росли, крепили: летит Бирон на крыльях, трубит, в два счета оказался в клубе, репетиция, коршуном кидается: «Гнойный пидер! Так-так, значит по печному

делу? Глинки помесить? Ну: в буюк? Твоя жопка, мой х..к!» Выплеснуто с садистическим нажимом, агрессивно-скандальным фальцетом: «Примите вид, удобный для логарифмирования!» — «Если бы мы не были в лагере, я бы вас ударил!» — аспидным взглядом обжег Аркин. Но Бирона, судя по всему, легко не собьешь, гарцует: «А почему бледны? Рыльце в пушку? Знает кошка, чье сало съела!» Бывает, и десять Шекспиров не могут пробить брешь, а бывает: впопад! В яблоко! Козел. Молва, а у нее язык длинный, как у тети, на конце раздвоенный, как у змеи, облетела ОЛП, вмиг усвоили, все, до одного. В походе Аркина было что-то двусмысленное, невнятно-сомнительное вихляние задом, шаловливое, откровенное, и бедра! как у женщин; Толстой бы еще добавил: «и готентотов, они тоже, говорят, музыкальны»; злобен Толстой. Художественное виляние бедер — намек, под-сказка, внесшая в вашу душу сумятицу, тревогу, и вот Бирон вывел истину на промокашку, раскрыл темный смысл вихляюще-гося, женственного жирного зада. Все узрели истину. Молния пупковой интуиции осветила амбивалентный ребус, всяк облегченно вздохнул, всосав истину: «Я всегда это знал». Каждый уверен, что и без Бирона прорвался к тайне, не нужно нам подсказки, сами видим. Прозрели: бельма спали с глаз. Аморфно-плавающий образ феноменологизировался четкой чеканкой. Что у них там, в культбригаде, творилось за закрытыми дверьми, нам не известно, но решение было принято всенародно: гнать поганой метлой. Таким, как Аркин, не место в светлом, прекрасном храме искусства, каковым является культбригада Каргополь-лага, предводительствуемая гением Гладкова. Аркин — монстр! Извращенное чудовище. Вон! Бросает тень на всех. Таким не место не только в культбригаде, но вообще в нашем благодатном лагере! И списали талантливого режиссера на общие. Вот к чему может привести неосторожная реплика.

Женя пошел на попятный, пробовал образумить. Ни в какую. Прозрачно и очевидно: пидер. Каждый знал, что дошел до истины сам, своим умом, без посторонней помощи. Может, и впрямь козел? — убаюкивал свою совесть рефлектирующий неврастеник, который от такого оборота событий отнюдь не испытывал воодушевления. А Бирон всё-таки какая вредина! С ним ухо держи востро! Слава Богу, никто не обвиняет Женю, что именно он, такой-сякой, немазаный, сухой, оклеветал человека, пустил, хотя и бездоказательно, сплетню, и она перевернула умы. Эх, дорогой наш современник, мы-то на тебя надеялись, верили в твои нравственные устои, помним тебя по Бутырмам, а ты? Где вос-

торженные идеалы юности? Каким ты противеньким стал! Не криви душой, не вали всё на Бирона. Да, для Бирона твой намек — находка, улов. Да, свинью подложил Бирон. Но и ты хорош! Что-то на ОЛПе происходит, угар параш, параша растлевают душу. В Москву! В Москву! Острое чувство вины саднит и саднит душу; да эта самая вещица, которая называется совестью, имеет эластичную, гуттаперчевую природу: сделал Аркину гадость — и уже ненавидишь его, презираешь. Кайся, подлец! «Какая же я сволочь!» — трясет головой Женя. Как выскоблить прошлое, исправить? Может, покаяться, пойти, сказать Аркину, что виноват, извините и простите. Аркину нужны не покаяния, не причитания и жалкий лепет, а теплое местечко в культбригаде у алтаря святого искусства, а он на общих упирается. Распространено мнение (другого и нет), что бывшее нельзя сделать небывшим, что над прошлым невластен и всемогущий Бог, что прошлое и есть тот камень, который всемогущий Бог не может поднять. Борхес нашел зело хитроумный ход конем. Что есть прошлое? Прошлое это память о нем, память о том, что было. Ну, а с памятью можно мудрить, хитрить, манипулировать. Зачем менять действительность, когда можно деформировать память о ней? Это проще простого. Как Жене загладить вину? Надо сделать какое-нибудь доброе дело. Аркин на другом лагпункте, ему не можешь. Ах, вот что. Идея. Унижусь, еще раз попытаюсь уговорить Бирона, пусть извинится перед Минаевым. Старик может концы отдать.

Женя нашел нужное слово: Бирон, как это ни странно, сдался, послушно, как паинька, направился в стационар, где лежал Минаев, прощения просил. Как же непредсказуем человек! Кто мог подумать, что Бирон пойдет извиняться? Пошел, пошел! Они о чем-то долго беседовали. Николай Михайлович расцвел, радовался, как ребенок. Прошлые обиды зализаны, забыты, раны зажили. Ради такого случая аж созван Собор, начались взаимные реверансы. Минаев расчувствовался, стряхнул непрощенную дрейфующую быструю слезу, и если до этого не называл Бирона иначе, как «гаденьш», то тут произнес похвальное слово, инверсировал, противопоставил безоглядно Бирона всей современной молодежи («сплошь посредственность, случайные людишки, мелочь»): только Бирон являет собою феномен мощный, социально-значимый, высоко держит планку, это человек кристальной репутации («Я всегда в него верил!»). Объяснил нам, что в черной мизантропии Бирона, в его ужимках и корчах, отсечении привязанностей и страстей, и в разрушительном безумии, абсолютном

социальном скепсисе есть великая истина, которую неспособен проглотить обыватель. Бирон отмечен. Его жизнь являет собою одинокий просветленный путь, путь мученика, остро чувствующего фарисейство, лицемерие, грязь, картезианскую механистическую пошлость мира сего, ядовитые пары царства беззакония. Он отвергает зло с порога: с омерзением. «Дружок, положи свое живое, трепещущее, бьющееся сердце на мою длань!» Бирон возложил руку на руку Минаева, а мы все ладно, былинно покачали головами: символ, совершеннейшее выражение идеи согласия. Торжественная минута. «Яд коммунизма поразил все поры общественного организма, метастазы шуруют, режутся, ликуют. Всё смердит, гниет, заражает. Возрождение Руси должно пройти этап полного, абсолютного, страстного отрицания, огненного, всепожиряющего катарсиса. Всепожиряющий Бог! А кто к этому готов? Никто. Где Ослябя? Где Минин и Пожарский? Ищу человека, вождя! Всех нас коснулась болезнь века, общее безумие, паранойя. И я грешен, болен. Только он, один он, Бирон, Эдик Бирон». Минаев сентиментально склонил грузное, дородное, царственное тело, поцеловал руку Бирона, а Бирон нежно погладил затылок бессменного президента, чей авторитет в новой атмосфере ОЛПа сильно пошатнулся: затылок Минаева был брит в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами ГУЛАГа, так сказать, постгифозен. Как это трогательно, красиво! Всё честь честью. «Перед нами... — споткнулся, как бы ищет нужное слово (ораторский прием, прежде чем воскурить фимиам: вот оно, искомое слово, — найдено, поймано за хвост!), — ...СВЯТОЙ! А святой — вызов веку сему, его скверне. Хрупкость, незащищенность, открытость, абсолютная бескомпромиссность и безумие Креста. Мы недостойны развязать шнурки на его ботинках. Я это говорю! Я — Минаев!» Уже сказано о втором пришествии Эдика на комендантский ОЛП, уже эксцентрические поступки Бирона сопоставлены с фордыбаченьем Сократа (куда ни шло, стерпели, даже никто не улыбнулся); сравнение Бирона с Сократом показалось Минаеву недостаточным и хилым, последовали Франциск Ассизский, Будда и — да что тут мелочиться! — Христос! Вот те раз. Спаситель! Женю удивил не высокохудожественный метафорический пережест Минаева, увлекающегося человека, романтика с ярким темпераментом, а то, что Бирон с достоинством и вниманием заслушал полный медовой патетики панегирик, не улыбнулся, принял как долгожданное должное, заслуженное. А на следующий день Женя, как на грех, пустил шуточку, напомнил, вот, мол, как старик расчувствовался, раздул

кадило, запустил в поднебесье аллилуйю, с Христом тебя сопоставил. Хе-хе. «Кончай балаган!» Женя еще по инерции назойливо докучал: «Достойнейший из достойных? Преподобный, а мы — серость, случайные людишки, каких много во всяком большом движении. Суслик, очнись, аль ты и впрямь уверовал в свое второе пришествие? Венценосец? Наследник русского престола?» — «Фигляр!» — Бирон по-детски надулся, о, Боже! и это тот самый Эдик Бирон, вечный насмешник, аспид ядовитый, купающийся в злой словесной экстреме? Бирон заверещал, как верещит порядочная стая отвратительных шакалов, заверещал не своим, а шипящим, срывающимся фальцетом: «Заткнись! Гадость! Ты всё превращаешь в пошлость и базар, чего ни коснешься. Будь хоть раз в жизни взрослым. Пора повзрослеть!» Доброе слово и кошке приятно; все мы падки на лесть, тем паче, если эта лесть искренна и бескорыстна. Следовало бы нашему герою быть более чутким, внимательным. С ним творится что-то нехорошее, промах на промахе, конфуз на конфузе. Где его былая интуиция? Опять придется всё валить на атмосферу ОЛПа?..

Завершая сказ и все пересуды этого относительно бархатного, благословенного и благодатного периода лагерного бытия (короткая, но дивная пора!) рискнем смело, определенно, недвусмысленно указать, почему, как и по какому случаю накрылся конституционный орган, то бишь демократический парламент, почему мы перестали собираться под великолепной колоннадой, украшающей лихо нашу столовую, почему увяла, иссякла энергия перспективного законотворчества, почему наши усилия и старания по законотворчеству стали видеться пустой болтовней, либеральным бредом, а наши разработки пошли псу под хвост. Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой; всё поросло мхом, густым паутиновым прахом, который археологи вежливо называют «культурным слоем». Придется сказать правду, показать наш ОЛП без брехни и прикрас, как бы это кой-кому ни было неприятно. Конечно, мы простили Минаеву его ужасный промах, то бишь последнюю любовь, недалёковидность (влюбленность в фикцию); значит, еще душой молод, да и со всяким стрястись может, да и что тут такого, ну — вяпался. А поддержка Бирона усилила редут Минаева. Но вот взбесился Лепин, притом взбесился не на шутку, услышав, что Бирон предал его, перекинулся на сторону Минаева. Всё так сложно, запутано — самолюбия, самолюбия.

Итак. Это было весной, зеленеющим маем, сидим мы, избранный круг, перед чудесной колоннадой в восемь колонн, теплынь,

хороша колоннада, совсем, как у Большого театра в Москве, там, поди, сейчас цветет сирень, там, как считает наш герой, воздух дышит лимоном и лавром; а у нас воздух дышит пользительной хвоей, у нас северное сияние, и вообще, если закрыть глаза на колючую проволоку, изолятор, ой, у нас тоже неплохо, благодать. Итак, мы слушаем очередную дежурную речь бессменного Минаева; среди нас и Лепин, но он безучастен, понур, лицо его скучно, как бесцветное тусклое архангельское небо, предвещающее белые ночи, блуждающая буддийская улыбка: самодостаточность, сполна самим собою переполнен, взгляд скучен, обращен вовнутрь, он как бы абстрагировался от окружающего, ничего вокруг не замечает, не видит пылающих тюльпанов; думается, и не слышит, рот полуоткрыт, словно ворон невидимых считает. Медитация? Вот он бесцветно улыбнулся, какая-то ассоциация, неведомая, нам не понятная, в огороде бузина, а в Киезе дядька, и Лепин, представьте, ей-ей, это было так, а не иначе, зеленеющим маем, когда тундра надела свой весенний наряд: Лепин ломает регламент, бестактно обрывает Минаева, швыряет напористое заявление ни к селу, ни к городу (да, Минаев выкрикнул, обращаясь непонятно к кому: «Вам не свергнуть России!»). Итак, приводим заявление Лепина (почти буквально): он, Лепин, оказывается, имеет страстное желание встретить на Святой Руси хотя бы одного христианина, сколько лет живет, а такой зверь и с задатками элементарной духовности ему не попадался! Никто из нас, а тем паче простодушный Николай Михайлович Минаев, не подозревает подвоха, не знает диких фантазий Лепина, его позывов, намерений, диктуемых трагической необходимостью, амнистией, Ирккой, а потому Минаев скромно, без особого энтузиазма, но очень даже достойно ответил, что далеко ходить не надо, что он, Минаев, считает себя христианином, плохой христианин, грешник, к вину неводержен, к женщинам неводержен, но в Христа Спасителя искренне верует. Говоря эти тихие, скромные слова, Минаев знаменует себя крестным знамением, широким крестом, принятым на Руси. Долго таился в засаде, ждал, настиг. Радость встречи, и — обретение истины. Лепин вскочил быстрее быстрого в остервенелом порыве, хочет обличить лжеца в вонючей кривде! Ах, давно пора! Подскочил к Минаеву, как бы подпрыгнул в нервном порыве, сколько прометеевско-фаустовской активности и энергии в крошечном тельце (ну — Европа): «Подставляйте щеку!» А мы пребываем в недоумении, хвосты поджали, не ловим всех подводных заковык и душевных движений этого странного человечка, не улавливаем пафос и оголтелый

смысл готовящегося действия. Нет и нет. Мы оказались не на высоте. Опять же — атмосфера ОЛПа, параши; да и несколько устали от капризной тираннии Минаева. А надо бы гаркнуть: «Остановись, бесноватый!» И Минаев оказался крайне наивен, прямо-таки святая простота, царственным движением подставил Лепину левую щеку; безусловно, на это нужна воля, умение побороть гордость, предрассудки. Получилось, пойман на слове: назвался груздем — полезай в кузов. Мы-то, простота, еще думаем, что дядя шутит. Видим: Лепин начинил себя мужеством, как в стычке с Шелкоплясом, боевито, очень картинно, словно он на сцене у Гладкова, развернул плечи, несуетно, но и без лишних проволочек оттянул до предела маленькую костлявую руку (не смейтесь, да эта самая костлявая ручка освободила Европу от коричневой чумы), налился неистовостью и решительностью, лицо стало красным, как помидор, со всей силой, что было в нем, а сила была (мы-то знаем!), еще недавно эта бунтующая ручка взметнула на воздух начальника ОЛПа, гражданина лейтенанта Кошелева, впечатляющий подвиг, сдвинувший с мертвой точки телегу мировой истории, придав ей ускоренное поступательное движение, последствия которого мы ощущаем до сих пор; а если сказать коротко, одним словом, то Лепин заехал Минаеву по морде, заехал наотмашь по подставленной щеке. Крепко, щедро. Постарался — гром пощечины огласил окрестность, аккорд убедительный, словно рухнули стены осажденного города. Вот так.

Опростоволосившийся Минаев — в глубоком нокауте, и мы не можем очухаться, хотя слышим, чирик, чирик, чирикает, напористо, истово, как бы фарт не упустить: «Гоните вторую!» Минаев, утешитель, заступник, горе-президент — лицо перекошено, потерял враз царственную осанку. Он переломил себя, смирил гордыню (Достоевский: «Смирись, гордый человек»), исполнил зов Нового Завета: щека опять подставлена, бей! А где были все мы? Стыдно признаться, мы опустили долу глаза разом, художественно. Конечно, мы очень растерялись, оказались в смуте, смущены и, будучи в ауте, не крикнули: «Хватит, безумец!» Да, мы в ауте: наши честные глаза трусливо уползли куда-то в сторону, как если бы перед ними были тишь и гладь, да Божья благодать. Неужели мы втайне сочувствовали безумцу? Лепин, не снимая с лица, красного, как помидор, маски гадливого отращения к юродивому, от всего сердца, осатанело, без передыха вмазал по другой подставленной щеке в соответствии с глубокими заповедями блаженства. Врезал! и эта сочная, сейсмичная повтор-

ная заушеница пронзительной болью отозвалась в душе Николая Михайловича Минаева. Урок всем. А мы готовы были провалиться сквозь землю. Бежать, бежать, но куда? Бежать некуда. Что-то страшное происходит на ОЛПе. Такого раньше не было. Ветер, ветер на всем белом свете. Нам-то стыдно, а Лепин абсолютно невозмутим, обвел сияющими глазами наше жалкое, нахохлившееся сборище, глаза уже не обычно-бесцветные, сонно-невывразительные, из них льется мощный свет, как пламя из сильной паяльной лампы. Мир хорош! Стоит родиться и жить на белом свете, если есть возможность залепить негоднику крепкую заушеницу. Сладка пощечина, помнить будет всю оставшуюся жизнь. Лепин деловито, даже педантично протирает очки, которые было запотели; молвил: «Сдаюсь, Николай Михайлович, вы настоящий христианин». Оглядел нас, обжег холодным взглядом, холодным, но сияющим. Вот и всё. А кое-кто в этой сцене разглядел чуть ли не мистерию, талантливо разыгранную ее участниками. Кто знает? Одно ясно, Минаев устарел, неуместен со своим деспотическим мудозвонством и разговорами о войне, об американской оккупации. Его время ушло. Но с уходом Минаева с исторической арены заканчивается важный этап нашего лагерного бытия: мы знали, чувствовали, что находимся в эпицентре мировых событий, что наш славный ОЛП играет в жизни мира ту же роль, что в свое время играли Афины, Иерусалим, Мекка. Это — кончилось. Где Афины? Где ОЛП-2? Гераклитовское становление господствует над ставшим. На ОЛПе всё обмельчало. Теперь ось мира проходит в другом месте, а не через наш грешный лагпункт. Так и плохо...

Царственное тело Николая Михайловича Минаева второй раз за короткий промежуток оказалось в руках лагерных эскулапов. Врачи у нас хорошие, подлечат. Говорят, обширный инфаркт. Лепин собрал нас, цвет ОЛПа-2, на толковище, как следует даванул обескураживающими глаголами на зэчьи робкие мозги, открыл глаза на Истину. Вышел сеятель сеять, бросает семя измены и предательства в наши сердца, и ни одно из семян не упало у дороги, ни на камень, ни в терн, все упали удачно на взрыхленную, удобренную землю; амнистия, освобождение врачей, подвиги Лепина вспахали наши души, сделали их подготовленными к восприятию нового. Семя-слово взрывное, мужское, сперматозоидное, мускулистое: довольно дурака валять, пора менять ориентиры! Имейте толику здравого смысла: в конце туннеля свет. Проснитесь, пусть с очей спадет туман. И не бойтесь рассвета! Каких еще вам надо доказательств, полетел Берия! Заключено перемирие в Корее, умер Хрюкин, а то мог бы

хрюкнуть. У Маленкова в руках водородная бомба! Крепко в Семипалатинске хлестанула. Смена вех, скрижалей. Всё будет хорошо. Сейчас появилась возможность выйти из лагеря. Все выйдем. Вас здесь нет! Приговорены к свободе. Мы тянем шеи к Лепину, жадно ловим новое слово, а его могучий, гипертрофированных размеров интеллектуальный фаллос ломает целку наших робких предрассудков, начинает гулять в наших помраченных мозгах, как по сараю воробей. С ужасной очевидностью нам демонстрируется, что войны не будет, что Минаеву капут, впал в детство. Да, для смены вех нужны интеллектуальная дерзость, мужество. Толмач смело толкует новую действительность. Он абсолютно искренен. Он не хочет выходить из лагеря, хотя наступил его день. В спецчасти сказали, что завтра со шмотками к вахте к 4-м часам. Мы пытаемся уразуметь, почему Лепин не хочет выходить из лагеря и лететь на крыльях счастья в Москву. Загвоздка. Всё дело в Ирке. Ведь Ирка, его великая и единственная до конца лет любовь, остается здесь, на 15-м. Без Ирки нет жизни! Печальная история Ромео и Джульетты; вы послушайте, люди добрые, до чего нас доводит любовь, эти вечные, злые шашни Купидончика, эти шаловливо-фривольные стрелы. Любовь неизлечима, до гроба. Впереди длинная и пустая жизнь, да, половой инстинкт могуч, и он, Лепин, будет сходиться с женщинами, но — вопль отчаяния! — обнимая других, он будет обнимать Ирку в воображении: не изменит ей никогда. Себя-то он знает. Однолюб. О, Беатриче! О, Лаура! Амнистия, свобода, воля ему не нужны. Любовь выше свободы, тем паче любовь в заключении, лагерная любовь. Страсти-мордасти по Лепину. Наступил грозный последний день; утром Лепин бродил по ОЛПу, прощался с каждым закоулком, долго стоял, смотрел на изолятор, затем, опустив очумелую голову, бродил около санчасти. О чем он думал? О ней, о ненаглядной Ирке? Его извергнут из лагеря, а она, голубка, останется за колючей проволокой: между ними развернется непроходимая, онтологическая бездна. Колобок хоть и шаровоз, враль, но не заливал, что и Зойка, и Ирка закусил удила, вовлечены в мощное феминистическое движение, охватившее, как пламя, лагеря Севера от Каргополя до Воркуты, ой, взбесились девки, с ума посходили. Они твердо блюдут новую заповедь: «Вольняшкам не давать!» Вот так-то, девочки. И без исключений, без всяких «не хочу я чаю пить из худого чайника, не хочу тебя любить, а ГПУ-начальника», и пусть ваши п...ы зарастут бурьяном, но не давать! Только — ээку. А мужья, что остались на воле? Да не очень-то к нам ездят мужья на свидания.

Вот и 4 часа, долгожданный момент: зэк сбрасывает узы, выходит за ворота лагеря, выходит не бесконвойником, а вольняшкой. Уже привычная после амнистии сценка: начальник спецчасти выкрикивает фамилии тех, кому на волю. «Лепин»? В ответ — молчание. Замешкались. Что сие значит? Где Лепин? Нет Лепина, нет и нет гроссмейстера феноменологии. Как так? Мимо, мимо. Опять молчание, надрывающее душу у тех, кто остается за колючей проволокой. В чем дело? Такого отродясь не бывало. Дичь, дикость, бред сивой кобылы в лунную ночь. Это же не Лепин, а натуральный театр абсурда, непредсказуемый оригинал. Быть на воле, быть извергнутым из лагеря — предел мечтаний тайных зэка, а тут вызывающий, оскорбительный для всех и каждого абсурд. Все мы уже к 12 часам подходим робко к воротам, толчемся здесь, мучительные часы, минуты. Скорее! Терпенья нет! А тут — конфуз, петуха дал, резкое отклонение от фарватера общего поведения, вопиющее нарушение стиля. И — бунт. Фарс оскорбительный. Куда этот мозгое.. подевался? В бараке нет, с баулом ушел. Велик, велик комендантский ОЛП, больше вселенной (таким интересным образом мы переиначили один из выводов теории относительности), поводырь нужен, чтобы обойти и не заблудиться; так-то так, а не скроешься, спрятаться укромно, чтобы не нашли, негде: у надзирателя глаз остер, наметан. Феноменалиста легко обнаружили. И где? В уборной. Никого не удивило. Нет, не нужду справлял, а — так. Стоит — носом в угол, бесцветная шальная улыбка на бесцветных губах, идиотская улыбка, полный холоймес. Ну — артист! Опять подвиг, опять прибыл к нарам! Ну какой дурак, скажите на милость, будет прятаться в уборной? Дурак или сроду так? Есть ли в таком выпендривании хоть крупица здравого смысла? Или сплошная Женева и только Женева? Омерзительное юродство, оскорбительное для нормального зэка! Извращенец! А ведь всё так просто и было разжевано, разъяснено, сказано открытым текстом: всё — Ирка, сердце влюбленного разбито вдребезги, личная драма. Представляете, Лепин в уборной, носом в угол; едкий запах мочи, не зима, это зимой Ульманис преспокойно бунтовал в уборной, пьяненький; в сквере перед столовой во всю мощь цветут тюльпаны, прямо-таки пылают, а Лепин в отключке в уборной, самоуглубление, медитация, созерцает чистое бытие и бесконечно разнообразные потенции своей души. Может, никакой это не фарс, мысленно очертил вокруг себя магический круг, как Хома Брут, тоже философ, так его аттестует Гоголь, вообразил (это и есть сверхвоображение!) себя невидимым, недостижимым, лишь не выходя

из круга? Не прошел номер: старший надзиратель Ланчиков возложил кругую длань на плечо бунтаря, прибывшего к нам, выдернул ослушника из круга слепоты и дурости, вырвал энергией слова: «Что я — собака?» Лепин заморгал пресными, бесцветно-судаковыми, гнило-зассанными подслеповатыми глазками, понял, дошло: «Шагом марш!» Лицо серо-серое, не лицо, паллиатив. Сомнамбула, хоть с.. Вновь — и для одного Лепина — открылись со скрипом ворота ОЛПа, зло проскрипели, еще раз пропета обедня, и наш Лепин — наконец-то! — с позором и треском исторгнут из лагеря, нашей купели, благодатного благословенного ОЛПа-2. А мы остались стоять на другом берегу, остались у разбитого корыта. Нам годить и годить. Мы по эту сторону, а он за воротами. Кому воля, а кому нары. Воля! Иди куда глаза глядят, горлань во всё горло, что тебе любо. Что еще нужно? Мы ревностно следим за процедурой, как Лепину вручается долгожданная справка об освобождении из лагеря («видом на жительство не служит, при утере не возобновляется»), а Лепин взгромоздил очки на нос, читает справку (ту ли дали?), подслеповатые глазки, преодолев сонность и зассанность, строго бегают по строчкам, чья-то подпись неразборчива, глаза остервенело разинулись, как волчья пасть. Что же они такого увидели? Это — да! Большая, красивая гербовая печать! Лицо Лепина — серо, постно, заметно геморроидально, какое бывает при тяжелых запорах или неправильном обмене веществ, а нынче оно еще охристо-земельного цвета, отражает состояние души, истерзанной, захомутованной на веки души влюбленного, и безволие, апатия, и ад тоски зеленой; на этом лице, тускло-обычном, появилась новая улыбочка. И — прилила яркая кровь, молодая, горячая. Каков! В секунду преобразился: чудо! это уже не Лепин, не постный, геморроидальный сухарь, а девочка с персиками с картины художника Серова и конь с яйцами! Он — прекрасен! Выпрямился, сработала мощная пружина, страшно и прямо на глазах подрос, во всей фигуре проглянуло что-то офицероидно-лейтенантское, военная косточка, царица полей. И тут, а может нам кажется, в самой природе что-то переменялось, откуда это загадочное, странное освещение, приличествующие случаю торжественные краски и глубокие тени, иными видится и изолятор, и запретка, и вахта, и ворота ОЛПа, всё просветлело, поярчало, изменилось вокруг. Что же случилось? Зри в корень. Гербовая печать, очень красивая, чохом изгнала из обезумевшей головы Лепина образ Ирки-присухи, хана, кончился жуткий, корежащий душу сухостой: кончил, разрядился, свобода. Катарсис. И забыл

чудное мгновение. «Чего я нашел в этой зассыхе?» Тут и солнышко, словно из-под бревнышка, выглянуло. А мы-то, кто остался за колючей проволокой, ровным счетом ничего не разумеем: глазам не верим. И что мы видим? Лепин, суд да дело, подхватывает волшебную справку, почапал легкой, порхающей походкой вольного человека, ускоряет шаг, припустил, развил новую скорость, Москва—Воронеж, х.. догонишь! блистательное театральное действие, того гляди от земли оторвется, всё выше, выше, к солнцу; да это уже не Лепин, не геморроидальный гадкий утенок, а великолепный белоснежный лебедь (Платон в «Федре» писал о «крыльях души»), да это уже орля прекрасный и молодой. Даже не оглянулся: и Иркут-зассыху, и нас разом вычеркнул из памяти. Новые, ни разу еще не линялые крылья — вот истинное счастье. И — воля! Нам уже не видно его. Сел в поезд, через час-полтора в Коноше, автоматом получил паспорт. И — был таков. Американец, неандерталец, мрачный антисемит пустил ему вслед: «Гитлера бы на вас!» Двадцатипятилетник не может не испытывать зависти, ему сидеть, а этот улетел и не оглянулся.

Амнистия разрушила изначальные основы лагеря, внесла раздоры. Сознаемся, не один Американец, все ощутили что-то недоброе по отношению к Лепину, вспомнили, как он заехал по физии Минаеву. Хулиган! Распустил руки! Да что он себе позволяет! После освобождения Лепина всё пошло как-то наперекосяк и в разнос, в сердце змеей скользнула измена. То, что хитро таилось в сердцах, овладело умом, заявило о себе открыто. Не хотим войны, а жаждем манны небесной, душа рвется вдаль, чтобы и для нас открылись ворота лагеря, отверзлись, чтобы и нам вручили справку с печатью, убедительной, приспичило лететь, и летим, расправив крылья, вслед за Лепиным, и хотя мы подозреваем (знаем!), что там, за воротами ОЛПа, мрак, холод, зло, там живет иная порода людей и рыщет дьявол, отец лжи, — хотим туда! Бродит по ОЛПу помятый и изглоданный инфарктом Минаев, старый-старый, ходит, опираясь на костыль, выползает на солнышко, уже не пытается объединять нас, толкать проповеди: символ политической смерти! Хочется ему крикнуть: «Потерпи, жизнь коротка. Скоро!» Мы-то полностью изискаротились, соскользнули в предательство. Почему предательство? Только сумасшедший или откровенный архиподлец может мечтать о войне с применением атомного оружия. Война — гибель человечества! Да мы никогда и не хотели войны, а так, шутка.

А параша всю гуляют по ОЛПу, пачками и валом валят, как из рога изобилия, терзают, рвут души, а мы их рассказываем, пересказываем, и всё это взхлеб. Слышали? Смакуем, мусолим каждую парашу, обсасываем со всех сторон. Последняя параша, такая на смерть уложит: Гладков реабилитирован! Что сие значит? Встрепенулись. Раскудахтались. Да мы такого и слова не знаем, слыхом не слыхивали, мать честная, курица мясная, да это революционный переворот в юриспруденции! Это — нонсенс. А лучшие наши умы, великие юристы, Бирон в их числе (Минаева мы спросить не решаемся, избегаем встречаться с ним взглядом: эх, оставь нас!), утверждают, что этого дразнящего, провокационного, непонятого слова просто нет в уголовно-процессуальном кодексе, и быть не может. Сказано, что слово это Бог: в настырно-наступательно-агрессивном слове «реабилитация» в скрытой форме проступают новые тенденции времени, о которых страшно и подумать. Опять сквозняк. Опять лихорадка. И — смятение чувств. И наш герой захвачен сквозняками, ветрами, чувствует себя отвлеченно, как в первый день на Лубянке, как на первом допросе у Кононова, когда дрожали коленки, хочется биться о стену, благим матом орать: Мамочка! Мама! А сердце рвется в даль...

Пунктирно, эскизно порхнем по следу шутовского карнавала, скажем ряд осторожных слов о Гладкове. Ну — громоподобное имя, режиссер культбригады, бессменный, почти бессменный, какие-то неприятности были у него, какое-то время не в культбригаде был, а на каком-то ОЛПе инструменталкой заведывал (работенка не бей лежачего!), всё это так. Да знаете ли вы, что Гладков — это автор сверхрепертуарной и сверхкассовой пьесы «Давным-давно», не сходившей со сцены даже в то время, когда ее автор сидел? Чудеса, всё бывает. Гладков прибыл на комендантский, чтобы идти на волю. Женька Васяев переборол себя, отсепарировал обиды, эмоции: они друзья в ссоре, а проститься надо по-людски. Ринулся было к Гладкову. Не поминайте лихом! Гладков, оскорбленное благочестие, упреждающе рванул в сторону, отстыковался, обошел Женю, как опасную запретную зону, как заразу. В упор не видит. И зачем ему Женька? Гений обязан сторониться суеты, толпы, всякой шушеры и шоблы (Пушкин), держать «пафос дистанции» (Ницше). Обиду крепко помнит. Женька по наивности расхвастался, как Хлестаков, ляпнул, что сбил Кононова, не признал себя виновным на следствии, а Гладкову очень не хочется вспоминать свое следствие. И с Верой Женька болтал, да как болтал, взасос, оторваться друг от друга не

могли. О, ревнивец. Как же это Женька сразу не понял? Догадка пронзительная: Гладков приревновал артистку-девственницу к девственнику. И — ложка дегтя. Вера талантлива, но это лишь на сцене, в огнях рампы, а в жизни другая, фригидна, не женщина, а льдышка. Не способна любить, никогда не потеряет голову. Выйдет замуж, народит мужу кучу детей, но так и не будет знать, что такое страсть, безумства. Злое, пустое, холодное сердце; тает лишь от аплодисментов. Умело плескнул Гладков яд в уши юноши: Вера превратилась в некий символ, в женщину в белом, холодную, манящую в небытие. Злопамятен Гладков. Богом избранный талант жил в лагере, как у Христа за пазухой, всю дорогу в культбригаде, х... груши обивал, не лагерь, а башня из слоновой кости, мир искусства, взлеты, крылья, ходил важно, животом вперед, трубкой попыхивал, на голове какой-то богемный пельмень, в сером английском пальто, с гвоздикой в петлице. Гений, нам не чета. Светило, небожитель. Ну, «Давным-давно», разумеется, факт культуры, а раз так, то: Гладков от литературы генерал. Мастит. Честь, уважение, достойная жизнь. А генерал — он и в лагере генерал. На сортилощадку его не погонят. Там, в Москве, писательская братия, дружная семья мерзавцев, отлично обслуживающая идеологический режим, бросилась, как это стало возможным, со всех ног хлопотать за Гладкова, сам Леонов хлопотал (говорили, и Фадеев), пускался во все тяжкие и в лепешку разбился, дошел до одного большого человека, а этот большой человек сулил большие перемены: замысел грандиозен (то ли еще будет!); получилась, к сожалению, накладочка, большим человеком оказался Лаврентий Павлович Берия, а Берия — погорел, кончился, секир-башка; Бирон интересный афоризм слепил, ухватив нечто пророческое: «Наш министр плохой, значит, и мы плохие». Полковник ГБ, тот, что сопровождал гроб Димитрова в Болгарию, птица редкая, фамилию его мы почему-то забыли, тоже реабилитирован, восстановлен в правах, давно по Москве гуляет. Многие освободились. А когда же мы? Кто за бедного Женьку будет хлопотать? Мама? Что она, бедная, может! Несчастливая, усталая, бестолковая, толкается по прокурорам, унижается, слезы льет. Мать — боль в сердце. Иссякло гордое терпение, темный ужас сжимает сердце, сам воздух ОЛПа заражен ужасом и предательством. Где былое славное благорастворение воздушных?

Пышно в ЦДЛ отмечает Гладков юбилей, шампанское Волгой льется. И не в один заход. Много друзей, все Гладкова любили, чтили. И он, попыхивая трубкой, с большим воодушевлением и подъемом сказал смелое слово; нет и нет, у него отсутствует

всякая ностальгия по колочей проволоке, но надо признать, что лагерь был не только проклятием, но и наградой, самым честным периодом жизни, и годы, вырванные лагерем, не следует считать потерянными, была и творческая работа в культбригаде, писались стихи, особенно он выделяет стихи, посвященные Нине Квасовке, и эскизные зашифрованные наброски воспоминаний о Пастернаке, о Мейерхольде, подвиг жизни, как-то всё успевал, был и полет, в лагере («это — основное!») он был по-настоящему свободен, вне быта, без семьи, женщины не тянули трактором в ЗАГС, трудился не покладая рук, жил творческой жизнью и был, повторяет, подчеркивает, экзистенциально свободен в самом роскошном значении этого слова. Ни на кого не оглядывался, вял, вертел, как его душеньке угодно. Начальство интересовал только внешний декорум, глубоко, в суть не лезло, не вмешивалось, а творческого пространства для самовыражения было больше, чем достаточно, больше, чем на воле. Внутренне был свободен. Пушкин, Блок воспевали внутреннюю, тайную свободу. Да, он хронограф, Нестор Мейерхольда, получилась в конце-концов эффектная вещица, очень оригинальна для этого жанра. Успел немало, но мог бы и больше. Обленился в последние, послелагерные годы. Многие считают его чудачком, небрежен в одежде; он не чудак, а человек много думающий, много намеревающийся еще сделать. Жизнь, женщин, покой, хорошую книгу он любит больше, чем славу и успех. А молодое поколение, идущее нам на смену, племя молодое, незнакомое, не может понять, что слава — это еще не всё. Пижоны. Можно и в мятых брюках чувствовать себя королем, техасским миллионером...

Так говорил Гладков. Но на такие банкеты не следует пускать гаеров и безобразников, вроде Бирона, да таких вообще не следует пускать в приличное общество, напьются, несут черт знает что, испортят праздник. Вообразите на минутку: после патетического слова юбиляра вылез Бирон и такое понес, уши вяли (и краснели!). Вот вы, Александр Константинович, в лагере хорошо устроились, куковали, творческие взлеты, экстазы, Мейерхольд, обивали кое-чем груши, а он, Бирон, попал на Обозерку, повал, вкальвал, упирался. А муки плоти, женщин-то нет, хорошо Александру Константиновичу, на каждом ОЛПе баба, транзитник, а он, Бирон, с козой, как с женщиной жил, приходилось, не онанизмом же заниматься, да что тут такого, задние ножки в валенки сунешь, хвостик в зубы и — пошел, наярываешь; а потом с кобылой жил, с Машкой, ой, хороша Машка, необъятна и восхитительна гинекология, одна беда: далеко целоваться бегать!

Все, все с животными жили: и бытовики, и фашисты. Лагерь был общий, в основном бытовики, нас, фашистов, не больше трети. Какие фашисты? Ну — 58-я, войну ждали, мечтали об американской оккупации. Как так войну ждали? И это после Хиросимы? Гладков оборвал Бирона, возвысил голос протеста: «Эдик, что ты несешь? Хватит паясничать! Побойся Бога, да какие мы фашисты! Никто не ждал войны. И ты не ждал». Остерегайтесь Бирона, не связывайтесь с ним: профессионал. Нокаут — завалит. Язык — бритва. И Бирон сбацал. И как! Опасные кренделя, прыжок к забытой правде. А кому она нужна, правда-то? «Я, получается, смутил всех, выболгал лагерный секрет, спьяну. Как не ждали войны? Да вы, Александр Константинович, первый ждали, и я, американцев ждали, собирались в полицаи идти. Вы же нам говорили, что всё великое приходит в буре. Я не алкоголик, и, если кто и деградирует, то не я. Я принадлежу к тем несносным людям, которые всё помнят и ничего не забывают. Да как вы можете быть хроникером, Винкельманом, если у вас нет памяти? А Минаева, со святыми упокой! не помните? А Васяева, Женьку Васяева, вечная память! забыли? Я любил его! Всех забыли? А послание Эйзенхауэра русскому народу, статью в «Известиях», тоже не помните?»...

Гладков, счастливый человек, честно порыскал по сусекам памяти, много там было хмеля и винограда, дал себе труд вспомнить лагерь, и ничего похожего, близкого там не обнаружил. Какая статья? В каких «Известиях»? Секунда прострации. Он закрывает лицо руками, густо краснеет, бросает трубку прямо на белую скатерть: разжиженные образы прошлого, плавающие, нечеткие, обрели резкие очертания; увидел себя на комендантском перед столовой, как наяву. «Хватит! Не мучь меня, прошу! Не мучь меня на моем празднике. Прости, ради Бога, мои немощи, мой маразм, мою память. Ну — прости! — взмолился он сокрушенно. — Было! Было! Безумное время! Помраченность и скотоплененность разума, паранойная жажда войны, катаклизмов, включая американскую оккупацию, соответствовала лагерьной психо-идеологии, идеализму; но следует честно признать, что все мы находились под гипнозом лагеря, заблуждались; и надо быть благодарным бесконечному Богу, что Он не внял нашим страстным мольбам и молитвам. Хватит сыпать соль на раны! И в моем маразме нет тенденции, намеренной фальсификации прошлого, внесения затемняющих плевел в сказ о лагере, да мы и не представляли подлинной мощи водородной бомбы, ее тогда и не было, гениальный Сахаров сделал подарок нашей системе,

когда Сталин уже умер. Человечество живет, жило и будет жить в мифах и химерах, в утопиях, в мечтах о золотом веке; мифы строить и жить помогают, жить и выжить. А не кажется ли вам, что вся эта бодяга о правах человека — такой же миф и абстракция, как наша жажда американской оккупации? Может, и правозащитная деятельность такой же миф? Миф, ходули, риторика? — И сам же ответил: «Нет! Если что-то и остается свято и вечно, так это правозащитная деятельность и права человека. Святая свобода — святая! Это не бред, не миф. Россия имеет право на свободу, она достойна, выстрадала ее». Тут он задел трубку, и она полетела на пол, нагнулся, долго искал, доставал, аккуратно положил на тарелку, как-то после лазанья под стол заметно скис: «А Пушкин, который столько раз нас всех выручал, перед смертью сказал: Недорого ценю я громкие права, От коих не одна кружится голова. Спаситель Пушкин!» Он положил голову на руки, видимо, задремал (Пушкин: «Пир продолжается. Председатель остается в глубокой задумчивости»). Лагерь нелегко отпускает человека, не отпустил и Гладкова, как он ни старался его вычеркнуть из жизни и из памяти.

Эпилог. Чем ближе к концу, тем дальше он уходил в самодостаточную замкнутость, тем сильнее им овладевали страхи безотчетные, необоснованные. Он стыдился своих страхов, скрывал их, внешне порою выглядел счастливчиком и неунывающим бодрячком, милым эгоцентриком, покуривающим трубку, почтывающим любимые книги, пишущим, притом пишущим быстро, легко, остроумно. Темна подкладка человеческой психики: страх стигал его, несказанный страх, прохватывающий, пронизывающий, и это чувство иррационально, ужасно, первично, метафизично, неразгаданно. Ну — страх — сторож жизни. Родные, близкие видели, что он чуть повредился умом, другой, не прежний, не тот человек, который написал «Давным-давно», махнули рукой. Чем можно помочь? Ничем. Годы сказываются. Все там будем. Он стал чураться людей, особенно тех, с кем сидел раньше в лагере, Эдика Бирона просто возненавидел, у! гнида! покоя нет! Страх, покоя нет. Он понял, что за ним стали следить, техника выросла, установлены на даче в Загорянке подслушивающие аппараты, правда — «жучков» он не обнаружил; преследует машина, черная «Волга», а когда он проходит мимо нее, гудит, как бы предупреждает: берегись! Мистический гудок, душу надрывающий. И все говорят, что оттепель закончилась, наступают тяжелые времена, Солженицына выслали. Второй раз он, Гладков, лагерь не вынесет. И каждую ночь один и тот же сон

властный. Он опять в лагере, комендантский ОЛП, вроде его должны освободить, говорят, что он реабилитирован, загвоздка, что-то застопорилось, другие вышли за ворота лагеря, а он остается за проволокой, что-то не то, бюрократизм, вечная тяготи́на, завтраками кормят, пришла бумага, но затерялась, видите ли, не знают, где, а может, специально задерживают, притормозили, он в свое время успел написать заявление на имя Берии, теперь пыгается доказать, что никак с Берией не связан, просто в то время Берия был министром ГБ, писал ему как министру; Пашка Шеффель, стервятник, дразнит, письмо на имя Берии у Пашки в руках, дернулся, чтобы выхватить письмо, а Пашка руку отдернул, злопамятен Пашка, смеется, гнилые зубы показал, желтые, клык, потянуло левый желудочек сердца сильнее, чем обычно, отпустило, сколько лет прошло, а Пашка помнит, очная ставка, да, он слабость проявил, не выдержал нажима, да разве мог он не сказать, у кого купил Гумилева, потек, потек без сбоев. Гумилев, книги, любимые книги его погубили. Каждую ночь злой демон Пашка Шеффель тут как тут, рвет, терзает душу, не отдает письмо, нет выхода из лабиринта прошлого. Днем хандрит, тоска, тоска зеленая, потеря работоспособности. Не следовало ехать в театр Вахтангова, что-то подсказывало, что лучше отсидеться дома, давно не был, решился, зашел к администратору, взял два экземпляра афиши о солом «Молодость театра», записался на 9-е. Взял такси. Что стряслось с памятью, забыл куда ехать, а таксист, внешность пошло-мефистофельская, борода черная, пошлая, даже не камуфлируется, нагло смеется, подсказывает: «Загорянка». Он понял, что сел не в такси, а в ту самую «Волгу», которая мистически гудит. Спросил: «А вы откуда знаете?» Мефистофель улыбается, растягивает слова: «Вы — личность известная. С Солженицыным сотрудничали. Тему дали. Иван Денисович — ваше. Да чего вы, этим гордиться надо. Это вам дали Нобелевскую премию, а не ему». Ощутил за спиной ледяное дыхание КГБ, всё же хватило сил сказать: «Солженицын никогда не жил у меня в Загорянке!» — «Так уж и не жил?» Сильно кольнуло сердце, задрожали поджилки; ищущее движение, нащупал валидол, вынул таблетку, сунул под язык, стало легче, вспомнил, унижительное воспоминание, последний раз в кровати, в самый решительный момент потянулся, схватил штаны, выудил тубик, постыдное воспоминание, она ничего не поняла, слава Богу, ничего не поняла. Надо было отпустить таксиста, взять другую машину. Нет сил. Обвал, катастрофа, шофер довел его до двери, и он заперся на даче, больше не выходил из дома, через соседку отослал

телеграмму Симонову, что заболел, не будет на юбилейном спектакле. Опять импульсы страха, перестал общаться не только с родными, но и с соседями, которым доверял больше. Соседи жалели, любили, помнили, каким он был раньше. Соседка — золотое сердце, ставила у дверей кефир; он обходился малым — кефиром, хлебом, возможно, у него на даче были крупы. И кефир остался невостребованным, как и последняя рукопись. Заподозрили, вскрыли дачу. Он лежал на диване, лицо искажено судорогой страха, глаза открыты, стеклянны. Что он увидел в последний миг прежде, чем погрузиться в вечность? Опять Пашку Шеффеля? Косяк бесов? Что остановило это веселое сердце, какая собака Баскервилей? Ну, а крысы, эти наглые, отвратные твари, хвосты-то какие противные, успешно поработали, попортили лицо, а! мелочь. Так проходит земная слава! Все в землю ляжем, всё прахом будет...

Но мы с разбега и со всего маха скакнули в 1976 год, заглянули в далекое будущее. А отвалил от нас великий человек в «мягком вагоне», культурно отдыхал в вагоне-ресторане. Всё, как в песне: «И на поезде, в мягком вагоне я к тебе, дорогая, вернусь!» Оставим Гладкова, оставим навсегда. Не с ним, а с подвигов Лепина на Руси завелась измена, проросла в наших душах, пустила корни, Гладков лишь добавил, развил успех весеннему ветру, теперь катил мимо комендантского ОЛПа в вагоне-ресторане, даже не глянув в окно, а ОЛП был-таки виден, секунду, а то и все пять, впрочем, физически, телом с нами, а душой алиби (в другом месте), он был давно. Столица встречала его цветами, как Папанина, может, и не совсем, как Папанина, но мы не будем так уж раболепствовать пред его величеством фактом; сходу и без проволочек восстановили в Союзе писателей, какое-то время носились с ним, как с невинно пострадавшим, какую-то сливку он снял. Увы, как говорит Солженицын, «славы всегда не хватает» (Гладков шутил: «И денег»). Человек всегда недоволен своим положением, Гладков жаловался: «Умру, начнут печатать». А что чувствовали мы, осиротевшие, отринутые лагерники? Скулили. Кому Москва, Царь-колокол, Царь-пушка, а кому х... в грызло, чтобы голова не качалась, шаг вправо, шаг влево считается побегом, крепки объятия лагеря. Плохо нам. Мы гордились, что с нами Лепин, Окуневская, Гладков; что теперь? Мы плюнули с ловкостью верблюдов им вслед, ожесточились. Сиротливо, плохо без генералов. Минаев — не в счет, на нет сошел, изглодан болезнью и старостью. Один Аркин рад-радехо-

нек, руки потирает: освободилось теплое местечко, его призвали руководить культбригадой, хотя еще недавно изгнали с позором, как извращенца, гнойного пидора. Все, мол, люди искусства предрасположены к порокам, отклонениям от нормы. Да и что такое норма? Среднее, серость. Греки, Платон, гении Возрождения — Леонардо, Микеланджело — ярки: и новое время знает героев, живущих не по общим правилам: Уайльд, Чайковский, Пруст. Снова Аркин стал человеком искусства. Наш герой, Женька Васяев, рад такому обороту событий, грех снят с души, услышана страстная молитва, можно спокойно забыть о промахе, на который его подтолкнул демон зла и предательства, гулявший по ОЛПу.

Давайте всё же радоваться, что хоть кому-то потрафило, что хоть кто-то вышел из лагеря, хватит скулить, вредничать, петь Лазаря. У нас, с одной стороны, поубавилось дум высоких, сильно поубавилось, изискариотились, не ждем войны, но, с другой стороны, наступил явно бархатный период лагерного бытия. Жить стало лучше, много лучше. Комендантский ОЛП, ОЛП-2, тихая гавань, тихий ОЛП (как океан, раз Тихий, то и Великий!), сейсмоустойчив: нет блатных, сук. На всех командных постах свои да наши, Фан Фаны с Сидором Поликарпычем да Укроп Помидорычем, прокурором будешь к лету, ну, прибалты: литовцы, эстонцы, латыши — крепкая публика, корректная, хотя немного и скучная, с прибалтами живем душа в душу. И с украинцами можно жить, отзывчивый народ, спросишь, когда невозможу, покурить, ответит тебе ласково-ласково, как ласковая мать: «Маю трощки. Тильки для себе. Гуляй». С погодой везет. Белые ночи, залобуешься, зори, закаты, серебристые, мирискусственные, на дворе не 49-й год, гоп-стоп, не вертуйся, закон — тайга, прокурор — медведь, пурга злое...я, у-у! уе..у!, лагерь, как следует, вльндил нашему герою в туза, трансцендентально-предвечная Вера Карташева в белом венчике из роз, «сон заветных исполненных знаков» (Блок), «всплески девичьих рук» зовут, манят, обещают покой и нирвану. И эти прелести после триумфа в Бутырках: бей в глаз!..

Всё в прошлом. Всё течет, говаривал некогда Гераклит Темный, он же Эфесский, эту мысль возродила великолепная Зойка в неожиданной метафорической рубашке: «Всё течет, всё из меня!» Опять контраст, наш паровоз летит вперед, меняются принципы века сего, наступает затмение великих скрижалей, фокусирующих квинтэссенцию лагерного опыта. Иные песни поем, иной модус вивенди. Только не говорите, что такого не

было и не могло быть: сущностную, чинную, святую пайку мы не съедаем. Святая святым! а куда деть-то ее, если мы сыты по горло, паек — навалом, пруд пруди, в курилках этих паек набрались целые пирамиды, плесневеют, гемородем зеленым покрываются. Выбрасывать — грех, еще какой грех! Хлеб — жизнь. Я ем хлеб, хлеб жизни! Контраст с 49-м, громадная психологическая мутация, в лагере остается хлеб, а эта мутация формирует новую душу ээка. Плюс — амнистия. Плюс — параши. Колобок прощельга, прохиндей, голубоглазая каналья, развил бурную деятельность, как Фауст у Гёте во второй части великой поэмы («главное — дело!»), вертится почему зря, успевает, каждый день по ведру паек тащит Лубе для коровы, непечатые пайки, да пусть лучше корова насытится, чем за так пропадет хлеб, сгниет, а корова у Лубы славная, благочестиво-удойная, вологодская, фирменная. Так дело не пойдет. Остановлена деятельность Колобка, опомнились, сами ээки наложили запрет: за зону хлеб не носим! Если кто попадет — словит, долго будет помнить, родных не узнает, может, он и узнает, но родные никак его не узнают: так обрабатываем. Новая программа: руки прочь от хлеба! Заводим при столовой свиней, откармливать будем, осенью зарежем дорогих, ненаглядных свинушек. И — общий котел, сами с усами, съедим. Неплохо задумано! А хлеб на столах пусть лежит, бери сколько надо, но без наглости и хамства, руки оборвем! А еще совсем недавно, свежо в памяти, скандалы, доходящие до мордобития, битому фраеру, восприимчивому к краскам лагеря, знающему свои права, два дня сряду дали серединку, а не фольклорную горбушку, питательную, умно пропеченную, по забывчивости сунули, мякину сунули. Вес-то один, а всё же обман: горбушка пропеченнее, полезительнее: она и только она, горбушка, является подлинным хлебом жизни! Еще так недавно! Еще вчера! Главным таинством жизни лагеря, его литургией, была раздача паек, их уестествление. Святая пайка, ты прекрасна, заменяешь деньги, всеобщий эквивалент. Нынче — иначе: иные психологические реальности. Чай не пьем без сухарей. Не живем без сдобного. Кто сказал, что х... сосем? Ничего подобного. Зайдите в наш ларек. Ну — Снайдерс, ну — разлоли-малина, что ваш Елисеев, не простой Елисеев, а Елисеев до 14 года, в глазах рябит, полки ломаются от всякой и всяческой снеди, консервов, тут и сало, и масло сливочное, вологодское, молоко, кефир, даже кумыс, в котором, считается, алкоголь имеется и добрый, бисквиты разнообразные, колбасы всех сортов, треска, окунь, зелень всяческая, горы икры, зернистой, красной, дешево-то как, икра-то 30 рублей кг, даром, семга,

сельдь, сыры, на любой вкус, язык проглотишь. И всё это не в думках и грезах, а на прилавке, не жизнь, а детская сказка. Цены снижаются каждый год. Родственники завалили нас посылками, все получают, кроме там Жилиева, которого давно жена бросила, да Колобка. Что еще зэку надо? Живи!

Так нет же: новая беда, в костях ломота, зов плоти, нет власти над ним, верха не взять, взыскующий и докучливый свинцовый инстинкт андерграунд. О! у! вечно дымящийся Бергсон! обрыдла Дунька Кулакова и всяческий там элизиум теней, бабу хочет зэк, живую, во плоти, тепленькую. Всё не слава Богу! Не успела ОЛП покинуть смерть голодная, другая напасть, каждое утро проснется зэк и — до потолка, маячит, разят раскаленные стрелы лукавого; об этом состоянии зэка талантливо писал Кузьма, изумительно: «тридцать третьего полка». А наш герой всё еще девственник, еще ни одна ему не подвернула, на ОЛПе нет женщин, были в 49-м, а нынче нет. Вы еще не знаете, какой у нас буфет, чего только там нет, любая бацилла, всё, что твоей душеньке угодно, вплоть до птичьего молока. Гужуйтесь, утрамбовывай, обжираловка. Желаете, цыпленок табака, с пылу, с жару, вам одну порцию, две? И пашльыки-изыски, сочные, ароматичные. Котлеты по-киевски, вкуснота; ромштекс окровавленный по-пушкински. Осетрина заливная. Горох сум комменто в сале. Ништяк. Соуса, запахи острые, дразнящие, все тридцать три удовольствия найдет зэк, и перестал этот изголодавшийся дурень утверждать, что лучшая рыба — это колбаса. Не жизнь, а Тарбогадай! При буфете трудятся неизменные и незаменимые Окунь и Карп, повара правильные, отменные, шлифуют мастерство, честняги. Еще Василий Васильевич Розанов славил евреев за честность, прав Розанов, и мы, ой, как довольны нашими Окунем и Карпом, за них горой стоим, дай им Бог здоровья. Мы-то знаем, в романах говорится, ума холодного наблюдения, наш брат, русак, не властен над собою, непременно тятнет, что плохо лежит или само в руки плывет, слаб, незащищен русский человек, трогательно слаб, в крови это, ворует, сто домов — пятьсот воров, гены или там другие метафизические глубины, хитро передаваемые по наследству или с молоком матери. Мы такие. И полюбите нас черненькими! Ульманис эту черту определил так: «Русский любит цап-царап». Колобок, что птица поет, поет и не может не петь, не может не сп...ть, что плохо лежит, ему это, что рыбку съесть. Мудрая пословица советует: не клади близко, не вводи вора во грех. В буфете всё дешево, доступно, порции полновесные. Не каждый день зэк к буфету пристраивается, а с полочки. С полочки то здесь,

то там: «Гульнем по буфету!» Красиво жить не запретишь. Прем на буфет. Бирон, вот у кого денег куры не клюют — полностью игнорирует столовую, забыл ее, пристрастился к буфету, шикует, кревоугодничает, убажает свою утробу. Ему каждый Божий день Окунь специальный гоголь-моголь готовит, ложку коньяка для аромата, амбре, пустяк, а совсем другой коленкор. На широкую ногу Бирон живет в лагере, ни в чем себе не отказывает, даже это как-то неприлично.

Что греха таить, и наш герой живет сносно, не забыли его мама и папа, негоже тебе жаловаться на жизнь, харч приличен, каждый месяц получаешь ящик из Москвы, а то и два. С Колобком — симбиоз, избалованным тоном бросит Женька: «Вася, свет, будь другом, возьми в буфете мне, сам знаешь, ну, ромштекс по-пушкински или язык под майонезом. Посмотри сам, вкусненькое что-нибудь. Скажи Окуню, что для меня, подливки побольше. А обед, баланду и там кашу — сам навернешь». Солнечный Колобок рад стараться, у него купило-то притупило, а аппетит — шапка слетит, еще голоден, хотя и он постепенно наедается, голод скорее психологический, от страха, от длительного недоедания, такое состояние долго продолжалось у тех, кто перенес ленинградскую блокаду. Всем хорошо. Так мы живем. Повара обижаются, что миски по баракам растащили. Нести в столовую — лень: не любит ээк работать, работа ему противна, лишний шаг сделать не может. И развлечение у нас есть, культуру хаваем. Киношка. Крутят три раза в неделю. До лагеря столько не ходил Женя в кино, как за последний год. Фильмы классные, и фильм у нас на ОЛПе идет раньше, чем в поселке, в их дурацком клубе, им объедки, а сначала нам. А почему? Нас-то много, по рублику скинемся, и это идет в карман киномеханику, и он заинтересован оказывается, а там, в клубе, ему лишней копейки не дадут, за спасибо и зарплату там работает. Лагерное начальство, гражданин начальник Кошелев с семьей, и его два зама, и надзиратели, и бухгалтерия, и медперсонал смотрят кино у нас, в столовой, где мы отводим им вальяжные места, гужуйтесь, ловите наслаждение бесплатно, нам не жаль, с вас, жлобы, денег не берем, вы нам, а мы осчастливливаем вас. Живите и нам жить дайте. А фильмы-то у нас какие, трофейные: Тарзаны, индийские гробницы. Язвит, лепит Бирон злое слово, чтоб царапнуть побольнее, вот лагерь стал недостаточно репрессивен. Пора с этим кончать. Ой, накаркает злыдень. Лови фарт, пока не поздно.

Залетела в голову Жени мысль счастливая, а почему бы ему в ОП не отдохнуть этим летом? С Алексеевым легко договорился,

в санчасть направился. Душа болит о производстве, а ноги тянутся в санчасть. Нахальство, учат многоопытные профессионалы, — второе счастье. Чего-то мурлычет себе под нос, подходящее случаю, «лежу в лазарете, плюю в потолок», заваливается в санчасть, душа болит о производстве, но так-то и так, ослаб, мастырит версию, что худеет, гремит костями, кожа да кости (он и правда худ, каким был в 49-м), а бригадир Алексеев не возражает, готов где надо расписаться, если Женя полежит в ОП. Еще толика вранья, еще капля. Очко! Выгорело! Ой-ля-ля! как говорил Кузьма. В законе! Ну — устрица! Ну — прохиндей! Искры-то давно нет в санчасти, а то она, стерва трусливая, педант, ни за что бы Женю, фашиста, не положила в ОП, тряслась, душонка чернильная, теплое местечко, строгость, справедливость тут разводила, впрочем, и ее можно понять, кому хочется на общие работы. У нашего Женьки летние каникулы, отпуск, две недели. Надо бы месяц просить. Наглеть так уж наглеть. Расскажу я вам, ребята, как живут филоны в лагерях! Потягушечки на нарах, дрыхнет круглые сутки, затем по ОЛПу шалтай-болтай, ля-ля-ля, какие параша? тут очень кстати и ко времени шахматный турнир самоорганизовался, а мы играем не из денег, а так, чтоб вечность проводить, почему и Женьке не включиться в борьбу? Шахматы — игра правильная, разрешена и рекомендована ГУЛАГом. Вот и режемся по принятым правилам, за фигуру взялся — ходи. Не смей фигуру карандашиком передвигать, не нахальничай. У нас появилась заступница и благодетельница — начальник культурно-воспитательной части гражданин капитан Носова, а мы ее ласково зовем «мама-Саша». Она обеспечила турнир специальными шахматными часами, досками. Шахматисты у нас на ОЛПе аховые, перворядников нет, но энтузиастов этой древней и мудреной игры набежало много, все, кто знает, как ходит конь, записались в турнир. У нашего героя — преимущество: другие играют после работы, вымотавшись, а он день загорает на пленэре, выспится хорошенько, бодренький, как огурчик, садится за доску; другие зевают, просмотры, бесцветная игра, а он хорошо варианты просчитывает, азартно, агрессивно играет в романтическом, смелом, комбинационном стиле, как играли в прошлом столетии, с каждой партией повышает класс игры. У него просто-таки талант прорезался, с душой играет, рекордное число побед, идет без поражений. Не самый быстрый побеждает в беге, а счастливый, во всяком случае, в шахматах счастье нужно, он чешет и тех, кто играет лучше его, сильнее. Пугающее везение. Крушит противника; занял первое место в турнире. Приз: шах-

матная доска. Скоро из лагеря не захотим выходить, как Лепин в уборной будем прятаться.

Но поди человек, всегда и всем недоволен. Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего, сплошные сполохи, параша цветут махровые, как розы перед столовой, перекормлены парашами, а тут еще на наши головы сверзилась сверхпараша: лагерей вообще не будет, идем на вольные поселения, значит, женщины будут наши! Сонмище подавленных желаний, оттесненных во мрак подсознания, вырвалось на солнечную сторону сознания ээка, эпидемия, воздух пропитан парашами, они захлестнули ОЛП, замучили, сосут сердце ээка, как липкие пиявки, от параша к параше идем. И еще: горячая, последняя, с пылу-с жару, нам светит, вот те крест! да это параша параш, не журавль в небе, а синица и, можно сказать, в руках: в Каргопольлаге вводят зачеты, раскрылась длань ГУЛАГа, посыпалась манна небесная, да какая там война, всюю шурует всераствлевающий демон либерализма, верхи ГУЛАГа не могут жить по-старому, а ээки не хотят. Горячая тема, захватывающая, на электростанции, говорят, зачеты: один к трем, смену отстоишь, считается, три дня сбросил, конечно, если ты работаешь без аварий, а мы постараемся без аварий работать, веретено фатума, плетущее сложную нить судьбы, на этот раз потрафляет нашему герою, у него хорошие шансы через год выскочить, а через полтора — это уж навверняка! Везение на везении. Придурня завертелась; как таракан на жару, паника, так вам и надо, презирали нас, в конторе штаны протирали, обивали кое-чем груши, майтесь! Гоняли чаи, так и сидите: в конторе зачеты один к одному, день за день. От избытка параш и впечатлений душу корежит, скорей бы к какому-нибудь концу, поменьше бы интересных событий.

Еще новация на ОЛПе — примета времени, всё стараниями нашей благодетельницы «мамы-Саши», гражданина капитана Носовой: волейбольная площадка, пусть ээки после работы играют в волейбол. Оглянуться не успели, готово, обустроено, столбы, сетка, мяч, сама площадка песочком посыпана. Как же изменился облик лагеря! Пригожая погода. Жизнь ээка беспечна, проста, семей нет. Беззаботные ээки без устали и напролет режутся в волейбол, время полночь, а мы играем, никто не гонит, не заушает. Отбой был давно, а нам хоть бы хны, волно взяли, белые ночи, красота неопишная, первозданная, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса, а надзор на такое безобразие смотрит сквозь пальцы и с мудрой улыбкой. Не лагерь, а одно сплошное, плотное недоразумение: мы наглеем, забыто о прави-

лах внутреннего распорядка, о часах и календарях. Разгулялся вовсю демон либерализма, все люди — братья: и зэки, и вольняшки. Щука-то, она может добрая? Или состарилась, подлюга? Зубы повыпадали? Стамбул отвык от пота битвы, И пьет вино в часы молитвы; В нем веры чистый жар погас. Трещина в мироздании, и трещина расплывается, расширяется, и нет политической воли ее залатать. Где умные, прочувствованные, испытанные десятилетиями и на миллионах зэков инструкции ГУЛАГа? Они должны были обуздать анархию, смуту, хаос, обуздать, смирить, приземлить ветхого Адама с его своеволием. Если не будет лагерей, то как держать в узде Алексеева, Митю, Куцика, Американца? Нужна палка, ой как нужна! Берегитесь, захлестнет вас мутная стихия! Нельзя зэка распускать, да это же полное извращение великой идеи лагеря, фолл. Где фолл, там паралич, сползание великой страны в непонятное, а в исторической перспективе полный п.....ц, апокалипсис, смута. А что, если это дьявольская стратегия «мамы-Саши»? Капкан? Провокация, которая завершится кровавой мясорубкой? Кто знает: всё возможно, всё. Бог умер, летим в бездну, в тартарары. Спасайся, кто может! Пошло, поехало, рушатся исконные устои лагеря, накрылась женским половым органом великая эпоха, завтра мы вспомним о правах человека, вспомним, что мы, зэки, такие же люди, как те, что ходят по Москве, что никакие мы не фашисты, ворвется воля к переменам вместе со сквозняками весны и требованием новой модальности, Учредительного собрания, Керенского на белом коне, Нюрнбергского процесса над системой. Дай палец, отхватят руку. Будем требовать, чтобы к нам надзиратели обращались на «вы»: «Господин Бирон, разрешите обратиться?» — «Ну чего тебе, морда? Говори». — «Докладывает старший надзиратель Ланчиков. На ОЛПе всё спокойно». — «Пошел вон, дурак!» Разврат. И — только. Нет и нет. Что бы там, высоко, ни говорили штатные гуманисты и поборники прав человека, а нас сторожить надо, не выпускать из лагеря. Это будет прозорливее, умнее. Фашист он и есть фашист. Как волка ни корми, он всё в лес смотрит. Пора, пора грохнуть кулаком по столу так, чтобы жареным запахло: «Цыц, мазурики!» Куда ГУЛАГ смотрит? Того гляди пойдет обвальное освобождение из лагерей, и это — конец, самоубийство, величие и падение Рима. Либеральный курс, гуманизм, лагерь с человеческим лицом, новое в марксизме. Глянь-ка, Ванька, пупыр летит! Пожарник, когда сахар будут давать? Точно, он, рафаэлевский херувим, язва здешних мест, наследник русского престола, венценосное чело, захудалый род, но от Адама, от Палеологов, бесспорно,

а голубая кровь не чуждается спорта, для волейбола ростик плюговат, вырождение, ростиком не вышел, отдадим ему должное, бьет, гасит красиво, грациозен, быстр, а прыжок, поразил, как не поразиться, как блоха сигает, ой, а какой мяч поднял, спас команду. Бирон в новой неожиданной ипостаси. Век живи, век учись. Вновь хищный наскок, стремительно летит вверх, как Заратустра у Ницше, много выше своего мизерного роста, да это акробатический трюк, глазам не веришь, и — ошеломляющий удар. Ловок, молниеносная реакция. Богат наш славный ОЛП талантами. И команда, на стороне которой играет Бирон, легко выигрывает. На вылет режутся: «на мусор». С диким азартом носится по площадке Бирон, юла, выюн, утер всем нос, он один умеет, может, гасит, изящно гасит, вся команда играет на него, интересно смотреть, обезьяна какая-то, страсть, джокер, кривляющийся, паясничавший воздушный джокер. А как же одинокий царский путь, забыть? И ты сискариотился, изменил сам себе. Да это не лагерь, а санаторий, а выйдем из лагерей, будем петь срывающимися голосами, хором «Столица колымского края», требовать льгот, компенсаций, нахальничать. Ишь, лагерные падлы!

А это еще кто? Женька Васяев глазам своим не верит. Быть не может?! В жиганских новых трусах, белых с синей каемочкой, в интересной, вовсе не лагерной майке — бег на месте старательно изображает, разминочку выдает, в команде с Бироном. Этого быть не может, потому что этого не может быть никогда. Подает Бирону мяч, удар! Гол! Ура! Блеск и заглядение. Хорошая подача, отличный удар. Нонсенс. Женька Васяев, святая простота, вдохнул полной грудью архангельский шибко пользителный воздух: так, кажется — нет ошибки, не обознался: на волейбольной площадке — опер, кум, всевидящее око, в трусах с каемочкой. Приехали. Нет, не тот старый опер, которого давно ушли на пенсию, которого видят бесконвойники на озере с удочками, наше озеро Китеж, мы слышим плеск волн, слышим, как они нашептывают сказание о граде Китеже, живущем правдой и только правдой, мы даже сожалели, что старик уступил место молодому, пусть старый опер был исправным служакой, имел отличную чекистскую выучку, туто знал свое дело, после окончания войны ловко наматал сроки тем, кому пришло время идти на волку, кто пересиживал, но этот старый волк сильно сдал и деградировал, опустил, дела и годы притупили в нем прежний деятельный жар и революционную бдительность; заявлялся на ОЛП с большим опозданием, к 12 часам, запирался в кабинете, на дверях которого табличка предупреждала, что «без стука не вхо-

дить», тихо, безмятежно посасывал коньячок, ужимал, не торопясь и со вкусом, бутылку наедине с собой, без свидетелей. Годы, что наш герой провел на комендантском, ни одного нового дела не возбуждено, не было кровопусканий, а пора бы начать раздавать подзатыльники. Стареющие, вялые, слабеющие объятия лагеря еще чувствительны, но не те. Думали, молодой начнет когти рвать, доказывать, что не зря ему деньги платят. Опять редукция, и новый кум не тем человеком оказался, который нужен, бездельничает, оформил Нинку, а теперь на волейбольной площадке все дни проводит, филонит, в эчий круг вписался; смотрит наш герой на опера, в голове злая мысль: «сволочь, работать не хочет!» Значит, всему конец, революция завершена, сила урагана ослабла на наших глазах. Вместо того, чтобы ревностно, неусыпно следить за нами, фашистами, вместо того, чтобы стукачей вербовать, дручить всех и каждого, как это положено — на тебе, тягостное впечатление, ни на что не похоже, мышцей не ловит, срам, баклуши бьет, а зарплата, чай, немалая идет. Ну — сачок! Сказано, лев возляжет рядом с трепетной ланью, всё смирится в любви на волейбольной площадке, в спорте. Государство отомрет. Рай, райские кущи, любовь, симфония и мир между народами. Лев, шука сделались вегетарианцами. Дожили, самоистребительный процесс, демон либерализма скаканул и к нам, и в головы тех, кто в погонах, потерянности, а ведь не зря Ад задуман и придуман; Ад, как считает Данте, создан «Великой Любовью», должен быть нерушим и вечен; кто теперь посмеет Женке Васяеву сказать: «Забудь о Москве!» Куда несет нас рок событий? В Москву! В Москву! Я его не сажал, я его и пилить не хочу! Смотрите! Бирон с завидной свежей ловкостью, молниеносно сигает вверх метра на два с половиной, весь выкладывается в стремительном прыжке, вызывает всеобщее восхищение красотой трюка, трудно поверить, что в таком мизерном теле столько пружинной энергии, прыти, хорошей спортивной злости. Удар! Красиво, ничего не скажешь. Но, видать, допущена какая-то стилистическая ошибка, что-то нарушено. Всполох. Судья не засчитывает мяч. Спор. Разноголосица. Эдик, опер, заинтересованные болельщики, кто следил за игрой, настаивают, что гол, что дело чистое. Глянь, а в команде с опером и Эдиком Федя Куцик, благоверный несчастной Нинки. Как это интересно! Не будем вдаваться в психологию игроков: кум и Федя — свояки. Ну и что? Это не наша тема, а Мазуса. Судья так и не засчитал гол. Это там, у себя, куда «без стука не входить», ты царь и бог, и воинский начальник, а на волейбольной площадке своя правда. Здесь царит спорт. Судья —

закон и, как жена Цезаря, вне подозрений, после игры можно и судьбу на мыло, а пока это высшая и последняя инстанция. Законы спорта прекрасны, в отличие от лагерей, вечны, не удалось дружной троице: куму, Эдику и Феде отглотничать гол, капитулировали. Игра продолжается. Вновь опер классно и умно подает мяч, разинул зубастую п...у, следует зычная, ликующая, дышащая молодой энергией артикуляция:

— Эдик, гвоздя!

Все, гол, п...ц. Красиво сыграно, залюбуешься.

Что же это творится, мать вашу за ногу! Абсурд достиг апогея. Абсурд на абсурде и абсурдом погоняет. И это всё у нас, на комендантском, а может, то общий кризис, здесь просто виднее, может, во всей Руси Святой атмосфера сделалась сейсмичной? Чем всё это кончится? Чем сердце успокоится?

Видал миндал? Светопреставление, ей-ей, отродясь такого в здешних местах не было. Вдруг стало видно далеко во все концы света. Неразбериха, непонятное, непостижимый шухер на небесах. Новая, великоленная Полярная звезда, звезда пленительного счастья, режывая и играя, прорезалась, ярко загорелась прямо над нашими головами, то есть над нашим прославленным, гостеприимным богохранимым ОЛПом, где еще так недавно обитал Ленин, где бывал Гладков (не будем перечислять и хвастать знаменитостями). Зажглась Полярная звезда — значит, это кому-нибудь нужно. Ярка, она выгодно выделяется среди других звезд, затмила Большую Медведицу, которую теперь мы просто не находим на белесом небе: астрологический хаос. Она в терново-багровом оперении, ой, не к добру это. Как венец. Не сигнал ли бедствия? Или? Это новое, чужое, прекрасное, неправдоподобное сияющее небо, а против неба — мы, питомцы комендантского, застигнуты врасплох, задрали головы, е.....и разинули, взираем на небо, охвачены священным ужасом, ужас гуляет в крови, наждачит, прошибает. И — сулит. Что? Ведь и мы со-причастны и со-бытийны тому, что происходит в бесконечном небе, а небо отражает то, что творится в наших сердцах. И разлад, и восторг, и охи, тихие охи удивления, столбняк, безмолвие, немота. А если всё же победит невероятное, о мечтанное, и взаправду реализуется замысел мировой истории? И всё, что не чудо, сгорит?..

1972; 1995—1996

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Июль сорок первого

Сухого ветра и сухого слова
мне надоело слушать пустоту,
когда уходят над землею снова
чужие самолёты в темноту.
Мы плыли по Днепру к Днепропетровску
на обгоревшей беженской барже.
Река казалась узкою полоской
на роковом, на смертном рубеже.
Я никогда не думал, что в июле
так холодно под звёздами лежать,
когда ветра рассветные подули
и берега задвигались опять.
Как реквием, тянулись километры
и, сидя на шершавинах перил,
какой-то парень, кашляя от ветра,
о гибели России говорил.
А я курил плохие папиросы,
не видя толка в этой болтовне.
Знакомые по лекциям откосы
об оползнях рассказывали мне.
И мир не мог погибнуть оттого, что
пугали немцы киевский рассвет
и приносила утренняя почта
трагические листики газет.
И это вовсе не было началом
кровавого библейского конца —

Марк
БЕРДИЧЕВСКИЙ

— родился в 1923 году в Киеве. Во время Великой Отечественной войны служил в авиации. В 1949 году окончил геологический факультет МГУ. Двадцать лет работал в Геофизическом институте Министерства геологии СССР, с 1969 года — профессор МГУ. Первая стихотворная публикация. Живет в Москве.

затопленные лодки у причала
и сломленные взрывом дерева.
И я слышал, плывущий ниоткуда
по сумрачному тихому Днепру,
как на мосту поругивались люди
и рельсы починяли поутру.

1941

Возвращенье

Ты не вейся, чёрный ворон, над моею головой.
Я вернулся в древний город, искалеченный войной.
Снял шинель, отбросил ранец и заплакал от тоски.
И пошёл, как иностранец, возвращенью вопреки.

*«Дня умирающего облик
был так банальности далёк...
Он по небу плывущий облак
в кайму сияния облёк».*

Анатолий Юдин.

Пропал без вести под Вязьмой
в октябре 1941 года

По старинке многолюден, город был совсем не тот,
где скуластый Толька Юдин по Крещатику идёт.
Толька, Лист над садом вырос, скрипку бедную знобя.
Только что с тобой случилось, что играют без тебя?
Улетает дым пожарищ. Глохнут выстрелы вдали.
Где ты сгинул, мой товарищ? На каком краю земли?
Толька, ты ли в древний город не вернешься никогда?
Над тобой ли вился ворон, провожая в никуда?

*«Я говорю, быть может, скоро
мы все подохнем, Тамада.
И пепелищем станет город,
где мы родились, Тамада.
Опустится старинный ворон
на Золотые ворота...»*

Яков Гальперин.

Расстрелян в Киеве, в мае 1943 года

Горькой памяти неверен, город явно был не тот,
где хромающий Гальперин по Владимирской идёт.

Яшка, стихла канонада, и война пошла на слом.
Доживи до листопада в этом городе чужом.
Спит весёлый виночерпий, трав надгробьем не поправ.
Яшка, ты ли — пыльный череп? Ты ли — тело тонких трав?
О тебе ли древний город песни жалостные пел?
Над тобой ли вился ворон, провожая на расстрел?

*«Ничего теперь не осталось,
даже улицы, даже дома.
Только ночи глухая усталость,
только пыль дорог незнакомых,
только гарь костров придорожных
да заправки песен осторожных».*

Мун Люмкис.

Погиб под Киевом, в ноябре 1943 года

И по-прежнему туманный стынет берег за Днепром,
где в могиле безымянной Люмкис спит последним сном.
Оседает пыль развалин. Возвращается весна.
Мунька, в городе читален наступает тишина.
Слышишь, Мунька, книги мира без тебя лежат в пыли.
Ладомира Велемира в печке сволочи сожгли.
Над рекой желтели звёзды и чернел разбитый мост.
Ты ли пил предсмертный воздух в этой сутолоке звёзд?
Ты ли рвался в древний город, умирающий солдат?
Над тобой ли вился ворон, провожая в медсанбат?

От горячих разговоров след остался неживой.
Вьётся ворон, вьётся ворон над разрытой мостовой.
Он шныряет у вокзала и спиралит над рекой,
где у старого причала мы простилися с тобой.
Фонари и тротуары ничего не говорят.
Ошалевшие базары матерятся и едят.
Спекулянты и кликуши держат город в пятерне.
Города имеют души... Души гибнут на войне...

1945

Переплетенье дорог

Н. Коржавину

1

Хороните друзей самолётами Аэрофлота.
В жёлтом зареве русских вокзалов раздаётся последний звонок.
Вот и кончилась ваша работа. Вот и кончилась ваша забота.
Вы летите на запад, а я уйду на восток.
Два унылых пейзажа с полосатым столбом на границе.
Место вечной разлуки. Не будет ни писем, ни встреч.
До свиданья, мои дорогие. Вы будете сниться.
До свиданья, родная увечная русская речь.
Два унылых пейзажа на закате двадцатого века.
Две нескладных судьбы на трагической грани времён.
Боже правый, мой Боже, зачем, сотворив человека,
Ты его разделил на три тысячи мелких племён?
Я молю тебя, Боже, не дай умереть эмигранту.
Вы летите на запад, а я уйду на восток,
Чтобы снова хлебать эту жиденькую баланду,
Эти радиовраки, это переплетенье дорог.
Я хотел бы понять, по какому закону природы
Нас судьба разбросала. И где нам последний предел?
Умирает столетье. Срываются в бездну народы.
И ломаются кости худых человеческих тел.
Дорогая цена за убогую удачу восстаний.
За мальчишек в кожанках, рубивших людей, как дрова,
А потом похороненных где-то в земле Магаданьей.
Нам остались от них потерявшие смысл слова.
И соборы Европы. И нелепая блажь ностальгии.
Бремя вечной разлуки. И переплетенье дорог.
И барьеры таможен. До свиданья, мои дорогие.
Вы летите на запад, а я уйду на восток.

2

Мне в последнее время мерещатся странные сцены
Из истории Рима. Языческий звон площадей.
И на красный песок развороченной львами арены
Отрешенно и скорбно идет умирать иудей.
Было столько смертей, что уже не осталось боязни.
Нас кровавые реки в кровавое море несут.

Говорю тебе, кесарь, уйми эти грязные казни,
Начинаются сумерки Рима и праведный близится Суд.
Это я, Иоанн, прохожу по вечерней пустыне.
Я иду на восток, а за мной стукачи и палач.
В чёрном чреве истории зреют могилы Катюни.
Открывается пасть Магадана, и женский доносится плач.
И кругами расходятся волны багрового зноя.
И опять приближается время кровавых дождей.
На московских дворах устоявшийся запах помоев.
На московских фасадах портреты румяных вождей.
Я иду на восток в ожиданье, тоске и надежде.
Но сгущается ночь, и, как призрак, маячит вдали
Бледный всадник на бледном коне в обагрённой одежде.
И дана ему власть над четвёртою частью Земли.
И мерещится мне Сатана на высоком престоле.
Это мрачное царство продлится пятнадцать веков.
Вот — железное воинство топчет несжатое поле.
Вот — дымятся развалины вымерших городов.
Я молю Тебя, Боже, спаси эту бедную сушу.
Этот дивный ковчег на угрюмой поверхности вод.
Дай нам душу, Господь, ту начальную добрую душу,
То живое дыханье простых повседневных забот.
Но — последние храмы горят на далёком закате.
Но — багряные звери улеглись у Берлинской стены.
Боже правый, мой Боже, когда же Ты снимешь печати?
Золотые светильники в небе уже зажжены.

ДВА РАССКАЗА

из цикла «Тучки небесные...»

Его светлость

Александр Александрович был отдаленным, десятая вода на киселе, отпрыском дома царских родичей принцев Ольденбургских, малым боковым росточком на развесистых ветвях этого фамильного древа. Отец его числился всего-навсего приват-доцентом по кафедре логики Варшавского университета, но еще в подготовительном классе гимназии соученики из разночинных семей дали Александру Александровичу кличку «принц» или «ваша светлость», прозвище за ним укоренилось, и даже много лет спустя, в Париже, его продолжали за глаза называть «принцем», а иные из эмигрантов всерьез полагали, что так оно и есть на самом деле, и это как бы возвышало их в собственных глазах — знакомство с «его светлостью». «Фам де шамбр», приходящая ежедневно прибраться и приготовить обед, и консьержка тоже называли его не иначе, как «вотр альтесс».

Увезенный в восемнадцатом году отцом из Варшавы еще совсем мальчиком, неполных десяти лет, Александр Александрович тем не менее сохранил на всю жизнь врезавшуюся в детскую память горечь этого исхода, страх и унижительность страха, и неизрасходованная с годами нелюбовь и презрение к тем, кто был виною этого страха и этого унижения, в некотором смысле поддерживали в нем до старости жизненные силы и помогали ему в его без малого девяносто лет оставаться вполне еще подвижным, подтянутым человеком, которого язык не поворачивался назвать дряхлым стариком.

**Юлиу
ЭДЛИС**

— родился в 1929 году в г. Бендеры (Молдавия). Получил режиссерское и филологическое образование. Автор многих пьес, повестей и рассказов. Член редколлегии «Континента».

То же чувство хмурой, брезгливой нелюбви распространялось и на тех русских беглецов, которые стали наводнять Париж в последние годы, — он их всех без разбора, будь они хоть диссидентами из диссидентов, считал так или иначе виновными в печальной судьбе бывшей своей родины и называл не иначе, как крысами, бегущими с большевистского корабля, давшего, наконец, течь и идущего ко дну.

Александр Александрович был давно богат — во Франции он окончил Политехническую школу и стал одним из самых заметных мостостроителей; он был вдов и жил совершенно один. Деньгами своими, которые год от года приумножались в банке «Креди Лионе», Александр Александрович не знал как распорядиться, особенно памятуя о недалекой уже смерти, с мыслью о которой давно свыкся. Своих детей у него не было, а с сыном покойницы-жены от ее первого брака он был всегда не просто в натянутых, но и в откровенно неприязненных отношениях — хотя бы за то, что тот, русский по крови, стал совершеннейшим французом со всеми, на взгляд отчима, испокон века присущими этой нации пороками: снобизмом, высокомерием, скуповатостью, тщеславием и самодовольной уверенностью, что Франция все еще пребывает в золотом веке Короля-Солнца и Париж продолжает быть, как выражался Александр Александрович, «центропутией» мировой цивилизации. После смерти жены единственной его заботой, а иногда и причиной бессонных тревожных ночей стала навязчивая мысль, как бы сделать так, чтобы комар носа не подточил, но не оставить ни копейки этому «французику из Бордо», как он окрестил про себя пасынка. Особенно его возмущало, что вместо того, чтобы носить славную фамилию отчима, пасынок, став художником-абстракционистом (то есть, по глубочайшему убеждению Александра Александровича, попросту пачкуном и жуликом), взял себе псевдоним «Серж Труа» — по той якобы причине, что был третий в роду Сергей (и отец, и дед его были тоже Сергеями)... Труа, видите ли, мало не Валуа! — едко негодовал Александр Александрович, и это обстоятельство еще более укрепляло его в намерении не оставить ему ни сантима.

Ровесники его и погодки, с которыми еще можно было хоть о чем-то поговорить и повспоминать, давно, один за другим, отошли в лучший мир, покинув Александра Александровича в совершенном одиночестве, и этого он им не мог простить. Дети же их были люди уже совсем иного склада, да и по-русски говорили так, что ухо отказывалось их слышать и понимать. А уж внуки, третье поколение эмиграции, и вовсе лопотали на своем

парижском аргю, непонятном даже для нормального француза, а если переходили на чудовищно обезображенный русский, то картавили уже и вовсе по-жидовски. Александр Александрович не был ни на самую малость юдофобом, знал и был близок за свою жизнь со множеством вполне порядочных, образованных и даже хорошо воспитанных евреев, но «жидов» — в том еще варшавском, отнюдь не имеющем отношения к собственно национальному происхождению смысле слова, — терпеть не мог. Евреев он принимал и относился к ним с сочувствием и почти с симпатией, да вот «жидов» не любил, хотя спроси его, где лежит грань между первыми и вторыми, никак бы определить членораздельно не мог. А когда было осквернено бритоголовыми молодчиками еврейское кладбище на Монпарнасе, он счел за долг, несмотря на преклонный уже возраст и быстро устающие стариковские ноги, пойти на возглавляемую самим президентом республики демонстрацию против неофашизма. Более того, он не обвинял евреев даже в российской октябрьской катастрофе, в которой они, что ни говори, сыграли не последнюю роль, и объяснял это тем, что если кучка жидов смогла повести за собою в пропасть народ-богоносец, то, стало быть, туда ему и дорога и лучшей участи такой народ и не стоит.

Да и вообще воззрения Александра Александровича, как и его симпатии и антипатии, были, мягко говоря, весьма парадоксальны. К примеру — его отношение к романовской династии, особенно к самодержцам послепетровской эпохи, которых он называл не иначе, как «немчурой». Он считал, и не без основания, что истинно-русская династия пресеклась на Петре, поскольку уже Екатерина Первая была не кто иная, как лифляндская шлоха, Петр Второй — уже полукровка, да к тому же с младых ногтей пьяница и шалопай и умер неполных семнадцати лет, об Анне Иоанновне и говорить нечего — завела себе не только Бирона, но и наводнила Россию сомнительными остзейскими выскочками, так что русскому человеку и продыха не стало; правда, тут возникла Елизавета Петровна, уж она-то была по духу более или менее русская, но Александр Александрович как-то очень ловко, с наскока перемахивал через нее и вновь садился на любимого конька: Екатерина, пусть и Великая, была для него не более, чем ангальт-цербтской Сонькой, далее следовал Павел, сын Соньки — скорее всего от печника-чухонца, а уж за ним и вообще начиналась череда царей, в которых русской крови было на грош, зато ковшами — мелконемецкой, датской и разве лишь самую малость английской. При этом собственную фамилию — Ольденбург — он как бы не принимал в расчет.

А еще он выставил российской истории счет за насильственно убитых законных самодержцев или наследников трона — от Ивана, сына Грозного, Дмитрия, другого его сына, Алексея Петровича, затем тянулись один за другим Иоанн Антонович, Петр Третий, Павел Петрович, задушенный с молчаливого согласия сына своего Александра, загадочная смерть или исчезновение самого Александра, очень смахивающая на самоубийство кончина Николая Павловича, злодейское покушение на Александра Второго, единственного, на взгляд Александра Александровича, порядочного человека и истинного барина на российском престоле, — до, разумеется, расстрелянных большевиками последних Романовых. И выходило, что даже в цивилизованном XIX веке своей смертью, в собственной, как говорится, постели почил в бозе лишь самый незначительный из них, серый, безликий и ничего хорошего для России не сделавший Александр Третий — уж он-то доподлиннейшая «немтура» или, как в свое время шутили по поводу его памятника, изваянного не без насмешки Паоло Трубецким: «стоит комод, на комод бегемот, на бегемоте — идиот». Вот и говорите после этого о Рюриковичах, о преемственности и богопомазанности императорской власти!..

Но при этом, будь его воля избрать наилучшую форму правления для России — не той России, какой она была на протяжении веков, а для России такой, какой она представлялась Александру Александровичу в идеальном, так сказать, виде, незамутненном, незапятнанном цареубийствами, самозванцами, вечными мятежами, кровопусканиями и засилием «немтуры», большевиков и прочих хамов, — он не задумываясь ответил бы: монархия. Правда — просвещенная и либеральная. Но тут же бы и добавил, что для этого надобна не просто другая история, но, по всему виду, и другая Россия.

Точно так же непоследовательно и противоречиво он относился и к Франции, где, собственно, прожил всю свою жизнь: крайне неодобрительно и скептически к французам вообще, но при этом обожал Париж. Не было другого такого места на земле — а Александр Александрович довольно попутешествовал на своем веку, довольно поколесил по городам и весям, — где бы он чувствовал себя лучше, бодрее, более в своей тарелке, чем в Париже. Он любил ходить без усталости по городу пешком, один, даже когда была еще жива жена, в мягких, удобных, на податливой каучуковой подошве туфлях, а потом, с годами, постукивая по тротуарам улиц или по мелкому гравию парков палкой с серебряным набалдашником в виде собачьей головы, очень, кста-

ти, похожей не только на морду его нынешнего, далеко не первой уже молодости эрдельтерьера, но и на морды его отца, деда и прадеда, тоже коротавших свой век в доме Александра Александровича и все до единого носивших родовое свое имя Риччи, занесенное во все собачьи родословные Европы.

Кстати, именно с ними связано было самое нелепое и смешное проявление двусмысленности отношения Александра Александровича к Франции: он никогда не убирал, как то следовало из строжайшего установления муниципалитета, следы пребывания своего пса на тротуаре специальной лопаточкой в целлофановый пакетик, и то было следствие не только лени или старческой забывчивости, но и чем-то вроде демонстративного, вполне в русском духе, протеста против законов и правил чужой страны, в которую забросила его судьба, — протест, которому, спроси его, Александр Александрович и сам не мог бы дать вразумительного объяснения. Скорее всего то было неким атавизмом, свойственным очень многим русским эмигрантам, некой взывающей к возмездию — и это спустя более трех четвертей века! — памятью о душевном неуют, о чувстве собственной чужеродности, второсортности, испытанным ими в первые годы жизни на чужбине, да так до конца и не избытом.

Путь его лежал от одной антикварной лавки до другой: Александр Александрович был — в прошлом, всё уже у него было в прошлом! — завзятый собиратель русского фарфора, и, переходя деревянным мостом Искусств к дворцу Мазарини, он шел улицей Бонапарта, вокруг которой сосредоточены самые известные салоны и антикварные лавки; обошедши их, выходил Монпарнасом на бульвар Сен-Мишель и заходил передохнуть в Люксембургский сад, присаживаясь всегда на одну и ту же скамейку лицом к статуе Анны Ярославны, выданной отцом за французского короля, прожившей всю жизнь и умершей на чужбине, и думал, каково было ей, русской, даже не русской еще, а просто славянке, коротать свой век в далекой, непонятной и наверняка казавшейся ей, по сравнению с унаследовавшей пышное византийство родной Киевской Русью, варварской, дикой стране. И ему казалось, что он ее понимает, как никто другой.

Глядя на молчаливую Анну Ярославну, он думал и печалился о России, хотя собственно Россию помнил плохо.

Потом он возвращался домой на улицу Лористон, в двух шагах от площади Звезды, Монпарнасом же, эспланадой Дома Инвалидов и аляповато-торжественным мостом Александра Третьего, пожимая плечами на то, что мост носит имя этого мужлана, а не

Александра Первого, как-никак, освободителя Европы от корсиканца.

Но с годами стали отказывать ноги, и чаще всего приходилось прогулки укорачивать и удовлетворять свою страсть коллекционера осмотром бутик в «Лувр-дез-антикуар», тем более, что рядышком был сад Пале Руаяля, где можно было передохнуть и который он любил не меньше Люксембургского или парка Монсо.

Гуляя, опираясь на палку с серебряным набалдашником, в своей шотландской клетчатой каскетке «здрасьте-прощай», которую неизменно носил во всякое время года, и глядя на начинающую желтеть осеннюю листву каштанов, он привычно думал о том, что вот — капитал в «Креди Лионе» год от года всё растет и растет, век же его, Александра Александровича — сперва маленького Саши, варшавского пригостишки и гимназиста, затем эмигранта, студента Политехнической школы, потом парижанина, кавалера Почетного легиона за заслуги в строительстве мостов на чужих реках и Военного Креста за участие в Сопротивлении, а теперь просто-напросто пенсионера и рантье, уставшего не только от собирательства русского фарфора, бывшего страстью всей его жизни, но и от самой жизни, — век его день за днем убывает, тает леденцом во рту. Всё ему стало нынче как бы слишком просторно и потому ненужно: и дюжины полторы костюмов, сшитых некогда у самых дорогих портных, а теперь висящих на нем, как на огородном пугале, и огромная квартира на улице Лористон, в четыре комнаты которой — кроме спальни да гостиной, где он вечерами смотрел, подремывая, опостылевший ему телевизор, — он годами не заглядывал. И сам Париж становился всё просторнее и непосильнее для пеших прогулок — вообще всё становилось необъятнее и несбыточнее, кроме самой жизни Александра Александровича, ее отмеренного наперед, неотменимого срока. И ему казалось, что он почти вьявь слышит сухой шорох и потрескивание съезживающейся шагреновой кожи...

При этом он прекрасно отдавал себе отчет, что дело вовсе не в пустых, нежилых комнатах, не в ненужных уже костюмах в темной гардеробной, не во вставных челюстях, которыми уже не разгрызть, как прежде, не только орешки, но и вымоченные в утреннем «декафинэ» сухари, не в быстро устающих от пешего хода подагрических ногах, а — очень просто! — в одиночестве. В телефоне, который неделями онемело молчит, в друзьях, которых не стало — и не только в тех, что переселились в мир иной, словно, не оставивши адреса, на новую квартиру, но и в тех, кто, может быть, еще живы, да не дают о себе знать. Впрочем, признавался

самому себе Александр Александрович, он и сам мало кому звонит, мало к кому заходит в гости или, как это водилось прежде, назначает свидания в «Кафе де ля Пэ» на площади Оперы, чтобы просто поглядеть на знакомую физиономию, выпить рюмку водки или бокал щекочущего неба «Шабли», посудачить о том, о сем, что ни взбредет на ум.

Он понимал и то, что одиночество его — вполне, разумеется, естественное в его годы, — было вместе с тем и одиночеством, можно сказать, рукотворным, и воздвиг его вокруг себя неприступной, глухой крепостной стеной он сам, и незачем пенять на старость, на близкую смерть или на короткую память живых еще друзей. Не он ли сам, услышав голос кого-нибудь из них на ленте репондера, не перезванивает, отмалчивается. А забредет ненароком, по старой привычке, в кафе, никого ему и не надо за столиком, ему и одному есть о чем подумать, о чем вспомнить или попечалиться наедине с самим собой, плакаться же кому-нибудь в жилетку было не в правилах Александра Александровича.

Одиночество — вот кто главный его враг и недоброжелатель, его тайный недуг — расплатой за всё совершенное в жизни, а еще больше — за несовершенное. Но и — последний духовник, вот только грехи не вольный отпустить.

Ночами, когда бессонное одиночество накрывало его с головой, тяжелое и душное, как перина в пансионе немецкого или швейцарского горного городка, где в прежние годы он любил проводить отпуск, не давало ни уснуть, ни бодрствовать, одолевая снами наяву, ему казалось, что никто на белом свете его не помнит, не любит и никогда не любил, а горше этой кары самому Господу Богу не придумать. И единственным ответом на вопрос: любит ли, любил ли его хоть кто-нибудь? — вставал вопрос же самому себе: а сам-то он кого-нибудь любит, кого-нибудь любил?..

Не любя пасынка, он не мог привязаться и к его детям и внукам, своим правнукам, пусть и не родным, но всё же не совсем — через покойницу-жену — чужим. А если чего не хватало Александру Александровичу, что могло бы пробить брешь в его одиночестве, так это именно внуки и правнуки — зелененькие побеги, которые бы на его глазах росли, вытягивались, становились гибкими, крепкими деревцами, в тени которых он мог бы укрыться от ледяного, слепящего пустотою солнца старости, — это он тоже хорошо понимал.

Пасынок, блюдя приличия и, подозревал Александр Александрович, памятуя о наследстве, растущем, как на дрожжах, в банке, приводил к нему детей только на Рождество и на Пасху,

два раза в году, а этого было мало, чтобы он мог успеть привязаться к ним. И он умудрялся недолюбливать пасынка и за это — за то, что у него самого нет любви к внукам и правнукам — и, ожидая их ежегодных визитов, загодя запасался подарками для детишек, покупал, как бы мстя этим постоянно не при деньгах пасынку, подарки самые дорогие, и сам же корил себя за жалкую и мелочную свою месть, но ничего поделывать с собою не мог.

Нелюбовь к пасынку — Александр Александрович и об этом догадывался, — была на самом деле всего лишь ревностью к его, пасынка, матери, своей жене. Жену он любил до обморока, до одури, как он сам это называл, и хоть и знал, что она никогда не изменяла ему и не изменит, гипотетическая возможность измены постоянно маячила в его разжигаемых этой обморочной любовью ревнивых подозрениях. И если было на свете существо, мнилось ему, которое жена любила больше, чем его, и которому никогда бы не могла изменить даже мыслью, даже в этих вечных женских неудовлетворенных мечтаниях, так это был один ее сын, его пасынок, и это-то и питало всю жизнь его неприязнь к нему. Он согласен был бы простить жене ложь и даже измену ему, мужу, скрепить сердце и забыть, но простить ей слепую любовь и верность сыну, задушить в себе ревность к нему — было свыше его сил. Забыть бы, простить — да и в чем виноват пасынок?! — и тогда бы вокруг него шумели, резвились внуки, били вдребезги его кузнецовский фарфор, скользили и падали на натертом до ледяного блеска паркете его пустынной, слишком для него одного просторной и потому постылой квартиры...

А жену свою он любил, Боже мой, до чего же сумасшедше он любил ее!..

И уже двадцать с лишком лет, как она умерла и лежит в чужой могиле — новых там уже давно не разрешено рыть — на Сен-Женевьев-де-Буа. А он доживает свой век один на один со своим эрдельтерьером и коллекцией... Поначалу этой-то коллекцией, которая числилась во всех каталогах и справочниках по антикварному фарфору, он и пытался утишить одиночество, не пропускал ни одного аукциона у Дрюю, ездил специально в Лондон на распродажи у Сотби и Кристи, но потом и это, не залечивши его рану, прошло. Теперь он проходил мимо заполонивших дом шкафов и стеллажей с фарфором, не глядя на них, не замечая. Одной страстью не заместишь другую, и Александр Александрович перестал пополнять свое собрание, а если и вспоминал о нем, так только потому, что бередила мысль: что с ним станет после его смерти, кто и как им распорядится?..

Эти-то неотступные, привычные мысли, уже не саднящие живой болью, а пронизывающие, словно холодный, ни начала, ни конца, туман, пугающие пустотою, то уплотняясь, то расходясь концентрическими кругами, не оставляли Александра Александровича во время его ежедневных моционов. Иногда ему приходило на ум, что, живи он в России, всё могло бы в жизни сложиться иначе, да и он был бы другой. Во всяком случае, не такой одинокий. А может быть, и счастливей. Но для этого, — в который раз ему приходилось опровергать самого себя, — не должно было быть ни октябрьского безумия, ни большевистской пугачевщины, ни эмиграции, но история, увы, не терпит сослагательного наклонения, и чему быть, того не миновать.

И не миновало — ни его, ни Россию.

Россию он любил, как только может ее любить изгнанник, издалека. И всё, что он в России не любил, не принимал и от чего отрекался — он не любил, не принимал и отрекался именно из любви к ней. Он считал ее страной не европейской, но и не азиатской, а этакой вечной Скифией, населенной не знающими устали и пристанища кочевниками в поисках собственной судьбы. Деревянная, тысячи раз сгоравшая дотла и возрождавшаяся из пепелища, чтобы снова и снова сгорать до последней головешки и всё начинать сначала, Россия словно бы за века и века так и не поверила в незыблемость, в неизменность своего пребывания на родных просторах. Александр Александрович с большой оговоркой принимал миф о «загадочной славянской душе», придуманный, кстати, не русскими, а мало что понимавшими в русских иностранцами, о «народе-богоносце» — это пугачевцы-то, разинцы, большевики?! — как и миф об особой, видите ли, духовности русской интеллигенции — в его устах это слово всегда носило оттенок некоторой насмешливости. Все эти побасенки он считал досужими домыслами разных Аксаковых, графов Толстых и неврастеников вроде нелюбимого им Достоевского, и в отрицание их экзальтированной проповеди приводил в пример Чехова, у которого и под микроскопом не отыщешь ни одного натужного или выпяченного слова о «третьем Риме».

Александр Александрович слишком долго пожил на свете, слишком много видел стран и народов, чтобы не понять, что нет народов лучше других, и что поверить в то, что ты просто не хуже других, что ты такой же, как все прочие, куда труднее и требует большей зрелости и чувства собственного достоинства, нежели тешить себя иллюзией, будто ты выше всех, — иллюзией, которая на поверку оказывается лишь оборотной стороной неуважения к самому себе.

Вышагивая по аллеям Люксембургского сада или Пале Руаяля и думая о себе и о России, он не мог разделить одно от другого и убеждал себя, что это-то и есть любовь к России, это-то и означает быть и оставаться русским.

У него была даже — и когда-то он делился ею с друзьями-эмигрантами и спорил с ними до крика, до взаимных обид и ссор, — у него была своя теория по поводу некоторых несомненных, на его взгляд, вещей, определивших и русскую историю, и русский характер. И только слепец, полагал он, может с этим не согласиться. Во-первых — безбрежность и, главное, ровность, похожая на великопостный блин плоскость русской равнины, не ограниченное естественными пределами степное пространство без конца и края. Скажем, в Италии всё просто — море с трех сторон, на севере недоступные Альпы, вот вам и пределы. Или та же Франция — на юге Пиринеи, на юго-востоке — опять же Альпы, на западе — Атлантический океан, на севере — Рейн и враждебные германцы. Не говоря уж об Англии, вот уж кому повезло больше всех: остров, никуда с него не денешься. Россия же на свою беду ничем не ограничена. То есть та Россия, какой она была в самом начале — княжества Владимирское, Ростовское, Суздальское, Рязанское, да еще Новгород и Псков, да Архангельск — выход к морю, торгуй, не хочю. Но вокруг-то — один соблазн: до Урала пусто, плоско, как столешница, да и Урал — не горы вовсе, а так, некоторая возвышенность. И на юге — необжитые полынные степи. На западе, после Грюнзальда, тевтонцев след простыл, одни дикие, незащитные племена. А перелив за Урал — опять же пустота до самого Тихого океана, никаких естественных границ, никаких преград. И вот уже и Кавказ манит, Чечня разная, а оказавшись за Волгой — отчего бы и на Туркестан, на Хивинское и Бухарское царства не позариться?.. И не от перенаселенности, не от того, что своей земли не хватает — в самой сердцевине России, на срединных щедрых землях пусто, шаром покати, ан нет, какой-то неумный черт всё в чужие края за рукав тянул, толкал под локоть. И так свыклись с собственной пространственной безнаказанностью, что гатчинский безумец Павел двинул казаков на завоевание Индии, стакнувшись с Бонапартом, который через каких-нибудь двенадцать лет дошел до Москвы и, как водится, сжег ее дотла. А уж большевикам — им подай не только Царство Польское, но и Чехию, и Балканы, и румын, и пол-Германии, а там, по Павлову стародавнему безумству, и в Афганистан, на позор всей России, потянуло, а в результате — швах, ни империи, ни большевиков...

И палка Александра Александровича громче и чаще стучала по аккуратному гравию парижского парка, а старый эрдельтерьер, ожиревший и одышливый, едва поспевал за шагом хозяина. Либо же Александр Александрович, запыхавшись и притомившись не меньше своего пса, присаживался на скамейку и, вычерчивая концом палки на гравии контуры своих исторических умозаключений, глядел на Анну Ярославну и, за неимением других слушателей и оппонентов, говорил с нею, нимало не сомневаясь, что она его не только слышит, но и разделяет его невеселые мысли.

Или, к слову, что стоит хотя бы одно то, что с самых корней российской государственности не было в ней наследственного права! Старший князь сидел в Киеве, а сыновья его или братья — по уделам, и только и дожидались его смерти, чтобы подняться по лестнице поближе к киевскому столу, а для этого ничего лучше усобицы не придумать, да еще привести с собою на Русь половцев, «черные колпаки» или татар. Не князя, а перекаати-поле какое-то...

И тут же, надолго задумавшись, уперев подбородок в серебряную собачью морду набалдашника палки, обнаруживал неизбежную свою непоследовательность, с горделивой усмешкой вопрошая Анну Ярославну: а вместе с тем и при всём при том — что бы делали все эти напыщенные латиняне и постные протестанты, вкупе с надменными англосаксами — без нас, без России?!

И его охватывала такая печаль по России, такая жалость к ней, такая потребность что-то не отлагая сделать для нее самому, что-то в ней упорядочить и изменить к лучшему, что он вскакивал на ноги и, дернув за поводок задремавшего эрдельтерьера, снова пускался шагать по аллеям.

В то душное, жаркое воскресенье машина не сбила его, а всего лишь промчалась, громко взвывая мотором, мимо него как раз тогда, когда он, ведя на коротком поводке собаку, переходил на противоположную сторону улицы. Испугавшись, он оступился о высокий бордюр тротуара и, упав навзничь, ударился виском об асфальт. Это случилось среди бела дня на узкой, тихой улице Лористон, полого карабкающейся вверх по холму между авеню Клебера и Виктора Гюго, в день и час, когда на ней совершенно безлюдно: июль, большинство обитающих в этом добропорядочном округе Парижа разъехалось на «гранд-ваканс», полдень — святое, неотменимое для всякого оставшегося в столице время

«деженэ», так что свидетелем случившегося не был, да и быть не мог никто. Араб же из зеленой лавки напротив, надышавшись сладковатым, с гнильцой, запахом подпревающих в жару бананов, томатов, персиков и нектарин, мирно подремывал в глубине своего заведения — воскресенье, полдень, покупатели редки.

Он-то и обнаружил труп, выйдя на порог своей лавочки освежиться, да к тому же встревоженный тоскливым, на высокой необрывающейся ноте, воем собаки, сидевшей у мертвого тела. Араб тут же вызвал с угла авеню Великой Армии «ажана», чтобы тот засвидетельствовал происшествие, и он же первым опознал труп — он хорошо знал несчастного месье, наблюдая ежедневно, как тот выходит из дома 21-бис выгулять свою собаку, однако не мог с уверенностью назвать ни имени пострадавшего, ни в какой именно квартире тот обитал. Пришлось отыскать консьержку, которая тут же признала труп, как и воющего над ним эрдельтерьера, отметившего свое присутствие на тротуаре кучкой свежих фекалий, и, не удержавшись, пожаловалась ажану, что покойный господин никогда не выполнял строжайшие правила выгула собак и не собирал собачье, извините, месье, дерьмо лопаточкой в специальный целлофановый пакет. Но тут же пожалела о сказанном, потому что умереть так нелепо у порога собственного дома, испугавшись шального автомобиля — эту версию выдвинул понаторевший в подобных делах «ажан», — в сезон больших отпусков, когда и машин-то в городе становится вдвое меньше обычного — какое несчастье, месье, какое несчастье!..

С невнятных слов консьержки-португалки, плохо говорившей по-французски, «ажан» и зеленщик узнали, что несчастного, занимающего весь бельэтаж дома 21-бис, звали месье Ольденбург и был он не просто состоятельный человек, но — «пренс» и «сон альтесс» и к тому же русского происхождения.

По вызову «ажана» мигом примчалась, воя сиреной на всю округу, машина «юржанс» и увезла еще теплый труп в прозекторскую морга. На асфальте пустой улицы остались только так и не убранные фекалии эрдельтерьера, с которым ни полицейский, ни консьержка, ни зеленщик ума не могли приложить, что делать, да быстро запекшаяся на сером асфальте черно-красным пятном кровь.

«Русский... — подумали, не стовариваясь, с невольным чувством превосходства, француз-«ажан», консьержка-португалка и араб из зеленой лавки, — впрочем, у них всё не как у людей...»

И, выполнив скорбный долг, разошлись каждый по своим делам.

Шестидесятница

1

В незабвенные наши шестидесятые годы, которые теперь, то ли в силу ностальгической их отдаленности во времени, то ли как бы подчеркивая некую их историческую значительность, стали брать в кавычки: «шестидесятые», в славные эти годы наряду с такими, не зависящими от национальной, профессиональной, конфессиональной или какой бы то ни было иной принадлежности занятиями (нет, пожалуй, не занятиями, а скорее образом жизни, образом поведения и вообще соотношения себя с окружающим миром), как, в конце пятидесятых, «стиляга», «джазмен» или, собирательно, «чувак», а с середины собственно шестидесятых и вплоть до начала приснопамятной перестройки — «диссидент», «инакомыслящий», «подписант», «невозвращенец» или «отказник», было еще одно, не столь, может быть, общественно-значимое, не столь идейно-героическое, но зато куда более распространенное и, с повседневной, практической точки зрения, необходимое, а именно: «фарцовщик».

Совершенно невозможно, не греша против истины, представить себе эти годы без фарцы и фарцовщиков, как и без, скажем, портретов Хемингуэя в ручной, грубой вязки свитере на стене каждого мало-мальски интеллигентного дома, без ремарковских «Трех товарищей» на каждой книжной полке, без первых, на рентгеновских «ребрах», записей Окуджавы или Визбора, как и без, разумеется, сладострастного саксофона Леша Козлова и долгих, за полночь, всё менее и менее опасливых в выражениях фрондерских посиделок на тесных кухнях, зашторив, от греха подальше, окна и заперев двери на два оборота и, для верности, на цепочку. Фарца была одной из непременных и неистребимых примет этого времени, и без нее портрет эпохи был бы не только не полон, но и злонамеренно искажен.

И вполне может случиться, что не что иное, как фарца, и не кто иной, как фарцовщики, первыми дерзко вступили на тернистую, конца края ей не видать, дорогу к свободному рынку, которую мы и поныне всё еще робко торим — шаг вперед, два шага назад, — истирая в кровь пятки.

Чита — имя, под которым во времена оны ее знала вся Москва, — была именно что фарцовщица. И не какая-нибудь там рядовая, каких пруд пруди было чуть ли не в каждом публичном

дамском туалете столицы, а одна из самых известных, можно даже сказать, знаменитость в своем роде, и уже одно это обстоятельство давало — и дает! — ей неоспоримое право считать себя «шестидесятиницей», ну хотя бы «гонорис кауза». И, пребывая вот уже без малого три десятилетия вдали — как во времени, так и в пространстве — от собственного прошлого, более того, вполне цепко прижившись на чужбине, в минуты неизъяснимой, безо всякой видимой причины, характерной русской маяты, она, как бы подбадривая себя, повторяет, как заклинание: «в наши шестидесятые...», и чувство перемешанной с щемящей грустью гордости утишает ее усталое, но всё еще не надорванное, всё еще упрямо не сдающееся сердце.

Хотя, разумеется же, думая так о себе, она и в мыслях не имеет ставить себя на одну доску, к примеру, с Аксеновым, Евтушенкой, Ахмадулиной или хотя бы со знаменитым некогда «мовистом» Анатолием Гладилиным, неполных девятнадцати лет свалившимся, как снег на голову, в побитый молью соцреализм и впоследствии, в силу разноречивых обстоятельств, избравшим местом добровольного своего исхода тот же вселенский Вавилон на Сене.

Впрочем, в те далекие уже времена и сама Чита знавала лично многих из них — правда, всего лишь опосредованно, через их жен или скоротечно сменявших одна другую летучих спутниц жизни, которым сбывала по вполне божеским ценам только что привезенные беспошлинно с недоступного Запада ансамблем «Березка» или кордебалетом Большого театра шмотки. «Шмотки» — вот еще одно слово, без которого, как ни усердствуй, как ни корпи над анналами истории будущие исследователи, ничего им толком в «шестидесятых» не постичь.

В те достославные годы весь цвет столичных служителей муз, как то: писатели, артисты, кинорежиссеры, эстрадные сатирики, поэты-песенники и прочая подобная публика, — обретался кучно на площади едва ли с один квадратный километр в однотипных кооперативных домах близ станции метро Аэропорт. Сравнить этот элитарный ареал можно разве что с индейской резервацией.

Вот тут-то, в этой округе, ограниченной Ленинградским проспектом и улицами Красноармейской и Усиевича, и раскинулись заповедные Читины охотничьи угодья. Удобство этого тесного месторасположения заключалось, кроме всего прочего, в том, что тут, бок о бок друг с другом и вместе с тем как бы не подозревая друг о друге, жили как поставщики шмоток «из-за бугра», так и их потенциальные потребители. Чита же служила лишь промежуточным звеном, перевалочным пунктом на этом

пути «из варяг в греки». К тому же ей не приходилось особо сбивать каблуки, ходя из дома в дом, да и публика жила тут интеллигентная и не прижимистая, не говоря уже о том, что и достаточно опасливо-осмотрительная, чтобы не наступать на Читу и тем самым не вызвать огонь и на себя.

Тут жили рядом, иногда в одном и том же подъезде или даже на одной лестничной клетке и те, кто, по официальной табели о рангах, тянул не менее, как на действительных статских советников по департаменту изящных искусств, и те, от кого за версту попахивало если и не прямым диссидентством, так уж откровенно карбонарским душком. Но и те, и другие — вернее, их жены, дочери и любовницы — остро нуждались в Читиных посреднических услугах.

Она была желанной гостьей в каждой, уставленной, как правило, красного дерева мебелью квартире, и со временем многие стали ее считать совершенно своим человеком, и не опасались поверять ей семейные радости и неурядицы, а кое с кем она даже близко подружилась и, с благоприобретенной в силу самого своего ремесла цепкой и, словно губка воду, впитывающей разнообразнейшие сведения и сплетни памятью, была в курсе всего, что творилось в мире прозы, поэзии, театра и кино, никогда, однако, не злоупотребляя этим своим знанием. Сторожкий жизненный опыт так в ней с годами укоренился, что она обходилась даже без записной книжки и помнила на память номера всех нужных телефонов, чтобы, в случае чего, книжка не попала в глаза кому не надо.

Сбытое же ею с рук, скажем, платье переключивало с одной светской львицы на другую, они донашивали его одна за другой, пока оно не выходило вовсе из моды или не теряло окончательно товарный вид.

Дело в том, что количество привозимых, минуя таможду, ансамблем «Березка» или иным творческим коллективом зарубежных шмоток было далеко от того, чтобы удовлетворить ажиотажный столичный спрос. И поскольку каждая уважающая себя модница яростно стремится, волнуя ревность приятельниц, как можно чаще обновлять свой гардероб, то одно и то же платье, прежде чем изодраться в клочья, успевало не раз, не два и не три перейти из рук в руки, сменяя владелиц. Его продавали чуть дешевле первоначальной цены, добавляли полсотни-сотню тогдашних отнюдь еще не «деревянных» рублей и покупали другое — именно другое, а не обязательно совершенно новое. Модницы, поочередно его носившие, могли быть даже знакомы между

собою, это отнюдь не препятствовало коловращению шмоток, напротив, как бы даже роднило их, как бы создавало некую тесную общность — «мы одной крови, ты и я», — подобно тому, как на островах какой-нибудь, скажем, Меланезии определенный рисунок и расположение татуировки на шоколадных телах тамошних прелестниц обозначает не что иное, как их племенное родство. И новую владелицу, как говорится, «б/у» платья «только-только из Парижа» нисколько не коробило, что, несмотря на тщательную химчистку в «Снежинке» на Кузнецком, оно слегка отдает запахом дезодорантов владелицы предыдущей.

И оно же объединяло их всех с той, с помощью которой это платье им досталось. Впрочем, объединяло и роднило не только и не столько само платье, не сам голый факт купли-продажи — роднила тайна, риск, которому подвергались и покупательницы и купец, роднили разговоры, предшествовавшие этому факту, долгие телефонные пересуды на полузашифрованном от чужих бдительных ушей языке.

Таким-то манером Чита из простой поставщицы модных шмоток и становилась для своих клиенток, как, в известной степени, и для их мужей, другом дома, поверенной семейных сокровенностей. Ее не опасались по той простой причине, что она должна была сама опасаться больше всех других, к ней привыкали и не боялись вести при ней самые что ни есть крамольные разговоры. Так что Чита, несмотря на свою, казалось бы, далекую от политических страстей профессию, была волея-неволей свидетельницей и даже как бы соучастницей того, что со временем стало называться «шестидесятыми» (именно в кавычках!), с их вольнолюбивыми мечтаниями, либеральными иллюзиями и противоправительственными умонастроениями. А как стало непреложно явно спустя каких-нибудь два десятилетия, с экономической, то есть с самой что ни есть базовой, основополагающей точки зрения, была на шагок-другой и впереди «шестидесятников» одного только умозрительного, платонического, если позволительно так выразиться, склада: она еще тогда, когда они дальше кухонных инсургенций не шли, уже шагала обеими своими довольно-таки, к слову сказать, стройными, аккуратно-полненькими ножками в сторону свободного рынка, а стало быть, и в направлении к правовому государству: свобода рынка, свобода совести и убеждений, свобода слова и дела, — а ведь делом-то и занималась именно Чита, вседневно, всечасно, не покладая рук и с опасностью быть настигнутой и покаранной вездесущей державной десницей.

Так развились и сложились — исторически, можно сказать, — личность Читы и ее характер. Личность и характер вполне сформировавшиеся, укоренившиеся, ставшие, так сказать, второй натурой. Нет, это не точно — то была не вторая, а первая и единственная, истинная натура Читы, лишь развитая, усовершенствованная местом, а главное — временем ее жизни.

Единственно, о чем Чита не любит вспоминать из этой своей прежней жизни, так это о кличке, под которой ее некогда, как уже было отмечено, знала вся Москва, — по имени славного и верного шимпанзе из фильмов о Тарзане. Как и почему приклеилась к ней эта кличка, сказать трудно, но во всяком случае, конечно, не потому, что во внешности Читы было что-либо общее с экстерьером знаменитого кинопримата — если, правда, не принимать в расчет чуть сплюснутый, уточкой, короткий нос с чувственно вырезанными ноздрями и несколько вытянутую вперед таким розово-шоколадным хоботком нижнюю губу не умявших, однако, обаяния ее лица, особенно же серых, с никелевым блеском, умных и хватких глаз, в самой глубине которых, подобно острию стальной иглы, никогда не дремала чуткая бдительность. Впрочем, бдительность эта была не столько присущей ей от рождения, сколько благоприобретенной: ремесло — или, если угодно, искусство, а то и призвание — купли-продажи было, как уже сказано, в те, не к ночи будь помянуты, времена отнюдь не безопасно, находясь денно и нощно под зорким прицелом уголовного кодекса.

Что же до носа уточкой и губы якобы хоботком, то эти примечательные особенности Читиного лица вполне — и даже без особых усилий — могли восприниматься при желании и как некий сексапильный знак, обещание и призыв, толкающий мужчин на пылкие мысли об обжигающе-жарких поцелуях взапас, о неутомимости и дерзкой беззастенчивости ночных любовных ристалищ, о сексуальной изобретательности, превышающей среднестатистические возможности и потребности не слишком, по расхожему, но глубоко ошибочному представлению иных иностранцев, темпераментных славянок. Напротив — безудержное степное буйство скифских, печенежских, половецких и хазарских кровей, темное, сумрачное сладострастие кровей варяжских и угро-финских, поглощенных и растворенных в щедрой, страстной любвеобильности кровей славянских, в результате многовекового кровосмешения дали миру русскую женщину, Еву всем Евам, Афродиту на все времена. И Чита, вопреки своему носу уточкой и губе хоботком, была одной из них. К тому же она была именно

шестидесятницей — молодой москвичкой шестидесятых годов, сбросившей с себя, как змея — старую, отслужившую свое кожу, оковы «нравственного кодекса строителя коммунизма». Во всяком случае, среди ее сердечных друзей и недолгих спутников жизни были и известные джазовые музыканты, и кандидаты ядерных наук, и подающие надежды нейрохирурги, и художники-авангардисты, и даже один драматург-абсурдист, обласканный и согретый лучами запретности.

2

Однако рано или поздно Чита должна была если не устрашить-ся, так хоть утомиться день ото дня всё более пристальным к своей коммерческой деятельности вниманием со стороны недреманного ока власть предержащих, ни тогда, ни, увы, по сию пору не отдающих должное объективно-прогрессивной роли фарцы как переходной формы от закатного социализма к имеющему вот-вот народиться новому укладу, имени которому мы по сей день, стыдясь и шарахаясь самих себя, никак не придумаем. Одним словом, уже в начале семидесятых Чита твердо решила навострить лыжи. Как и каким макаром ей удалось буквально в одночасье стать «лицом еврейской национальности», так и осталось для всех тайной за семью печатями. Приятельницы и клиентки глазом не успели моргнуть, как Чита оказалась на исторической, хоть и не своей родине.

Она предприняла этот судьбоносный шаг без особых колебаний, без драматических сомнений и душераздирающих стонаний — Чита обладала спасительной способностью легко и без оглядки рвать с прошлым, а уж порвав и расставшись, никогда о том не сожалеть и не маяться бесполезными воспоминаниями.

Но земля обетованная в ее нынешнем, представшем перед ее глазами виде, оказалась далеко не рай Господен, не Эдем, не парадиз. Не посчитавшись нисколько с ее упованиями и планами, Читу, сменившую не только гражданство, но, без преувеличения, и кожу и залетевшую на библейские широты единственно с тем, чтобы уже на вполне законных, цивилизованных основаниях заняться древним, как мир, как сама ее новая родина, благородным искусством купли-продажи, направили напрямик в кибуц, в голую Негевскую пустыню, что очень напоминало грозившую ей на прежней родине судьбу «декабристов», читай — тунеядцев, бомжей и проституток, осужденных к высылке из Москвы и к

принудительному труду по хрущевскому «декабрьскому» указу (вот вам, кстати, еще одна достопримечательность всё тех же шестидесятых). Но Читу вовсе не привлекала перспектива подвижническим, от зари до зари, трудом вдохнуть жизнь в скудную, каменистую почву новой родины, преобразить ее в цветущий сад, в кущи стройных финиковых пальм, в виноградники с тяжелыми янтарными гроздьями, в яблоневые, мандариновые и гранатовые оазисы, в жестяно шелестящие на ветру жесткими, с серебристым исподом, листьями оливковые плантации.

Да и дай волю Читиному яростному коммерческому таланту, где ей было развернуться в этой крошечной стране — от границы до границы дополнить можно!? Не начинать же с жалкой торговли с рук поддельной бижутерией, грошовыми сувенирами и прочей такой же малоодоходной ерундой, тем более, что мелочная торговля находилась безраздельно в руках местных арабов, а Чита их боялась, и не без оснований, пуще огня.

Кибуц ей осточертел сразу и до спазмов в желудке, и не столько страшил ее изнурительный труд сам по себе, сколько опасность, более очевидная, чем даже при социализме, раствориться в массе других кибуцников, полной потери себя и своей индивидуальности, которая, как понимала себя Чита, могла выразиться и самоутвердиться единственно в искусстве купли-продажи. И ее подреб под себя худший из смертных грехов, дотоле ей совершенно неведомый: грех уныния.

Но Чита недооценивала себя — свойство, присущее абсолютному большинству бывших «советских», которых на протяжении всей их жизни родное государство, угнетая и унижая, вместе с тем и освобождало от того, что называется борьбой за существование и неизбежно сопутствующего ей естественного отбора, в ходе которого только и могут проявиться и восторжествовать — либо потерпеть поражение — человеческая индивидуальность и чувство собственного достоинства и неотъемлемой личной свободы. Чита же оказалась, на удивление даже самой себе, поразительно свободолюбивой в этом смысле натурой.

Но для того, чтобы унести ноги из страны предков, пусть даже не самым безупречным образом приобретенных, надо было прежде расплатиться за пресловутую «корзину абсорбции», то есть вернуть до последнего шекеля деньги, которые малая, хоть и не из самых бедных, эта страна истратила на тебя от щедрот своих: иммиграционные расходы, денежное вспомоществование на первое время, обязательное обучение ивриту и всё такое прочее. Денег таких у Читы, само собою, не водилось, откуда было им у

нее взяться в кибуце, очень похожем на утопическую коммуны, да и всё в ней мятежно восставало против самой мысли вернуть их — за что? за то, что она променяла Москву на эту бесплодную пустыню, а московское свое блистательное, пусть и не совсем на равных, окружение на мотыгу и лопату?! Но тут переменчивое счастье вновь обернулось к Чите лицом: в конце второго года ударного труда кибуц наградила ее недельной туристской путевкой в Париж — ну совсем как тридцатипроцентная путевка от родного месткома! — и не пролив ни слезинки на прощанье, Чита укатила в голубую мечту не только каждой московской фарцовщицы, но и любой из ее клиенток.

Тут, казалось бы, можно и вздохнуть с облегчением: сказка стала былью, мечта обрела плоть и кровь, если бы поначалу — и не на год, не на два, не на три — она не обернулась собственной изнанкой, и не голубой вовсе, а серенькой, грязенькой, в салных пятнах усталости и унижения, удушливо пахнущей кислым потом прежних ее искательниц, а также отработанной безмянной спермой, присохшей к никогда не стираным, смятым простыням в мерзких почасовых гостиницах вокруг площади Бастилии или около тогда еще не снесенного «Чрева Парижа».

3

Еще относительно недавно, каких-нибудь тридцать-сорок лет назад, до ухода французов из Алжира и прочих колоний, бульвар Барбесс, расположенный у самой подошвы Монматра — до Сакре-Кёр отсюда можно добраться за несколько минут по крутой, во множество маршей, чугунной лестнице, — еще недавно бульвар Барбесс был вполне благопристойной и, главное, *белой* улицей, проложенной по замыслу знаменитого градостроителя Парижа барона Османа во времена Второй империи. Не столь роскошный, как авеню Фош, Большие бульвары или улица Георга V, он был как бы родным или, на худой конец сводным их братом: такие же белые, в четыре-пять этажей, стройные и нарядные дома, увенчанные крытыми серой или розовой черепицей мансардами, с плоскими декоративными чугунными балкончиками, о которых один из французских поэтов-сюрреалистов сказал, что в дождь «Париж плачет ими, словно черными слезами»; такие же ложи консьержек на первом этаже, такие же чисто выметенные тротуары с такой же чистой публикой на них — всё больше средние буржуа, отошедшие от дел... Но после отпадения

Алжира и окончательного краха колониальной империи бульвар тотчас же стал пристанищем арабов из Магриба и негров из Сенегала, Мали и Экваториальной Африки, в считанные годы превратившись в нечто очень напоминающее восточный базар: первые этажи оторопевших от неожиданности и унижения османовских домов облепили, словно полумертвую бабочку муравьи, сотни лавчонок и лотков, торгующих такой дрянью и по таким сумасшедше-низким ценам, что сюда мигом потянулись толпою цветные новопарижане из еще раньше обабавившихся, обафриканившихся кварталов, а их становилось в столице год от года всё больше и больше, пруд пруди. А когда тут открылся еще и первый — огромный, в три этажа, со множеством филиалов вокруг, — универсальный магазин «Тати», привлекающий, как магнит железные опилки, уж и вовсе баснословными, еще более низкими, чем в арабских лавчонках, ценами, бульвар и вовсе стал Меккой для сбежавших в Европу эмигрантов из доброй полусотни стран «третьего мира», а также — о чем нельзя не упомянуть не только одной правды ради, но и потому, что это имело прямое отношение к судьбе Читы, — а также для советских туристов с их более чем скромными валютными возможностями. Ныне там только и слышна гортанная арабская речь, недоступные европейскому уху негритянские говоры, да наш великий, могучий и свободный.

Тут-то, на бульваре Барбесс, где однажды по чистой случайности оказалась Чита, ей, еще не пустившей корни в почву своей третьей по счету родины, еще знакомой лишь с изнанкой своей голубой мечты, еще без постоянной крыши над головой и еле-еле перебивающейся с хлеба на воду, и пришла на память прежняя, московских еще времен, профессия, а именно — фарца. И здесь-то она и решила вернуться к ней — правда, на новый, парижский лад. Новый ее бизнес, как она сама стала называть свое занятие, заключался в том, что она встречала на Гар-дю-нор поезда с советскими туристами, предпочитавшими отовариваться в Париже купно, всем миром, что сулило им вождеденную скидку, вела их стройными рядами в «Тати», получая за свои посреднические услуги от владельцев магазина куртажные, весьма ничтожные, по правде говоря.

Кроме того, туристы привозили для натурального обмена или на продажу, за неимением других конкурентоспособных бартерных товаров, традиционные матрешки, московскую водку и черную и красную икру — последнюю, суммарно, в количествах, намного превышающих официальные статистические показате-

ли улова осетровых в Волге и Каспийском море: еще одна из неразрешимых загадок социалистической экономики. Матрешками Чита не интересовалась, а вот водку и икру наловчилась скупать у них оптом, а потом сбывать в маленькие рестораны и забегаловки, особенно же охотно пользовались ее услугами так называемые русские бары — тот же «Распутин» или же «Балалайка».

Но еще привозили бывшие соотечественники иконы, складни, старинные монеты, почтовые марки и ордена и вообще всякие антикварные мелочи, фамильные колечки и сережки, янтарь и побрякушки из уральского камня. Из предосторожности Чита не решалась предлагать эти вещицы, приобретенные у туристов за полцены, а то и за сущий бесценок, в антикварные магазины в центре Парижа и, по зрелому размышлению, стала сбывать их владельцам лавчонок, торгующих всяческим старьем и рухлядью на Блюшином рынке, и эта коммерция и положила начало, как вскоре обнаружилось, ее новой и вполне благополучной, наконец-то, жизни.

Ибо именно тут, на «Марше-о-плюс», она познакомилась с Жан-Лу, своим будущим, а ныне уже покойным мужем, потомственным антикваром и владельцем антикварной «бутик», и не где-нибудь, а в роскошном «Лувр-дез-антикуар», в самом центре Парижа, рядом с Пале Руаяль. Хотя, надо признаться, их отношения и до, и после женитьбы следовало бы назвать скорее тесной дружбой, а то и просто согласным партнерством, нежели семейной жизнью: Жан-Лу был, увы, «голубой», как, впрочем, мало не каждый третий из парижских антикваров. Но это не остановило ни его, ни Читу, и единственно от чего она наотрез отказалась, так это от венчания в церкви, для чего ей надо было бы принять католичество и отречься от православия. Наотрез! — и это при том, что вопросы веры ее нисколько не волновали, и Бога, по правде говоря, она ни в грош не ставила и никогда не думала о нем. Тут дело было вовсе не в Боге, а в чувстве собственного достоинства, которое Чита оберегала в себе пуще зеницы ока: должно же быть у человека хоть что-то, чем он вправе не поступаться!

Объяснения этому странному браку отыскать никто не возьмется, да и Чита не любит распространяться по этому поводу. То ли уже смертельно больному Жан-Лу необходима была в принадлежавшей ему «бутик» дельная и энергичная помощница — а уж что-то, а энергия Читы была горячим гейзером за версту, — то ли ему стало невмоготу одиночество или был нужен просто-на-

просто домашний уход и уют, то ли, вполне может стать, на него неотразимо подействовали нос уточкой и губа розово-шоколадным хоботком, но он, года не прошло со дня их знакомства на Марше-о-пюс, предложил ей руку и сердце, а также пообещал завещать, в случае своей смерти, все права собственности на «бутик». Вполне также возможно, что Чите пришлось убеждать его в этом со всей присущей ей настырностью и напором.

Как бы то ни было, но еще через полтора года Жан-Лу умер, и Чита осталась полновластной владелицей не только «бутик» в «Лувр-дез-антикуар», но и выплаченной до последнего сантима трехкомнатной квартиры — кстати, по воле причудливого случая, на том же бульваре Барбесс, прямо напротив станции метро «Шато Руж».

Что же до Жан-Лу, то вовсе не женитьба на Чите, как мог бы неосмотрительно предположить иной читатель, ускорила его смерть: он умер, как то и подобает старому, уважающему себя и пожившему всласть на этом свете «голубому», достойной смертью: от спиды.

4

Оставшись после кончины Жан-Лу одна в «бутик», Чита, по долгом размышлении, решила придать своей торговле совершенно определенный, на свой лад и вкус, характер и избрала стиль «а ля рюсс», то есть ограничила сферу своих интересов антиквариатом исключительно российского происхождения: плетеные из узких полосок серебра шкатулочки, корзиночки и лапоточки-солонки, старинные, невподъем, самовары, церковная утварь всевозможного назначения — от икон, дароносиц и крестильных купелей до битых молью парчевых, шитых золотом риз, епитрахилей и покровов, тяжелые мраморные и малахитовые департаментские письменные приборы с накладными двуглавыми орлами из позеленевшей бронзы, фамильное столовое серебро с вензелями кириллицей или, того лучше, с гербами именитых российских фамилий, не говоря уж о писаных темным маслом портретах самодержцев и великих князей, отдавая, в угоду моде, предпочтение изображениям последнего, невинно убиенного поколения пресеченной династии.

Теперь Чита приобретает иконы не только у туристов, но и на том же Блошином рынке, а также на аукционах у Дрюо, и вовсе не обязательно старинной работы — восемнадцатый век, девят-

надцатый, — но и откровенно нынешнего, прямо-таки позавчерашнего ремесла где-нибудь в мастерских московской патриархии, с еще, можно сказать, непросохшими красками и предательски-жирно лоснящимся слоем свежего лака: у Читы имеется в Париже некий мастер-золотые руки, который так затемнит и заставит потрескаться не только самое икону, но и доску, на которой она написана, что американскому или японскому скучающему толстосуму, заглянувшему безо всякой определенной цели в «Лувр-дез-антикуар», и в голову не взбредет усомниться в ее подлинности.

А рядом с иконами с витрины и с полок на покупателя зазывно глядят стеклянные, малахитовые, яшмовые пасхальные яйца и деревянные, радующие глаз своей веселой праздничной пестротой крашенки, потускневшие, с облупившейся с исподу амальгамой зеркала, вся ценность которых состоит единственно в резных, с пообтершейся позолотой, старинных дворцовых рамах с геральдическими эмблемами по углам, — это-то и на самый придиричивый взгляд несомненное старье как бы прибавляет возраста и поддельным иконам.

Но без присмотра покойного Жан-Лу, антиквара профессионального и опытнейшего, дела в «бутик» пошли не шатко-не валко, а если уж начистоту — из рук вон. А тут еще стали расти, как грибы после дождя, налоги на торговую лицензию, плата за электронную охрану Лувра, и Чита врожденным шестым чувством опасно прислушивается, не трется ли днище углой ладьи ее коммерции, не скрежещет ли на не нанесенных ни на какие карты и лощи мелях и подводных камнях.

Дважды в неделю, по вторникам и пятницам, — если дело летом, то надевши легкий сарафан и обувшись в туфли на веревочной подошве, с бездонной полотняной сумкой через плечо, зимою же или осенью, в гнойную парижскую слякоть, натянувши на себя старую стеганую куртку, очень похожую на давнишних советских времен ватник, и лишь декорировав его наброшенным на плечи павлово-посадским веселым платком, с той же сумою через плечо, — Чита отправляется пополнять запасы своей торговли на Блошинный рынок.

Она спускается в метро и доезжает в вагоне второго класса до Порт-де-Клиньянкур и, перейдя широченный бульвар Неи, попадает прямиком к цели, к рядам антикваров, откуда и начинает свою новую жизнь множество превосходных вещей, пополняющих затем собрания завязтых коллекционеров: почерневшие от времени картины, покрытые старческими морщинами трещин;

поросшие зеленой тиной патины подсвечники, канделябры, консоли и настенные бра; разрозненные столовые приборы из потускневшего серебра со стершейся позолотой; давно остановившиеся каминные часы с амурами, психеями, сатирами и прочей мифологией; старинные, тонкой резной работы с инкрустациями, хоть и растрескавшиеся, изъеденные древоотъемом пузатые комоды, буфеты, рундуки и лари; мелкие, с недостающими деталями, давно вышедшие из употребления, так что об их предназначении может догадаться лишь искушенный профессионал, серебряные, бронзовые, мельхиоровые, медные, черепаховые или сандалового дерева шкатулочки, ящички для рукоделия, пудреницы, табакерки, флакончики для духов с невыветрившимися за века томными ароматами, коробочки для притираний, а то и похожие на ислевшие черепа болванки для париков времен Луи Каторз или Кенз; стеклярусные сонетки, папиросницы с треснувшей на крышках эмалью — чего только не оставляет по себе из века в век, без сожаления и благодарности, человечество на своем пути к мнящемуся ему впереди прогрессу!..

Но уже понаторевшая в своем ремесле Чита умеет высмотреть и угадать в грудах этого старья вещички, которые, если их хорошенько, со вкусом отреставрировать — а мастеров этого дела она знает в Париже наперечет, — можно потом выставить в витрине «бутик» и не без прибыли сбыть самым взыскательным знатокам.

Снаряжаясь в путь на свои розыски, Чита спозаранку, затемно спешит добраться к цели раньше своих коллег и конкурентов, дабы они, не приведи Господь, не перехватили что-нибудь и впрямь старинное и ценное.

Ряды антикваров на «Марше-о-пос» — бетонные ячеи длинного приземистого здания, напоминающего мрачный лабиринт, — еще погружены в предрассветную тьму, цементный пол исходит ночной промозглой сыростью, и Чите приходится вооружиться карманным фонариком, чтобы ненароком не проглядеть что-либо интересное и нужное ей, а уж нащарив узким лучом искомую или просто случайно, на счастье попавшуюся на глаза вещицу, тщательно и придирчиво, со знанием дела, исследовать ее в припасенную для этого сильную лупу.

И всё это — ранний, меж ночью и днем, час, прохватывающая застоявшейся сыростью не только осенью и зимой, но и жарким парижским летом темнота, разрезаемая узкими, словно лезвия антикварных же шпаг, лучами фонариков, и бездна выхватываемых ими из забвения, будто из небытия, старых и, казалось бы,

никому уже не нужных предметов, мертвых, но всё еще хранящих память о некогда живых людях, владевших и пользовавшихся ими, и молчаливо и расчетливо рыщущие добычу покупатели, и сами продавцы-антиквары, весело и громко, не по этому раннему часу, когда город еще спит, перекликающиеся из ячеи в ячею лабиринта, из которого, очень похоже, нет выхода, — всё это для стороннего, нечастого в этом смахивающем на призрачную декорацию мире посетителя являет собою картину странную, чудную, почти недостоверную.

И еще бросается в глаза, как одето большинство владельцев этих лавок — слишком нарядно для раннего утра, слишком пестро и женственно-кокетливо: бархатные, пастельных тонов пиджаки, кружевные жабо сорочек, шелковые шейные платки — они несколько не скрывают своей принадлежности к год от года набирающему силу, и не в одном только антикварном деле, сексуальному меньшинству; — напротив, она как бы входит составной частью в самое их профессию, как и умение отличить истинно старинную вещь от позднейшей подделки, серебро — от дешевого мельхиора или безошибочно определить если не имя художника, так наверняка эпоху и школу, к которой принадлежит потемневшее, потрескавшееся полотно.

Чита их всех знает в лицо, со всеми на «ты», и даже пользуется у них, в случае необходимости, кредитом.

Потом, иногда так и не приобретя на рынке ничего, она возвращается к себе на бульвар Барбесс, наскоро принимает душ и завтракает, тщательно наводит перед потускневшим, ждущим своей очереди на продажу, зеркалом, по ее собственному выражению, марафет, переодевается в строгий, темно-коричневого бархата пиджак и шерстяную юбку, оставляющую простор для обозрения ее всё еще стройных, приятно-полных ног, — всё это куплено не где-нибудь, а у самого Сен-Лорана, — взбивает на лбу челку с уже появившейся первой седой прядью — но Чита никогда и не скрывает свой возраст, — и отправляется в Лувр, в аллею Буль, № 20 — аллеями тут называются галереи пассажа, — отпирает электронным ключом замок и распахивает тяжелую стеклянную дверь в свою «бутик».

Покупатели редки, особенно в первую половину дня, и Чита, невнимательно, одной проформы ради смахнув веничком из утиных перьев пыль с полка, садится за маленькую, на гнутых ножках, конторку, звонит по телефону ближайшим подругам, оповещая их, что она уже у себя в Лувре, и принимается просматривать поступившие из налоговой инспекции счета, но это заня-

тие ей скоро приедается и портит настроение, поскольку оно тут же делает в ее глазах весь мир похожим на вселенский Блошинный рынок, где за всё надо торговаться и платить и считать каждую копейку.

Теперь ей ничего не остается, как терпеливо ждать покупателей или, что случается гораздо чаще, просто случайно забредших в Лувр живущих постоянно в Париже или приехавших сюда по делам знакомых.

Дело в том, что для русских парижан ее «бутик» давно стала чем-то вроде центра притяжения, местом, куда, влекомые силой ностальгической гравитации или же просто-напросто не зная, куда себя деть в чужом пиру, они, проходя центром города, непременно заходят и подолгу засиживаются, — крохотная гавань на берегах неприятного моря, где ты оказываешься как бы почти дома, и можно не стесняться ни своего дурного французского, ни безденежья, ни постоянно гложущего чувства, что, сколько ты на чужбине ни проживи, какие глубокие, как тебе самому кажется, корни ни пусти, ты останешься навечно чужаком, пришлецом из иного мира.

Кто бы ни зашел к ней в «бутик», Чита, сама того за собой не замечая, начнет беседу с одной и той же присказки: «помните, в наши шестидесятые...» — хотя наедине с самой собою она никогда не позволяет себе роскоши ненужных, излишних воспоминаний. Но помнит всё, и при необходимости из запасников ее памяти выплывают на поверхность подробности тончайшие, детали мельчайшие, которые, как ей самой еще за минуту могло показаться, давно утеряны за ненадобностью. Отчетливее всего она помнит из прошлого не события, не лица, не краски или запахи, а — вещи, предмет своей былой коммерции, которые она некогда продавала, сфарцевала тому или иному человеку и, припомнив, тут же уточняет про себя: ну да, я ей (или ему) как-то продала зеленое платье якобы от Диора (или, скажем, галстук в модных в те времена «огурцах»), с этой проданной невесть когда вещи начинает разматываться ариаднина нить памяти, и тут-то она непременно скажет: «а помните, в шестидесятые...» и услышит, как отзовется больно и сладко на эти слова ее всё еще не надорванное, всё еще упрямо не сдающееся сердце.

Шестидесятые, да...

И Я ЖИЛ В РИМЕ

Рим

I

В садовом кресле несло-качало
меня по белой в цвету террасе
к старинной пристани. За мной начало,
не отставая, вилось по трассе.

Весло торчало застрявшей костью
над руслом времени. Я знал, что Время —
не только влага, но влаги, к устью
плывущей, имя, — пока мы в Риме.

Часы вдоль берега, как цепь мишеней
ползли, и белым их опустошенность
начал не ведала, ни продолжений,
но только цельность и протяженность.

Миг измеряется сердцебиеньем,
день — сновиденьем. И не по цифрам,
а по теченью, мы в море едем
с весь день мурлычащим, как кошка, Тибром.

Жизнь — единица судьбы: полсилы
ее — природа, полсилы — время, —
пока мы в городе, где апельсины
все лето зреют, потом всю зиму,

Анатолий
НАЙМАН

— родился в 1936 году, в Ленинграде. Окончил Технологический институт. Автор поэтических книг «Стихотворения Анатолия Наймана» (Нью-Йорк, 1989) и «Облако в конце века» (Нью-Йорк, 1993), а также книг прозы «Рассказы о Анне Ахматовой» (Москва, 1989), «Статуя командира» и другие рассказы» (Лондон, 1990), «Поэзия и неправда» («Октябрь», 1994, №№ 1 и 2). Живет в Москве.

где речка веки на солнце морщит
и всё, что видит: песок и зелень —
на память взяв, как ничей надсмотрщик,
в архивы сносит, на дно, под землю,

где струи времени находят рифму
всему, что — берег, всему, что — мимо...

И выплывает жизнь,
нащупав гривну
под языком моим,
в цветах из Рима.

II

В городе-времяхранилище,
то есть всегда везде,
я, как ворон на нырище
и синица в гнезде,
слышу гул и мелодию
и подношу к губам
дудочку, то есть родину,
то есть когда-то там.

Пой мне, фанфара рыжая,
черная флейта, пой.
Здесь, под лазурной крышею,
меряют не скупой
мерой день — то есть временем
время, а не судьбу,
чтоб упереться теменем
внука — деду в стопу.

То есть не цепь истории
(звеньев вся в пятьдесят)
жизнь, какую устроили
стыки голов и пят, —
а у солнца на доньшке
сад, в саду апельсин,
и на карнизе стонущий
голубь dahin-dahin.

То есть уже поэзия,
высказанная в лоб, —
редкостная профессия:

в стыке голов и стоп
дать языку потомственным
стать, чтоб могла дуда
хоть иногда на собственном
гулить: туда, туда.

Флоренция

Утренний сумрак шарит по комнате,
стул задевает, стенные часы, полотенце.
Вещь на его языке называется «помните».
Как называется дом? Как-то вроде «фиренце».

Или я путаю с уличным шепотом
утренний воздух, зеленый и гладкий как мрамор,
с уличным швом, пастухами по камню протоптанном,
сумрак, в кофейнях настоенный, в спальнях и храмах?

Пройденные называются прошлыми
на языке розовато-зеленой прогулки
лестницы слов, поднимаемых к небу подошвами,
липнущих пылью к рассветом сполоснутой губке.

Свет обращается, ставнями погнутый,
к вещи по имени — и отзывается лирой
стул, обнаженьем руды — полотенце, и комнатой —
то, что под крышами тикает: на меня, вырой!

Главное — щель! — чтобы имя от имени
так не зависело; щель для расчистки плацдарма
уличной краске, полднями выпитой синими,
желтой, на их языке называемой «арно».

И, чтобы только не сделаться пестрыми
чистым цветам, этот всякому времени общий
город, как я, на заре зарывается в простыни, —
шепчущий, шарящий, жизнь не умеющий кончить.

Венеция

Дверь открывается — и закрывается с хрустом:
и обдает вас на миг разговором стоустым,
говором моря, речью подводных энигм,
голосом гипсовых масок — однако, родным.

Это — Венеция. *Экко вэнэциа, русси.*

Вещь не в винительном, а в оправдательном вкусе,
то бишь, в творительном, так как волненьем вода,
если прислушаться, камню твердит только «да».

Да, это вам не снега, господа, это влага
цвета тускнеющих нимбов и вольного флага.
Дверь открывают из отсвета влаги на свет.
Снега здесь нет; не бывает; не может быть; нет.

Даже зимой, чем сочиться желтухой и желчью
солнцу вылуцивать проще из воздуха жемчуг,
снегу родной, из которого вытесан Марк
львиный лицом, а не ваш чернораморный мрак.

Всё это будет вам сниться — и то, как тревога
вдруг нападала, что здесь не хватает кого-то,
кто бы в захлебе про всё это: «Вó дает, вó!» —
вам хохотнул бы. И я даже знаю, кого.

Зонг алл'итальяно

*Мне горло забила чужая пыль,
пока я шагал с великой войны,
и в гости позвал меня папа Пий
и дал отхлебнуть от имперской волны.*

*Мне лечь хотелось в траву лицом,
но шедший в Триест чертил пироскаф
в этрусско-готском альянсе морском
фельдфебельский под усами оскал.*

*И молвил мне папа, папа мой Пий:
«Сын мой, ступай в Европейский парк
и именем Жанны д'Арк возопий:
— Боже, не дай упасть дойче-марк!*

*Поскольку на севере Гиперборей
ни лиру не чтит, ни франк, ни фунт;
у них кто не гунн, тот и еврей,
и что ни сапог, то медвежий унт.*

*Они альянс сокрушили наш,
который итогов любой войны
сильней! Так сдадим дойче-маркам пляж,
а лиру бросим в оскал волны,*

*а те ей с пляжа — пробковый круг!» —
И мне замахал с пироскафа лес
баварских, в розовых бицепсах, рук.
И я отдал голос за ХДС.*

* * *

И я жил в Риме, всходил на Небесный холм,
и мне под колени стлалась травой солея
холма. Но скажи кто-нибудь, что похлебку хохм
чесночных варил и глотал он, скажу: и я.

Не мне заводить с тобой, Эллада, роман
теперь, когда сам я — старый лукавый грек.
Ни, Иудея, с тобой, когда я прохромал
всю жизнь на обе ноги, загоняя грех.

Но я жил в Риме, а он просторней Афин,
он проще тебя и прямей, Иерусалим,
в нем храм — для такого, как я, хлеба овин,
в нем солнце — которым таких, как я, хлебосол солил.

И ты, моя тень от солнца, от жизни тень,
случится, мелькни одна — там, где вместе мы
на римских жили холмах, наслаждаясь тем,
что, вверх взбираясь, видим вокруг холмы.

И вот что: у Тибра спроси, как дойти до По.
«— С вокзала, — сострит, — от Рима Центрального вдоль пути
на Рим Товарный, на Сортировочный, на Депо...»
«— Ах, только бы не на Третий», — ты пошути.

И вы, к воскрешенью костей, сухожилий, тел,
холмы, хранящие их — подобные им,
дайте отбросить на вас и тогда мне тень,
на ваш неизменный готовый воскреснуть Рим.

ИЗ ЦИКЛА «ОЖОГИ»

Рассказы

1. Искусство кино

На затянувшейся пьянке, в час анекдотов и трепа о сексе, один киношник поведал о том, что произошло с ним однажды в далекой юности. Отсмеявшись вместе со всеми, я оторопело понял: такое же происшествие было и в моей жизни — примерно в то же время, но, разумеется, в другом месте и в несколько иной обстановке. Обвинять рассказчика в плагиате было бессмысленно; вполне возможно ведь, что на одном из таких застолий я сам известил жадных до хохм собутыльников о случае в психиатрической больнице, услышанное огласилось за другими столами и разлетелось по городам и весям, чтоб вернуться в мои уши сильно искаженным текстом, который так расшатывает к тому же воспоминания, что сам не знаешь уже, с кем именно произошел этот случай и когда.

Писание о себе всегда грешит неизбежными ошибками, так и хочется что-то приукрасить, а себя, привирая, выгодно представить. Поэтому лучше пересказать то, что прозвучало из уст знаменитого кинорежиссера.

В возрасте двадцати с чем-то лет, человеком без профессии и без определенных занятий, пребывал он в состоянии, когда причиняют себе боль для того, чтоб от нее тут же избавиться. В метро он стоял у края платформы, с испугом и радостью ожидая влета вагонов, под которые бросит его шевелящаяся толпа. Улицы перебежал при красном свете и намеренно ссорился с теми, кто

**Анатолий
АЗОЛЬСКИЙ**

— родился в 1930 году в Вязьме. Окончил высшее военно-морское училище имени М. Фрунзе, служил на флоте, после демобилизации работал на производстве. Автор романов «Степан Сергеич» (1987), «Затяжной выстрел» (1987), повестей «Легенда о Травкине» (1990), «Пароход» (1990), «Лишний» (1990).

мог бы устроить его на работу. В нем развилась — не к месту и не ко времени — брезгливость, все люди казались ему дурно пахнущими и грязными. При нем однажды из окна девятнадцатого этажа выбросился человек, разбившись насмерть, и, наглядываясь на него, он решил подняться на тот же этаж, чтоб сверху посмотреть на опостылевший мир; он преспокойно направился в подъезд девятнадцатизэтажного дома, вошел в кабину лифта — и лишь гнусная надпись на стенке пресекла желание. Ни одну книгу он не мог дочитать до конца, ни с одним человеком договорить до момента, когда можно спросить о хорошей работе. А все отделы кадров дружно гнали его прочь, они необоснованно подозревали в нем летуна, бездельника и склочника, хотя трудовая книжка лишь очень смутно намекала на это. Мучило не столько отсутствие какого-либо постоянства в жизни, сколько абсолютное неприятие себя да непонимание того, что с ним происходит и кто он вообще такой, на что способен. Сам себе был противен, будто от тоски одиночества изныл на необитаемом острове, и, наверное, сам походил на необитаемый остров, на голую землицу, по чьей-то ошибке не нанесенную на карту. Он одичал. Настолько, что не порадовался, получив работу, наиболее ему подходившую, то есть с немедленным выездом из Москвы. В шатком вагоне он развернул врученные ему чертежи и схемы и вскоре догадался, с чего это вдруг стал он так нужен кадровику. Повсеместно в моду входили датчики радиоактивного контроля, повсюду говорили о меченых атомах, нуклеидах и прочих новшествах, с которыми, как свидетельствовала его трудовая книжка, он был знаком. В Белгородской же области как раз отгрохали гравийно-щебеночный завод, бункера которого по проекту оснащались радиоактивными датчиками уровня — их-то и надо было установить и отрегулировать, завод предполагали сдать госкомиссии до ноябрьских праздников.

В девятистах километрах от Москвы, в полудне ходьбы от станции будущий кинорежиссер увидел притулившийся к поселку новенький заводик. Безлюдные корпуса его и бункеры связывались наклонными галереями, тишина стояла полная, лишь диспетчерская подавала признаки производственной жизни, здесь какой уже день напролет пила бригада наладчиков, сборная команда из разных городов, все небритые, опухшие и приветливые. Москвича усадили за стол, богатый дарами черноземного края; особо усердствовал бригадир Мишка, мужик бандитского склада ума и внешности. Из литровой бутылки полился самогон отличнейшей выделки. Недостатка в деньгах наладчики не испы-

тывали, что несколько удивило москвича: кадровик просил передать бригаде, что получка будет выслана только на следующей неделе.

Пили до утра, а потом до вечера, за самогоном бегали в поселок, все попытки москвича сунуть гонцам деньги пресекались Мишкою: «Все оплачено, дорогой!..» Удалось, однако, осмотреть завод и убедиться: датчики уже смонтированы и поставлены по периметру бункеров, осталось только запитать их кабелем, который — так уверяли в Москве — уже давно на здешнем складе. Работы дней на десять, не больше, учитывая тягу бригады пить без просыпу.

Вся диспетчерская провоняла самогоном, тараканы лезли на стол, мухи вились над кильками в томате, усыпали собою куски крупно нарезанного сала. Вонючие телогрейки вразброс лежали на полу примыкавшей к диспетчерской комнатенки. Улучив момент, москвич отвалил от стола и ушел в поселок. За ничтожные деньги удалось снять полдома, радушная хозяйка обещала и кормить постояльца. Окна выходили на пруд, затянутый у берегов тонким ледком. На середине черного водного круга плескались утки. По разжиженной грязи проселочной дороги катили самосвалы со свеклою, устремляясь к буртам, издали похожим на египетские гробницы, а над ними торчала дымящаяся труба сахарного завода. Этот совхозно-индустриальный пейзаж умилял душу, а хозяйка вызывала жалость и уважение. В годы войны эта женщина подорвалась на mine, правую ногу теперь заменял ей костыль, левая рука была обрублена выше локтя, и от трепыхания культи речь хозяйки казалась невнятной, спотыкающейся.

Бригада продолжала пить, самогон лился рекой. Однажды утром москвич растормошил бандита Мишку и потребовал кабель. «Потом как-нибудь...» — отмахнулся от него бригадир и долго нес какую-то чушь.

Ночью москвича разбудила боль в десне. Заныл зуб, совершенно здоровый, и нытье угрожало перейти в страдание, спасаясь от которого москвич расхаживая по комнате, пытался читать, не решаясь будить калеку-хозяйку и спрашивать у нее самогон, чтоб хотя бы им заглушить боль. Отвлекаясь от сверлящей муки, осторожно ступая по скрипучим половицам, кружась у стола, он искал, он смотрел, чем занять руки и мысли, водил пальцем по обоям и нащупал прикрытую ими электропроводку, долго вглядывался в выключатель и розетку. Достал из чемодана отвертку, снял крышку выключателя — и страшная догадка пронзила его: этот дом, как и весь, наверное, поселок, был недавно электрифици-

цирован бригадою, и на внутреннюю проводку пошел весь барабан кабеля! Тот кабель, которому надо бы соединять датчики с пультом. И не малограмотные местные электрики потрудились во благо селян, а электромонтажники настоящей заводской квалификации, мастера производственного дела, с геометрической прямизной уложившие кабель. Разделка же кабеля у выключателя и розетки сделана была по всем действующим инструкциям и наставлениям, монтажные скобы намертво прикрепили проводку к стенам, и хотя она была стыдливо спрятана под обоями, чувствовалось: здесь работали специалисты высокого класса, то есть те самые парни, что пьют сейчас в диспетчерской на деньги, собранные поселковыми жителями.

Москвич вспомнил классическое определение коммунизма: в нем электрификации отводилась такая же роль, как и местному самоуправлению. Зря вспомнил, потому что утихшая было боль вновь ворвалась в челюсть, в ухо.

Рассвет привел москвича в движение. В пристанционном киоске нашлись болеутоляющие таблетки, но значительно большее влияние оказал самогон в диспетчерской. Опьявшие от пьянства глаза бригадира Мишки свирепо уставились на москвича: да, пропили кабель, уважили местное население, но беды нет никакой, потому что завод будет сдан в срок! И, совсем ополоумев, Мишка начал рассказывать ему о какой-то учительнице, якобы ждущей его уже какой год...

От речей этих зубная боль перепрыгнула с челюсти на лобные пазухи, ударила по глазам, и только стакан самогона заставил ее спрятаться, затаиться. Надо было искать врача. Отвратительный кисло-сладкий запах от самосвалов с отходами сахарного производства пропитывал всю округу, смешиваясь с бензиновой гарью, но другого транспорта здесь не жди, и москвич, зажимая нос, подкатил на самосвале к сахарному заводу. Его ошеломило явление: вся заводская поликлиника — на уборке свеклы. И городская тоже — так сказала ему уборщица. Однако сжалилась, тыкнула шваброй в сторону бескрайней степи — там, километрах в пяти отсюда, есть дурдом, психбольница, зубных врачей там не мобилизуют на свеклу, и были случаи, когда они помогали пришлым гражданам. Ну, а если немоготу, — посочувствовала бесконечно добрая уборщица, — то рядом ветеринар, выдерет любой зуб.

Эта идея показалась москвичу черезчур радикальной, и он с утра решил ехать или тащиться пешком в психбольницу. Ночь тянулась долго и в полусне, от бутылки самогона не осталось ни

капли. Рассвет застал москвича на дороге, полпути до дурдома он проделал на полуторке. Купа деревьев и ограда указали место, о котором всегда на Руси шла дурная слава. Но москвич возрадовался, увидев дюжину двухэтажных домиков с зарешеченными окнами, строения, раскинутые там и сям, копошащихся кое-где людей. Куда идти, в какую сторону — все было написано и указано, и солнце проглянуло сквозь тучи, суля скорое избавление от боли, — туда, направо, по аллее, к зубному врачу!

На дорожке с еще несметенными листьями кленов москвича обогнала пара: высокая грузная женщина в наброшенном на плечи пальто — и девочка, закутанная в синий байковый халат, униформу здешнего заведения. Свежевырытый ров остановил их, — кучи желтой глины и сидевшие на корточках мужчины в телогрейках и шароварах. Пронзительными детскими голосами просили они девочку в халате спуститься к ним в яму, где они ей что-то покажут, а что именно — продемонстрировал один из психов, приспустив шаровары. Сопровождавшая девочку женщина возмущенно крикнула стоявшему поодаль надзирателю, чтоб тот успокоил своих больных, и пожаловалась москвичу:

— Хоть на улицу не показывайся, такого наслышишься... Мне-то что, а девочке какво — пятнадцать лет, ребенок, девственница, жизни не знает, голого мужика не скоро увидит...

В трех метрах от москвича замерла в неподвижности та, чью невинность превозносила женщина. Уныло вытянутое личико ее не выражало ничего, кроме терпеливого ожидания, глаза прикрыты серыми веками, и на ум приходило сравнение со скульптурой в парке, одинаково бесчувственной и при дожде, и при пыли, и под снегом. Но еще больше напоминала она дохлого таракана. Несчастное существо, лишенное разума в годы, когда мозг так бурно развивается!

Надзиратель перебросил доску через ров, женщина толкнула больную, та пошла, странно двигаясь, будто внутри пустой бочки: ног не видно, рук тоже, потому что рукава халата оказались непомерно длинными. Жидкие волосенки девочки схватывались сзади в косу, уходящую под халат.

Они ушли, а москвича задержал надзиратель, попросивший сигарету и сказавший, что с острой зубной болью здесь принимают. Хором заблажили психи, требуя курева, а надзиратель пожаловался: летом бы надо готовить теплотрассу к зиме, теплотехников из города звать, а не гнать больных на земляные работы!

Пропахшая лекарствами лестница привела москвича на второй этаж, и в приемной зубного врача он увидел ту же парочку.

Женщина со странным, непонятым вниманием обходила все углы комнаты, что-то высматривая, а девочка, сжавшись в комок, влезла в глубокое кресло и казалась куклой, забытой детьми. За белой дверью взвизгивала, меняя обороты, бормашина. Женщина задрала голову, изучая потолок и светильник с двумя люминесцентными лампами, москвич оторвал ее от этого загадочного занятия, спросил, и женщина подтвердила: да, зубной врач может принять постороннего, но после того, как обслужит больных. Сейчас у врача пациент, потом — эта девушка (женщина указала на кресло), и лишь потом...

Испытующе и остро глянув на москвича, женщина попросила его никуда из приемной не удаляться, поскольку ей надо минут пятнадцать побыть в другом месте. Еще раз критически осмотрев потолок, стены и — что уж совсем дико — плинтусы, женщина вдруг накинулась на опекаемую больную и пошарила в карманах ее халата, ничего в них не найдя. Затем стремительно покинула приемную, плотно закрыв за собою дверь. Под шагами ее закрипела лестница. И наступила тишина. Потом в кабинете за дверью что-то звякнуло, какая-то штучка упала на гладкую металлическую поверхность. Короткий сдавленный крик пресекся увещательным голосом: «Ну, немножечко еще, потерпи, милоч...»

Москвич опустил на стул. Существо в кресле находилось в нескольких метрах от него.

Протекла минута, другая. Москвич вытянул ноги, придавая телу положение, при котором зубная боль как бы расплзалась по мышцам, а не била в голову. Он думал. Он вспоминал самые ненавистные в своей жизни мгновения, чтоб воскресшей болью от них ослабить ту, главную, в правом резце, но какие мерзости прошлого ни приходили на ум, страданиям всё не было конца.

И вдруг наступило облегчение — от целительной теплоты, излучаемой каким-то источником. Москвич глянул вверх и за спину, надеясь увидеть калорифер или что-то подобное ему, но ничего не обнаружил. Никакого жаропышущего агрегата в комнате не было. И всё же москвича не оставляло ощущение: на нем сфокусированы инфракрасные лучи, откуда-то исходящие. Он повел взором — и встретился с устремленными на него глазами девочки в кресле. Она робко улыбалась. Лицо ее, иссеро-тусклое несколько минут назад, напустило на себя краски: губы стали малиновыми, брови черными, а глаза — синими. Детская доверчивость порхала в ее несмелом вопросе.

— Так вы нездешний?

Радость — это и освобождение от боли, и наслаждавшийся радостью москвич ответил: да, нездешний, в командировке, завод, куда он послан, в пяти километрах, живет же он в поселке, там же... Она спрашивала — он отвечал, с некоторым удивлением отмечая: первые слова девочки произносились с акцентом, который влезает в русскую речь вместе с украинской мовой, но уж последующие звучали с типичным московским аканьем.

— Я — Татьяна, — назвала себя девочка. Сказано было несколько жеманно, как при знакомстве на танцах, когда девичья ладошка подается на уровне груди. — Можно и проще: Таня, — улыбнулась она открыто, смело, по-взрослому, и, подтверждая взрослость, нога ее на мгновение выпросталась из халата — красивая, обнаженная нога, утопшающаяся к бедру в соразмерности, которая намекала на то, что и груди у Тани вполне взрослые, полные, и плечи, и всё, всё... Ногою она развернула стоявший рядом стул и глазами указала на него, приглашая собеседника садиться.

Оторопевший москвич отвел глаза от краешка трусиков на дивном бедре, встал, назвал себя и пересел. Девушка положила ногу на ногу, набросив на них полы халата так, чтоб видны были круглые, изящные коленки. С кончика ноги свисал тапочек, Таня побалтывала им, ступня тоже была кругленькой, белой.

Опять что-то звякнуло в кабинете врача, а девушка сморщила личико, две слезинки покатались по пылающим щекам ее. Короткий вскрик выразил сдержанное страдание, расстрогав москвича, всегда неравнодушного к женским слезам. Успокаивая девушку, он прикоснулся к руке ее и почувствовал, что сострадание его оценено: мужская ладонь перемещена была вниз и лежала теперь на видимой части женского бедра. Жар пошел по руке, будоража воображение москвича, а уши вбирали в себя горькую историю, от которой впору было самому заплакать. Оказалось, Таня была сирота, отец ее умер, когда она еще в школу не ходила, а мать привела в дом отчима, очень нехорошего человека, он бил и мать, и ее, девочку, и от побоев мать скончалась. Вместо нее хозяйничать стала совсем чужая женщина, Таню она дважды выгоняла, но тут вмешался райсобес, обязал отчима и его жену кормить Таню. Пытались они ее сдать в интернат, но что-то там не получилось. Тогда они стали ее изводить, отняли платья, чтоб она не ходила в школу, морили холодом и голодом, не давали спать, для чего вкрутили в абажур очень-очень яркую лампочку, выключать же ее не разрешали, и более того — сделали так, что выключатель оказался за дверью, которую они запирали на ночь.

И вот тогда однажды, находясь в отчаянии и страдая от бессонницы, она ножницами перерезала провода, чтоб лампочка не горела.

— Они только этого и ждали, — сразу вызвали врачей, и они отправили меня сюда. — Таня вытерла слезы рукавом халата. — А здесь — признали здоровой. Но брать меня отсюда никто не хочет...

Потрясенный москвич не мог не разделить чужого горя, которое к тому же стало его горем. Весь протекший год обтекался он людьми, очень похожими на отчима и мачеху этой забытой всеми, оскорбленной и униженной Тани.

— А почему... никто не берет? — пробормотал москвич в сильном смущении, потому что рука его, уже ему не подвластная, прокралась к трусикам — и отдернулась в испуге, когда зажужжавшая бормашина напомнила ему, где он находится. Жужжание перешло в стрекотание, Таня легко поднялась и быстро приблизилась к двери кабинета, прислушалась, повернулась — и упругим шагом пошла к москвичу, преображаясь на ходу. Кушачок халатика развязался сам собою, длинные полы загнулись вовнутрь и поднялись — единым, слитным движением рук и бедер кушачок затянулся, и халатик чудодейственно превратился в коротенькое платье с глубоким вырезом на груди, рукава закатались до локтей. Взлет рук — и коса выпрыгивает из-за спины, тут же расплетаясь в волнистые пряди густых каштановых волос и освобождаясь от голубой ленточки, которую Таня зажала в кулачке.

— А потому не берут, что через два дня я буду совершеннолетней, мне надо выдавать паспорт, прописывать, так кто ж захочет взваливать на себя такую обузу?.. Эта проклятая жилплощадь, эта...

Она осеклась, глаза ее расширились от радости или испуга.

Она охнула — от мысли, озарившей ее. Губы прошептали: «О господи, как же я раньше не додумалась?..» Еще полностью не осознав спасающей ее мысли, она вдруг села москвичу на колени. Мольба была в ее голосе, слова выговаривались отчетливо, быстрым полупшепотом, и москвич услышал, что надо ему сделать, чтоб вызволить Таню из темницы, то есть отсюда, из этого страшного дурдома. Оказывается, врачи могут отдать ее на поруки — родственнику, под расписку, и родственником этим — племянником матери — станет он. Надо лишь знать кое-какие семейные детали, подробности, биографию матери и так далее, адреса и прочее.

— Они отдадут меня тебе, им самим хочется избавиться от вполне здорового пациента. Приедет ведь какая-нибудь комис-

сия, устроит им нагоняй... Держи, — сказала она, раздергивая пальцами завязанную в узелок голубую ленточку, в которой пряталась вчетверо сложенная бумажка. — Здесь всё написано.

Он взял эту записку, сунул ее в нагрудный карман. Житейского разума, однако, не потерял, спросил, а как же ей, Тане, жить дальше-то, за стенами больницы, без паспорта, без жилья?

Она расхохоталась — весело, с необидной издевкой, с досадою женщины, намеков которой никак не понимает взрослый юнец.

— Уж это мои заботы, выкручусь как-нибудь... А поживу пока — у тебя! Да, да! Ты же комнату снимаешь, сам сказал. С отдельным выходом. И недели две еще будешь здесь, да? Вот и буду жить у тебя. И твоею буду.

Руки ее обвилились вокруг шеи, горячие губы коснулись переносья.

— Рубашку тебе постираю... — мечтательно произнесла она. — Грязная уже. Бедный ты мой, никто не ухаживает, никто не любит...

Голос нежный, материнский... Отзвучал он — и захотелось иной ласки. Нос уткнулся в вырез сорочки, губы нашли твердую, как теннисный мячик, грудочку, послышался смех Тани, вспомнилась давняя знакомая, намеренно удлинявшая время от раздевания до нырка под одеяло, дразнившая москвича долгим сидением у зеркала и таким вот смехом.

— Я сегодня же пойду к главврачу! — порывисто ляпнул он. Смех оборвался.

— Нет, — жестко сказала Таня. — Не сегодня. Тебя ведь запомнила старшая медсестра, это она привела меня сюда. Она поймет и догадается. Тебе надо придти в понедельник, у медсестры смена, та, что будет в понедельник, тебя не видела.

Руки москвича уже добрались до лопаток, губы ощутили шершавость соска...

— В понедельник! — приказала Таня. — Да и раньше никак нельзя. Мне ведь... — прошептала она, — в воскресенье только будет шестнадцать. Я еще несовершеннолетняя...

Горечь была в этом признании и тревога. Она хотела о чем-то спросить, но не решалась, и москвич, вопроса не дождавшись, пролепетал успокоительную глупость — насчет того, что понимает, какую ответственность берет на себя, и дает слово, что...

Нет, не то хотела услышать девушка, сидевшая у него на коленях. По-девчоночьи поелозив, она отпрянула, оторвала себя от губ москвича и глянула в глаза его — упрямо, настороженно, пытливо, с некоторым подозрением даже, и холодом вдруг поне-

сло от нее, а в расширяющихся зрачках заколыхалась мстительная решимость. Быстрым злым шепотом она спросила:

— Ты сказал, что вчера вечером читал книгу?

— Да, — удивился москвич.

— Было темно?

— Да...

— А как же ты читал?

— Лампа ведь...

— Керосиновая или электрическая?

— Электрическая, конечно... Потолочная, с абажуром. Но я куплю и настольную, читай, сколько хочешь.

Она вздохнула с облегчением.

— Не в этом дело... К абажуру — провод подходит?

— А как же!

— А ты мне разрешишь как-нибудь этот провод — ножницами перерезать?

Москвич затруднялся в поисках слов, потому что технических терминов Таня могла не знать. И всё же объяснил он вполне понятно: не провод, а кабель, и чтоб добраться до проводов, надо предварительно разрезать оболочку кабеля, — это легко, она резиновая, — снять шелковую оплетку и только тогда приступить к разрезанию медной жилы в хлорвиниловой изоляции, причем...

— И я смогу их чик-чик?..

Придыхание было в вопросе, который сопровождался показом стригущих пальцев, что изображало ножницы. Дыхание участилось, глаза заплывали истомою страсти, которая вот-вот разрядится, и в тот же момент Таня рывком покинула холодеющие колени уже обо всем догадавшегося москвича. За дверью в коридор слышались шаги, кто-то поднимался по лестнице. Таня подлетела к москвичу, вцепилась в него и отшвырнула к противоположной стене, туда, где сидел он ранее. Несколько секунд ушло у нее на возвращение к прежнему существованию, вместо обольстительно красивой и полуобнаженной девушки — завернутый в безобразный халат подросток, испуганно забившийся в кресло, как в расщелину скалы.

И вошла медсестра, та самая грузная женщина, озабоченная, запыхавшаяся, оглядевшая приемную и довольная тем, что с больной ничего не случилось. А тут и дверь открылась, выпуская из кабинета мужчину, раздутого ожирением. Пальцы его рук походили на толстые сардельки, изо рта торчала марля, мужчина странно побалтывал руками, будто остужал ошпаренные пальцы. Медсестра умильно позвала: «Танюша...» — и девочка в халате

послушно и как во сне медленно выбралась из кресла, успев бросить на москвича взгляд — быстрый и точный, как из рогатки, так не вязавшийся с выражением глаз, со смыслом, вложенным во взор, потому что на москвича двадцати с чем-то лет глянула старуха, повидавшая многие смерти и пережившая многие несчастья, и старуха эта призывала его к терпению во имя сострадания, она звала беды на его голову для того, чтоб вызволить из несчастий, ибо жизнь — это общение с живущими ради скорого соседства с мертвыми.

Дверь закрылась...

Те же гогочущие и вертлявые психи деревянными лопатками выгребали желтую глину из траншеи, голодными собаками набросились они на брошенную им пачку сигарет. Ничто не изменилось в этом мире, но — всё стало другим, и москвичу не нужен был зубной врач, потому что боль истаяла, испарилась, улетучилась, в голове, в теле — прозрачная легкость, легкие всасывали целительный воздух средних широт, земля пружинила, каждый отдалявший от больницы шаг приближал человека к еще неизведанным ощущениям. Тяжелые низкие тучи заслоняли солнце и звезды, и луну, но это значило, что пасмурность сменится ликующим светом через час, через сутки, а спустя месяцы безлистные деревья испустят из себя новую клейкую зелень.

Если бы москвича догнал грузовичок или автобус, он не остановился бы и не поднял руку. Он никуда не спешил. Ему надо было обдумать что-то чрезвычайно важное. Неторопливой походкою одолевал он километры, удивляясь обновлению ранее виденного. Показался построенный, но еще не сданный «объект», щебеночно-гравийный завод, и то, что его сдадут госкомиссии и работать он всё равно не будет — об этом догадался он. Карьер истощен, о чем знали проектировщики, подгоняемые строчками каких-то пятилетних планов и постановлений, и уж бандитствующий бригадир Мишка наверняка понимал, что радиоактивные датчики — это ленточки на безрогой корове.

Со щемящей теплотой подумал москвич о бригадире, воссоздав в памяти все угрозы его и причитания, все намеки его и мечтания; бригадир часто пускал слезу по пьянке, в алкогольном дурмане ему виделась какая-то «учителка», будто бы ждущая его двадцать лет уже. Собрав воедино кусочки Мишкиных воспоминаний, москвич охнул, пораженный трагедией всегда нетрезвого бригадира. Восемнадцатилетним десантником попал он в город, что неподалеку от строящегося завода; раненый и контуженный,

приполз он к дому на окраине, единственный уцелевший: немцы еще в воздухе уничтожили всех парашютистов, Мишка спасся чудом, но еще большее счастье ожидало его в доме, где выхожен был и обласкан девушкой, мечтавшей об учительстве. Он поклялся ей быть верным, вернуться сюда после войны. И в такой пьяной грязи вывалился, в такую коловерть попал, что стыдно было показываться святой, единственной, нетленной и чистой. Будет ли прощен, если вновь приползет к ней — весь в кровотокающих ранах, побитый и покалеченный? А сама-то она — верна ли ему или давно забыла того, кто мог с медалями на гимнастерке постучаться в дверь, а мог и вообще не вернуться, покоясь где-то у Балатона или в предгорьях Карпат; кто мог в мае 45-го отбить телеграмму и вызвать «учителку» в родной Псков, а мог, спутавшись с медсестрой, начисто выкинуть из головы дом на окраине? Мог и не мог, хотел и не хотел, летел в воздухе или на танковой броне, падал, сраженный пулею, и — фляжка ко рту — упоенно вливал в себя спирт после жестокого боя, — всё, всё это было — созревшими вариантами — в восемнадцатилетнем Мишке, скребущимся в дверь, которая могла открыться, а могла и остаться запертой, приговаривая к смерти истекающего кровью десантника. Всё было или могло быть — как в этой Тане, которая пахла сразу и могилой, и распутившейся розою, которая содержала в себе и невинную, трогательную в стыдливости девушку — и развратную женщину, девочку, недавно игравшую с куклами, и добродетельную мать, озлобленную хищницу, рвущуюся на волю из клетки, и несчастное дитя.

Всё было — и всё могло быть. И то, что было, всего лишь определенное стечение обстоятельств.

И сам он, — москвич с пронзительной ясностью рассматривал себя под низкими тяжелыми тучами, — воплощает в себе пахаря и воина, зануду бухгалтера и скрипача еврея на свадьбе в Трансильвании, он во всем и всё в нем, в том числе и электромонтажник 5-го разряда.

Он пришел в диспетчерскую и обнял мягкого, стеснительного и многознающего Мишку, получил справку о том, что датчики установлены, проверены и приняты в эксплуатацию. Прощание было коротким и бурным. Он нарвал калеке-хозяйке букетик цветов, росших в тепльни у котельной, и пожелал ей долгих лет жизни, — ей, которую наши солдаты выбросили из теплушки под колеса поезда, предварительно изнасиловав и избив. Что это было именно так, догадался он, расшифровав интонации соседей и ухмылки баб. Война ведь не только окопные будни, танковые

клинья и героический штурм вражеских твердынь. Она — остревнение человеческого муравейника, объятая пожаром.

С великодушною справкой прибыл москвич в Москву, а через некоторое время уволился, получив вдогонку премию за успешную сдачу «объекта». Деньги эти позволили ему укрыться от житейских невзгод и написать сценарий — о десантнике Мишке, злодее и праведнике. Потом он поступил в институт, где обучился режиссерскому ремеслу. Поставил несколько картин, прославивших его. Но так и не удосужился рассказать приемами своего ремесла о получетвертованной хозяйке того дома, где жил в далекой юности, и тем более никогда съемочная камера не побывала в психиатрической больнице, а ведь он общался с ожогом от безумия. Едва начинал он случай, происшествие, единичный факт доводить до обобщения, до закона, по которому люди живут, о том не ведая, как — наверное — вспоминались ему стригущие пальчики Тани, закованной в сумасшествие, и ее сладострастное желание сделать «чик-чик», перерезать нечто, себя умертвив. Вспоминались и накладывали запрет на любое воспроизведение и осмысление, кроме, пожалуй, анекдота.

— А вот был со мной однажды такой случай...

2. Разговор

Они сидели на веранде, под грибком, ранним утром, народу ни души, официантка принесла кофе, минеральную воду, сигареты. Море было где-то рядом — как и горы, что не пускали на себя людей и прижали их к берегу. По дороге прокатил велосипед, на гнутом руле болталась авоська с хлебом. Пустые молочные бидоны глухо постукивали на телеге, колеса ее сдавленно попискивали.

Буланов, геофизик, сидел спиной к дороге и напряженно всматривался в буфетную стойку. Измайлов попивал кофе, смотрел на дорогу и гадал: сейчас брать коньяк или чуть погодя? И если пить, то когда начинать разговор — после второй или третьей рюмки? Пожалуй, после второй. Уже не трезвы, но еще не пьяны, — самое время приступить к делу, сказать, что амплитудно-фазовый измеритель, который он привез Буланову из Москвы, отградуирован и незачем ему, Измайлову, ждать начала испытаний, без него обойдутся. Место здесь хорошее, спору нет, можно еще пожить недельку, но назревает квартирный обмен, жена вчера

отстукала телеграмму, надо ехать. Поймет ли его Буланов? Бурит себе мужик землю, закладывает взрывчатку, на следующий год примется за прибрежную полосу, надоело, небось, поэтому и такой мрачноватый. Измайлов специально встал рано, потащился за Булановым, чтоб деликатный вопрос о командировке решить с глазу на глаз. Говорили пока о погоде. Буланов неотрывно смотрел перед собою, курил, стряхивал пепел на стол и сдувал его.

На тропинке, что повторяла изгибы дороги, показалась женская фигура. Она приближалась, она вырастала, красное в белый горошек платье было на женщине высокого, очень высокого роста, как стало казаться Измайлову. По телу его прошла теплая, покальывающая волна, Измайлов услышал шум своей крови и оглох. Женщина прошла в трех метрах от него, за спиной Буланова, по воздушному помосту, не касаясь земли, скрылась, а Измайлов всё никак не мог прийти в себя. Он попытался встать, побежать за женщиной, но ноги не держали его, а горло сжалось, предвещая скорый плач и бурные слезы восторга. Он весь был в каком-то непонятном наслаждении, оно ощущалось даже ресницами, но в нем было и предчувствие того, что за порогом этой сладчайшей боли простирается необъятное страдание. Лица Измайлова коснулось легкое дуновение, не ветра, а чего-то, прилетевшего из голубых глубин неба. В ушах раздался треск, как от электрического разряда, краснота в глазах зачернилась, и лишь через какое-то время они вновь стали зрячими.

— Что?.. Что это?.. — восхищенно и со страхом вымолвил он.

— Вот именно: что? — так ответил Буланов и странно усмехнулся.

— Кто?.. Кто она? — с мольбой спросил Измайлов.

— Лена Пастухова, — бесцветно сказал Буланов, едва разжимая губы. — Бухгалтером в совхозе работает.

Когда-то являлась Измайлову еще юнцу, лет двадцать тому назад, в предрасветных снах обольстительная, полуобнаженная и недоступная женщина, вдруг одарившая его своим телом, любовью, близким дыханием, — и он, корчась, пробуждался. Когда стал мужчиною наяву — женщина из сновидений ушла.

А сейчас — словно вернулась, обозначенная платьем, именем, фамилией, местом работы, должностью. Сон! Фантастика!

— Да что же это такое происходит? — в полном отчаянии воскликнул он и — ноги уже служили ему — поднялся было, но Буланов перевел взгляд на него, остановил, усадил. — Да что же это... Она живет здесь, а я... — У Измайлова заплетался язык. — Сколько она живет здесь? Сколько лет ей?

— Много, — ответил Буланов. — Очень много.

— Не понимаю... А муж? Есть у нее муж?

— Был. Пожил с ней годик и сбежал.

— С годик... Сбежал... Как это понимать?

— А так и понимать: сбежал, — Буланов говорил и смотрел со злостью. — Ушел от нее. Понял, что она — не для него и не для какого-то определенного мужчины. Она — для всех. Общественная собственность.

— Для всех?... — возмутился Измайлов. — Собственность?

— Ну да. Как земля. Как недра земли. А мужчина не может жить с женщиной, если в загсе она расписана не только с ним, но и со всеми мужчинами. Существуют же в мире ценности, которые мыслятся принадлежащими всему человечеству. Картина в Лувре. Тадж-Махал в Калькутте. Шапка Мономаха в Оружейной палате.

Буланов высыпал спички из коробка и стал по одной укладывать их обратно, выравнивая спичины пальцами, а Измайлов изумленно осматривался. В душе его был аромат, остаток впечатления от женщины. Когда-то его учили музыке, из-под палки, так и не освоил он ее, но сейчас в нем пела музыкальная фраза, изящная, никогда им ранее не слышанная. Он оглядывался, дивясь тому, что явление прекрасной женщины не преобразило мир. Море не рокотало, не обрушивалось на берег, и горы не раскололись. Всё сущее оказалось немым, глухим и незрячим, женщина прошла мимо — и только он да Буланов ощутили ее.

— Садись, — вдруг жестко сказал Буланов. — Ты ведь куда-то спешишь? Никуда не ходи. И бухгалтерию не ищи. Не отрывай Лену от дела. Ей же работать надо. Хлеб у нее тяжелый. Весь совхоз обсчитать надо, директор над ней висит, бумаги подсовывает. И уйти ей некуда. И уезжать нельзя. Мать у нее больная, младший брат непутевый. О старшем и говорить не хочется: сидит.

— А дети у нее... есть?

— Какие еще дети... Дай землепашцу плуг, скажи ему — вспаши всю землю, будет он пахать?

— Как же она живет?

— На восемьдесят четыре рубля в месяц. Так и живет.

— Господи, господи... Восемьдесят четыре рубля... Да ее фотографировать — и миллионы загребешь.

— Пробовали. Не получается она на фотобумаге. Не смотрится.

— В Москву, на киностудию...

— Как же, приглашали... — кивнул Буланов, сосредоточенно перекладывая спички. Уложил последнюю. — Да ничего не получилось. Вычитал я где-то, как Станиславский вводил натуральную старуху из кондовой деревни во «Власть тьмы». Так старуха разок по сцене прошла, аукнула по тексту и весь спектакль развалился, все сценические и театральные условности выперли, фальшь обострилась и обнажилась. Так и она. Красота такая, что всем не по себе.

— Как же вы здесь живете?

— Так и живем.

Теперь Буланов вытряхнул спички и стал каждую разламывать, половинки тоже делил. На пальцы не смотрел. Взор его был направлен на нечто, зарытое под столом, упрятанное под пласты земной поверхности. Измайлов вспомнил, что в своей конторке Буланов постоянно мял пальцами то хлебный мякиш, то пластилин.

— Ты ее... давно знаешь? — почему-то шепотом спросил он, не удивляясь тому, что обращается к геофизику на «ты».

— Все три года, как здесь. Ни разу не уезжал в отпуск.

— И ты с ней — говорил?

— Конечно. И не один раз.

— И ты ее... любишь?

Ответ прозвучал не сразу.

— Слово-то — не для нее. Не приложимо оно к ней. В любви ей объясняться нельзя.

— А ты официально — прошу, мол, быть моей женой, супругой, спутницей жизни!

— Ты можешь сказать всей земле, что хочешь стать ее хозяином?.. Да и... что мне, как и мужу ее, тоже убежать? И куда? И ясно же, что останусь я в этом поселке навсегда.

Буланов повернул голову, глянул куда-то влево и кивнул, соглашаясь с собою: да, навсегда.

То, что накатило на Измайлова и отошло, вернулось теперь — легким кружением мыслей, позывом к слезам, щемящей болью утраты.

— Странно всё-таки... Такое чудо — и совхоз, бухгалтер.

— Да, странно. Тем более, что она — живая. И женщина. И у нее всё то, что у всех женщин. Всё. Я ведь спал с нею.

У Измайлова замерло дыхание... Стул скрипнул, отодвигаясь от стола, от человека, который сразу стал ему ненавистен.

— Ты?.. Как это вообще можно?

— Да. Спал. И не я один. Нас ведь, таких, как я, не один мужчина в поселке. А на побережье и совсем много. Она же сама

видит, когда мужчина доходит... — Буланов опять посмотрел куда-то влево. — И как видит, что до петли шаг или два, сама стучится в дверь, ночью, чтоб спасти человека. И ко мне постучалась. Чтоб я... Короче, живой, дышу.

— Почему же ты не оставил ее у себя? Почему не открыл дверь и на другую ночь?

— Потому что она дважды не приходит. Потому что я сам не могу и не хочу видеть ее у себя. И другие, к которым она приходила, не хотят.

— Не понимаю!

— И хорошо, что не понимаешь. А я — понял. Понял. Нельзя ведь дважды умирать. Невозможно и дважды родиться. Есть какие-то пределы бытия. Когда соприкасаешься с чудом, в голову лезут удивительные мысли. О космосе, смысле истории, цели жизни и о подобном. Думал ли я когда-нибудь, что рожден-то — для смерти? Весь смысл человеческого бытия — выход из неизвестно чего и вход в ту же самую неизвестность. Реальная жизнь — всего лишь краткий эпизод в твоей настоящей, великой и безразмерной жизни, той, что за пределами так называемого бытия. Один грошовый мыслитель выразился: жизнь — проходной двор между двумя уборными. Нет, жизнь — горькая секунда, пауза, на миг обрывающая твое космическое величие, и смерть — высшее достижение человеческой жизни...

Буланов опять глянул куда-то влево, туда (Измайлов вспомнил), где кустарник обрывался у края пропасти.

— Но ведь ты-то, — продолжал Буланов, — не стремишься поскорее к высшему достижению, ты хочешь как можно медленнее подойти к рубежу, за которым — твое спасение. Один миг — и ты там, в космосе, а люди ведь обречены на краткость высшего достижения. На мгновенный миг счастья, единственный и неповторимый. Прыгун в расцвете сил — он что, одну и ту же высоту брать будет? Он хочет перелететь через планку, до него так не подымавшуюся. А если перелетит? Что тогда?.. — Теперь Буланов расщеплял спичечные обломки. — В какой-то миг единственной ночи с этой женщиной я получил столько счастья, что едва не умер. Я знаю, что во вторую ночь большего счастья не получу. И всё во мне иссякнет. И не стану я раз в неделю приходить сюда, чтоб слышать за спиной шаги этой женщины. И не смотреть на нее. Я боюсь, что она увидит во мне доходягу и придет ночью. Боюсь. И поэтому не раз хотел убить ее...

— Ты? Убить?

— Да. Я. Убить. И многие, чувствую, хотят ее убить. Поэтому я охраняю ее, чтоб до меня ее никто не угробил... Непонятно? Мне самому непонятно. Но я ведь мыслю уже космически. Говорю тебе, когда такое чудо войдет в тебя, голова совсем по-другому работает. Эта женщина, повторяю, не для одного, для всех, для миллиардов, а когда что-то для всех, равенство там какое-то, братство и свобода, то, сам видишь, гибелью попахивает, и человечество спасает себя тем, что не всем дает равенство, свободу, братство и счастье. Всегда находится дьявольски умный человек, лишаящий людей свободы, равенства и так далее. Тот, кто с ножом набрасывается на Сикстинскую мадонну, — он, думаешь, безумец? Нет, безумцы как раз те, кто созерцает творение.

Ладонь Буланова смела деревянную труху в коробок. С острой подозрительностью посмотрел он на Измайлова, метнул взгляд влево, на ущелье, к пропасти, соизмеряя миллионы лет мироздания с крохотной секундой человеческого бытия.

— Тебе что-то от меня надо?

— Да нет, ничего... — смутился Измайлов.

— Не лги. В поселке знают всё о каждом. Жена тебе телеграмму отправила, она и звонила тебе. Москва ждет тебя. Катер в Джугбу отходит через двадцать минут. Командировочное подпишу там, на пристани. За вещичками твоими пошлем кого-нибудь. Ну, поднимайся.

— Я не поеду! — закричал Измайлов...

Он умолял, просил, требовал, канючил, но неумолимый Буланов оттащил его к морю.

Я ГОРОДА НЕ УЗНАЮ...

* * *

Просмотрел. Проглядел. Проморгал.
А когда наконец-то прозрел,
у того, кто вконец озверел,
я заметил звериный оскал.

Зоркий глаз. Острый зуб. Ясный ум.
Сам не знаю — во имя чего,
как на праздник напялил костюм,
перебросил плащ через плечо.

В руки взял здоровенную трость,
чтоб прислучае выместить злость
на старухе, на старике,
шебутном пареньке-стригунке.

Стой-постой,
пионер-следопыт,
ты сегодня еще не был бит,
но грозятся тебя отодрать
флотской пряжкой отец-инвалид,
мокрым веником пьяница-мать.

**Владимир
САЛИМОН**

— родился в 1952 году в Москве. Окончил географо-биологический факультет Московского государственного педагогического института. Автор книги стихов «Городок» (1981), «Уличное братство» (1989), «Страстная неделя» (1989), «Невеселое солнце» (1994).

* * *

За наше счастливое детство,
хотя бы замолвить словцо,
очнуться, умыться, одеться
и начисто выбрить лицо.

Пойти. Отыскать. Откупорить.
Раскупорить и зажевать.
На русское высокогорье
я с ужасом буду взирать.

Я стану смотреть очумело
на реки, луга и леса —
как тощие сосны и ели
раскачивают небеса.

Как с пустопорожного неба
на головы сыплются нам
охвостки, опметки, отребья —
какой-то немислимый хлам.

Какая-то гадость и мерзость
меня под собой погребла —
опивки, огрызки, обрезки,
объедки с чужого стола.

* * *

Я города не узнаю.
Как самого себя на снимке,
где крохотный в одном ботинке,
в девчачьем лифчике стою.

Захныкал, пугаясь в соплях.
Свет за окном до боли резок.
Газеты вместо занавесок.
Какой я все же был мозгляк.

Спонтяй. Задрьга. Мямля. Трус.
Бог весть, откуда что берется —
и иноходь у иноходца,
и острый глаз, и тонкий вкус.

Привычка вредная вдвойне —
отождествлять себя с народом,
калеку с нравственным уродом,
и видеть истину в вине...

Посуды груди на плите.
О если б только знать — откуда
берется грязная посуда,
а помыслы — о чистоте.

* * *

Стишок к стишку, строка к строке,
а смысла нет ни в чем,
по пьянке разве что к стене
привалишься плечом.

Щекой коснешься ржавых труб,
как будто мертвых губ.
Мертвец прижмется к мертвецу,
как брат к сестре, как мать к отцу.

Кто кроме них перед Творцом
замолвит пару слов
за наших дур и дураков,
за наших мудрецов?

Бессильные оборонить
сыночка своего,
теньями жалкими они
снуют вокруг него.

Все уже круг...
Я все пьяней
и, верно, с пьяных глаз
мне мнится нож в груди моей,
меч пострашней иных мечей,
меч подлинней, потяжелей,
меч острый, как алмаз.

* * *

Огня, воды и медных труб
не превозмочь никак,
а то, что жизнь — напрасный труд,
не знает лишь дурак.

Все утро глядя в потолок,
Дыру в нем проглядел,
и понял я — сколь мир жесток,
сколь белый свет не бел.

Не брат я брату своему
и другу я не друг,
и той, которую люблю,
не любящий супруг.

Я сам не знаю, что со мной.
Должно быть, хитрый бес,
ко мне явившись, в час ночной,
за пазуху залез.

Он шарит у меня в груди.
Как фантик комкает в горсти —
и так и смяк,
не то, не се —
сокровище мое.

* * *

Камня в лоб, в затылок пули
ожидают, а не ждут.
Я давным-давно не тут.
И раздели...
И разули...

Медный крест сорвали с шеи:
или брали за грудки,
или было не с руки.

Сердце билось чуть левее.
Сердце билось чуть правее.
Посреди груди моей.
Им бы ножик поострей,
чтоб прирезать дураля.

Почудил. Покуралесил.
Позабыл о мелочах.

Если спросят о ключах —
я на гвоздик их повесил.

* * *

В каменной горе...
За железным тыном...
Дело, между тем, пахнет керосином.

Дело его дрянь.
Не намазывают шею —
ребра все, как есть, перечтут Кашею,

Заяц зайца — в лоб.
По лбу — утку утка.
Все это смешно, но немного жутко.

Толстая игла на манер сапожной.
Ну а жизнь была
жалкой и ничтожной.

* * *

Герань. Гитара. Канарейка.
А за окном — узкоколейка,
окутанная мглой,
едва заметная лазейка
меж небом и землей.

О, если бы не паравозик,
карабкающийся в небеса,
и у меня бы слезы
не навернулись на глаза.

Не прслезимся ни за что.
Дождь проливной, мороз трескучий —
все нипочем — собьемся в кучу.
На нем тулуп. На мне пальто.

Но ветра свист,
но запах дыма,
однообразный стук колес,
на нас воздействуя незримо,
в миг доведут до слез.

От счастья или от обиды,
что жизнь проходит стороной,
заплачешь, брызжа ядовитой
ликеро-водочной слюной.

* * *

Всего боишься — крыс, мышей,
жуков и пауков,
баб вздорных, злобных мужиков,
пишиг, кикимор, упырей.

Не мотыльки летят на свет,
но черт-те что на ум
придет, лишь только в темноте
заслышишь крыльев шум.

Нет сил противиться судьбе.
Ломают. Колют. Гнут.
Дверь позабудешь запереть —
они уж тут как тут.

Я на обидчиков своих
поднять не смею глаз.
Так на горбатых, на хромых
чтоб глянуть лишний раз
мне глупости не достает.

Мне мудрости с трудом
хватает, чтобы не глазеть
на них, разинув рот.

УЗКАЯ ЛЕНТА ЖИЗНИ

Рассказ

В рассказе этом нет общепривычного сюжета, нет спасительного распределения ролей и нагрузок, нет завязки и не видно развязки. А есть лишь непрестанное биение — редкой ныне — привязанности одного человека к другому, вспыхнувшей и промелькнувшей, как вспыхивает и мелькает вдруг иногда какая-нибудь из древних, давно утерянных нами способностей. Способность, о которой мне так хотелось написать, раньше называлась любовью к ближнему, любовью к брату своему.

И потому в рассказе этом будет лишь скудный свет, белый конский, рассыпанный по нововыделанной свиной коже волос, несколько тускло горящих пластинок перламутра, всего два действующих лица, черная узкая лента, да еще автор, сидящий при зашторенных окнах днем. Вот — всё! И ничего больше не будет и ждать незачем! И нужно сказать только, что от зашторенных этих окон сужено всё, что я вижу: узок, узок свет, падающий на мои листы! Всего одна полоска! Вытянулась она, как белая лента, но рядом с ней, только сомкнешь веки, протягивается дрожащей узкой полосой лента черная. Может, та самая, которую автор хотел отвязать от одной новенькой и дорогой московской ограды, но потом счел это дешевкой, жалким романтизмом, женской слабостью, наконец, счел!

Вот оттого и узок, оттого и темен для меня свет! Темен и жалок я сам, потому что когда я припоминаю виток за витком, ступень за ступенью, ноту за нотой эту историю, меня посещает странное желание забить свои окна и дверь досками, не выходить из дому и на белый свет, брызжущий и играющий на улицах, не глядеть. Потому как, что же осталось в нем, в этом непроницаемом для

Борис ЕВСЕЕВ — родился в 1951 году в Херсоне. Учился в ГМПИ им. Гнесиных, на Высших литературных курсах. Автор поэтических книг «Сквозь восходящее пламя печали» (М., 1993), «Романс навыворот» (М., 1994) и «Шестикрыл» (Алма-Ата, 1995). Рассказы и повести печатались в журналах «Москва», «Согласие» и др. Живет в Подмосковье.

моего разума свете? Только сор, лишь туман, одно непотребство. И мало, очень мало шевелится в земном этом молозиве чего-то такого, чего душа моя, сосущая меня изнутри, всё время испрашивает. Мало духолюбия! Мало дружества! Мало нестяжания и приязни!

Теперь о странном желании, помянутом выше. Не знаю, говорил ли вам кто-нибудь, что странные желания и странные мысли надо выжигать каленым железом? Или вот еще что: говорил ли вам кто-нибудь, что русские и поляки недруги, неприятели? Навсегда, навек? Говорил, конечно. И, может, так оно и есть. Может, может. Но только пан поляк и слышать об этом теперь не желал. Хотя раньше и сам так часто думал. Но то раньше. А теперь, после года общения с паном русским, он стал думать совсем по-другому. И хотя тут, конечно, примешивалась немалая гордость за себя: вот чему научил я пана русского, — была здесь и некоторая симпатия, и некоторое замирение со многими другими русскими.

Что умел пан русский год назад? Ничего. А что он умеет ныне? О, очень многое. Пан поляк был доволен собой, был доволен паном русским, был доволен тем, что не послушал своих знакомых и взял пана русского подмастерьем. И теперь, приходя к себе в мастерскую на углу улицы Фоскаль и улицы Коперника, он никогда не торопился тут же взяться за дело, а спокойно оглядывал столы и верстачки, еще раз выходил и проверял, чисто ли блестит вывеска над входом, и лишь затем садился мастерить или чинить свои смычки.

Пан поляк был мастером смычков. Не смычковый мастер, а именно — мастер смычков. Делал он их немного, но ценились его смычки дорого, иногда их сравнивали со смычками туртовскими или вильомовскими, и хотя здесь было явное завышение и сам пан поляк отлично знал это, радость успеха сияла в его маленьких, выпуклых, карих, крепких, как вишни, глазках. Заниматься, конечно, больше приходилось починкой: вставлять в смычки волос, нарезать винты, менять колодки, укреплять шпильцы. Пану поляку было за сорок, и он перестал за всем этим мелким ремонтом поспевать. К томуже стал тучноват, и когда оглядывал себя в зеркало, улыбался: круглое лицо, круглые глаза, круглые дужки белесых бровей над ними, даже рот пухловат, кругл. Один нос по-польски прямо и вызывающе выдавался вперед, над круглотой этой властвовал, ставил ее на подобающее место. Охлопав себя короткими руками с вьевшимися в пальцы прямоугольными ногтями, поправив школьный короткий чуб-

чик, огладив чисто выбритый затылок и виски — другие прически уже лет двадцать как не признавались — пан поляк от зеркала развальцовкой отходил. И отходил опять же довольный. Теперь ему не нужно было ездить в северные воеводства за хвостами, теперь это делал — как впрочем и многое другое — пан русский. И делал аккуратно, сноровисто, чисто. Только однажды, когда пан русский впервые сам поехал за конским волосом и вернулся с гнилым товаром, пан поляк нагремел на него и затопал ногами, но быстро и успокоился: надо было самому, конечно, съездить разок для верности с паном русским, тогда б тому не всучили четыре кобыльих хвоста. Надо же, кобыльих! Теперь пан поляк улыбается этому. А пан русский, сидящий и нарезающий вкручивающийся в трость смычка винт, так тот просто смеется.

Пан русский светлокудр, высок, худ. Он порывист и горяч, но горячность сдерживает, иногда он делает руками странные движения, будто ощупывает только что надутый мяч, но, спохватившись, тут же руки опускает. У пана русского на правом веке родинка, голубые со сталью глаза и широкие плечи человека, долго занимавшегося плаваньем или гимнастикой. В общем, пан русский очень похож на истинного поляка, только нос у него задран вверх чуть больше, чем нужно. Но это ничего, ничего, думает про себя пан поляк, глядя, как пан русский, отставив в сторону винт, бережно раскладывает перед собой белый смычковый волос. Этот волос крепок, хорош. А тогда, в первый раз, он как следует объяснил пану русскому, что лайдаков не любит, что коли сказано: взять хвост у белого жеребца, то надо только такой хвост и привозить! А не сидеть в пивной, дожидаясь, пока принесут тебе вместо жеребьих кобыльи. Пан поляк улыбается снова. Очень уж смачно объяснил он тогда пану русскому, чем и почему волос кобылы отличается от волоса доброго жеребца. И показал даже, как мочится на свой хвост кобыла. Ну, а как мочится жеребец, ясное дело, показывать пану русскому не надо. Он — ого-го! — сам, кому хочешь, это покажет.

Мягкий варшавский вечер с туманом на невидимых нитях повис за окном. Пан поляк спускает жалюзи, замыкает свою мастерскую, названную по-итальянски стремительно и нежно «Пан Виотти», и вместе с паном русским выходит в город.

О, что за город это! Что за прелесть гулять по светло-сумеречной Варшаве, где пан поляк родился и где мечтает он умереть. Легкий туман, скупое предзимнее тепло, чарочка вина и полное удовольствие от жизни, от беседы с человеком, которого ценишь и даже, кажется, любишь. Нет, не как мужчине, конечно! Пан

поляк всех этих нынешних непотребств и на дух не выносит! А любишь как собрата, как, может, какого-то героя, как самого себя, вдруг неожиданно в другом теле, в другом обличье очутившегося, как... как...

Пан поляк не умеет сказать, как именно, и хозяин с работником молча идут по улице дальше. Идут они всегда одним и тем же путем. Путь этот ведет не к дому, потому что домой положено возвращаться только после прогулки. И прогулка эта всем прекрасна, а дурна лишь одним: с некоторых пор привкус горечи повисает и висит дрожа на нижней губе пана поляка, как пленочка из камыша, которой в детстве мать заклеивала ему пораненные губы. Причем привкус этот меняется — то совсем пропадает, то становится гуще, въедливей. И тогда — всегда в местах одних и тех же — придвигается к пану поляку вплотную и встает у него за спиной тревога.

Так, когда проходят они неспешно — оба одинакового роста, оба очень высокие, хотя пан русский значительно стройней и жилистей пана поляка — когда проходят по Краковскому Предместью, никакой тревоги нет. Но стоит миновать им магазин музыкальных принадлежностей, возле которого пан поляк всегда делает один и тот же жест — разводит руками, словно бы говоря: что поделаешь, и такие гробы со струнами кому-то нужны, — стоит миновать им магазин, как тревога серо-огненной рысью мягко кидается пану поляку сзади на плечи. Он даже несколько раз оборачивался, но ничего, конечно, не увидел. А вот когда проходят они мимо памятника Мицкевичу, тревога пана поляка покидает совсем, и он шутя грозит пану русскому пальцем и иногда рассказывает о том, как недальновидно поступил кто-то из русских царей, то ли Николай, то ли Александр — пан поляк не помнит точно кто, — когда памятник Мицкевичу возвести разрешил, но повелел обнести его далеко отступающей и ненужной оградой, чтобы не толклись, дескать, на постамент не влезали, речей не произносили. А почему бы и не сказать слова, если слово от души?

Сразу за памятником Мицкевичу тревога вновь крепко взнуздывает пана поляка и до самой Крулевской площади не отпускает. И тут уже пан русский манит пана поляка своим розовым, головастым пальцем, насквозь пробитым шилом, отчего на ногте есть черное пятно. Потому что здесь пан поляк всегда в нерешительности останавливается. Может, тревога исходит оттуда, из замка? Нет, непохоже. И после недолгих препираний: «Пойдет пан? Нец, до дому пора. Пан кидает своего пшиятеля? Не кидает,

але... Тоди гаразд, якщо, пан грэбуе... О, як, не сором»... И после препираний недолгих они впритирку друг к другу быстро входят в замковый музей и идут его анфиладами. Они идут всегда в одном направлении и останавливаются всегда в одном и том же зале. Сначала служители и охрана принимали их за провинциалов, потом за русских «рэксов», но в конце концов установился взгляд, что это начинающие коллекционеры, быть может, дядя и племянник, и вздрагивать при их стремительной через все залы проходке — перестали.

Они же всегда останавливаются у мраморной, в рост человека, статуи лысого старика, с золотой косой в руках, тарабнящего на своем горбу — будто собрался старик на знаменитую варшавскую барахолку — сине-белый с золотым сверкающим ободом глобус. Здесь пан русский говорит «так-то», а пан поляк любовно и нежно прищелкивает языком. И, постояв так немного, они уходят к себе на Хмельную, где рядом с четырехкомнатной квартирой пана поляка снимает крохотную каморку пан русский. И при подходе к Хмельной пан поляк впадает в странное состояние: тревога с небывалой скоростью начинает то трепетать, то гаснуть перед ним, как неисправная лампочка в подъезде у каких-нибудь лайдаков: свет-тьма, есть-нет, свет-тьма... И, попугав так с минуту, тревога угасает насовсем до следующей вечерней прогулки.

Но зато перебирается вмиг тревога, как ловкая потаскушка, уже опустошившая карманы одному клиенту и ищущая новых удовольствий и денег, к пану русскому. При подходе к Хмельной пан русский начинает нервно оглядываться, два-три раза ему чудилось даже, что он видит подозрительного человека в кепке с огромным козырьком, который слишком уж рассеянно и беспечно старается подобраться поближе к ним с паном поляком. Но это могло ведь и показаться, человек в кепке мог жить где-то здесь, неподалеку. А вот что показаться не могло, так это, конечно, дрожь пана русского от осознания им своего положения. Положение же у пана русского в Варшаве аховое, вида на жительство у него нет, и только доброта пана поляка позволяет ему жить свободно, жевать свободно, пить-попивать свободно, и дышать, может, и не полной грудью, но тоже почти свободно. А попал сюда пан русский год назад, ни на что не надеясь, ни на что не рассчитывая, удивляясь, как вообще жив остался. Иногда он очень скупно рассказывает пану поляку про танковый липкий огонь, летевший с набережной реки, про пожар в громадном, начиненном коврами, узко-длинными абстрактными картинами и пластиком доме, про узкий, душный, завешенный гарью, заби-

тый трупами «стакан». «Стаканом» называли тогда те, кто горел и умирал под кумулятивными снарядами, башню над огромным домом, в которую набились смельчаки, сумасшедшие и те, кому терять было уже нечего, кто видел перед собой только один путь: узкую удушливую лестницу, уводящую прямо в небо. Пан русский был в «стакане», но в последний момент его вывели оттуда. Как вывели и кто вывел, он не рассказывал, но пан поляк сам про себя решил так: провести пана русского среди трупов, бьющихся в агонии раненых, среди теряющих разум людей, мог один лишь ангел.

А пан русский тогда сразу уехал в Варшаву, где его никто не знал и где никто не стал бы искать. И никакие сомнения тогда пана русского не грызли: путь перед ним был один. Очень узок был этот путь, не шире, чем узкоколейка, на которую медленно и как-то скорбно ставили в Бресте поезд; думать было некогда да и незачем, да и кто бы позволил ему тогда мудрствовать: на плечах висел ОМОН, хватала за полы визгливой собачонкой смерть, а прожить пан русский обязан был еще ровно столько, сколько было ему положено.

— Африка марна, Африка скварна... — всегда запевал перед своим домом пан поляк. Это означало: прогулка кончилась.

Купим себе слбня
И дзикового коня...
Афрыка марна, Афрыка скварна...

А это означало, что дома их ждет ужин. Насчет песни же пан поляк давно уже объяснил пану русскому, что когда-то давно поляки хотели иметь колонию в Африке, хотели выкупить даже у французов Мадагаскар. Но... Но... Теперь это просто мечты. И ничего дальше не объясняя, пан поляк заканчивал всегда весело:

Ешче польска не стинела
И сгинуть не мусить!
Ешче герман полякови
Буты чистить мусить!

Наутро пан поляк и пан русский снова сидели в мастерской. Они не беседовали, они занимались делом, и если надо было, понимали друг друга без слов. И как-то постепенно и одновременно почти, склеивая лопнувшие трости, промывая жирный конский волос, складываемый паном русским волосинка к волосинке — волосинка вперед, волосинка назад, один конец волоса влево, другой вправо, — так вот, складывая волос, вычищая от грязи нежные и ломкие кончики смычков, пщицы, постепенно

пришли они к мысли, что дорога в жизни у человека — одна, друг — один, жена по-настоящему — одна, один Бог, одно дело и одна дорожка к достойному окончанию жизни. В первый раз осознав это, они молча и удивленно переглянулись и сверх обыкновения даже поговорили об этом.

— Узок путь, — сказал пан поляк, и пан русский подтвердил это.

— Це добже, — сказал пан поляк, и пан русский подтвердил, что да, хорошо, и не просто, как болванчик, подтвердил, а подтвердил, проницая мысль до конца, и без суеты согласился с ней.

— Але и кепсько (то есть плохо — по-русски), — закончил пан поляк, и пан русский согласился и с этим и добавил, что «кепсько» потому, что из ужины такой, если и вывернешь — то попадешь сразу в ширь такую, что ой-ой-ой.

И тут пан поляк и пан русский оба разом почувствовали, что один из них по дорожке узкой уже бежит, и догнать бегуна ни за что и никак нельзя. А другой — над шириной, как над пропастью, ногу занес, да никак ее не перелетит. И они, одновременно отложив смычки, разом встали и пошли хлебнуть на Краковское Предместье холодного, взрывающего свои мелкие хмельные пузырьки под самым небом пивка.

И так бы они ходили и дальше, так бы переглядывались-переговаривались скупно и дальше, когда б однажды пан поляк не захворал.

Тучноватый, круглолицый, высокий, но, как ему самому казалось, не слишком тяжелый, а наоборот, легонький, он захворал прямо в мастерской и упал с туго обтянутого новенькой свиной кожей чурбачка на пол.

Пан русский взволновался до того, что забыл даже снять со лба черную узкую ленту, которой ловко забирал свои рассыпающиеся русые волосы, и которую всегда после трудов праведных, выходя на улицу, снимал. Так с лентой на лбу он на улицу и выскочил, провожая пана поляка, увозимого в больницу. Пан русский очень переволновался, но кончилось всё хорошо. И уже через три дня пана поляка из больницы перевезли домой. И он тотчас позвонил в мастерскую и сказал, что пан русский может сегодня закончить работу на час раньше.

Они, как и при первой встрече, продолжали звать друг друга без имен, может быть, намеренно сужая пространство друг около друга, не позволяя именам, ласковым сокращениям или, наоборот, удлинением имен, расшатать, взломать, проклонуть хрупкую

скорлупку оберегающей их, драгоценной и не называемой настоящим именем жизни. А что скорлупа жизни хрупка, пан русский еще раз понял за время отсутствия пана поляка.

На второй день пребывания пана поляка в больнице в мастерскую на углу улицы Фоскаль и Коперника вошли двое. Они были в одинаковых простегнутых серебром и зеленою серых куртках, в одинаковых невыразительных кепках. Росточку тоже они были невеликого, но телесной злобой, напрягавшей и костянившей их мышцы, налиты были крепко.

— Мы тебя во где держим, — сказал по-русски один из них, редкощетинный, коротконосый, с какими-то совершенно сухими, будто не преломляющие свет и не впитывающими влагу глазами, с чуть надорванным крылом правой ноздри, — сказал и показал черный, отбитый ноготь правой руки, прижатый ногтем пальца указательного. — Будешь делать, чего говорят, цел будешь. Усек?

Пан русский не ответил, только улыбнулся. Двоих этих он мог уложить на пол в минуту, в руках у него было острое пило, он был у себя и кой-чего в жизни своей армейской повидал. Да и кроме того двое эти были похожи на тех, что смеялись и прыгали тогда, после залпов на мосту, на тех, кого в мощный морской бинокль пан русский рассматривал из горящего дома и кого запомнил навсегда. Он усмехнулся еще раз, двое его силу и уверенность почувствовали, а почувствовав, занервничали, и второй, явно шестерка, с удивительно смотревшимися на смуглом лице морковными щеками, зачастил гуняво:

— Слысь ты... пока этого козла не будет, мы тебя грабанем. Тут у вас кой-чего есть, бабки, перламутр, серебриско, то, другое, третье... Мы знаем. Тебя не тронем. Руки свяжем, чего надо нюхнешь, на часок отключисься, потом можешь полицию вызывать. У нас масина — зверь. Нам всего час нужен. Через час далеко будем. Полиция хлороформ и всё другое установит. Ты чистеньким и выйдешь. Сделаем всё завтра утром. А иначе — сам знаешь! Лентоцка-то у тебя на лбу. Стало быть, ты оттуда... Террорист, значит. А поляки террористов страх как не любят! Так что путь у тебя, падла, — один. Не вздумай вола вертеть...

Пан русский улыбнулся пришедшим затаенно и нежно, и они приняли, возможно, его молчание и улыбку за внезапную покорность. Они не знали, что замолчал пан русский навсегда еще в Москве, и потом говорил уже только по необходимости. Но сейчас он улыбнулся не этому. Он улыбнулся тому, что эта жадная, чернопузая шпана заговорила случайно о главном. Да,

путь один, и у него, и у всех тех, кто это понимает или хотя бы чувствует. А у других вообще никакого пути нет. А когда путь есть, — он узок. И всё время сотрясающе и томяще сужается...

На следующий день вместе с паном русским на угол улицы Фоскаль и Коперника под блестящую итальянскую вывеску пришли двое соседей пана поляка. И приходили они во все дни, пока пан поляк был в больнице и пока лежал он дома. «Рэксы» еще раз сунулись и в мягком варшавском тумане растворились. Но на прощанье пообещали: ты нас, падла, попомнишь.

И вот теперь, приближаясь с паном поляком к Хмельной и вдыхая сладкий, летучий, слабо-криминальный туман Варшавы, пан русский вспоминал тех двоих...

А пан поляк тогда выздоровел скоро. И совместные «проходки» свои они, конечно, продолжали. И хоть до Рождества Господа нашего Иисуса Христа — как говорил русский — и хоть до Рождества пана Иисуса — как говорил поляк — было далеко, они стали иногда чуть менять маршрут, стали заглядывать в магазины с подарками и елочными «прикрасами».

Магазин на Маршалковской был им не по пути, но они завернули и в него. Это был большой трехэтажный универмаг. И универмаг этот пану поляку сразу и весьма понравился. Потому-то и в другой, и в третий раз они в него завернули. И в последний такой заход на третьем этаже пан поляк купил сыновьям-семилеткам по детской гитаре с вовсе не идущим к гитарам названием «Mini List», а на втором этаже пан русский купил себе две папки для бумаг, новый галстук и набор рашпилей. А уж после этого они спустились вниз.

И здесь вдруг сердце пана поляка снова стало сужаться, и стало наверное таким же узким, как плавающее в бутылке «польской крепкой» сердце Шопена, или таким же узким, как трость для хорошего смычка. И он сел прямо на какой-то высокий ящик у выхода из универмага, словно специально для него там поставленный. Пан русский ни слова не говоря, кинулся от универмага к проезжей части. Но сердце пана поляка тут же расширилось вновь, узость ушла, и он звонко щелкнул пальцами, как делал всегда, когда отдавал какое-нибудь распоряжение по мастерской. Пан русский слух имел тонкий — даром что ни на каком музыкальном инструменте не играл, — и тут же обернулся. А обернувшись увидел, что пану поляку лучше, что тревога — ложная, и чтобы сделать приятное старшему другу (а именно так в последнее время именовал себя пан поляк в кратких беседах с паном русским), выставил перед собой большой палец. Затем пан русский

решил купить детям пана поляка два шара-сердечка и двинулся к лоткам, стоящим вдоль проезжей части.

Остальное пан поляк видел так, как видят сон. Он порывался вскочить, но разве вскакивают во сне? Он порывался кричать, но разве удастся хоть когда-нибудь во сне крикнуть?

К пану русскому подошел человек. Маленький, развинченный, никудышный и, как сразу определил про себя пан поляк, — «незграбный». Этот «незграбный» чело­вьяга, поминутно хватая себя за нос, словно проверяя на месте ли тот, клоня голову набок, у пана русского что-то нудно и въедливо стал выпытывать. И тогда пан русский, как бы играючи, сложил пальцы правой руки пистолетом и ткнул указательным пальцем «незграбного» в грудь. Тот сейчас же, словно срезанный настоящей пулей, — а пан поляк видел на военной службе и такое — упал, и вмиг из всех углов широкого околوماгазинного пространства на Маршалковской завопили по-польски и по-русски несколько сиплых луженых глоток: «убили», «зáмах», «бандит!»

И около пана русского почти тут же очутился полицейский. Но самое странное было не это. Самым странным было то, что пан поляк сквозь пелену, то застилавшую его глаза, то вдруг спадавшую с них, видел: этот «незграбный» с масленисто-пористым, нечистым носом — и вправду мертв, вправду умер! И его весьма скоро, затянув лицо и тело простыней, увезла санитарная машина. А полицейских всё прибывало, часть из них плотно взяла в кольцо ни в чем не повинного пана русского, а другая часть уже допрашивала свидетелей, и свидетели все, как один, показывали на него.

Пан поляк хотел встать, хотел развеять эту дурость, хотел крикнуть, что всё это подстроено, что он даже догадывается, кем подстроено и как, — но сердце его всё ещё оставалось слишком узким и хотя приподняться и указать пальцем на пана русского он смог, больше ему не удалось ничего.

На него тоже обратили внимание.

— Пану погано? — метнулась к нему какая-то фигура. — А вот понюхайте, пан, нашатырненького! Вот вам и ватка! — засуетился над мастером смычков кто-то говорящий на плохом польском, и пан поляк, уже поднимавшийся, чтобы забрать пана русского из машины, в которую его заталкивали, выгашить его оттуда, выдрать, взять в конце концов на поруки, под залог! — пан поляк нашатырного этого странно пахнувшего спирта ноздрей потянул и враз перестал видеть и слышать.

Он очнулся всё на том же у выхода из универсама ящичке. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, случилось на-

имерзейшее: ни пана русского, ни машины, ни полиции, — никого! Одна только темень, одна лишь ночь! Да, было темно, было страшно, но сердце мастера смычков билось, билось наперекор этой темноте и страху ровно, четко, грозно...

Сердце ни разу не подвело пана поляка и дальше. Он стал выяснять, где может быть пан русский, и весьма скоро это выяснил, он стал ходить в полицию, а затем к судебному следователю, но тот через несколько дней сообщил пану с прискорбием, но, как показалось, и с тайным наслаждением, что подследственный такой-то пропал без вести, что в польской тюрьме орудует русская мафия и что человек, о котором так заботится пан мастер, не стоит ни малейшего попечительства и лучше его забыть, тем более что для польской пенитенциарной системы такие воспоминания, как пропажа из тюрьмы человека, — неприятны.

Пан поляк дернулся еще и туда, и сюда. Куда исчез пан русский, он уже догадывался. Но верить в это не хотел, верить в это не мог. Потому-то и выхода у пана поляка никакого не было. Верней, выход был: ехать!

И пан поляк, чуть помешкав, собрался и поехал в Россию. У него был один единственный адрес, и если пана русского не окажется там или весточки от него не окажется по этому адресу, значит, нет его больше на этой сухой, бесплодной, колочей, некрасивой и уже по-зимнему ветреной земле.

Он стоял у ограды, круглолицый, бледногубый, несмотря на зиму — простоволосый, с выщербленным розовато-серым затылком и гладил узкую черную ленту. Ленту он только что привязал к высоко взметнувшейся ввысь над гранитным, великолепно отполированным цоколем ограде. Он смотрел сквозь ограду, сквозь деревья, сквозь само, казалось, мутновато-белое мраморное здание и понимал, что теперь его жизнь стала сразу внезапно широкой и что она лишилась берегов. Надо было возвращаться в Варшаву, надо было искать и находить нового человека, надо было снова ладить смычки, словом, начинать всё сначала. Но интереса к делу больше не было. Вместе с пропавшим паном русским из пана поляка ушли мастеровитость, усердие, понимание, надежда, даже любовь. Кто пан русский был пану поляку? Никто, конечно, никто! Так зачем его помнить и зачем звать? Зачем вспоминать всё время, как ходил пан поляк по единственному оставшемуся от пана русского адресу, и как обнаружил он там вместо преданно ждущей невесты или сенькой, такой же

аккуратной и чистоплотной, как и сам пан русский, матери его, подозрительное кафе, чье название он принял по наивности за женское, ласкающее слух имя. Зачем вспоминать странных людей в кафе с военной выправкой, хорошо бритых, скрытных, неразговорчивых, явно что-то затевающих? Зачем, зачем?

«Брат, брат», — звал про себя, как бы вперебив своим мыслям и своим ненужным вопросам, пан поляк.

«Брат! Это ведь больше жены, больше любви! Брат, отзовись, прошу! Отзовись, брат! От...»

Пан поляк гладил длинную ленту, и на его круглом, всё больше бледнеющем лице ясно просматривались две высохшие узкие полоски от слез, тянущиеся по щекам к тучноватой розовой шее. Одна полоска была длиннее, другая короче: словно недобежавшую по узкой колее до естественной границы лица слезу смахнул московский снежок — или снес варшавский туман, или выгтер ангел, незаметно и необременительно, но зорко и раздумчиво приглядывавший за паном поляком, так же как раньше приглядывал он за паном русским.

Но пан поляк не замечал ни ангела, увлекшего его в забытую Богом, растерзанную Россию и витавшего за черной оградой в кронах зимних деревьев, ни прохожих, подымавшихся с набережной Москвы-реки на Пресню и тревожно поглядывавших на тучного высокого человека, стоящего в дурном, открытом для стужи и ветра месте. Он не замечал ничего, никого. Никаких детей, никаких развязных подростков, никаких людей он не видел! Потому что не было для пана поляка человека лучше, чем пан русский. А почему это так — кто узнает теперь?

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Предлагаемые вниманию читателей стихи не могли быть опубликованы во время их написания и долгое время спустя. Автор не изменил их теперь, готовя к публикации. Для прояснения исторического контекста везде поставлены даты. Предпоследняя строка второго стихотворения была исправлена А.А. Ахматовой, которая попросила автора вписать эти стихи в свою рабочую тетрадь.

1

Правдоискатели, кладоискатели,
Богостроители, землепроходцы,
Что мы разведали, что мы утратили,
Что нам еще открывать остается?

Песни острожные, реки таежные,
Но отчего на душе так тревожно?
Звуки, когда-то давно замороженные,
Что ли, оттаяли неосторожно?

Я познакомился с разными странами.
Все они — близкие, но не родные.
Рваными ранами, судьбами странными
Я к непонятной привязан России.

Февраль 1959

**Вячеслав
Всеволодович
ИВАНОВ**

— родился в 1929 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. Доктор наук, профессор. Автор многочисленных работ по сравнительному языкознанию, семиотике, мифологии, литературоведению, в последние годы и мемуаров. За исследование (в соавторстве с Т. Гамкрелидзе) «Индоевропейский язык и индоевропейцы» получил Ленинскую премию. С юности писал стихи, но возможность публикации появилась лишь недавно («Комментарии», «Звезда»). Живет в Москве и Лос-Анджелесе.

«Выпросил у Бога светлую
Россию сатана, да очервленит
ю (ее) кровию мученическойю»

Протопоп Аввакум

Выпросил на небесах у Бога
Светлую Россию сатана,
Чтоб она была в веках убогой,
Кровью мученической красна,
Героиня нового пролога
К «Фаусту», избранница-страна!

Скотство в ней и рядом — сумасбродство,
И во всем перейдена черта.
Я несу в себе ее уродства,
В сердце бьется та же нищета,
Беззащитное ее юродство —
Всем безумствам века не чета.

В очереди ждут с полночи хлеба,
Слышишь, Господи на небеси!
Где б я не пропал и где б я не был,
Если можешь, — здесь же воскреси,
Чтоб я видел снова наше небо,
Пламенеющее на Руси.

23 октября 1963, Каменный мост

3

Недотыкомка! Неототкрыта,
В недороде, в неволе и вне
Кругосветного корма и быта.
Что за толк в безголовой стране?

А разлив откровений без цели,
Пропадающих по чердакам
И архивам, гниющих в постели,
На печи, где вонища да срам!

Нечего говорить о народе
Или про уходящую Русь.
Никуда эта Русь не уходит.
Все прощаюсь. Никак не прощусь.

*14 августа 1981
Аглона (Латвия), св. Мария*

4

В подворотне убили Михоэlsa
И застряли на улицах тени.
Как ты хочешь, чтоб я успокоился?
И тебя сторожит преступленье.

Служат белому Красному знамени
Верой-правдою черные сотни,
И проваливают на экзамене
Как душили тогда в подворотне.

Что теперь называется родиною?
Речь осталась от простонародья.
Так последний ручей изуродованный
Жив лишь памятью о половодье.

1979—1982

5

Пора уходить в катакомбные церкви,
Но с верой — не как человек из подполья.
Не все еще свечи Господни померкли,
Усилить их свет можно собственной болью,

Ее не заменит ни мука Христова,
Ни тело Христово — хотя бы в причастье.
Не бойся узнать, что и ты арестован,
Что вместе с другими поделишь несчастье.

Январь 1981

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ РОССИИ

Первые Чтения памяти Владимира Максимова —
«От диссидентства — к демократии»
(Париж, 24—25 марта 1996 г.)

В предыдущем номере «Континента» мы рассказали о Первых Чтениях памяти Владимира Максимова, организованных и проведенных в марте этого года в Париже по инициативе и при участии редакции «Континента», Американского университета в Москве, издательства «Воскресенье», Международного и Французского ПЕН-клубов, а также Российской Академии наук, и напечатали тексты Льва Аннинского, Мишеля Окутюрье, Юрия Покальчука, Алексиса Береловича и Жоржа Нива, подготовленные авторами специально для «Континента» на основе их выступлений на этих Чтениях. В настоящем номере, как и было обещано, вниманию наших читателей предлагается вторая подборка текстов, также подготовленных их авторами для «Континента» на основе их выступлений на Максимовских Чтениях и посвященных на этот раз анализу современной российской ситуации, взятой с разных ее сторон — социальной (академик Геннадий Осипов, директор Института социальных исследований Российской Академии наук), экономической (доктор экономических наук Лариса Пияшева), духовной (главный редактор «Континента» Игорь Виноградов), церковной (отец Георгий Кочетков, настоятель Храма Успенья Богородицы в Печатниках) и правовой (профессор, доктор исторических наук Андрей Зубов).

Геннадий ОСИПОВ

РЕФОРМЫ В РОССИИ И СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ

Владимир Емельянович Максимов с самого начала постперестроечных реформ в России сумел заметить их опасную, порочную направленность. Об этом он очень четко говорил в 1994 году на состоявшемся у нас, в Российской Академии, симпозиуме. Он делал тогда очень пессимисти-

ческие прогнозы, предупреждая, что в результате таких реформ российское общество зайдет в тупик. И, к сожалению, его прогнозы оправдались.

Я не буду делать сегодня какого-либо теоретического доклада, я просто остановлюсь на той реальности, которая существует сегодня в России, на том обществе, которое в ней создано в результате реформ. Я считаю, что эта реальность, это общество нависли, как дамоклов меч, над российской демократией — независимо от того, кто победит на выборах: Ельцин, Зюганов или кто-то еще. И поэтому продолжение деятельности «Континента», обретение им второго дыхания в борьбе за нормальную, свободную, демократическую Россию, имеет сейчас исключительно большое значение.

Итак, в результате реформирования в России построено общество, появления которого мало кто хотел и которое мало кого устраивает.

Наш Институт социальных исследований Российской Академии наук занят объективным изучением российской социальной реальности — мы не ориентируемся ни на одно движение, ни на одну партию, а просто констатируем и анализируем объективные факты и стараемся выработать обоснованные рекомендации. И с тем, чтобы найти объективную точку отсчета в описании и анализе тех изменений, которые произошли в России за время реформ, мы создали на основе анализа достижений мировой общественной науки систему предельных критических показателей развития общества, — показателей, устанавливающих как бы некую красную черту, выход за которую грозит распадом государственности и практически приводит общество к гибели.

Остановлюсь на этих показателях.

Возьмем, например, предельно допустимый уровень падения промышленного производства — 30—40%. В России сейчас — 51% (все данные относятся к 1995 г.; база сравнения — 1990г.). Это означает деиндустриализацию экономики, сокращение числа лиц, занятых в производственно-продуктивной сфере.

Возьмем продукты питания. Чтобы страна сохранила свою независимость, доля импортных продуктов питания не должна превышать по всем международным стандартам 30%. У нас — 40%. Это означает стратегическую зависимость жизнедеятельности страны от импорта и угрозу голода в любой момент, когда этот импорт будет перекрыт. Добавим к этому еще одну цифру: в России сейчас только 20% потребительских товаров являются товарами отечественного производства, 80% — импортируются.

Страна сохраняет себя как некое самостоятельное целое, если доля продукции обрабатывающей промышленности и доля высокотехнологической продукции составляет в ее экспорте соответственно не менее 40% и 10—15%. У нас сейчас соответственно — 12% и 1%. Это свидетельствует о колониально-сырьевой структуре экономики, о падении профессионализма, о технологическом отставании экономики и сокращении числа лиц, занятых в наукоемких отраслях производства.

Еще один показатель — наука. Вы все прекрасно знаете, что даже руководители администрации Б.Н. Ельцина выступали за закрытие фундаментальных исследований и предлагали всех ученых, которые ими занимаются, пока «законсервировать» и лишь лет через 15—20—30, когда наступит время, опять допустить их к таким исследованиям. Что в результате у нас произошло сейчас с наукой?

Доля от Внутреннего Валового Продукта (ВВП) государственных ассигнований на науку (чтобы наука развивалась хотя бы элементарно) не должна составлять менее 2%. У нас — 0,5%. Это означает разрушение интеллектуального потенциала нации.

Возьмем социальную сферу. Тут цифры более или менее известны. И все же остановлюсь хотя бы на некоторых.

Предельно допустимое по международным критериям соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных групп населения — 10:1. У нас — 14:1. Это означает резкую антагонизацию социальной структуры, резкое противопоставление людей по имущественному и социальному положению. Это закладка мощных социальных конфликтов, последствия которых непредсказуемы — гражданская война, бунты и все, что угодно...

Доля населения, живущего на пороге бедности. Предельная черта — 10%. У нас (называю явно заниженные цифры официальной статистики) — 25—40%. Это означает ломпенизацию значительной части страны.

Соотношение минимальной и средней заработной платы. Критический показатель — 1:3. У нас 1:10, что ведет к деквалификации и пауперизации рабочей силы.

Предельно-допустимый уровень безработицы — 8—10%. У нас — 13% (с учетом скрытой безработицы). Это означает рост социально обездоленных категорий населения.

Очень неприятна демографическая ситуация. За последние 4 года продолжительность жизни в стране сократилась тоже на 4 года. В среднем по стране она составляет сейчас 64 года (у мужчин — 57 лет, у женщин — 71). Соответственно в США и Великобритании — 75, в Швеции — 78, в Японии — 79. Это означает, что в России мужчины умирают в трудоспособном возрасте. Добавьте к этому, что только естественная убыль населения в стране (без учета эмиграции и т.п., берется лишь соотношение рождаемости и смертности) за последние 4 года составила 2,5 миллиона человек. Это цифра страшная — потери в гражданской войне были примерно такие же.

Возьмем экологическую ситуацию в стране. Перестройка началась у нас, как известно, с лозунгов закрытия и свертывания экологически вредных производств. А что у нас сейчас? Предельно допустимые экологические потери по отношению к ВВП не должны превышать 5%. У нас — 15—20%. Это означает, что у нас прогрессирует процесс возникновения жизнеопасной окружающей среды для человека. Более того — некоторые регионы страны становятся регионами хранения и ввоза в них радиоактивных и других отходов, опасных для человека.

Пойдем дальше, возьмем девиантное поведение.

Предельно-критический уровень преступности по международной практике (количество преступлений на 100 тыс. населения) — 5—6 тыс. У нас — 6—6,5 тыс. (с учетом латентной преступности). Это означает криминализацию общественных отношений, фактическую незащищенность человека перед насилием в стране. При этом число умышленных убийств растет в геометрической прогрессии.

И еще есть одна очень тяжелая цифра — уровень потребления алкоголя. По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление более 8 литров абсолютного алкоголя на человека в год означает фактическую деградацию нации. У нас 14—18 литров, причем в качестве грядущего достижения выдвигается программа увеличения этой цифры до 20 литров.

Резко возросло число самоубийств. Сейчас на 100 тыс. населения у нас 42 самоубийства (данные за 1994 г.) — цифра, которую нужно умножить минимум на 10, если учитывать и попытки самоубийства.

По одному только показателю мы еще не превзошли международно допустимый критический уровень — это распространенность психической патологии на 1000 человек. По выборочным исследованиям в 125 странах она составила в 1992 г. — 284, у нас — 280.

Далее, возьмем политические отношения. Доля граждан, выступающих за кардинальное изменение политической системы: критический уровень, «красная черта» — 40%, у нас — 43%. Это означает противостояние власти и общества, делегитимизацию власти.

Уровень доверия населения центральным органам власти. Критическая черта — 20—25%, у нас — 10%, что означает отчуждение власти от народа, пассивность, чувство безысходности.

Теперь возьмем такой показатель. По данным американских исследователей (они совпадают с результатами наших исследований, полученных на основе данных Госкомстата и социологических опросов), 40% всего народного достояния, всего богатства страны находится в руках преступных элементов. По данным тех же американских исследователей, опять же совпадающим с нашими, от 60 до 80% банков в России тоже находится под контролем криминальных структур...

Вот такова ситуация, сложившаяся сейчас в России, и из этой ситуации надо исходить.

Да, тот режим, который пришел в 1991 году к власти, был встречен в стране с большим энтузиазмом. Но с самого начала многие ученые и значительная часть общественности, в том числе многие бывшие диссиденты, сразу увидели ложную направленность реформ, начатых вскоре этим режимом. Давались в связи с этим и соответствующие рекомендации, но с ними никто не считался, их не учитывали, ибо реформы в России проводились не демократическими, а авторитарными методами. В результате в России и сложилась та ситуация, которую мы сейчас имеем, — ситуация, которая отрицает демократические формы правления и которая

требует резкого и срочного вмешательства, ибо Россия находится практически на краю гибели, на краю саморазрушения.

Для тех, кто любит Россию, кто хочет работать во имя России, крайне необходимо сегодня объединение интеллектуальных сил для разработки на основе науки конкретных программ выхода страны из кризиса. И я думаю, что совместными усилиями, продолжая ту работу, которую мы достаточно плодотворно начали уже в виде таких вот встреч и обсуждений, как Максимовские Чтения или наши семинары в Российской Академии, мы сумеем разработать эти программы, сумеем наметить реальные пути выхода России из кризиса.

Это действительно наше общее дело — дело всех здравомыслящих людей и в самой России, и за ее пределами. Ведь проблема России — это проблема не только самой России, ибо разрушение России приведет к таким геополитическим сдвигам, последствия которых могут оказаться поистине непредсказуемыми и очень опасными для всего мира.

Лариса ПИЯШЕВА

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ

В своих оценках и прогнозах будущего России я исхожу из известной аксиомы, гласящей о том, что миром правят идеи. Поэтому предметом моего анализа будет прежде всего состояние умов — тот идейный и ценностный потенциал, который формирует нынешнюю политику и пишет историю следующего поколения.

Сегодня мир не разделен более на «два лагеря» и нет больше «двух систем», противостояние которых определяло политический климат планеты на протяжении почти что столетия. Да и многие социалистические страны уже сегодня вписываются в систему мирохозяйственных связей.

Но у нас, в России, состояние дел в экономике все еще напрямую связано с идеологическими построениями, которые иначе чем **и д е й н ы м и п е р е ж и т к а м и** ушедшей в прошлое эпохи «двух лагерей» и «двух систем» не назовешь. Тем не менее именно они господствуют у нас, придавая (при любых расхождениях в частностях) вид научной, так сказать, легитимности существующему в экономике статус кво. И тем самым существенно сдерживают интеграцию России в европейскую цивилизацию с ее современными технологиями и либеральными ценностями.

Впрочем, не будем пока обсуждать эту взаимосвязь и для начала попробуем просто обозначить эти пережитки — описать их и классифицировать.

Суть их в том, что господствующий в нашем общественно-политическом сознании подход к экономическим процессам по-прежнему остается «политэкономическим» — или, более точно, идеологическим. На смену марксистско-ленинской идеологии пришла социал-реформистская, вдохновляемая традиционной сакраментальной формулой всех наших перестроечных и постперестроечных правительств: «от политики реформ мы не откажемся». Правда, что это конкретно значит, каждый понимает по-своему, но если говорить об исходных позициях, то здесь у наших новоиспеченных социал-демократов больше общего, чем различий: на рубеже XXI века все они выступают, в сущности, с тех же идейных позиций, что и их предшественники на рубеже XX-го. Все они исходят из существования «двух систем» — капиталистической и социалистической — и усиленно разрабатывают разного рода концепции и программы ТРАНСФОРМАЦИИ (понятие, которое используется как синоним понятия «переход»: «переход от одной формации к другой» — в прежнем языке; «трансформация социалистической системы в рыночную» — в современном). И все они мечтают сделать «трансформацию» «социально ориентированной», именно в этом видя вносимую ими в ход истории коррекцию. При этом — в отличие от западных «трансформаторов», наперебой предлагающих программы «строительства» капиталистического общества, — российские призывают руководствоваться особой социокультурной данностью и «строить» общество плюралистическое (смешанное) — социал-демократического толка и непременно «с человеческим лицом».

Понятно, что при этом экономический процесс видится как процесс принципиально рукотворный и потому-то и описывается в категориях «строительства», которое следует осуществлять в соответствии с выбранным «строем» и избранной «моделью». «В итоге выбирать путь развития — демократический или авторитарный, а также тип экономической системы придется самим россиянам», которые «должны решить, какое общество они хотели бы иметь»¹. Поистине — по щучьему велению хочу рабовладение!.. Вполне серьезные как будто бы ученые, на полном, как говорится, «серьезе», полагают, что на выборах граждане выбирают «путь развития»² и «тип экономической системы»!..

Соответственно и главная задача видится в том, чтобы **д е м о н т и р о в а т ь** (разрядка моя — Л.П.) старую государственную систему и одновременно **с т р о и т ь** новое, предпринимательское государство». Причем рекомендуется не спешить с переходом и строить смешанную экономику *научно* (представьте себе конструктора, который взялся бы «демонтировать» ваш организм для того, чтобы построить новый, более здоровый и совершенный!)...

¹ Д. Ергин, Т. Густафсон. «Россия двадцать лет спустя». Четыре сценария. М., «МО». С. 24.

² «Переходный период. Социал-демократическая концепция». — Свободная мысль, № 10, 1995.

С такой же «научной» серьезностью и ответственностью заявляется и то, что созданная в России промышленность ни самой России, ни миру не нужна. А потому — нуждается в полном демонтаже и ликвидации. И лишь на руинах уничтоженного, уже после того, как осуществится «первоначальное накопление», предлагается строить новую, прогрессивную, отвечающую всем условиям современности индустрию. А до того как она будет «построена» и «запущена», сделать российский рынок открытым для импорта западной продукции и экспорта российского сырья (отметим, что и эта концепция — отнюдь не безобидное умозрение: она является официальной для ельцинского правительства и поддержана такими авторитетами, как Е. Гайдар, Н. Шмелев, В. Каданников, В. Черномырдин)...

Так бывшие марксистские политэкономы, приспособившая свой опыт и знания к меняющимся условиям, формируют основы новой «особой науки» — «социал-демократической политэкономии» (по аналогии с другой «особой наукой» — марксистско-ленинской политэкономией, на протяжении почти что столетия заменявшей собой весь набор экономических дисциплин). Концепция ранее открытого «рыночного социализма», отличного от «нерыночного», и идея «третьего пути», лежащего между капиталистическим и социалистическим, находят здесь свое выражение и завершение в теории особого «переходного общества» со своей особой «переходной экономикой», а изучение особенностей «переходного процесса», его фаз, стадий, закономерностей, объявляется главнейшей и насущнейшей задачей научных экономических исследований, которыми и заняты специально созданные для этого научные центры (например, Институт проблем переходной экономики).

На сегодняшний день уже разработаны основы «политической экономики переходного процесса», создана своя «спецтерминология», проведены классификации, определены этапы. Нынешний, например, называют «депрессивной стабилизацией». Разработана периодизация: 1989—1990 гг. — «период демократических революций», с которого начинается н о в ы й отсчет времени и определение фаз; 1990—1995 гг. — первая фаза трансформации, содержанием которой были «стабилизация и либерализация». 1996 год рассматривают как переходный год «политического выбора». А для второй половины 90-х годов поставлена цель: «привести к социально справедливой и экологически устойчивой экономике»¹ (как будто бы кто-то — те же либералы, например — призывают к несправедливой и неустойчивой!)

Большое внимание уделяется при этом определению очередности этапов и последовательности действий: вначале финансовая стабилизация, затем либерализация, потом приватизация и т.д. Или — наоборот, в зависимости от «научной школы».

¹ «Переходный период. Социал-демократическая концепция». — Свободная мысль, № 10, 1995.

Очень популярной среди этих теоретиков является идея «первоначального накопления капитала» — в качестве первого этапа «строительства». Качественными же характеристиками «переходной экономики» считаются «смешанность» (частно-государственная собственность, полусвободные-полуфиксированные цены и т.д.) и болезненность («реформы — это больно»). А болезнями — инфляция, растущее неравенство, социальная напряженность, этнические конфликты (заметим в скобках — с подобными характеристиками вряд ли согласился бы Вацлав Клаус).

В Академии менеджмента и рынка открыли закон: «Экономика переходного периода является принципиально неравновесной». И на основании этого сделали научный вывод: она «требует активного государственного регулирования». Раньше «активного государственного регулирования» требовала, как известно, «самая равновесная в мире» социалистическая экономика.

Международный Леонтьевский центр произвел и такую научную классификацию: разделил предприятия на «среднеприватизированные» и «глубокоприватизированные». К «средним» отнес те, в которых доля государства более 25%, а к «глубоко» — те, в которых она менее 25%¹. Полученный «научный результат» звучит так: «приватизированные предприятия работают лучше государственных». Единственный вопрос, который остается при этом не решенным, — где они нашли в России приватизированные, то есть частные предприятия? А если не нашли, то чего стоят все эти выводы!

Эксперт Фонда развития парламентаризма, указывая, что среди оставшихся неприватизированными предприятий большая часть была запрещена для разгосударствления (оборонные предприятия, предприятия сферы образования, транспорта и пр.), тоже делает свое «научное» открытие: «Примерно такой и должна быть структура экономики переходного периода»².

Особо актуальным считается вопрос о продолжительности переходного процесса. «России предстоит длительное время находиться в переходном периоде, которому должны соответствовать своя социально-экономическая структура общества и система власти»³.

Все эти фантомы тоже унаследованы, как нетрудно понять, из эпохи строительства социализма. Там тоже были и «своя» научная теория, с особыми законами, классификациями, структурами общества и системами власти, и свои «этапы», что, однако, не избавило этот особый «лагерь» от необходимости и неизбежности интегрироваться в «капиталистическую» систему. Но наши теоретики, ничтоже сумняшеся, по-прежнему продолжают упрямо рассматривать собственную историю в категориях «строительства» (капитализма) и планировать будущее России как такой

¹ «Известия», 5 декабря 1995 г.

² А. Кузнецов. Приватизация без Чубайса. «Век», № 5, 1996.

³ «Финансовая газета», 22 февраля 1996 г.

же, что и прежде, кропотливый и длительный процесс «конструирования» — только теперь не «реального социализма», а новых («регулируемо-рыночных») институтов собственности и власти. И, естественно, предлагают ни в коем случае не торопить события, не перепрыгивать через «этапы», не спешить к «русскому экономическому чуду», а терпеливо и упорно созидать себе «традиции»... Они уверены, впрочем, что так и будет, что «Российское государство и российское общество надолго задержатся на этапе, который можно назвать переходным». Ибо «препятствия на пути развития современного капитализма и демократии весьма многочисленны и труднопреодолимы: не последним в их ряду является то, что Россия не имеет устойчивых рыночных или демократических традиций»¹. И неважно при этом, что капитализм тоже и з н а ч а л ь н о не имел устойчивых рыночных и демократических традиций, что для возникновения его хватило одной «Декларации о свободе» и что именно весь последующий период и был эпохой созидательной жизни, в которой каждый трудился на благо свое и своей семьи, делая научные открытия, строя города и создавая новые технологии.

У нас, впрочем, тоже есть уже некоторые практические результаты по части созидания «переходной» экономики. В рыночной экономике неплатежеспособность предприятия ведет, как известно, к банкротству и смене владельца. Уволенные получают пособия по безработице и осваивают новые профессии.

В социалистической — предприятия гарантированы от банкротства, а работники от увольнений.

В «переходной» — банкротства и увольнения отсутствуют, но при этом по полгода не платят ни заработной платы, ни пособий по безработице. Фактически используют дармовой труд и представляют это как достижение. (Министр экономики Ясин любит приговаривать: «да, неплатежи, но зато нет безработицы».)

Из всего этого очевидно, что главный вопрос, который решали и решают специалисты по социалистической, а теперь по «плюралистической» экономике, — это именно вопрос о том, должно или не должно государство вмешиваться в экономический процесс, надо или не надо его «регулировать». И весь смысл их «переходной политэкономии» и состоит в том, что очень даже «должно» и «надо». А все российские беды — спад производства, разрушение отечественной промышленности, обвальное падение реальных доходов основных групп населения и разгул преступности — все это списывается, естественно, по ведомству гайдаровского «либерализма»: «уже в первой фазе трансформации система государственного социализма была отброшена, государственное вмешательство всех видов отвергнуто, а рынок объявлен неоспоримым арбитром в вопросе о

¹ Д. Ергин, Т. Густафсон. Цит. соч. С. 24.

том, что желательно или нежелательно для общества в экономической сфере»¹.

Интересно, правда, где они в гайдаровских реформах нашли отвержение «государственного вмешательства», «государственного социализма» и «неоспоримую» арбитражную функцию рынка. Но все дело в том и состоит, что даже такой урезанный, изуродованный, компромиссный и обессиленный именно «государственным регулированием» «либерализм», какой был у Гайдара (из-за чего и все его провалы), вызывает у них поистине панический страх. И потому они, естественно, отчаянно зовут вернуться как можно скорее назад, к «регулируемому рынку» — еще более «регулируемому». Так, чтобы сделать именно государство всевластным и «неоспоримым арбитром».

Любопытно, что в этом своем поношении либерализма наши реформаторы полностью солидарны с коммунистами. Г. Зюганов в книге «Россия и современный мир» пишет: «Сегодня стало совершенно очевидно, что идеология либерализма на просторах России не просто потерпела сокрушительное поражение, а привела к невиданным бедствиям, трагедиям, а во многих регионах просто к откровенному геноциду, насилию и войнам». Выходит, что и война в Чечне — порождение самой по себе экономической свободы!

Не отстают, впрочем, и западные «трансформаторы»: «Вера в то, что свободные рынки и здоровые деньги являются ключом к экономическому развитию, оказалась «спекулятивным пузырем», — пишет профессор экономики Стенфордского университета. — Политика свободного рынка «не породила такого взрыва производительности, новых производств и экспорта, какого ожидали реформаторы»². Хотелось бы только опять же уточнить, где он нашел в России свободные рынки и здоровые деньги?

Ни в одной из стран бывшего соцлагеря государственное вмешательство не было отвергнуто, рынок нигде не выступал «неоспоримым арбитром», нигде не было и «нерегулируемого рынка». Даже Вацлав Клаус в Чехии, допустивший больше всех других экономической свободы и получивший в результате лучшие результаты по реформированию экономики, осуществлял приватизацию руками государства, под жесточайшим контролем.

В России же — тем более. За пять лет страна не познала ни одного банкротства. Во всех приватизируемых предприятиях были сохранены государственные пакеты акций. Экономика жила при государственных льготных кредитах, постоянных взаимозачетах и списаниях долгов, в режиме полусвободных цен. Правительство «жесткой государственной рукой» делило собственность между «уполномоченными», создавало банковскую империю, формировало финансово-промышленные группы, регулировало доходность операций, устанавливало валютный курс и жестко

¹ «Переходный период...»

² Там же.

расправлялось со всеми аутсайдерами. Короче, вмешивалось во все сферы хозяйственной жизни не в меньшей, а в ряде случаев даже в большей, чем «при социализме», степени. Так что говорить применительно к России о экономической свободе могут лишь полностью оторванные от реальности люди...

Проблемы дореформенной России состояли вовсе не в отсутствии накопленного капитала, а как раз в его перенакоплении, в чрезмерной концентрации в руках партийно-промышленной элиты, неспособной эффективно его использовать. Отсутствие экономических прав и свобод у хозяйственников делало невозможным принятие радикальных решений на микроуровне. Директора не могли закрыть или изменить профиль предприятия, провести технологическую перестройку, сменить поставщиков.

Для того чтобы выйти из технологического кризиса и преодолеть отставание, следовало расконцентрировать «сгустки» перенакопленного государством капитала, передать его в собственность как можно большему числу лиц, заинтересованных в эффективном использовании полученной собственности. И освободить владельцев от нерациональных хозяйственных связей и командной опеки со стороны властей. Именно это и обеспечило бы начало модернизации и рационализации на каждом предприятии, во всех отраслях и сферах одновременно. Также следовало сократить масштабы изымаемых у предприятий и населения средств, обеспечить условия накопления и инвестирования. Это сделало бы процесс модернизации перманентным и избавило бы нынешних планировщиков от необходимости «разрабатывать» программу структурной перестройки как четвертого (после либерализации, финансовой стабилизации и приватизации) этапа «трансформации». Да и перевод экономики от военной к гражданской вовсе не означал необходимости ликвидации или «опускания» всей российской промышленности, обесценивания оборотного и разрушения основного капитала. Заявления о ненужности химической, машиностроительной и пр. отраслей промышленности показывают лишь полное отсутствие представления о характере функционирования любой, будь то рыночная или планируемая, экономики.

Но, увы, чего-либо иного трудно ждать от наших бывших певцов революции, которые в новой «социал-демократической» реальности все без исключения выступают теперь принципиальными эволюционистами. Их сознание с порога отторгает всякую мысль о возможности революционного изменения прав собственности, словно здесь действует некая непреодолимая закономерность «трансформации» нашего доморощенного политического сознания — как индивидуального, так и коллективного: от марксистского к социал-демократическому. И, видимо, только уже затем, на следующей исторической фазе (если нам повезет) — к либеральному... Как иначе объяснить мышление в категориях «полу»: получастная собственность, полусвобода, полуконкуренция, полудемократия, полули-

берализм? Все частично. И потому-то главной категорией и становится «плюрализм» — сочетание разных идеологий, принципов и способов организации политической и экономической жизни. Мышление в «чистых» категориях — частная собственность, свободная конкуренция, свободные цены, отсутствие монополизма, свободная конвертируемость валюты и т.д. — на существующем «социал-демократическом» этапе нашего политического сознания расценивается — и не может, естественно, не расцениваться, — как форма утопизма и экстремизма. Как порок сознания, порождающий «нереалистические» программы действий. И это, конечно, уже и сам по себе очень интересный феномен, заслуживающий осмысления специалистов.

Но нам в данном случае куда интереснее и важнее другое. Попробуем все же ответить на вопрос — а в каком отношении к действительной, наличествующей сейчас в России реальности находятся все эти прожекты, программы и концепции наших реформаторов, исходящих (все, как один) из негласной предпосылки, что результаты совокупного общественного труда в стране принадлежат и должны принадлежать прежде всего ГОСУДАРСТВУ, которое и должно распоряжаться всем создаваемым? Ведь никто же из наших «новаторов» даже не ставит под сомнение легитимность подобной формы организации общественной жизни, и все разногласия между ними состоят лишь в том, кто (или какая партия) делает или способен делать это лучше других.

Ну, а что мы имеем в самой реальности?

Да именно все то, за что и ратуют наши «реформаторы». По-прежнему всё «регулирует» (распределяет) государство, только за это право распределять и идет, в сущности, борьба. Здесь борются сегодня две основные партии — ПАРТИЯ ВЛАСТИ (коммерциализированная номенклатура), управляющая страной с эклектических позиций, сочетающих коммунистические навыки, социал-демократические принципы и либеральные ценности, и КОММУНИСТЫ, рассуждающие о смешанной плюралистической экономике с преобладанием государственной («общенародной») формы собственности. Первые отождествляют себя с государством и пытаются закрепить за собой «завоевания» эпохи «трансформации», эволюционируя в сторону расширения «государственного» (своего собственного) присутствия (государственные инвестиции, государственные целевые программы, государственные акции, ценные бумаги, кредиты, заказы, закупки, государственное строительство жилья...) Вторые жаждут захватить власть и *переделить* собственность. И те и другие делают, разумеется, упор на «социальную» составляющую. Коммунисты обещают, как всегда, светлое будущее, а власть судорожно пытается хотя бы выплатить permanently задерживаемую заработную плату, хоть чуть-чуть увеличить пенсии и стипендии, проиндексировать доходы, перехватывая у коммунистов их лозунги и делая новые долги. (В 1995 г. внутренний долг государства составил в абсолютном выражении 194 трлн. руб. В 1996 г. он будет 300 трлн. Планируемый масштаб заимствований составит 153 трлн.)

Подведем некоторые итоги.

Более 70 лет Россия вела идеологическую борьбу с населением, тратя огромные средства на содержание идеологической машины. Прекращение «строительства социализма» и деятельности КПСС позволяло высвободить большие деньги для созидательных целей.

Более 40 лет Россия участвовала в холодной войне с Западом и прикармливала «дружеские режимы», оплачивая все то, что было связано с существованием «двух миров» и «двух систем». Это требовало огромных материальных затрат и формировало ориентированную на войну хозяйственную структуру. Прекращение холодной войны позволяло высвободить средства для мирных целей.

На протяжении 10 лет Россия вела бессмысленную, изнурительную и расточительную войну в Афганистане. Ее прекращение также высвобождало средства и силы для разумной реформы в армии и обществе.

Произошедшие в середине 80-х — начале 90-х годов изменения позволяли предположить, что высвобожденные ОГРОМНЫЕ средства будут использованы на цели созидательные, что выручка от продажи нефти пойдет, наконец, на решение накопленных за годы гонки вооружения социальных проблем, а средства промышленных предприятий будут эффективно и рационально использоваться для технического и технологического перевооружения. Можно было ожидать, что накопленный капитал в передовых отраслях военной экономики будет использоваться в мирных целях, для выпуска высококачественных предметов потребительского спроса.

Этого не произошло. Вместо Афганистана Россия развязала войну на собственной земле, в Чечне, перекачивая туда огромные средства, разрушая материальные и моральные устои общества. Выручка от продажи нефти также не стала средством повышения благосостояния граждан. Средства, высвобожденные из «идеологии», идут на прокормление разросшегося госаппарата, во многом сохранившего свои функции и привилегии. Немалых денег стоит и обустройство новой, социал-реформистской идеологии. Ибо весь ее неторопливый и размеренный «плюрализм», наложившийся на местную идею «сброса» национальной промышленности, и есть не что иное, как идеологическое обслуживание и обносование существующей ныне системы «государственного регулирования» — независимо от того, кто этим «государственным регулированием» занимается или претендует заниматься. А за обслуживание нужно платить.

Не радуют и перспективы. Ведь обескураживающие успехи нашей «переходной экономики», конструируемой по рецептам новаторской «социал-демократической политекономии», уже привели на фоне стремительного освоения российского потребительского рынка западными товарами массового потребления к угрожающему выплеску национального самосознания, призвавшего коммунистов защитить народ от безработицы, нищеты и высоких европейских цен. Так вновь нарушенная естественная динамика развития, замусоренная «научными» инсинуациями

придворных политэкономов, обернулась для России не чем иным, как уже состоявшимся и грозящим стать еще более тотальным в случае победы Зюганова на президентских выборах возвратом коммунистов, которые способны лишь еще более усугубить «огосударствление» гибнущей экономики России.

Я берусь утверждать, что экономическое будущее России и будет определяться именно зюгановскими программами — независимо от того, будет ли КПРФ правящей партией, или будет возглавлять оппозиционную Думу. Ведь общество не может длительное время жить «при плюрализме». Оно должно качнуться либо в тоталитаризм, либо в либерализм. Состояние лучших российских умов, их программы, рецепты и образ мыслей, столь соразмерные и менталитету нынешних правителей, и прожектам нынешних коммунистов, свидетельствуют о том, что до свободного от идеологического догматизма и государственного попечительства будущего Россия еще не созрела. В зюгановском же настоящем ее ожидают крупные неприятности. Возможно, что уже осенью начнут вводить продовольственные карточки.

Игорь ВИНОГРАДОВ

РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ДУХОВНОГО КРИЗИСА ОБЩЕСТВА

Тотальное обнищание основной массы населения, правовой беспредел на фоне наглого беспредела преступности, политический цинизм властей, кровавый геноцид против собственного народа (то против одной, то против другой его части), — говорить обо всех этих и подобных им вещах, как о характернейших отличительных приметах нынешнего российского дня, стало в нашей стране уже просто банальностью. И потому вряд ли можно найти сегодня в России человека, который, деликатно выражаясь, был бы доволен ее нынешним status quo. За исключением, естественно, рэкетно-мафиозных структур, выкачивающих из гибнущей России поистине бешеные деньги, и властей предрержащих, устраивающих на ее трагедии свое карьерное благополучие. Да еще, может, кроме Льва Аннинского, заявившего вчера, что он *хочет жить в любой России?*.. Но, полагаю, сказано это было просто ради красного полемического словца. Во всяком случае, все остальные явно *не хотят*, и потому так же, как нет границ недовольству нынешним положением дел в стране, — точно так же нет недостатка и в программах спасения России, вывода ее из нынешнего кризиса. Над политическими, экономическими, правовыми и прочими перспективами нашего выздоровления ломают сегодня голову лучшие

(как, впрочем, и худшие) умы России, и естественно, что и на нашем форуме недостатка в размышлениях на этот счет и в соответствующих рекомендациях нет и не будет.

Ни в коей мере не рискуя соревноваться здесь со специалистами такого уровня, как выступающие сегодня Лариса Пияшева, Геннадий Осипов или Андрей Зубов, я тем не менее тоже никак не могу удержаться, чтобы не принять участия в этом обсуждении, — именно потому, что никак не готов и не хочу жить в такой России, в какой живу сегодня. Что, разумеется, отнюдь не означает, что я готов из нее бежать, даже если государем нашим станет верный ленинец товарищ Зюганов. Но перед лицом и этой, и противоположной ей (и, право же, не намного более приемлемой) перспектив мне хотелось бы привлечь сегодня внимание не столько к каким-то конкретным программам возможного, желательного или неотложно необходимого экономического, политического и правового реформирования сегодняшней России, сколько к некоторым общим, исходным условиям такого реформирования — условиям, без соблюдения которых никакие реформаторские планы развития России, даже самые роскошные и математически безукоризненные, просто не могут быть, по моему убеждению, осуществлены. А между тем едва ли не большинство наших реформаторов, даже самых профессионально компетентных, очень плохо, похоже, отдают себе в этом отчет и очень мало об этом думают.

Тема эта, однако, настолько сложна и обширна, а регламент наших Чтений столь беспощаден, что я не вижу другого выхода, как попытаться уложить свои размышления в очень кратко, сжато, без особых разъяснений сформулированные тезисы, которые, если потребуется, можно будет позднее и развернуть. Их, этих тезисов, у меня ровно десять.

1. Я считаю, что можно говорить о некоем *общем* господствующем типе реформ, характерных для истории России после татарского ига. И что наиболее адекватную возможность понять и объяснить эту особенность русской истории дает та концепция *догоняющего развития*, основы которой были заложены еще Соловьевым и Ключевским. Ее суть: едва ли не все важнейшие реформы начинались в России, как правило, не столько под напором *органического* развития страны, в результате диктата *внутренних* потребностей развивающегося общества, сколько и прежде всего под напором *очередной внешней* неотложной необходимости отстоять государственное существование России в ситуации той или иной угрозы со стороны соседей, далеко ушедших вперед в цивилизационном процессе. Поэтому-то реформы у нас и зарождались всегда только «наверху», «спускались» оттуда — и «спускались» притом, как правило, в весьма мало подготовленное к ним общество, внедрялись в него жестким диктатом власти, как нечто ему навязываемое, а сплошь и рядом даже и чуждое. Так было и при Петре, так было во многом и при Александре II, которого вынудили к реформам слишком наглядные уроки Крымской войны. Так было — хотя и в ином, разумеется, ценностном измерении — и при большевиках, бросившихся проводить свои чудовищные реформы «кол-

лективизации» и «индустриализации» опять-таки прежде всего ради спасения СССР (и соответственно своего режима) в условиях угрозы так называемого «капиталистического окружения». Так было даже и тогда, когда реформаторы — как, например, Столыпин — пытались создать, наконец, в России органическое гражданское общество, способное дальнейшее реформирование страны творить уже само, «из себя». Все равно инициатива и стимуляция таких реформ шли всегда сверху, и потому знаменитая формула Пушкина, сказавшего о Петре, что он «уздой железной Россию поднял на дыбы», вполне может быть признана общей формулой всех российских преобразований — от петровских до горбачевских.

2. Эта общая парадигма российских реформ объясняет, почему в эпохи реформирования основное население страны всегда становилось по преимуществу лишь объектом авторитарного *манипулирования* со стороны реформаторской власти — даже если это реформирование в какой-то мере и отвечало внутренним потребностям развития страны, шло в общецивилизационном направлении. Полагаю, что этот тезис можно не разяснять и не развертывать.

3. Однако в ситуации, когда реформа проводится в жизнь посредством авторитарного *манипулирования* обществом, а рассчитана между тем на какую-то «перестройку» его именно в *общецивилизационном* направлении (то есть предусматривает такое его преобразование, которое в той или иной мере ориентировано все-таки именно *либеральными* ценностями), — в этой ситуации неминуемо возникновение нового, дополнительного напряжения между реформаторской властью и обществом, немедленно вызываемого таким противоречием. И противоречия тем большего, чем больше либерализма внедряется в жизнь общества реформой. Ибо общество — если перефразировать известную остроумную формулу Ларисы Пияшевой — не может быть *немножко* беременно свободой: беременность либо должна быть прервана, либо неизбежно будет развиваться до своего естественного завершения — рождения ребенка. Потому-то российская история и свидетельствует: чем больше либерализма получало в результате той или иной реформы российское общество, реформированное сверху, манипуляционным способом, тем меньше оно оказывалось, как правило, приспособленным к тому, чтобы им манипулировали, тем большее сопротивление должно было оказывать и действительно оказывало и этой своей роли подопытного и дрессируемого существа (даже когда с ним делают, не спрашивая его, нечто вроде бы ему полезное), и вообще существованию режима, желающего оставить его лишь *немножко* беременным. Всякое расширение демократических и либеральных возможностей неизбежно увеличивало натяжение этой антиномии, что и сказалось наиболее очевидным и катастрофическим образом во взрыве 1917 года. Нелепо было бы видеть в этом катаклизме лишь результат происков большевиков — они просто умело воспользовались тем, что на блюде поднесла им российская власть, не сумевшая понять ситуацию, в которую сама же и загнала свой народ.

4. Наша так называемая Перестройка началась и производилась по тому же самому типу, что и раньше, ставшему, увы, традиционным для России и осевшему, можно сказать, в наследственной генетической памяти всякой российской власти неким невытравимым штампом единственно возможного ее поведения. Отцом Перестройки стал, в сущности, президент Рейган — это он своей неуступчивостью, своей неподатливостью на все наши блефы, заставил наше коммунистическое руководство признать, что холодная война, в сущности, проиграна, что в гонке «звездных войн» нам грозит полный крах и что, следовательно, без серьезного реформирования системы, нацеленного на то, чтобы сделать нас способными опять говорить с Западом «на равных», уже не обойтись. Реформирование опять началось, естественно, сверху — и началось оно с дарования стране небывалых политических свобод, которые, как думали наивные теоретики утопического «социализма с человеческим лицом», как раз и способны развязать внутреннюю энергию социалистического общества, стимулировать его экономическое обновление и укрепление. Это оказалось, понятно, именно утопией, а сами свободы опять-таки были, следовательно, не завоеваны и выношены самим обществом, а «спущены» ему. Но так или иначе, а этот акт в такой же небывалой, куда большей, чем когда-либо степени должен был, естественно, увеличить внутреннее сопротивление получившего эти свободы и быстро привыкшего к ним общества всякому дальнейшему манипулированию им — то есть, он должен был создать еще более резкую антиномию между привычным манипуляционно-авторитарным способом обращения с населением и правами, этим населением обретенными — хотя бы через дарование их. А с ними — и соответствующей психологией.

И это первый, на мой взгляд, фундаментальнейшего значения фактор, игнорирование которого при составлении любых, самых многообещающих планов реформирования страны, чревато непредсказуемыми и поистине катастрофическими последствиями.

5. Второй такого же фундаментального значения фактор, еще более усугубляющий опасность существующей ныне в России ситуации, — *духовный вакуум*, в течение очень короткого срока образовавшийся в нашем обществе в годы Перестройки, когда развернувшаяся общественная критика прошлого быстро разрекла господствующую в обществе идеологическую веру в социализм, ничем ее не заменив. О возникновении этого фактора я говорил еще в 1989 году на Конгрессе в Женеве, сейчас констатация такого вакуума стала уже публицистическим трюизмом, но здесь важна не констатация, а понимание, повторяю, именно всей колоссальной значимости этого фактора для процесса реформирования страны.

В чем заключается этот духовный вакуум, сменивший былую — пусть и ложную, иллюзорную — наполненность духовного пространства жизни общества идеологической (социалистической) верой?

Здесь можно говорить, на мой взгляд, по крайней мере о трех важнейших моментах.

Во-первых, — о том состоянии внутренней растерянности и потерянности, которое охватило людей и стало господствовать в обществе с утратой привычных ценностных мировоззренческих идеалов — утратой, которую, если иметь в виду подавляющее большинство населения, до сих пор так и не смогла, увы, восполнить вера религиозная.

Во-вторых, — о состоянии повышенной, резко обострившейся в связи с этим чувствительности общества прежде всего к *нравственной* обеспеченности любых обращаемых к нему со стороны многочисленных наших «вождей» и «лидеров» лозунгов, призывов и программ — чувствительности, которая всегда выходит на первый план в подобного рода ситуациях мировоззренческой растерянности и разброда.

И в-третьих, — о состоянии поистине удручающего, поистине вакуумного невежества широчайших слоев населения в отношении всех тех навыков, прав, обязанностей и механизмов общественной жизни и общественного поведения, которые только и могут обеспечить нормальное функционирование общества, ориентирующегося на либеральные ценности.

Очень важно понять, что все эти три момента в условиях политических свобод, обретенных обществом, делают еще более опасными любые попытки реформирования его посредством авторитарной манипуляции. Не выношенные, не вытребованные самим обществом и потому малопонятные ему нововведения, авторитарно ему навязываемые, способны лишь еще более усилить в обществе состояние духовного разброда, потерянности и резкого нравственного недоверия к тем, кто обращается с обществом подобным образом (а значит — и к их реформам). А все это вместе — лишь обострить его противостояние властям предрержащим, способное вылиться — при отсутствии освоенных обществом, выработанных им самим действенных механизмов демократического поведения — в самые непредсказуемые и разрушительные формы.

6. Таким образом, можно рискнуть утверждать, что сегодня уже никак нельзя рассчитывать ни на какое сколько-нибудь успешное политическое, экономическое, социальное или правовое реформирование страны без самого серьезного учета всех этих важнейших факторов, обеспечивающих неизмеримо возросшую со времен дарования России небывалых дотоле политических свобод психологическую сопротивляемость населения любым манипуляционным способам обращения с ним. Можно утверждать, что со времен Перестройки необходимость планировать любую реформу *только в контексте всех этих новых духовно-психологических реалий*, только «вписывая» ее именно в такой контекст, приравнивая к нему характер ее проведения, стала уже своего рода непреложным требованием самой российской истории. Может быть, — впервые. Иными словами — *непреложной новой парадигмой* всякого реформирования сегодняшней России, если только оно действительно хочет рассчитывать на успех, — его, можно сказать, *категорическим императивом*.

7. Понятно, что эта новая историческая ситуация с самого начала должна была и любого нашего «реформатора сверху», вознамерившегося

облагодетельствовать страну теми или иными нововведениями, призванными вернуть нас на общемировой цивилизационный путь, поставить тоже перед лицом совершенно новой, особой исторической его ответственности. Ибо со времени возникновения этой ситуации рассчитывать на то, что переделка страны по новому штату, то есть переделка *судьбы народа*, может быть произведена сколько-нибудь успешно без активного, вменяемого и заинтересованного участия в этой переделке *самого народа*, стало уже просто непростительной исторической безграмотностью. Отныне внедрение в жизнь страны любых экономических или политических механизмов уже нельзя рассматривать как нечто такое, что сумеет более или менее успешно заработать без того, чтобы стать *органической потребностью самого общества*.

8. Приходится констатировать, однако, что в России до сих пор так и не нашлось, увы, государственного деятеля, оказавшегося способным подняться на такой уровень исторического государственного мышления — уровень, который позволил бы ему понять совершенно новый и особый характер стоящих перед ним как перед реформатором задач по проведению намечаемых реформ в жизнь. И шире — вообще не нашлось, увы, такой общественной силы, которая оказалась бы способна к такому пониманию.

Что касается власти перестроечного периода, то отсутствие у нее всякой серьезной исторической стратегии стало сейчас уже для всех общепризнанной очевидностью, и всякого, кто лишний раз хочет убедиться в этом, я отсылаю к соответствующим местам моего интервью с М.С. Горбачевым, которое было напечатано в 80-м номере «Континента». Спасибо, конечно, ему за то, что он даровал стране свободы, но такой дар ко многому обязывал и самого дарителя. Он поставил его в совершенно новые отношения с социумом, получившим этот дар, — в отношения реального, а не формального диалога и действительной, ответственной подотчетности. А как это было осознано и осуществлено — все знают.

Что же касается сегодняшней власти — и законодательной, и исполнительной, то, увы, название одной из самых резких публицистических статей Максимова последних лет — *Шпана у власти* — все чаще приходит на ум и кажется наиболее адекватной и точной ее характеристикой. Ельцин ведет себя как пахан, схватка бульдогов под ковром стала еще более распространенным способом формирования государственных структур, чем во времена Черчиллевой инвективы, все заботы борющихся за власть группировок сосредоточены опять на поисках наиболее эффективных способов манипулирования электоратом, и оппозиционные режиму силы, под каким бы флагом они ни выступали, ничем в этом отношении не лучше властей предрежащих. Если не большинство, то наиболее вменяемая часть населения так это и понимает: просто рвутся к власти ради перераспределения собственности, доставшейся первому эшелону номенклатуры.

О реформаторах же, начавших наш поход в капитализм, и говорить нечего: даже не подвергая сомнению благородные намерения того же Гайдара, трудно не поразиться полному непониманию им как государственным деятелем того, как ему следовало обращаться со страной, народом, обществом, чтобы рассчитывать на хотя бы половинный успех своих реформ. Еще более поражает то, что и сегодня, когда он опять борется за власть, никаких признаков такого понимания — и соответствующего покаяния — в его предвыборных программах и выступлениях и в микроскоп не разглядишь. Как манипулировал народом раньше, так, судя по всему, готов манипулировать и дальше — просто по несколько измененной схеме. А общество как раньше мало что понимало в его реформах, так не понимает и сейчас. Результат — меньше пяти процентов на выборах.

Интеллигенция, до предела политизированная, разбилась на враждующие партийные группы и утратила уже почти всякие признаки независимой духовной силы, способной к исторической трезвости и пусть какой угодно «конструктивной», но притом действительно бескомпромиссной, и, главное, *серьезной* критике власти. Опять все сводится к старой иллюзии — вот придет к власти наша партия и все будет, как надо. Потому-то крик одного из ее характерных и почитаемых представителей на знаменитом ночном политическом шоу во время выборов: «Россия, ты спурела!» — и может стать визитной карточкой ее сегодняшнего менталитета. Это, видите ли, Россия спурела, а не те, кто, казалось бы, по определению должны были стать солью ее земли, но предпочитают принимать участие в нынешних тараканьих политических бегах, внушая себе, что от этого зависит судьба страны.

И даже Церковь — официальная Церковь, столь трогательно роднящаяся с нынешней властью, — не помогает своим чадам разобраться в действительных реалиях сегодняшней социальной обстановки и трезво их оценить.

Не буду говорить о самом народе, получившем свободу и так по-детски, так неумело и глупо ею пользующемся. Он-то сам, может быть, менее всего в этом виноват — скорее это беда его. И форма его протеста против существующего безобразия.

9. Значит ли это, что ситуация у нас абсолютно тупиковая и никаких подвожечек к созданию в стране того *органического гражданского общества*, которое своим собственным саморазвитием оказалось бы заинтересовано в подлинно либеральных реформах и стало их реальным — в том числе и политическим — проводником и носителем, не происходит?

Нет, на такую черную краску я бы не решился. Все-таки при всей убыточности проведенных реформ, какой-то эффект — часто даже как бы не благодаря, а в обход их — они дали. Все-таки формируется постепенно слой не только собственников, которые наживаются на современном беспределе и делают деньги из воздуха, но и тех, кто создает *производительный* финансовый и промышленный капитал, кто кровно заинтересован в создании в России *нормального либерального общества*.

Эта сила создается постепенно и стихийно, и с нею могут быть связаны наши надежды.

Однако процесс этот проходит столь медленно и трудно, преодолевая такое сопротивление господствующей государственной мафии, озабоченной только собственной живучестью, не совместимой ни с нормальной фискальной политикой, ни с правовым порядком, что к тому времени, когда формирование такой силы произойдет, страна может оказаться уже до предела деморализованной, разложившейся и развращенной. И никакая сила «среднего» (только еще возникающего) класса ее уже не спасет. Читайте об этом в последнем номере «Континента» — в статье Юрия Каграманова «Мера пессимизма». Поэтому-то очень активное и как можно более быстрое формирование такой силы, снизу, «изнутри» создающей органическое российское гражданское общество, *и необходимо сегодня всячески поддерживать*. Это — едва ли не самая главная историческая задача страны.

Но как?

10. Совершенно ясно — только политически. То есть это возможно только тогда, когда общественное движение, способное понимать эту историческую задачу, способно и реализовать ее соответствующим образом — в качестве законодательных актов, открывающих дорогу формированию среднего класса, способствующих вызреванию органического российского гражданского общества. Иными словами, такое движение должно завоевать *соответствующие позиции в Думе*, то есть выступить именно как *политическая сила*.

Но вот тут-то мы и оказываемся перед парадоксом, который ставит перед этой нашей вроде бы неопровержимой логикой жирный знак вопроса — знак, на котором — в пределах этого 10-го своего тезиса — я и хочу закончить свое выступление, предложив попытаться поискать на него ответ общими силами.

Итак, необходима политическая сила, способная законодательно способствовать формированию российского органического общества, российского среднего слоя, призванного стать основой, большинством нации. Но это значит — она должна завоевать доверие электората. А как завоевать это доверие в ситуации полного его недоверия ко всем — или почти ко всем политическим движениям современной России?

Конечно, жизнь скорее всего сама подскажет здесь какой-то выход, потому что острейшая общественная необходимость в таком выходе существует. И, может быть, появится-таки лидер с неподмоченной нравственной репутацией, способный завоевать своими действиями и поведением доверие широких слоев населения. Лидер, способный вполне трезво осознать притом, что на авторитарно-манипуляционных методах реформирования страны современная российская ситуация давно уже поставила жирный крест. И что пока общество пользуется теми политическими свободами, какими оно сегодня хотя бы формально располагает, никакой альтернативы реформированию страны на действительно демократической основе просто не существует.

Но пока такого лидера и поддерживающего его широкого общественно-политического демократического движения нет, я все же полагаю, что одним из путей к созданию такого движения может оказаться возникновение и активная деятельность хотя бы небольшой, но авторитетной группы людей, которые, выступая с ясной и всеобъемлющей программой демократических и либеральных реформ и с постоянной и бескомпромиссной, но и не обструкционистской критикой с этих позиций практических действий наличной власти, *сами заранее, громогласно и принципиально отказались бы от всякого личного участия в сегодняшней политической борьбе за власть*. Их дело — завоевать прежде всего именно нравственный авторитет — как своей программой необходимых преобразований, терпеливым ее разъяснением обществу, так и этим вот принципиальным своим отказом участвовать непосредственно в персональных предвыборных политических гонках и бегах. То есть — своей бескорыстной незаинтересованностью в получении каких-либо начальнических кресел, что и вызывает сегодня самое большое недоверие отчаявшихся людей.

Конечно, это парадоксальный путь — активная политически-просветительская, пропагандистская и публицистическая деятельность принципиальных неполитиков, то есть принципиально и практически *неполитическое политическое движение*.

Но, во-первых, повторяю, это только одна из возможностей, которая может привести, в конце концов, и к созданию достойного и широкого общественно-политического движения, ориентированного не формальными, а нравственно выверенными ценностями подлинного либерализма и демократии. А во-вторых, Россия сегодня более, чем когда-либо, страна парадоксов, и кто знает — может быть, нынешняя парадоксальная ситуация и требует именно парадоксальных решений. Возможно, я и ошибаюсь, но, говоря по правде, пока что никакого другого пути сегодня — в ситуации явного кризиса всех существующих у нас и вызывающих явное недоверие населения политических форм общественной жизни — я просто не вижу. Вот почему я и думаю, что нам более всего нужны сейчас люди, способные продолжить традицию *бескорыстного диссидентства* — традицию таких людей, как Сахаров. И таких, как Владимир Максимов.

Священник Георгий КОЧЕТКОВ

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Сначала небольшая оговорка: мы будем говорить о церкви и государстве, имея в виду не их идеальные образы, мы будем говорить не о тех Церкви и Государстве, которые полагается писать с прописной буквы, а о вещах эмпирически данных, и, следовательно, в первую очередь мы будем говорить о проблемах.

Вообще тема взаимоотношения церкви и государства всегда неоднозначна. Но тем более это верно для нашего времени. Каждый без труда найдет здесь то, чего желает. Можно, например, бесконечно восхищаться этими взаимоотношениями, говорить о том, как они улучшились со времен падения коммунистического строя в России. А можно говорить очень жестко, строго, критически. И все дело будет именно в акцентах и соотношениях, потому что набрать факты как одного, так и другого ряда не представляет большого труда.

Важно, однако, установить в этой теме наиболее трезвые и верные акценты и соотношения. Поэтому первое, с чего необходимо здесь все же начать, это трезвая констатация того очевидного факта, что отношения церкви и государства сейчас снова находятся в кризисе. И в кризисе достаточно жестком, если не сказать жестоком — кризисе, который неизвестно чем может завершиться, ибо последствия его непредсказуемы. Да, мы можем ясно видеть очень разные и неоднозначные тенденции, которые характерны в сфере этих отношений для нашего времени, для нашей российской жизни, но предсказать итог борьбы всех тех сил, которые вовлечены в эту борьбу, крайне трудно.

Что я имею в виду, говоря о кризисе отношений церкви и государства в современной России?

Есть целый ряд примеров, которые можно трактовать как весьма показательные симптомы этих кризисных отношений. Они же являются теми точками пересечения жизненных интересов церкви и государства, которые и придают этим отношениям поистине судьбоносный характер.

Конечно, прежде всего бросается в глаза тот факт, что государство по-прежнему хочет использовать церковь, — как, впрочем, и всякого рода политические силы, даже если они ныне не у власти. Но есть здесь и новые элементы. Так, новым можно считать обратное желание церкви использовать силы государственные для собственного блага — блага внешнего, хотя иногда и внутреннего. Все это вызывает, естественно, вопросы, иногда недоумения, иногда резкую критику, и мы на этом как раз и остановимся.

1. Итак, первый пример такого рода. Это третий Русский Народный Собор, прошедший в конце 1995 года в Москве. Собор явился собранием русских общественных движений, представлявших разного рода национальные силы. Правда, сказать, насколько он был представительным, насколько полно он представлял все движения и силы и насколько адекватно он их представлял, довольно трудно. Это вопрос сложный, и скорее всего здесь были свои проблемы. Но для нас в данном случае интересен прежде всего тот факт, что этот Собор (как и первый, и второй Соборы) организовывался при самом деятельном участии церкви — прежде всего Отделом внецерковных сношений. В нем активно участвовали церковные лидеры — и не только они. Церковь явно стремилась расширить свое влияние на общество, стараясь не потерять его прежде всего в кругах национально-патриотических.

Однако, говоря о третьем Русском Народном Соборе, нельзя обойти вниманием и некое новое весьма показательное явление. К прежнему, как бы уже традиционному для таких Соборов составу национально-патриотических сил добавились коммунисты и представители власти. Были на этом Соборе и глава российских коммунистов, и глава российского правительства. Таким образом, явственно обозначились некоторые новые точки пересечения интересов, возникшие в связи с новой расстановкой общественно-политических сил, с новой их организацией. И это, конечно, признак нового периода взаимоотношений церкви и государства — взаимоотношений, которые проходят через определенный кризис. Ведь ныне очень большое число политических сил ищет контактов с церковью, и церковь это знает — знает, что для многих она символ некоей стабильности, традиционности, устойчивости, даже как бы народной мудрости, средоточения народного русского, нередко именно русского, духа. И это дает возможность именно церкви попытаться неформально возглавить те или иные общественные силы в их работе по созиданию нового общества и государства, — возможность, реализация которой способна, как нетрудно понять, очень серьезно повлиять и на внутреннюю и на внешнюю ситуацию в церкви. Что, понятно, может иметь весьма неоднозначные последствия.

2. Второй пример — ситуация в Эстонии, где, как известно, весной 1996 года произошел раскол между Москвой и Константинополем, между двумя юрисдикциями. Раскол этот был спровоцирован национально-политическими силами эстонского государства, и он сразу вышел далеко за рамки только церковно-канонические. Понимание этого раскола немыслимо без контекста национально-политического кризиса, оформления новых взаимоотношений между Россией и бывшими ее частями, в том числе и Эстонией. Как известно, именно эстонское правительство поддержало константинопольскую юрисдикцию и сделало все для того, чтобы освободиться от влияния Москвы через московскую юрисдикцию Эстонской православной церкви — как части именно Московского Патриархата.

Для церкви этот раскол — явный и тяжелый симптом кризиса, говорящий о том, что старые болезни выходят наружу.

Вопрос о сути этого раскола достаточно сложен, и мы не будем его здесь разбирать подробно. Однако всем известно, что между двумя лидирующими православными церквями давно существует некое напряжение, которое основано прежде всего, на наш взгляд, на недостаточном взаимоуважении.

Московский Патриархат чувствует свою силу, основанную на многочисленности Русской церкви, и отсюда некоторое горделивое превозношение над другими, желание определять судьбы Православия во всем мире.

Нечто подобное мы видим и в Константинополе, хотя там ощущение силы возникает не от многочисленности (волею судеб это ныне одна из самых малочисленных церквей), а от опоры на древнюю традицию,

которая поставила эту церковь в положение некоего первенства чести среди других православных церквей. Плюс именно сама древность этой церкви, а по преданию — и ее апостольское происхождение делают ее достаточно авторитетной.

Православие всегда боролось против амбиций «Первого Рима», «Древнего Рима», но теперь случилось так, что поссорились «Рим Второй» с «Третьим». И в результате и Москва, которая канонически совершенно права в этом споре, и Константинополь, и Таллин, и непосредственно втянутые в этот конфликт Финская православная церковь, Хельсинки, Котла, исходят не вполне из интересов Церкви, Церкви с большой буквы, а как раз из более частных, местных своих интересов, нередко даже не в чистом виде церковных, а, скажем, национальных, экономических и даже государственных. За этим стоят силы, представляющие неопاپизм Константинополя, национализм Эстонии и Финляндии, но, к сожалению, и пережитки тоталитаризма в сознании и действиях Москвы.

Московская Патриархия не скрывает, что действует из соображений защиты в первую очередь русскоязычного населения в Эстонии и что при этом она имеет еще и свой экономический интерес, особенно в Таллине и в Пюхтицах. Но скрывает те методы, которыми привыкла пользоваться, решая внутрицерковные проблемы и дела, — методы, часто не предполагающие достаточного уважения личности и принципа местной соборности. Константинополь же не скрывает, что действует из соображений политической конъюнктуры, которая обернулась для него выгодным образом. Но скрывает свой интерес в экономике и церковном первенстве, отчасти понятом в духе западного папизма.

Таким образом, здесь снова больше политики, чем духа. Не случайно произошла некая тяжба президентов России и Эстонии, государственной Финской церкви, не случайно здесь посредничество греческого посольства в Москве, желающего помочь в разрешении межцерковного конфликта. И все это превосходство политики и экономики над духом может родить только новый компромисс, если окончательно будет решен вопрос о взаимоотношении двух юрисдикций в Эстонии. Но где компромисс, там новые кризисы в будущем.

Итак, церковь и государство ищут новые формы взаимоотношений на культурно-историческом и национальном фоне — но, как видим, ищут так, что это грозит расколами и кризисами внутри них самих.

3. Третий пример нового кризиса в отношениях церкви и государства — это восстановление храма Христа Спасителя в Москве. С одной стороны, конечно, это грандиозная стройка, это элемент восстановления исторической справедливости, как об этом и говорят нередко. Это удовлетворение настоящей, подлинной нужды Русской Православной церкви в большом кафедральном соборе, а также и в зале для больших собраний, поместных соборов и так далее. Это все подлинно, это все настоящие нужды нашей церкви, которые как-то нужно удовлетворить.

Но, с другой стороны, здесь остается вопрос о том, время ли сейчас для таких строек, нужны ли сейчас вообще огромные храмы, где нет места личностному измерению и проявлению местной соборности, столь не случайно попираемым нередко ныне в России? Хуже того — не восстанавливается ли с этим строительством величественного храма гордыня церковной и государственной власти, не восстанавливается ли претензия на *Государственное Православие*? А это очень важно, это было бы свидетельством нового кризиса во взаимоотношениях церкви и государства в России.

Есть много фактов, которые подталкивают здесь, увы, к выводам достаточно неутешительным. Да, оказывается огромная помощь в строительстве со стороны общества, народа и государства (подчеркиваю — *и государства*), особенно правительства Москвы. И при этом негласно и гласно этим правительством и его органами даются рекомендации банкам и коммерческим организациям помогать церкви с указанием конкретного адреса: на восстановление храма Христа Спасителя.

Но ведь и сама церковь возлагает здесь свои надежды на государственные органы. Так она просила у президента и Думы разрешения на торговлю то куриными окорочками, то нефтью с целью поддержки грандиозного строительства. (Бюллетень «Благовест-инфо» от 5 марта 1996 года: «В ходе недавней встречи Алексия II с Борисом Ельциным обсуждался вопрос о предоставлении церкви 650 тыс. тонн нефти для беспопылинной продажи на Запад».)

Таким образом, и в государственных органах, и в церкви как будто все за такое строительство. Но не нужно быть очень уж проницательным, чтобы не видеть, что господствует здесь нередко именно любовь по расчету. И она и питает гордыню, сектантскую психологию как в церкви, так и в обществе, в государственных учреждениях, где много людей, которые размышляют по принципу: мы, мол, единственно верные, правые, православные, значит мы и победим. Забывается то, что «Бог не в бревнах, а в ребрах», как говорит русская поговорка. Хуже того — такого рода проекты утверждают человекоугодничество и духовный синкретизм в самой церкви, что, конечно, тоже меняет ситуацию не к лучшему.

Приведенные примеры и говорят именно о таких переменах. А жизнь тем не менее диктует нам, говорит нам об острой нужде в действительных изменениях взаимоотношений церкви и государства. Но — в лучшую сторону. И надо было бы немедленно отстаивать — с необходимым учетом современной ситуации — именно такие изменения к лучшему. Хотя ясно, что они ни для церкви, ни для государства не являются «выгодными». И поэтому-то, видно, и не проходят.

Ну, например, вопрос о реституции церковной собственности, которая уже спокойно прошла почти во всех посткоммунистических странах. У нас же всерьез об этом заговорили на уровне высшем, государственном,

только после вступления России в Совет Европы. Нам, выходит так, именно Европа помогла в том, что должно было идти изнутри жизни народа, церкви и всего общества. Реституция законодательно не проходила, ибо и сейчас еще у многих ответственных лиц в государстве и церкви недостаточно развито правосознание, покоящееся на понятии о долге, чести и справедливости. Недостаточно и взаимодействие между церковью и государством (иногда и не без оснований, как о том замечательно пишет, например, профессор Поспеловский в 172-м номере «Вестника русского христианского движения» в статье под названием «Некоторые проблемы современной Русской Православной Церкви: ее внутренней жизни, культуры, образования»).

Недостаточно, конечно, не только взаимодействия, но и взаимоуважения между церковью и государством. И это и приводит к тому, что вопрос о реституции долгое время не мог быть даже и поставлен всерьез.

Впрочем, главная причина все-таки в том, что реституция многим действительно невыгодна. Невыгодна государству, ибо ему пришлось бы отдать (и много) из того, что привычно считать своим, что приносит большой (нередко и личный) доход; невыгодно, как это ни странно, и церкви, ибо при нынешнем положении вещей возвращается обычно только часть церковной собственности, да и то по довольно трудно систематизируемому принципу выбора того или другого объекта. А по этой системе церкви можно ведь выбирать как бы «под себя» — по стовору с властью, возвращая церковную собственность лишь тем, кто для церковной власти хорош, кто ей угодил. Так что здесь снова объединяются по расчету церковная и государственная власти: как договорятся, так и будет, не договорятся — не будет.

Необходимо было бы использовать авторитет церкви и для гуманизации всей жизни в современной России. Эти вопросы дискутировались, ставились, но опять же всерьез были приняты как норма только с вступлением России в Совет Европы. Я имею в виду такие важнейшие вопросы, как отмена смертной казни, пыток и унижения человеческого достоинства государством, отмена безальтернативной военной службы, рабского труда и столь же рабских условий содержания заключенных. Увы, церковь не всегда выступает против насилия, а иногда даже поощряет его и сама действует с его помощью. Хотя насилие — это бич нашей современной жизни, и голос церкви против всякого насилия здесь мог бы сыграть большую роль. А между тем ведь промолчали же официальные церковные инстанции в случае с Глебом Якуниным, с которого насильно срывали священнический крест на глазах всей Государственной Думы. Как бы ни относиться к вопросу о возможности ношения этого креста Глебом Якуниным в то время, это было насилие над старым человеком, который долго служил как священник, который сидел при коммунистическом режиме за свою деятельность в защиту прав верующих в стране, и это молчание произвело крайне тягостное впечатление.

Увы, молчат и когда насильно освобождают храмы для церкви от учреждений, которые по тем или иным причинам не спешат оттуда выезжать. Но насилие не оправдано ничем, и здесь также необходимо было бы однозначно об этом заявить и сделать соответствующие практические выводы, не принимая даров, вырванных насильно из рук других. Увы, молчат и когда разгоняют свои же церковно-приходские общины, ибо они «не такие, как все»...

Да, духовный синкретизм и человекоугодничество, о которых мы уже упоминали выше в связи с проблемами восстановления храма Христа Спасителя, в связи с не всегда должными взаимоотношениями церкви и государства в точках пересечения их интересов, — эти духовные синкретизм и человекоугодничество растут, как грибы после дождя. И это ведет к тому, что государственные и церковные деятели часто одновременно выступают и «за» и «против» одних и тех же вещей в современной жизни — то есть часто поддерживают вещи взаимоисключающие. Создается впечатление, что нет внутренней позиции и последовательного ее проведения в жизнь. Это тоже оказывает свое влияние на современные события — в частности и в Эстонии.

Вот несколько примеров из этой области.

Как известно, церковь нередко выступает против национализма, закрытости, антиэкуменизма, фундаментализма, интегризма. Но она же нередко выступает и *за* них! Неслучайно в одной из двух-трех православных газет в Москве, в «Православной Москве», перед последними выборами в Думу, редакция успела познакомить читателей лишь с лидерами национально-патриотических и коммунистических, но отнюдь не демократических сил, дав место для обширных интервью лишь с Зюгановым, Лапшиным и Глазьевым. Церковь перед лицом общества и государства явно хочет быть своей для всех сразу. И это может привести к духовно-нравственной катастрофе.

И второй пример таких вот выступлений «за» и «против» одних и тех же вещей одновременно. Церковь выступает против превращения Православия в государственную религию и официальную идеологию, о чем неоднократно заявлял и святейший патриарх Алексий II. Но все чаще выступает и *за* такую «интеграцию», о чем говорят даже те архиереи, которые не являются «ястребами». Например, новый митрополит Санкт-Петербургский Владимир, который в интервью финскому журналу «Православные вести» сказал в ответ на вопрос — хотел ли бы он, чтобы церковь стала государственной: «Я думаю, да, так как церковь у нас самая многочисленная, и считаю, что такое сотрудничество было бы на пользу и государству, и церкви». Нельзя при этом не учитывать, что есть и «ястребы», готовые бороться с инославием, инакомыслием самыми агрессивными методами. Тут можно привести, к примеру, высказывание епископа Владивостокского Вениамина в газете «Русь Православная», являющейся приложением к коммунистической газете «Советская Россия». «Против сектантов, — сказал он, — надо применять специальные

духовно-государственные средства точно так же, как мы применяем средства от моли, ржавчины и бацилл». Об этом так же сообщал информационный бюллетень «Благовест-инфо», цитированный выше.

Увы, двойные стандарты в церкви и государстве — не новость. Они обращают на себя внимание во взаимоотношениях церкви и государства уже с конца III или IV века. Но это — опасное раздирание церкви и общества изнутри. И это — свидетельство замирания в церкви духа свободы, о чем писала 60 лет назад в Париже преподобномученица мать Мария Скопцова, размышляя о том, что будет в России с церковью после ее признания властью. Она говорила, выступая перед монашествующими: «Нельзя иметь никаких иллюзий в случае признания церкви в России и в случае роста ее внешнего успеха; она не может рассчитывать ни на какие иные кадры, кроме кадров, воспитанных во вне критическом, догматическом духе авторитетов. А это значит — на долгие годы замирание свободы, новые соловки, новые тюрьмы и лагеря для тех, кто отстаивает свободу в Церкви» (эту цитату можно найти во II томе на странице 248 воспоминаний матери Марии, которые были изданы в Париже).

Эту опасную двойственность стандартов в церкви, в государстве и в обществе по-своему отражают средства массовой информации. И об этом тоже надо сказать несколько слов.

Конечно, наши СМИ тоже достаточно синкретичны уже сами по себе, а часто к тому же еще не очень патриотичны и не очень компетентны в церковных вопросах, — в противовес, может быть, слишком патриотической прессе. И потому и в средствах массовой информации мы тоже найдем нередко высказывания и «за» и «против» государства, как и «за» и «против» церкви. То они красуются, хвалятся церковью, то расшатывают ее и провоцируют расколы в ней, уход в секты или в неверие и агностицизм.

Вместе с тем мы должны признать, что и для того и для другого есть, увы, достаточно и реальных оснований. С одной стороны, есть чем хвалиться: за плечами тысяча лет христианства, великие святые и деятели всех лучших творческих эпох русской церковной истории. Но с другой стороны, эти же средства массовой информации, журналисты, работающие там, не испытывают доверия к существующей церкви, потому что хорошо помнят, что в церкви так и не было ни покаяния в компромиссах с властями, особенно безбожными, ни осуждения неоправданного сотрудничества ее деятелей с КГБ.

Чем объяснить отсутствие этого покаяния и осуждения? Конечно, прежде всего именно тем, что очень быстро возрос и укрепился в сознании церковного народа призрак симфонии церкви и государства. Утопия «Святой Руси» не видит исторических реалий и их противоречий — того, что Русь, Россия, как и ее Церковь, всегда была и великой и убогой, и богатой и нищей, и святой и грешной. Именно нетрезвенность современного церковного сознания привела к тому, что реальные серьезные проблемы внутреннего очищения церковной и общественно-государст-

венной жизни оказались вне центра внимания многих людей и, были практически сняты, естественно, с повестки дня.

Поэтому общий вывод, который мы могли бы сделать из всего сказанного сегодня, можно сформулировать так: главная опасность и для церкви, и для государства, и для современного русского общества — это призраки и утопии, это все виды псевдоморфоз, фантазмов и виртуальных реальностей. А чтобы избежать этой опасности, первым шагом для всех христиан должна быть аскеза. И значит — нестяжание, целомудрие (в том числе и в браке), послушание (в конечном счете всегда Богу), трезвение, различение духов, а также покаяние, терпение, смирение и вместе с тем — обязательно — дерзновение и упование в борьбе со всяким злом и грехом внутри и вокруг себя.

Только тогда церковью будет завоеван необходимый духовно-нравственный авторитет в народе, обществе и государстве, не требующий соединения несоединимого, но идущий изнутри церковной жизни.

Только тогда исчезнет опасность раскола, не будет нужды идти на те или иные компромиссы, опираясь на силу государства в церкви.

Только тогда и государство сможет реально опереться на церковь, слыша в ней голос совести народа и общества, причем всего, а не одной какой-либо выгодной ему части. И только тогда и церковь сможет полноценно нести слово Истины и Правды, Любви и Мира, которыми одними лишь и можно исцелить наше общество и государство, помочь им преодолеть в себе безверие и торжество распада и смерти.

Андрей ЗУБОВ

РОССИЯ НА ПУТЯХ ПРАВОПРЕЕМСТВА

Проблема, которой посвящено мое выступление, — это не узко юридическая проблема, не проблема даже государственно-политическая. И юридическое, и государственно-политическое склонение темы есть лишь отражение ее глубокой нравственной и духовной первоосновы. Ведь закон — это не своевольное измышление каких-то отдельных гениальных или талантливых людей. Закон, как мы знаем из истории человечества, складывается веками и тысячелетиями, закон современен народу, с законом растет народ. В сущности, закон — это то, что определяет человеческие отношения, соизмеряя человеческое божественному, наше несовершенство — некоторому идеальному замыслу о человеке.

Каждому народу дается, или, если угодно, каждым народом обретается свое законодательное измерение. Оно растет вместе с ним, с ним развивается, с ним становится. Оно знает свои моменты деградации и упадка, свои моменты восстановления и триумфа. И поэтому законодательство —

это, если угодно, лицо, душа общества, одно из отражений, одно из зеркал этой души.

И мы знаем, как совершенствовалось, как постепенно развивалось русское законодательство, взяв свое начало в Византии, в юридических кодексах, в канонах Византийской империи, являющихся, в свою очередь, органическим развитием классического римского права. Как появились потом оригинальные русские тексты, строившиеся на синтезе этой, шедшей из Византии традиции, с древним автохтонным, может быть еще дославянским субстратом правовой культуры, которая заметна, скажем, в «Русской правде», где есть ряд элементов, очень близких к древнейшему индо-арийскому и авестийскому обычному праву.

Постепенно, совмещаясь с христианством, с Византией, с правовыми уложениями княжеской Руси, становилась, выстраивалась система права в нашей стране. Она, безусловно, не была совершенна, потому что не был совершенен сам человек, он и сейчас несовершенен. Но она была со-ответственна народу, если угодно, релевантна ему.

И вот, в начале XX века, после долгих сомнений, переживаний, конвульсий Россия перешла к некоторым основаниям либерального демократического общества. Как раз в этом году, и буквально через несколько недель, нам следовало бы отпраздновать (да вряд ли кто вспомнит) знаменательную дату — 23 апреля 1906 г. России была дарована первая конституция. Россия стала конституционной монархией. Впервые часть корпуса российского законодательства была выделена в особый свод, с особой устроенной формой принятия, названный Основными государственными законами, составив какой-то вариант конституции. Юристы в то время так и называли их: Конституция Российского Государства. Начиная с Екатерины Великой отечественная государственно-правовая мысль развивалась в направлении создания некоторого свода законов, обязательного не только для подданных, но и для самого монарха, — законов, над которыми единоличная воля царя не властна. Проекты графа Мордвинова, предложения Сперанского, конституционные соображения Грановского и графа Лорис-Меликова обрели юридическую плоть в Основных Государственных Законах 1906 года.

Если мы посмотрим на эти Основные Государственные Законы, то обнаружим в них две удивительные вещи. Первая — что в некоторых своих важнейших аспектах они достаточно близки российской Конституции 1993 г. И это не потому, что авторы Конституции что-то списывали с императорских законов. Причина сходства, думаю, в том, что когда общество попыталось вновь утвердиться в 1993 году на правовой основе, оно с неизбежностью, несмотря на все изменения прошедших десятилетий, воспроизвело себя. И вторая особенность законов 1906 г. — то, что они во многих своих отношениях запечатлели уровень правового сознания и правовой мысли, который был тогда буквально новаторским. Например, раздел о правах человека в основных государственных законах представлял собой одну из самых совершенных законодательных форм в этой

области, созданную к тому же задолго до декларации прав человека ООН. И, в отличие от конституций СССР и РСФСР, эти законы предполагались к исполнению. Другое дело, что полностью в предреволюционной России реализованы они тоже не были.

Итак, Россия до 1917 г. развивалась в определенном правовом пространстве. Она постепенно изживала черты авторитаризма, переходила к элементам демократического общества, сохраняя те традиции и те основания, которые были веками характерны для русской государственной жизни.

Но в 1917 г. произошла катастрофа. Ее совершили мы сами, люди России. Мы совершили то, что не делалось нигде и никогда, что было неслыханно в истории человечества. Мы отказались от всего корпуса национального права. Не только Основные Законы, но всё, вплоть до уголовного или гражданского кодекса, до всех правовых уложений, которые веками постепенно складывались в Российском государстве, — все было уничтожено. Такого не было никогда, нигде. Это был беспрецедентный нигилизм. И хотя целый ряд стран, например Франция эпохи Великой Французской революции, стремились, кажется, к полному отвержению своего отечественного правопорядка, никто не сумел вполне осуществить эту цель.

Но стоит ли гордиться нам таким своим первенством? Отвергнув тысячелетием формировавшийся организм отечественного правопорядка, что получила Россия взамен?

Нет, она не получила лучшего права, чем предшествующее, и даже не получила права худшего, чем предшествующее. Она вообще не получила никакого права. Ибо то, что появилось в России после 1917 г. под названием «конституций», «основных законов», «кодексов» и «уложений», в очень малой степени предполагалось к исполнению. Это была юридическая декорация, ширма. Вы знаете, что конституции советского периода декларировали все права человека: свободу совести, свободу слова, свободу выезжать из страны и возвращаться в нее. Они декларировали демократическую избирательную систему, всевластие парламентских структур, которые назывались советами. Но в действительности, как опять же хорошо известно, ничего этого не было и не могло быть. Из права, пусть несовершенного, но такого, какое мы сами заслужили и выработали, мы вошли в область правовой фикции. И в этой правовой фикции пребывали семь с половиной десятилетий. Фактически — до принятия конституции декабря 1993 года.

Эта правовая фикция не была единственной формой юридических отношений в СССР. Этого и не могло быть. Какие-то регуляторы отношений должны всегда существовать в обществе, чтобы общество не распалось. Регулировали отношения различные подзаконные акты, различные рекомендации, различные инструкции и особенно то, что вошло в историю нашей страны под названием телефонного права. Мы семьдесят пять лет жили вне закона, в пространстве незаконном.

И что же произошло после этого? А после этого произошло то, о чем мечтала в последние десятилетия советской власти большая часть наших инакомыслящих, наших диссидентов, наших шестидесятников. Они мечтали, чтобы фиктивная конституция стала действительной. Если декларирована свобода слова — должна быть и на деле свобода слова, если декларировано всевластие советов — должно быть всевластие советов. То есть диссиденты надеялись правовую фикцию воплотить в реальность.

К сожалению, на практике это оказалось неисполнимо. Неисполнимо не потому, что мы это после 1989 года делали неумело или плохо, а потому, что фикция по определению не может быть претворена в жизнь. Если, скажем, игрушечную кастрюлю, сделанную из пластмассы, очень красивую, яркую, но не предназначенную для варки пищи, поставить на огонь, результат такого эксперимента для любой хозяйки будет очевиден. Примерно то же самое произошло и с нашим советским правом. Оно не выдержало соприкосновения с реальной жизнью, когда право телефонное, когда право подзаконных актов, когда право коммунистической вертикали исчезло.

Одна за другой рушатся советские правовые структуры. Ушло в небытие всевластие коммунистической партии. Ушло в небытие всевластие советов. Сейчас очень серьезные испытания приходится переживать федеративной системе, тоже одной из наследниц советской власти. Федерация из фикции пытается стать реальностью, и известно к каким печальным последствиям это приводит.

Но не возвращаемся ли мы в порочном, в замкнутом круге? Не есть ли попытка сделать живым то, что всегда было мертвым, — ложная попытка? И каков же выход?

Выход настолько прост и настолько очевиден в своей теоретической форме, что удивительно, что он до этого не был у нас в стране никем выговорен как некоторая политическая идея и цель, хотя был многократно реализован за границами России, в Восточной и Центральной Европе, Прибалтике.

Надо перебросить мост из права реального, докоммунистического в современность. Необходимо осуществить обращение к тому праву, которое было отвергнуто, как у нас в России, или глубоко нарушено, как в странах Восточной Европы.

Это обращение к историческому правопорядку очевидно и в то же время кажется неисполнимым. Очевидно оно в логической системе, потому что странно, когда нам сейчас надо закономерным порядком отменять законы, которые были приняты советской властью в 1918—1919 годах, — властью, которая с великим насилием над законом была установлена в нашей стране. Всё, что узурпирует власть насилием, не может само рассчитывать на уважение к себе как к законному, правовому институту. Бандит, схвативший человека, увлекший его за собой в пещеру и совершивший ограбление, не может быть правомочным корреспондентом

том в отношении своей жертвы. Он может быть только подсудимым. И поэтому, с одной стороны, крайне странно, что мы ведем все наше современное право от права 1918 года, как будто бы до этого не было России. Но, с другой стороны, когда мы начинаем думать о правопреемстве не как о теоретической проблеме, а как о проблеме практической, перед нами встает масса вопросов, низводящих, казалось бы, эту идею к нелепости.

Как мы приспособим законодательство 1906 г., сформированное в стране сословной, в стране династийной, монархической, к современным условиям? Возможно ли это?

Опыт Восточной Европы предлагает достаточно простой вариант перехода. Дело в том, что всюду правопреемство осуществляется, как правило, в два такта. В начале парламент страны или референдум, т.е. воля всего народа, заявляют о том, что они стремятся восстановить правовое единство с докоммунистическим прошлым. Это, если угодно, декларация о намерениях. Когда референдум или парламентский акт фиксируют это положение, начинается конкретная рутинная работа, которая может длиться несколько лет, даже немало лет. Работа по подгонке, по изменению, по подстройке докоммунистического права к реалиям сегодняшнего дня. Этот нелегкий процесс идет, пока продолжает формально действовать право посткоммунистическое, а не докоммунистическое. И только когда этот процесс подстройки в целом завершается, тогда принимается государственный акт об обращении к историческому правопорядку.

В принципе, это — проверенный механизм, и он может вполне эффективно воплощаться в жизнь. В нем есть своя логика и свой смысл. Но когда заходит речь о России, то тут же возникает несколько подозрений. Когда начинаешь вести речь о правопреемстве, тебе сразу говорят: да ты монархист! Да ты империалист! Ты хочешь восстановить Российскую империю, ты хочешь воссоздать монархию...

Попробуем ответить на это *reductio ad absurdum*. Вопрос о монархии — когда он, собственно говоря, реально обсуждался в России? Когда этот вопрос демократическим образом был решен? Мы что, имеем волю народа на учреждение в России республики? Когда это было? Этого не было никогда. Было провозглашение 1 сентября 1917 года Временным комитетом по созыву Учредительного собрания («предпарламентом») во главе с Авксентьевым России республикой. Но это — абсолютно незаконный акт, не имевший легитимной базы. Ведь Временное Правительство, которое санкционировало «Предпарламент», никем не назначалось и не избиралось. Единственным оправданием его существования были слова Манифеста великого князя Михаила Александровича от 3 марта 1917 года: «Всем гражданам Государства Российского впредь до созыва Учредительного собрания подчиниться Временному Правительству, Государственной Думой уполномоченному». Но поскольку отречение Николая II в пользу брата было совершенно незаконным, никакие распоряжения Михаила

законной силой тоже не обладали. Это, кстати, прекрасно понимали сами члены Временного Правительства.

Таким образом, быть ли России монархией или республикой, надо решать демократическим порядком сейчас. А может быть, даже и в будущем. Потому что народ наш пока скорее всего не способен обсудить и принять взвешенное решение по столь важному вопросу. Но до того, как такое решение будет принято, мы не можем считать Россию ничем иным, как только монархией. А как же иначе? Иначе мы признаем законным насилие, законным свержение династии, законным расстрел императорского дома. И тогда получается, что мы вместе с теми, кто совершил эти насилия. Но можно ли на фундаменте крови и насилия построить будущую Россию? Уверен, что нет.

Нет, Россия не обязательно должна быть монархией. Но если мы обращаемся к правопреемству, то мы должны считать, что сейчас в России существует форма, хорошо известная российскому законодательству. Это форма государственной опеки и правительства, когда во главе государства в отсутствие монарха стоит правитель России, который и осуществляет функции главы государства. По законам Российской империи такого правителя назначал умирающий император при малолетнем наследнике. У нас сейчас нет ни умирающего императора, ни малолетнего наследника. И поэтому совершенно очевидно, что единственная форма легитимизации — это выборы Верховного правителя народом. Правитель России сейчас должен быть высшей выборной должностью. И эта легислатура должна существовать до тех пор, пока на всенародном референдуме народ не скажет, желает ли он сохранения монархии или установления республики. Если сохранения монархии, то собирается Земский собор и определяется, какая династия будет царствовать в России, поскольку, по основным законам Российской империи, правившая до 1917 г. династия Романовых безусловно пресеклась. Если же народ России выберет республиканскую форму властного устройства, то законы меняются таким образом, что Верховный правитель становится постоянной высшей легислатурой страны. То есть вопрос о форме государственной власти открыт, но он должен быть решен в закономерном порядке. Мы не можем стяжания большевиков, стяжания революции считать своим наследием. На таком наследии мы далеко не уедем.

Тот же самый подход и в вопросе о пространстве империи. Российская империя развалилась в результате революции. Это совершенно очевидно. Мы не можем признать факт этого развала, поскольку он был совершен незаконным путем. Если бы законная государственная власть предоставила закономерным порядком независимость своим территориям, как, например, Великобритания предоставила в 1947 году независимость Индии актом об Индии, тогда никаких разговоров бы не было. Но то, что сделано насилием, что совершено во незаконном пространстве после марта 1917 года, это мы не можем принять как юридическую реальность. И поэтому в некотором идеальном юридическом пространстве Россий-

ская империя, как пространственная целостность, продолжает существовать. И мы должны дать возможность людям опять же в каждой части этой юридически существующей империи свободно определиться, желают ли они преемства с Российской империей, или они предпочитают независимость от нее. Ежели независимость, должен быть формальный акт о предоставлении независимости. Ежели правопреемство — то эта территория сливается с территорией нынешней Российской Федерации, если ее граждане уже объявили о своем намерении осуществить правопреемство.

Никто недобровольно, никто насильем не может быть вовлечен вновь в Государство Российское. Но мы не имеем права лишать людей возможности принять правомерное решение, хотят ли они жить вместе, в одном государстве, или не хотят. Это их безусловное право, и такую возможность им необходимо предоставить. Хотя, опять же, может быть не немедленно после актуализации правопреемства в нынешней Российской Федерации. Ныне страсти, накаленные после развала Союза ССР, еще не остыли, память о советской национальной политике, о советском федерализме слишком свежа. Страсти должны успокоиться, люди должны понять, осознать проблему воссоединения на основах обращения к дореволюционной российской государственности. И тогда только на демократических референдумах народы входивших когда-то в состав России государств смогут обнаружить свою волю.

Ничего принципиально ужасного и страшного в постановке вопроса о пространственном единстве России нет. Неужели какая-нибудь из частей бывшей Российской империи хочет считать свое право на независимость стяжанием революции, стяжанием крови и беззакония? Может ли она, эта часть бывшей Российской империи, надеяться так построить свою независимость? Не будет ли тогда эта новая держава вновь и вновь сама обращаться к беззаконию? Ведь то, что началось с крови и беззакония, неизбежно, как в античной трагедии, будет вновь и вновь Роком толкаться к этому своему истоку и началу. И мы знаем, что такие вещи происходят, к сожалению, не только в афинской драме. Не дай Бог им происходить у нас и впредь. Намного лучше решить проблему государственных отношений закономерным путем, нормальным путем, признав незаконным, незаконным выход России за пределы ее правового пространства и последовавший затем распад государства.

Да, правопреемство в России — это очень сложная проблема. Но нельзя забывать ее, нельзя сказать, что этой проблемы нет. Нельзя закрыть глаза. Мы обязаны рассмотреть ее во всей полноте, во всех ее сложностях, во всех ее ловушках и во всех ее достоинствах; рассмотреть и найти тот оптимальный путь, который позволит России вновь стать Россией.

Александр БРАГИНСКИЙ

ЭТО БЫЛО ПОХОЖЕ НА СУД ЛИНЧА...

Эту историю я впервые услышал год назад от члена редколлегии «Континента» и постоянного автора нашего журнала Андрея Борисовича Зубова — добрый и давний знакомый Александра Павловича Брагинского, он знал о случившемся с ним не по тем беглым сообщениям, которые промелькнули в 1993 году в прессе (в частности, в «Московском комсомольце»), а от него самого. История эта поразила меня тем более, что именно в это самое время, когда Андрей Борисович Зубов рассказал мне ее, у меня произошел очень тяжелый для меня внутренний духовный разрыв с одним близким мне человеком, расхождение с которым началось еще как раз в связи с событиями вокруг Белого дома в октябре 1993 года. Я с самого начала воспринял и пережил случившееся как кровавую трагедию, в которую страна оказалась втянута исключительно из-за конфликта двух борющихся за власть номенклатурно-политических группировок, ни одна из которых не имела права разрешать его теми способами, к которым прибегли и «восставшие», и те, кто «подавлял бунт», расстреливая Белый дом. Они не имели на это права именно как политики, хотя втянутые в их кровавую разборку и мало что понимавшие в происходившем сотни и тысячи людей, одни из которых были движимы возмущением и протестом против начатых исполнительной властью непопулярных реформ, подорвавших жизнь страны, а другие — столь же понятным желанием противостоять реальной угрозе возвращения коммунизма со всеми прелестями его всем памятного режима, придали октябрьским событиям очень не простой характер, включив в них, с одной стороны, несомненным элементом народного восстания, а с другой, со стороны противостоявших им людей, — столь же несомненный пафос защиты обществом не столько обретенной, сколько жаждаемой, ожидаемой и только еще обретаемой в тяжелых муках демократии. Обо всем этом я публично сказал на одном из случившихся тогда собраний интеллигенции уже через два дня после событий. Мой же оппонент — в жестоких спорах со мной и с одним из моих друзей — упрямо стоял на том, не желая слушать — не слыша — никаких аргументов, что бандитская власть Ельцина совершила незаконный государственный переворот, расстреляв, арестовав или разогнав сотни и тысячи людей, действовавших совершенно законно — недаром их возглавляли такие истинные и бескорыстные патриоты России, подлинники защитники народа, как Руцкой, Хасбулатов и не покорившиеся Ельцину депутаты разогнанного Верховного Совета... Политическая наивность нашего оппонента, превратившаяся постепенно в упрямую политическую слепоту, завела его, в конце

концов, очень далеко — не только политически, но даже, увы, и по-человечески, жестоко изменив его духовно-нравственный облик. Но это уже отдельная и особая история, а сейчас, возвращаясь к истории Александра Павловича Брагинского, рассказанной мне А.Б. Зубовым, я должен сказать, что у меня уже тогда появилось желание познакомиться с Александром Павловичем и непременно записать его рассказ во всех подробностях. Ибо чем больше я читал разного рода материалов, посвященных этим событиям и в изобилии появлявшихся на страницах газет и журналов не только сразу после событий, но еще долгое время и после них, тем яснее мне становилось, что для того, чтобы разобраться в них до конца, нужно располагать как можно большим числом действительно достоверных, фактических свидетельств непосредственных очевидцев и участников этих событий с обеих сторон — людей, «показаниям» которых действительно можно доверять. У меня не было сомнений, что «Континент», по возможности, тоже должен принять участие в работе по собиранию такого рода свидетельств, а все, что я знал об Александре Павловиче Брагинском, достойнейшем человеке, серьезном ученом, авторитетном общественном деятеле, убеждало как раз в том, что его рассказ, сколь бы ни был он для него тяжел, безусловно мог бы стать одним из таких свидетельств — и, быть может, из драгоценнейших. А потому и нужно попытаться убедить Александра Павловича сделать свою «октябрьскую» историю достоянием общественности.

Познакомиться с А.П. Брагинским мне удалось, однако, только в начале этого года — в связи с возникновением общественного движения «Правозащитство», в оформлении и организации которого со стороны московской мэрии он сыграл очень большую роль. И мы с А.Б. Зубовым сумели уговорить его дать мне согласие на такое интервью.

Но вскоре события 93 года опять Александру Павловичу аукнулись, состояние его здоровья ухудшилось, врачи перевели его на домашний больничный режим, и только недавно, не дожидаясь его возвращения на работу, я все-таки решил его побеспокоить и напомнить о нашей договоренности, которую, сказал я, мы могли бы все-таки, наверно, как-то реализовать и у него дома, если он не против и если состояние его здоровья это ему позволяет. Александр Павлович согласился, и в один из июльских дней я приехал к нему с диктофоном. Он сильно изменился, похудел, вновь вернувшаяся болезнь привела к тому, что он начал испытывать физические затруднения с речью, и было больно видеть и сознавать, что именно на эту физическую немощь обречен человек такого ума, такого ясного сознания и такого четкого мышления. Но он был так бодр и расположен; а его мать Лидия Марковна, хлопотавшая вокруг сына и немедленно пригласившая потчевать нас чаем, так гостеприимна и приветлива, что очень скоро меня оставило чувство неловкости от того, что вот-де, приехал мучить больного человека... И мы провели часа полтора в оживленной беседе, во время которой я часто задавал разного рода уточняющие вопросы, переформулировал, уточнял, пробиваясь через почти непреодолимую скромность собеседника, легко не любящего говорить о себе, интересующие меня подробности. Внимал я хотел

свести услышанное в некий единый и цельный «сплошной» рассказ, но, прослушав пленку, понял, что гораздо лучше, если наша беседа будет записана именно так, как она происходила — в том реальном, живом ее течении, которое достовернее любых редакторских правок и стилизаций.

Вот она, эта беседа, начавшаяся с моей просьбы к Александру Павловичу просто рассказать все, что с ним случилось в те дни и что он пережил, как можно подробнее — заботясь только о том, чтобы припомнить, по возможности, все детали...

Игорь ВИНОГРАДОВ

— Я был в то время заместителем Лужкова по общественно-политическим вопросам и в тот день — 3 октября — дежурным по городу. Все эти дни я постоянно находился в мэрии, в здании бывшего СЭВа, и, в общем, было похоже, что ситуация стабилизируется. Так и в тот день, 3 октября — я приехал в мэрию с утра, в здании и около Белого дома по-прежнему была милиция, солдаты, и я видел, что милиция готова ликвидировать все возможности соприкосновения тех, кто находился в это время в Белом доме, с теми, кто пытался прорваться к ним из города на подмогу. И в какой-то момент, когда меня уверили, что все будет нормально, я, оставив вместо себя своего заместителя, отъехал на некоторое время домой, проведать и успокоить маму, которая очень в эти дни за меня тревожилась, — это рядом, на Кутузовском проспекте. И вдруг, когда я был еще дома, я услышал за окнами со стороны Белого дома и мэрии выстрелы. Я позвонил в мэрию и мой заместитель сказал, что к Белому дому со стороны Садового кольца прорываются отряды бунтовщиков. Я вызвал машину, но не стал ее ждать и побежал через мост к мэрии. Вся площадка перед пандусом уже простреливалась, но я все же зигзагами пробежал туда. Много очень людей стояло на набережной и наблюдало за событиями...

— *А нападавших поблизости еще не было?*

— Нет, уже были...

— *И Вы прошли сквозь них?*

— Да, прошел.

— *Как же Вас пропустили?*

— Ну, меня там все знали...

— *Кто? Бунтовщики?!*

— Да, нет (*смеется*)... Охрана. А остальные никто просто не обращал внимания...

— *И Вы просто пробежали через это простреливаемое пространство и оказались в мэрии?..*

— Да... И в первое мгновение прямо в вестибюле увидел труп милиционера... Я сразу пошел не к себе наверх, а в штаб УВД, и там мне сказали, что команды стрелять нет (что естественно) и что надо уходить. Тогда я поднялся к себе на 17 этаж, чтобы связаться с Лужковым, отпустить сотрудника, который был там, и забрать документы.

— *Сотрудник там был один?*

— Да. Но вообще в мэрии было довольно много народу, хотя это была суббота. Я позвонил Лужкову, но он был на совещании в Свято-Даниловом монастыре. Поэтому я не смог связаться с ним, но предупредил помощника о ситуации. Ну вот... Мы с сотрудником собрали документы и стали спускаться вниз. Спустились, коллега мой направился к входной двери, и в этот момент в нее въехала машина, — грохот, звон разбитого стекла, автоматные очереди...

— *Со стороны нападавших?*

— Да, со стороны нападавших... Коллега мой бросился в проход между лифтами, а я оказался среди группы солдат — молоденьких, неопытных, и они затащили меня вместе с собой в тупиковый коридор...

— *Солдаты — и вообще те, кто в мэрии был, — тоже стреляли?*

— Нет, не стреляли...

— *Не было приказа?*

— Да, такого приказа не было. Ну вот... Этот тупиковый коридор, в который я попал, был в виде сапожка, и потому хотя нападавшие простреливали его, за угол, куда мы укрылись, попасть не могли. Но и мы не могли соответственно оттуда выбраться, так как остальная часть простреливалась. Нас было примерно человек пятьдесят — я один в штатском, остальные военные ребята, необученные солдаты — они приехали из разных городов и не понимали, что творится. Нападавшие повернуть за угол к нам в сапожок, наверное, боялись, хотя с нашей стороны никакой стрельбы не было, и все время призывали нас выходить, обещая, что с солдатами обойдутся достойно. Но никто не верил и не выходил, и тогда нас принялись оттуда выгаскивать, вернее — выкуривать: пустили газ... Ими предводительствовал депутат Моссовета Вячеслав Иванович Григорьев — он-то, когда пустили газ и нам пришлось выйти и мы оказались между лифтами на лестничной площадке первого этажа, и указал на меня — это-де член лужковского правительства. У меня был пистолет — я же был дежурный по городу — ну, меня, естественно, разоружили... И стали бить. Понимаете, это напоминало суд Линча.

— *И распоряжался всем этим Григорьев?*

— Он как бы запустил эту акцию. Он меня обозначил, а дальше уже...

— *И что это за люди были?*

— Публика была разная. В том числе люди, я думаю, из Приднестровья. В военизированной форме, с автоматами...

— *Сильно били?*

— Да, сильно...

— *Вы упали?*

— Нет, не упал, хотя они даже на колени пытались меня поставить, но я не встал... Потом подоспел Илья Константинов, один из лидеров оппозиции. Он меня знал. Он, видимо, отчасти руководил там всей этой акцией и сразу поставил вокруг меня свою охрану, человека четыре, чтобы вывести меня в Белый дом. Меня вывели на улицу и повели к Белому

дому, продолжая по дороге бить. И я видел, как Константинов несколько раз даже выстрелил из пистолета в воздух, чтобы оградить меня от нападавших...

— Простите, я не понял: от охраны, что ли?

— Нет, не от охраны; там ведь вокруг много бандитов было, которые жаждали расправы, а охрана — что охрана? Она тоже какая-то двусмысленная была — с одной стороны, вроде меня охраняли, с другой — сами же меня и били. Ну, надо сказать, что и я был очень зло настроен, агрессивно, всячески сопротивлялся им... Словом, в конце концов меня ввели в подъезд Белого дома — там был Стерлигов и какие-то ребята из милиции, из охраны. Они меня окружили и, посоветовавшись, решили вести на верхние этажи, к руководителям обороны Белого дома, к Руцкому...

— Простите, давайте уточним: это все было, конечно, еще до начала штурма?

— Да, разумеется, но соединение с прорывавшимися к Белому дому уже произошло, так что они чувствовали себя как бы на коне, полагали, что держат инициативу в своих руках. Меня повели наверх, и, когда вели по какому-то коридору, меня увидел шедший навстречу известный депутат Верховного Совета Олег Румянцев. Он меня знал и, не разобравшись в ситуации, очень обрадовался: «И ты с нами?!...» Ну, я сказал, что нет, не с ними — он смутился и отошел... Наконец, меня привели куда-то наверх — там были депутаты тогдашнего Верховного Совета, обстановка напоминала тот Смольный октября 1917 года, который показывали нам в кино — все вели себя как заговорщики и возбужденно играли в эту игру по захвату мэрии, — непонятно только, почему не почты и телеграфа...

— А попытка захвата Останкино? Нет, Александр Павлович, — насколько я понимаю, стратегия и тактика октябрьского переворота 17 года тоже были учтены...

— Да, Вы правы. Но я тогда этого еще не знал... Меня ввели в кабинет к Руцкому — он тоже играл в эту игру... Мы с ним были знакомы, несколько раз встречались, бывали вместе в каких-то поездках, в которых он участвовал как вице-президент, а я от московского правительства. Но в последнее время не общались — я не хотел поддерживать с ним отношения. Он приказал меня обыскать, потом связать и бросить в подвал...

— А при нем Вас били?

— Да, били...

— И он это видел?

— Видел. Я упал, меня подняли, вывели в холл и поставили возле стенки, потом повалили и связали — моим же ремнем...

— И все это на глазах у Руцкого?

— Да.

— И он ничего не сказал?

— Нет. Он был в запале — захвата мэрии, возможности победы, — в состоянии какого-то, понимаете, головокружения. И все, что он сказал,

увидев меня, это — «связать, обыскать и — в подвал...» Два охранника с автоматами сводили меня в туалет, причем я чувствовал, что при желании они могут сделать со мной все, что захотят, потом меня отвели вниз, в какую-то комнату, развязали ремень и надели наручники, — вполне, кстати, качественные, фирменные, их там целые ящики стояли. Отвели в подвал, где я и пролежал девять с половиной часов...

— *Не кормили?*

— Нет, что Вы! Я лежал в крови — кровь текла из носа, из головы; потом сел, но чувствовал себя, мягко говоря, неважно...

— *Кроме Вас там кто-то еще был?*

— Еще три человека. Врач со «Скорой помощи», какой-то человек с телефонной станции и солдат из дивизии Дзержинского. А напротив нас, в дверях подвальной комнаты, куда нас запихнули, — два охранника с автоматами, направленными на нас; они очень часто, примерно через каждые полчаса, менялись — видно было, что за двенадцать дней сидения в Белом доме все они сильно устали. В какой-то момент меня опять сводили в туалет — в сопровождении трех вооруженных охранников...

— *В подвале Вас тоже били?*

— Нет, не били. Вернее сказать так — не били охранники. Зато какой-то эмвешешный майор, заявившийся в подвал, чтобы отдать, видимо распоряжения, подошел и ударил меня по голове рукояткой пистолета...

— *Как — вот так просто подошел и ударил — связанного?..*

— Да, вот так подошел и ударил, хоть я был в наручниках, а из головы у меня сочилась кровь. Он всех, впрочем, отметил своим пистолетом, даже врача «Скорой помощи», злодей; психопатия у него — да, судя по всему, и у многих других «защитников демократии» — достигла уже высшей точки. Было ощущение просто полного уже какого-то озверения... Охранники и до этого все время нервничали, держали нас на прицеле — боялись, видно, как бы мы чего не выкинули — ну, не вскочили, например, хотя это было совершенно невозможно: мы же были в наручниках и далеко не в самом лучшем виде... А тут майор и вообще скомандовал: при малейшем подозрительном движении с нашей стороны и при малейшей попытке привлечь к себе внимание громким разговором или криками — открывать огонь на поражение. Я спросил: «Чей это приказ?» — «А ничей. Мой.» Он, «защитник закона», без всяких колебаний считал себя вправе сам вершить суд над нами...

Ну, что еще важно?.. Наверное, надо добавить, что они обещали нас расстрелять в случае штурма Белого дома. Это — обязательно. А если штурма не будет, то только одного меня. Но тоже обязательно. Как антисоветчика...

— *А кто это Вам говорил, что обязательно расстреляют? Что-нибудь они от Вас требовали?*

— Угрожал майор, потом милиционеры, а требовать — нет, ничего не требовали... Ну, вот... А под утро, через девять с половиной часов с момента, как меня затолкали в подвал, пришел вдруг начальник департа-

мента охраны Белого дома Александр Павлович Бовт, я его знал и раньше, и он сказал, что освободит нас. Я, понятно, обрадовался, но не поверил. Однако нас вывели из подвала и привели сначала в комнату охраны, где заставили ждать — ходили за ключами от наручников. Сняли наручники и повели наверх. Белый дом был полон каких-то самостийных вооруженных отрядов — баркашовских и прочих. Наконец, нас привели в какую-то полутемную комнату, где сидели депутаты, и они нас переписали, всех четверых. Я сказал, что у меня отобрали портфель с документами и потребовал вернуть его, но Бовт ответил, что отдадут завтра, и нас стали выводить. Там были еще какие-то журналисты в темноте, несколько человек, они стали задавать вопросы, но я не знал, кто это, какие СМИ они представляют, и не стал отвечать — сказал, что даю интервью только в тех случаях, когда сам считаю это нужным, и в более подходящей обстановке. Нас вывели из Белого дома — у стен его бегали какие-то совершенно обезумевшие люди, которые готовили бутылки с зажигательной смесью... Это было утро 4 октября 1993 года.

— *И никаких правительственных войск кругом, никакого кольца?*

— Ничего, никого не было, Белый дом был в полной их власти. Да и весь город был, в сущности, в этот момент в полной их власти — или мог быть, по крайней мере, в их власти.

Так вот, депутат, который нас вывел, провел нас через площадь, посадил в свою машину, и нас отвезли в Краснопресненский райком — к председателю Краснопресненского райсовета Александру Краснову. Здесь тоже все были возбуждены, какие-то люди готовили бутерброды, грузились в машины, чтоб куда-то ехать кого-то кормить, — словом, тут тоже был *штаб восстания*... Потом уже я узнал, что сразу же после моего ареста и в администрации Президента, и Лужков стали пытаться как-то меня вызволить, предпринимали разного рода усилия, которые в конце концов увенчались-таки успехом — в результате меня и привезли к Краснову, чтобы передать московским властям. От Краснова я связался с Лужковым, и меня отвезли в Моссовет. Там, конечно, все обрадовались, и я сразу выступил с балкона Моссовета перед людьми, которые собрались на площади. Они требовали оружия, а я стал призывать этого не делать, поскольку считал, что с возникшей ситуацией должны разобраться федеральные органы, за что меня обвинили, что я уподобляюсь Иисусу Христу...

— *Это было уже после того, как Гайдар призвал всех собираться у Моссовета?*

— Да, и это мне, как выяснилось потом, тоже помогло. Я даже документы свои потом получил — они были у Руцкого и Хасбулатова, которые, как опять же выяснилось позднее, и решали, когда меня убить.

— *А как Вы это узнали — что они собирались Вас убить?*

— Узнал. От человека, которому они предложили пост министра внутренних дел в своем предполагаемом правительстве — он мне потом об этом сам рассказывал...

Ну, вот, пожалуй и все про этот день, — вернее про эти два дня. Что же касается уже не собственно «свидетельских» моих «показаний» о том, что я видел и что со мною случилось, а моего отношения ко всем этим событиям, то это тема особая. Разве лишь еще два слова — для завершения сюжета. Я, в общем, не виню моих охранников — они (как и многие другие люди, считавшие своим долгом встать на защиту Белого дома) находились под впечатлением, что они отстаивают закон, защищают законность. Они не понимали, а по причине господствовавшей в нашем обществе полной сумятицы представлений на этот счет и не могли понять, что законность перестала у нас существовать со времен октябрьского переворота 1917 года. Но вот политики, которые стояли, если можно так выразиться, у руля всего этого кровавого хаоса во имя защиты якобы законной и легитимной «советской власти», сегодня не имеют уже, по моему глубокому убеждению, права существовать как политики. Они защищали свои интересы, свое желание остаться у ее кормила, а не ее «законность»...

— Но ведь такой же счет можно предъявить, наверное, и Ельцину с его сторонниками? Его конфликт с Верховным Советом и с его стороны тоже носил на себе, несомненно, явную печать борьбы за власть...

— Да, но не забывайте, что с именем Ельцина связано все-таки начало освобождения от этой самой «советской власти», когда-то навязанной народу и с тех пор ни разу не получившей легитимизации через действительно демократическое волеизъявление народа... Исторически это была все-таки ситуация освобождения именно от правового беззакония; установленного в 1917 году большевиками в форме так называемой «советской власти». Так что я считаю, что был в эти дни тоже своего рода «историческим заложником» — заложником именно этой самой «советской власти», пыгавшейся отстоять и продлить свое беззаконное существование посредством таких же — обычных для нее — беззаконных методов. И когда я вспоминаю все случившееся со мной, это меня как раз в какой-то мере и успокаивает...

Я спросил, как он, член Московского правительства, располагавший, конечно, достаточно полной информацией обо всем, что происходило во время последовавшего вскоре штурма Белого дома, может прокомментировать упорно и долго ходившие потом слухи и разговоры о большом количестве убитых в Белом доме во время штурма, о сотнях трупов, как будто бы вывезенных из него тайно, о том, что особенно много людей погибло в так называемом «стакане» — верхней башенке Белого дома, и т.д. Он ответил, что относится к этим версиям отрицательно, что по его сведениям жертв было немного, а так называемые танковые залпы по Белому дому носили в очень большой степени символический характер... Я не стал продолжать эту тему, полагая, что здесь важнее не оценки той или иной стороны, которые нам более или менее известны, а точные факты. Поэтому мы вернулись опять именно к фактам, и когда я спросил, что было с ним потом, Александр Павлович не очень охотно рассказал, что вскоре после октябрьских событий

стал все хуже и хуже себя чувствовать - сказались травмы, полученные в октябре 93-го года, что в 1994 его отправили в связи с этим лечиться в Америку, где он пробыл несколько месяцев и где немного его подлечили, но что сейчас опять началось вот ухудшение... Тут Лидия Марковна, которая и до этого принимала оживленное участие в нашей беседе своими попутными репликами и комментариями, окончательно взяла инициативу на себя и, перебив сына, который явно хотел как можно скорее «закрыть» эту медицинскую тему, стала говорить, как удручает ее то, что врачи до сих пор не могут поставить Саше точного диагноза, что ничего утешительного они пока, к сожалению, не обещают и ничего радикального не предлагают, потому что речь идет, по-видимому, об опухоли в стволе головного мозга, операция на котором очень опасна... А потом Лидия Марковна рассказала и о том, как она, когда Саша исчез, сама бросилась искать его и побежала к мэрии и Белому дому, которые были оцеплены кольцом восставших; как пыталась пробиться через это оцепление («все пьяные, сплошные бандитские рожки») в мэрию, ссылаясь на то, что там у нее сын, и как даже «эти бандиты» к ней «хорошо отнеслись» и стали всячески отговаривать ее — «Не ходи, мать, там тебя расстреляют». — «Но у меня же там сын!» — «А он что, работает там? Если работает, то его уже нет в живых...» — «Да нет, не работает, просто зашел», — начала уже придумывать Лидия Марковна, лишь бы самой пробиться в мэрию. — «Все равно не ходи, погибнешь...» И как из мэрии в это время «выводили какого-то журналиста, у которого было не лицо, а сплошное кровавое месиво», и еще какую-то «красивую блондинку, у которой тоже лицо было такое, будто по нему провел своей лапой медведь»... И как «вокруг нее прожужжала пуля», и даже врачи скорой помощи, стоявшей недалеко от Белого дома, испуганно замахали на нее руками, когда она спросила, не у них ли ее сын — «крупный такой, с усиками». «Что ты, мать, если мы хоть одного раненого возьмем со стороны, нам не сдобровать...» И как «своими глазами» видела безумного генерала Макашева, который бегал и ругался матом, и «своими ушами слышала», как Руцкой кричал кому-то в рупор: «Мы повесим вашего жидовского бога, так вас и так!» И как потом, вернувшись ни с чем домой, позвонила Саше Краснову, с которым была хорошо знакома, и попросила — «Саша, сделайте что-нибудь для моего Саши, помогите»... — и он ответил, что постарается, но что Руцкой в таком состоянии, что к нему трудно подойти... А потом, после штурма, «вдруг сам звонит мне: «Лидия Марковна, сейчас за мной будут гнаться...» — «Ну что ж, — говорю, — придешь ко мне, я тебя под кровать спрячу...»

Но все это — уже другой рассказ, иное свидетельство, и оно тоже должно, вероятно, найти свое место среди всех тех, которые еще нужно и должно собрать, с чьей бы стороны они ни исходили, и для публикации которых «Континент» и в дальнейшем готов предоставлять страницы своего раздела «Факты, свидетельства, документы».

АНТОНИЙ, митрополит Сурожский

Митрополит Сурожский АНТОНИЙ (Андрей Борисович Блум) — родился в 1914 году в Лозанне в семье русского дипломата.

В годы первой мировой войны семья жила в Персии, где отец занимал пост консула России. После 1917 года Блумы переезжают в Париж.

В 1939-м Андрей Блум заканчивает Сорбонну — биологический и медицинский факультеты. И в этом же году тайно принимает монашеские обеты. Во время второй мировой войны он участвует в движении Сопротивления.

В 1948 году был рукоположен в иеромонахи и направлен на служение в Лондон. С 1957 года — епископ Русской Православной Церкви. В настоящее время митрополит Антоний — правящий архиерей Московского Патриархата на островах Великобритании.

Автор множества книг, переведенных на все европейские (и не только европейские) языки, выдающийся пастырь и авторитетный богослов современного Православия — митрополит Антоний в своей проповеднической работе часто обращается к форме беседы, серьезного и откровенного диалога.

Мы публикуем одну из таких бесед владыки Антония, состоявшуюся в 70-е годы в Университетском центре в Париже.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И МИРА С ПРАВОСЛАВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Я попытаюсь сегодня как можно проще и яснее поговорить — не с точки зрения Православия, но с точки зрения отдельного православного — на столь жгучую тему современности, как взаимоотношения Церкви и мира. Не знаю, сумею ли я сделать достаточно практические, конкретные выводы, но я хотел бы изложить несколько исходных, принципиальных пунктов, без которых, думаю, немислима точка зрения ни православная, ни вообще христианская.

Во-первых, мне кажется, что, обсуждая взаимоотношения Церкви и мира, нам необходимо постоянно помнить две вещи, вернее, два словарных момента: с одной стороны, тот смысл, который мы вкладываем в слово «Церковь», с другой — смысл, который мы придаем слову «мир».

С точки зрения Священного Писания, а также духовной и богословской традиции, слово «мир» имеет два совершенно различных значения. В плане аскетическом мир противопоставляется Церкви, Духу: «Будьте в мире, но не от мира»; «удалимся от мира, ибо наша жизнь в Боге» — такие выражения встречаются постоянно, и они вполне справедливы. Есть

аспект мира, характерный признак которого — как бы отсутствие, отрицание, отвержение Бога. И есть другой аспект мира, есть другое значение этого слова, которое придает «миру» совершенно иную ценность, значение: Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного... чтобы мир спасен был чрез Него (Ин. 3:16-17) — эти слова показывают нам, как Бог смотрит на мир, и, значит, как на него должны смотреть христиане, и это видение совершенно отлично от аскетического подхода, о котором я только упомянул.

С другой стороны, в отношении Церкви совершенно очевидно, что и в ней есть два аспекта. Есть та Церковь, которая является предметом нашей веры: «Верую во едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь»; и эта Церковь — не просто собрание верующих. Она не просто общество, созданное властью Божией, собранное вокруг Него, обращенное к Нему, научаемое и питаемое Им. Церковь — не просто общество, она — живое Тело; и Тело это одновременно и равно Божественное и человеческое. Церковь, в которую мы верим, носит нас всех, обнимает нас всех, но она вмещает также и присутствие Бога. Первенец из мертвых в этой Церкви — Христос, истинный человек и истинный Бог. В Нем человечество нам явлено в Церкви во всем своем величии, во всей своей глубине, во всем своем значении. Он — единственный человек, который полностью Человек, и Он — откровение того, чем призван быть человек. А человек призван быть тем, чем был Христос: не просто человеком, отделенным своим тварным состоянием от Нетварного, но именно человеком в его единстве с Богом. В пределах этой Церкви веет Дух, Его животворный порыв; Он научает Церковь всякой истине и изменяет ее, преображает ее по образу Христа, ее Пробраза.

И во Христе и в Духе мы становимся детьми Отца, не только в метафорическом смысле, но совершенно реально, самым подлинным образом. В Церкви Бог и Его творения уже сейчас в нерасторжимом единстве и призванные к еще более таинственному и чудесному е д и н с т в у, когда *будет Бог всё во всем* (I Кор.15:28), когда мы достигнем своего призвания стать причастниками Божеского естества (см. 2 Пет.1:4). Вот та Церковь, в которую мы верим, которую знает верующий, которой он живет, к которой он устремлен.

Но есть и другой аспект Церкви, тот, о котором в четвертом веке святая Ефрем Сирин сказал: Церковь — не собрание праведников, а толпа кающихся грешников... Этот другой аспект Церкви являем тоже мы, но в нашем убожестве, в нашей хрупкости, в нашей взаимной разделенности и нашей отерзанности от Бога. И когда мы говорим о взаимоотношениях Церкви и мира, мы должны постоянно отдавать себе отчет в том, что при этом всегда присутствуют четыре темы и что очень часто мы создаем путаницу, когда говорим о мире с определенной точки зрения, о Церкви с определенной точки зрения — и забываем две другие. И в результате приходим к выводам весьма печальным, потому что создаем противоположения, которых на самом деле нет, но которые приводят к запутаннос-

ти, разрушают и нашу чуткость по отношению к миру, и наше восприятие Церкви во всем ее величии и всей ее правде.

Теперь я хотел бы из этой необъятной темы выделить несколько пунктов, которые мне представляются существенными.

Во-первых, то взаимное положение, то взаимоотношение, которое может и должно существовать между Церковью и миром, может быть лишь подобно взаимоотношению Бога и мира; и всякий раз, когда Церковь занимает по отношению к миру положение иное, чем положение Христа, Бога воплощающегося, она изменяет своему призванию. Это мне кажется очень важно: в плане принципиальном не может быть речи, чтобы Церковь как человеческое общество относилась к миру — человеческому обществу — иначе, чем относится к миру Сам Христос. На практике это не всегда так же ясно, как в принципе, но мы должны постоянно помнить, что Церковь является самой собой лишь в той мере, в какой она есть присутствие Божие, и в частности, то Его присутствие, которое Христос явил Своим воплощением.

В Своем воплощении Христос нам явил, мне кажется, две вещи, которые чрезвычайно важны для нас на практике, в реальности взаимоотношений человеческих и религиозных: первая — это новое Откровение о Боге; вторая — откровение о человеке и о тварном мире.

Во Христе Бог явил нам Себя дотоле неслыханным образом. Нехристианские религии создавали себе образы Бога непостижимого, Бога великого, Бога, в Котором выражались все чаяния, все устремления человека, всё, чем он хотел бы быть, или всё, что он хотел бы видеть в своем Боге. Только Сам Бог мог нам явить Себя так, каким Он явился во Христе. Во Христе Бог явил нам Себя беззащитным, Богом, без сопротивления отдающимся в руки тех, кто схватит Его, Богом уязвимым, Богом как будто побежденным и Который, с точки зрения тех, кто верит только в силу, в успех, в победу, достоин презрения. Вот какого Бога нам предлагают Евангелия в лице Христа: Бога хрупкого и оставленного, Бога, Который отдается нам.

И Он нам не только сказал, Он нам доказал всей Своей жизнью, а не только словами учения, что это — пример для подражания. Вот первое: мы, Церковь, призваны быть тем, чем Христос был в мире. Мы призваны войти в этот мир не в защитной броне, ограждающей нас от всякой опасности. Мы не призваны объединяться в мощные организации и общества, способные противостать окружающим нас напастям. Нам не следует составлять человеческие союзы ради того, чтобы победить врага — кто бы он ни был. Мы должны согласиться быть лишь тем, чем был Христос, чем был Бог, явленный в Своем человечестве — уязвимый, беззащитный, хрупкий, побежденный, как будто презренный и презираемый, — и тем не менее бывший Откровением чего-то чрезвычайно важного: величия человека.

Потому что с этим видением Бога небывалого тесно связано небывалое видение человека: то, каким Бог видит человека, его достоинство; отказ

Бога принять человека меньшим, не в меру его полного роста — одна из самых впечатляющих вещей в Евангелии.

Вспомните притчу о блудном сыне. Осознав свой грех, свое падение, блудный сын возвращается в отчий дом. Он готовит свою исповедь: «Я согрешил против неба и перед тобой; я недостоин называться твоим сыном. Прими меня, как одного из наемников». Но когда он оказывается перед отцом, тот дает ему сказать только первые фразы, в которых выражено истинное положение вещей: да, он согрешил против неба и перед отцом, да, он недостоин звания сына; но назваться наемником — никогда! Невозможно перестроить отношения с отцом и из сына, пусть блудного и недостойного, стать слугой, пусть и самым достойным. Нет, этому не бывать! Потому что невозможно утратить существо сыновнего достоинства. Здесь беспощадное требование со стороны Бога: мы призваны быть Его детьми, ничем другим, и Он никогда не согласится, чтобы мы продали свое первородство, никогда не допустит, чтобы отношения перестраивались, снизились, потеряли то величие, которое явлено в Сыне Единородном. Потому что мы призваны все вместе, в совокупности нашей, стать всецелым Христом, *Totus Christus*, о Котором говорят святой Игнатий Богоносец и блаженный Августин; говорит также с такой глубиной и столь смело святой Ириней Лионский: в Сыне Единородном мы призваны Духом Святым стать единородным Сыном Божиим. Ничего меньше. Это опять-таки представляется чисто теоретической установкой, но в действительности непосредственно связано с вполне реальной жизнью, с конкретными взаимоотношениями с любым человеком из тех, кто вокруг нас. Мир представляется целокупностью составляющих его существ и содержащихся в нем вещей; эта же полнота присутствует в личности любого существа.

Если мы принимаем такое отношение Бога к миру, если соглашаемся на него, если у нас достает мужества сказать: наше человеческое призвание требует, чтобы мы стали в меру, в размер Божий, тогда мы должны принимать друг друга, как нас принял Христос (см. Рим.15:7), принимать друг друга, какие мы есть, и уметь даже в нашем падении, в нашем унижении, как бы низко ни пали мы сами или другие, — уметь признать возможное величие, призвание к величию, заложенное в каждом из нас, которое не только предлагается нам, но является призывом, требованием Божиим к нам.

Это означает, что к человеку следует относиться с огромным уважением. Не с тем сентиментальным «почитанием», которое говорит: жизнь драгоценна, жизнь следует охранять. Нет. Это уважение простирается за пределы жизни, вплоть до смерти. Оно учит нас чтить достоинство тех, кто нас окружает, и принять ради них жизнь и смерть, страдание и победу, поражение и конечное воскресение. Такое отношение заставило человека очень мне близкого произнести: «Жив ты или умер — не имеет никакого значения ни для кого; важно — ради чего ты живешь и ради чего ты готов отдать жизнь». Вот совершенно другая мера, далекая от сентиментальнос-

ти, мера глубины, сущностно важная в нашем отношении к каждому человеку. Но каждый человек — камушек в той цельной мозаике, которую составляет всё человечество и весь мир, в котором мы живем.

И то уважение, с которым Бог относится к человеческому достоинству, должна проявлять Церковь. И это должно идти очень далеко. Мы, христиане, и в странах, где есть преследования, и в свободных странах, непрестанно провозглашаем, что одно из прав человека — это правдивость, свобода совести, право верить. Но если мы умеем уважать человека в его достоинстве, в его царственной свободе, которая стоит лицом к лицу со свободой Божией, — мы должны уметь отстаивать и свободу не верить, и не пользоваться постыдно (как делаем при любой возможности) ситуациями власти, чтобы отнять у других людей ту самую свободу, которой требуем для себя самих. Это непосредственно относится к тем странам, где христианство не гонимо, где оно продолжает доминировать — будь то на государственном уровне, или на уровне общественного мнения, или на уровне человеческого большинства.

Это непосредственно отражается на нашем отношении к воспитанию и месту Церкви в деле воспитания. Это также непосредственно отражается на свободе совести, когда человек стоит перед лицом смерти, и мы должны, если мы последовательные христиане, если у нас есть сознание человеческого достоинства, как у Бога есть сознание человеческого достоинства, — мы должны, если не сумели открыть человеку Бога при жизни, уметь предоставить ему право умереть атеистом, а не навязывать ему силой в последний момент Бога, Которого он всегда отвергал и Которого он на самом деле и не принимает. Вот несколько примеров. Но эти примеры можно приложить к конкретным ситуациям, к любым ситуациям, к которым они относятся.

Если думать о Христе, Боге, ставшем человеком, в Его положении по отношению к миру, — каково отношение Христово? Мы постоянно и вполне справедливо видим в Евангелии, читаем в Евангелии, что Христос полностью стал солидарен с ситуацией человека: человеческой хрупкостью, нищетой, нуждой — во всех значениях слова «нужда». Мы читаем, что Он испытывал голод и жажду, холод и боль. Мы видим, как Он плачет, мы видим, как Он ищет уединения, мы видим, как Его отвергают, видим Его среди друзей — и видим Его преданным; все обстоятельства нашей человеческой жизни находят выражение в жизни Христа. Мы видим, как Он умирает. И нам кажется, что здесь мы касаемся самых глубин Его солидарности с падшим человеком. Но это не так! Эта солидарность идет еще дальше — и это очень важно для нашего отношения к миру: если действительно смерть человека — в его отделенности от Бога, если убивает только отлученность от Бога, тогда смерть Христа приобретает значение, глубину, о которых мы редко задумываемся и которых не в состоянии уловить. Для того, чтобы умереть на кресте, Христос пожелал разделить с нами не только физические условия смерти, воспринять смертное страдание, но и то, чем обусловлена смерть человека: его потерю Бога,

без-Божие в этимологическом смысле слова. Вспомните самые, быть может, трагические слова всей человеческой истории, которые Христос испустил на кресте: *Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил!*. Так часто сейчас, в общем увлечении экзегезой, нам напоминают, что это слова из псалма, пророчество из псалма. Неужели можно себе представить, что в момент смерти человек вдруг станет повторять псалом! И сколь наивно думать, что не пророчество обращено к событию, и воображать, будто событие осуществляется ради того, чтобы исполнилось всплывшее пророчество! Нет. Перед нами именно то событие, о котором говорит псалом, именно тот ужасающий миг, когда Сын Человеческий, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, внезапно принимает смерть — не Свою смерть; Он, непричастный греху, умирает смертью грешника, и для того, чтобы умереть, становится причастным единственной трагедии павшего человека: потере Бога, отсутствию Бога. Он умирает от того, что один русский богослов назвал «онтологическим обмороком», когда Он теряет чувство Бога и тем самым разделяет последнюю оставленность человека, предельное одиночество человека.

В западном богослужении постоянно повторяются слова Апостольского символа веры: «Он сошел во ад». Что такое этот ад? Что означает это сошествие во ад именно по отношению к человеческой судьбе и взаимоотношениям мира и Бога? Так вот, ад, о котором говорит Ветхий Завет, это вовсе не дантовский ад, драматическое место мучений. Это что-то еще более страшное. *Шеол* Ветхого Завета — это место радикального отсутствия, место, где Бога нет. И туда Он сходит. Разделив с человеком потерю Бога, обез-Боженность, Он сходит во ад, в то место, где Бога нет, чтобы до конца разделить судьбу человека. Он сходит туда как человек, лишившийся Бога, и Своим приходом вносит туда всю полноту Божества. И это — конец ада, конец смерти, потому что физическая смерть, которая осталась, — это усыпление, усупение, но не та смерть, какой ее представлял иудейский мир или безбожный мир: как небытие по отношению к Богу.

Это мы и должны перенести на тот мир, в котором мы живем. Разве не ясно, что по призванию — если мы принимаем всерьез ту лишенность Бога, через которую прошел Христос, потерю Бога, которую пережил Христос, — в нас должно быть достаточно широты, чтобы вместить не только мир верующих, но и мир неверующих и безбожников. Нет ни одного безбожника в мире, который познал бы отсутствие Бога так, как Христос познал потерю Бога. Нет ни одного атеиста, будь он убежденный, идеологический атеист, или просто житейский безбожник, кто бы так измерил глубину этого отсутствия, как ее измерил Христос.

Так почему же церковь — не Церковь Символа веры через заглавное «Ц», а церковь в нашем лице, — почему мы неспособны разделить это? Почему нас это так страшит? Почему безбожный мир представляется нам радикально чуждым? Почему мы глядим на него враждебно? Почему мы стремимся сообща отбросить «их», оттолкнуть, победить, уничтожить, в то время как Христос открылся до смерти включительно, чтобы разделить

«их» участь, — их, а не только нас, блеющих овец, каковыми мы по большей части являемся? Вот еще принципиальная установка, открывающая нам доступ к исторической реальности, в которой мы живем.

Обратимся теперь к решающему моменту этой исторической реальности. В вечер Воскресения Христос является Своим апостолам и говорит: «Мир вам». И вслед за этим провозвестием мира, Он как будто безвозвратно отнимает его следующим предложением, после того как дуновением передал им Духа Святого: *Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас* (Ин.20:21). В нашем контексте секуляризованного, по-мирскому сильного, властного христианства эти слова никого не тревожат. Сейчас мы ощущаем вокруг себя поддержку, мы не одиноки. А из-за того, что мы слышим слова Христовы: «Идите — как Я», нам кажется, что мы должны выступить и говорить, и действовать, и строить безопасно, под защитой прочных церковных структур и силы наших будто бы христианских обществ. Но в вечер Воскресения двух суток не прошло с момента распятия! Когда, в вечер Воскресения, Христос сказал Своим апостолам: «Мир вам! как послал Меня Отец...», — их глазам предстояла Великая пятница. И с этой судьбой им связаться? — Она ясна: это Крест, это Гефсиманский сад, томление Тайной вечери, ужас всего, что произошло в течение Страстной седмицы; и все три года, когда Христос предстал ученикам, словно меч, разделяющий потемки от света, словно камень преткновения, словно соблазн, предмет отвержения и все сгущающейся ненависти; вот что предстояло их взору. Не успешная деятельность миссионерских обществ, а одиночество Того, Кто сумел так возвысить человека, так безумно поверить в человека, что Он, вместо всякого видимого успеха, согласился умереть, — вот та ситуация, в которую Христос поставил Своих учеников. «Мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». «Я посылаю вас, как овец среди волков», — сказал Он им в другой раз (см. Мф.10:16). Готовы ли мы идти, как овцы среди волков? При всех разговорах о Единстве христиан, не твердят ли нам постоянно и кощунственно, что если бы мы сумели быть е д и н ы, мы были бы непобедимы. Не потому что слово истины звучало бы убедительно, а потому что мы были бы силой. Какой ужас! — и это перед лицом того, что произошло в Евангелии.

Вы скажете: так что же, пробный камень христианства — поражение?.. Нет, но такое отношение, такое положение, когда мы равно безразличны как к победе, так и к поражению, когда ни победа, ни поражение не имеют для нас иного содержания, иного значения, чем — Гефсимания, Голгофа, Воскресение и Вознесение Христа, — таинства славные и таинства трагичные, все то, что в целом составляют домостроительство спасения, где смерть и жизнь переплетены нераздельно.

Но насколько все это реально? Способны ли мы на такое проявление веры? Вера всегда безумна! Это готовность довериться на слово кому-то, кто без всяких доказательств повелевает нам действовать вопреки очевидности, против всякой очевидности, так, как Он нам укажет.

Чему же нас учит в этом плане история? В своей замечательной книге «Святые язычники» Жан Даниелу обронил фразу: «Страдание — единственная точка скрещения добра и зла, единственная надежда на искупление зла». Что он имеет в виду? Задумаемся немного и посмотрим, каково наше положение по отношению к окружающему нас злу. И еще вопрос: что такое — окружающее нас зло? Является ли злом то, что ранит нас? то, что нам неприятно? или существуют иные критерии добра и зла? Действительно, если вернуться к фразе Ж. Даниелу, разве не ясно, что именно страдание — место, где пересекаются добро и зло. Злоба, жестокость, жадность, злопамятство, все дурные чувства, которые зарождаются у нас в сердце и пропитывают наши дела, словно кинжал, вонзаются в плоть или в сердце, в душу тех, кто нас окружает. Все зло воплощено в нас, и с момента, когда оно воплощено, оно ранит. И в тот момент, когда оно ранит, жертва получает власть — поистине божественную власть прощения: *Отче, прости им, они не знают, что творят!..* Вспомните также молитву первомученика Стефана. Мученик — не просто тот, кто страдает, мученик — тот, кто свидетельствует. Стефан был первым свидетелем, потому что действительно понял и поверил Слову Истины, ставшему плотью.

На эту тему я хотел бы привести несколько примеров из реальной жизни нашего времени; одни взяты из последних пятидесяти лет истории Русской Церкви, некоторые из других ситуаций. Примеры великие, трагические; но только когда мы способны охватить реальность в ее величии, мы можем потом сделать из нее выводы на меньшем уровне.

Вы, наверное, помните место из Послания к коринфянам, где апостол Павел подчеркивает, что даже если ты отдашь свое тело на сожжение, но в сердце не имеешь любви, это пустое (см. 1 Кор.13:3). Не страдание, не пролитие крови делает мученика, то есть свидетеля, а победа такой любви, которая не колеблется, не меняется, в которой достаточно крепости, чтобы подарить прощение, а тем самым — и спасение.

Первый пример: в ранние годы русской смуты молодого священника арестовали за проповедь Евангелия. Он провел в тюрьме несколько месяцев, подвергался допросам, пыткам, пережил страх, оставленность, одиночество. Его выпустили. Родственники, друзья его окружили: «Что осталось от тебя?» — спрашивали они человека, который попал в тюрьму молодым, крепким, пламенным, а вышел оттуда изможденным, поседевшим, как будто сломленным. И он ответил: «Страдание поглотило все. Осталось одно: любовь». И он без колебания снова принялся за проповедь среди тех, кто его предал и выдал, и умер в концентрационном лагере.

Другой пример. Человек, которого я близко знал долгие годы, во время немецкой оккупации был взят, попал в концентрационный лагерь. Когда он вернулся, я его встретил на улице и задал ему тот же самый вопрос, что задавали и молодому священнику, о ком я только что рассказывал. И он ответил: «Осталась тревога». Я спросил: «Неужели вы потеряли веру?» «Нет, — ответил он, — но видишь ли, пока я был в лагере, был предметом

насилия, жестокости, унижений, я каждый миг мог сказать: Господи, я им прощаю, прости им и Ты! — и я был уверен, что Бог должен меня услышать, потому что я жизнью и смертью свидетельствую, что моя молитва правдива. Теперь я не страдаю. Но я знаю, что однажды эти люди станут перед Божиим судом, что когда-то Бог взыщет с них за их жестокость. Я хочу молиться о их спасении. Но как я могу доказать Богу свою искренность? Мне нечего прощать, кроме уже минувшего прошлого».

Еще пример человека, погибшего в концентрационном лагере. После его смерти нашли молитву, записанную на куске оберточной бумаги. Вот вкратце ее суть: Господи, когда Ты вернешься во славе, вспомни не только людей доброй воли, но и людей злой воли. Но вспомни не их насилие, их жестокость, все то зло, которое они нам причинили. Вспомни лишь плоды, которые мы принесли: терпение одних, смирение других, мужество некоторых, общее братство, величие души немногих... Пусть эти плоды, которые мы принесли, послужат их прощению...

И последний пример. Русский епископ, умиравший в ссылке, оставил молодому ученику записку: «Нам дано не только веровать во Христа, но и страдать и умирать за Него». И еще: «Помни, что для христианина умереть мучеником — привилегия, потому что в день Суда только мученик сможет встать перед Судьей в защиту своих гонителей и сказать: Господи, в Твое имя, по Твоему примеру я простил. Тебе нечего больше взыскать с них!»

Вот несколько образцов в меру Евангелия, в меру Древней Церкви. Быть может, вы мне возразите: «Что в них общего с нашей мелкой жизнью, в которой нет такого размаха?» Жизнь каждого из нас имеет эту мерку, потому что каждый из нас — живой член (разве что мы мертвы!) Тела Христова. И в той мере, в какой Тело всецелого Христа, вся Церковь стоит перед этими проблемами, каждый из нас несет одновременно этот Крест и его сияние. А с другой стороны, я бы сказал, «по Сеньке и шапка». Нам не приходится прощать многое. Но прощаем ли мы то малое, что могли бы простить? или даже в нашу малую меру мы отступники? изменники Христу? Не отрицаемся ли мы Евангелия в малом, хотя на словах провозглашаем его в великом? Мы восхищаемся подвигами святых, но сами-то мы меньше даже собственной меры. Мы могли бы прощать изо дня в день — и мы не прощаем. В нас живут обида, злоба, мстительность. Как можем мы ожидать от себя верности в великом, когда мы неспособны быть верными в малом?

Я хотел бы сказать нечто о взаимоотношениях Церкви и мира в несколько ином плане. Я уже упомянул проблемы, которые ставит нам долг нравственной честности, долг отстаивать не только право верить, но и право на неверие — свободу совести во всем ее объеме, потому что Бог, в Которого мы верим, Бог, ставший человеком, есть Бог Истории. Из всех религий только христианство восприняло Историю целиком, полностью. Мы, христиане, не имеем права быть вне Истории; я уже сказал и настаиваю на том,

что мы должны быть внутри Истории, подобно тому, как в ней присутствует Христос, никак иначе. И тем самым христианская деятельность в Истории должна быть действием Божиим.

И тут есть огромная разница, по крайней мере в принципе, между отношением к действию, к деятельности — человека неверующего и христианина. Конкретное действие, организационная, глубоко продуманная, планомерная деятельность является частью нашего человеческого предназначения; нас, христиан, касаются все проблемы, где требуется действовать. Но деятельность христианина имеет одно отличительное свойство: деятельность христианина в тех ситуациях, где он оказывается, должна быть действием Бога в Истории. Подумаем снова о Христе. Вспомните место, где Он говорит: *Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца* (Ин.5:30). И еще: Отец Мой творит; Он показывает Мне Свои дела, и Я творю также (эта цитата не точна, но суть я передаю верно). Действия Христовы рождаются изнутри глубинного созерцания, и только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина. Иначе это будет деятельность, основанная на принципах, — нравственных, или богословских, или любых принципах; но сколь бы ни были они истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют Божественной динамике, внезапной динамике небывалого, непостижимого, чем именно характерно действие Божие. Мы, христиане, призваны жить на большой глубине, жить глубокой внутренней жизнью — но не в смысле обращенности на самих себя. Мы призваны уйти глубже этой обращенности, и самая эта глубина позволит нам взглядеться долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, канву жизни и благодаря такому созерцанию, глубокому взглядыванию различить в ней след Божий, нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостной жизни. И тут громадная разница между мудростью и человеческой опытностью. Опытность — результат прошлого, накопленный человеческий опыт; она обращена к переживанию, опыту более обширному, чем личный опыт, и делает выводы интеллектуально основательные, точные, глубокие. А мудрость поступает «безумно»! Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божиим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, так, как нас учит поступать Бог.

Я хотел бы обратить ваше внимание на еще один момент в отношении мира, в котором мы живем.

Я говорил так, будто есть Бог — и люди, человечество, но ничего не сказал о мире вещественном, а ведь на земле и в космосе есть столько всего. Есть огромное пространство, есть масса бесконечно малого и бесконечно великого, есть планеты и есть различные предметы, которые парят в безмерности пространства. Каково их отношение, какова их связь

с Богом и, как следствие, с Церковью? с нами лично и с Церковью в ее полноте? Мне кажется, тут кроется что-то гораздо более великое, чем я способен выразить, передать и что должно стать предметом вдумчивого рассмотрения, предметом богословия материи, богословия всего тварного; должно открыть видение окружающего нас мира в Боге, исходя из видения Божия. О материальном мире мы всегда думаем, словно он инертный и мертвый: это дерево, это камень, это небо, это комета, да, но все это — предметы, они не имеют жизни. Устоит ли такое видение, если мы принимаем всерьез Воплощение? Н е т! Потому что в Воплощении две темы: не только Сын Божий стал Сыном Человеческим, — это область Истории; но Слово Божие, Бог стал плотью. Божество соединилось с тварной материальностью. Сын Божий соединился не только с человеческой душой; Он не вселился в тело, которое как бы служило Ему оболочкой. Его Божество пронизало это всецелое человечество, тело и душу, и в момент смерти Тело Христово, положенное во гроб, осталось нетленным именно потому, что оно было неразлучно соединено с Божеством, так же как Его человеческая душа, которая сошла в шеол, в ад, была неразлучно соединена с Божеством. Но в таком случае то, что я сказал чуть раньше о просторе, о величии человеческого призвания, относится равно к величию, к простору призвания того, что мы называем предметами.

Если в одном определенном случае тело Воплощения, его материя оказалась способной не только вместить Божество, но соединилась с Божеством нераздельно, неразлучно, и не перестала быть сама собой, проявилась во всем своем величии и не уничтожилась от этого соединения с Богом, тогда мы должны уметь посмотреть новыми глазами на этот мир, который является предметом научного исследования и технического воздействия. Христианин должен видеть мир иными глазами. Мы не имеем права представлять его миром вещества, который должен быть покорен, использован, исчерпан до предела. Мы — единственные, кто знает, что вся материя этого мира призвана к вечной судьбе, что она способна на это призвание. Что она не только способна стать проводником духовного, но способна соединиться с Божеством, — и что слово апостола Павла «будет Бог всё во всем» можно принять совершенно реально: все предметы именно призваны быть пронизанными Божественным присутствием, просиять присутствием Божиим, потому что только оно может им сообщить их окончательное, предельное величие. Мне кажется, тут нам надо продумать заново, например, отношение христианина к телу — в медицине, к материи, которая является предметом нашего научного поиска, к материи, которой овладевает техника, перестраивая ее все по-новому. Вот проблема, над которой должен задуматься как ученый-теоретик, так и специалист-практик.

Что касается плана аскетического, который также является частью нашей вовлеченности в тварный мир, я бы хотел просто отметить: материю, составляющую наше тело, мы слишком часто, постоянно обвиняем во всевозможном зле: жадность, лакомство, плотское невоздержан-

ние, похоть всякого рода — это грехи плоти. И мы утешаем себя мыслью, что, не будь у нас плоти, мы были бы ангелами... Мы были бы, вероятно, падшими ангелами; но факт тот, что у нас есть плоть, и совершенно несправедливо обвинять ее, как мы то делаем. Один из отцов Церкви где-то в пятом веке сказал, что грехи плоти — это грехи, которые дух совершает против плоти. Это хорошее определение, которое стоит запомнить и на которое следует обратить внимание. Чувство голода — это реакция нашего тела; жажда — это потребность нашего тела. Но когда мы произносим: «Я хочу не бифштекс, а филе» или: «Вода мне не по вкусу, я люблю пиво», — это говорит не наше тело, это действие нашего воображения — дурного или слишком живого, но именно воображения! Тело хочет пить, — оно не жаждет специально пива или кока-колы, тело хочет пищи, оно не требует непременно филе. Это относится и ко всему остальному.

Так вот, если подумать о нашем теле с такой точки зрения. Первое: есть наше тело, внешнее обличье каждого из нас, в единстве с душой, с нашим, скажем так, психологическим составом. Это тело в единении с душой, с воображением грешит, потому что не только наша душа лакомка, — при определенных мыслях у нас «слонки текут», — наше тело тоже реагирует. Но есть и другой уровень — чистой физиологии, что не имеет ничего общего ни с лакомством, ни с чем другим. И на уровне ничтожно малом, так сказать, на уровне клеток и молекул, и атомов, и всего мельчайшего, из чего состоит материя нашего желудка, они-то ничего не говорят, они продолжают свое движение по законам физики. И вы видите, что тело — не говоря о все прочем! — можно рассматривать в совершенно различных планах: есть человеческое существо, его зовут Иван, Петр, он может быть лакомка, он может быть пьяница, он может быть то или сё; есть его желудок, который в совершенстве приспособлен к тому целому, которое состоит одновременно из чистой физиологии и из действия воображения, желаний и т.д. на это тело, и, кроме того, есть в нем целый материальный мир, который совершенно свободен от страстей. Так вот, мне кажется, что один из главных моментов аскетического подвига, одна из целей борьбы, подвига, ведущегося уже веками и до наших дней, состоит в том, чтобы победить плоть ради того, чтобы дать самовластную свободу телу, достичь того, чтобы наше тело в полной мере стало материей в ее чистоте, в ее свободе по отношению ко злу. И каждая крупница материи, какая есть в нас, способна пережить восхищение, восторг того момента, когда Бог вызывал ее из небытия в бытие, когда она затрепетала славой своего бытия в присутствии Божиим. Но этого можно достичь лишь путем аскетического подвига.

Но то, что я говорю о человеческом теле, относится также к окружающей нас материи совершенно особенным образом. И я попрошу вас вернуться мыслью к тому, что я сказал чуть раньше о Воплощении, в частности, о веществе, которое мы приносим Богу в Таинствах. В Таинствах материя высвобождается из своего дурного контекста, изымается

из-под власти князя мира сего, актом веры, актом доверия к Богу она возвращается Ему. И Бог берет ее в Свои руки, возвращает ей в Таинствах ее первозданность, она становится способной уже теперь перерасти эту первозданность и стать для нас не только зримо, но ощутимо проводником того, что нам будет дано в вечности.

Когда хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христовыми, частица материи в том грешном, недостойном мире, в котором мы живем, уже достигает полноты своего призвания, — вот что происходит. Она высвобождается от греха, возвращается в Бога, достигает совершенства и полноты того, чем она призвана быть.

И это тоже — часть взаимоотношений Церкви и мира, потому что это возможно, это становится реальностью только внутри Церкви, в том ее аспекте, который определяется не как общество кающихся грешников, а словами Символа веры и словами Самого Христа: Тело одновременно Божественное и человеческое, где полнота Божества пребывает вместе с неполнотой человечества на пути к своему исполнению.

Ответы на вопросы

Можете ли Вы сказать чуть больше об отношениях христиан с атеистами: как конкретно можно их строить?

Этот вопрос сейчас много обсуждается в англосаксонских странах и он в становлении; я не думаю, что могу дать на него ответ — ни собственный, ни сколько-то превосходящий мое понимание.

Первое: если принять то, что я сказал раньше о положении Христа в отношении отсутствия Бога, потери Бога, наше принципиальное отношение к атеисту не может быть отношением врага, противника. И я думаю, что это очень важно, потому что то, как мы рассматриваем другого человека — любого другого, уже определяет возможности встречи и взаимоотношений. Второе: наши отношения с атеистами, по существу, не отличаются от наших отношений с кем бы то ни было. Мы должны быть в состоянии делиться тем, что имеем. И большое несчастье — что нам нечем, или так мало чем — делиться.

Если подумать о первохристианах: они вошли в мир, который для них был такой же сложный, такой же трудный, как наш мир — для нас. В любую эпоху современность трудна, непредсказуема, небывала; лишь потом, когда все проблемы разрешены, она кажется простой. Но те христиане вышли в мир с проповедью, в первую очередь — с радостью и с полнотой жизни, каких не было ни у кого другого. Тот мир был в упадке. Тот мир не верил больше в жизнь, в человека, в историю, в ее возможности. И христиане вошли в него с преизливающейся верой, с сияющей надеждой и с любовью, способностью любить, которая вдохновляла их отдавать свою жизнь за других людей. Так вот, если примерить эти их черты на нас, мне кажется, мы очень мало на них похожи. Кто из нас может с полной честностью сказать: я готов заплатить плотью своей,

внутренним покоем, жизнью за что-то очень значительное для жизни человека, который — ближний мой? Я не говорю о тех, кого мы особенно как-то любим, но даже и по отношению к ним — готовы ли мы поделиться с ними избытком своей радости? Посмотрите на «благочестивых христиан» у выхода из храма: на что они похожи? Если вы думаете, что такое зрелище обратит атеистов, то — увь! — навряд ли! Вглядитесь, есть ли у нас ощущение полноты жизни? Вы действительно считаете, что у христиан есть это чувство силы жизни? творчества? будущего? Вот уж нет! И потому, разумеется, мы оказываемся на противоположном полюсе по отношению к людям иных, чем наши, убеждений. Ведь единственное, что может заполнить пространство между нами, это именно внутренний порыв, когда вы устремляетесь вперед и пустоты не остается, нечего заполнять, потому что вы ее уже заполнили всем, что несете в себе. Это тоже я считаю очень важным. И это справедливо по отношению к атеисту, по отношению к любому человеку.

Кроме того, есть еще одно, что мне представляется все более затруднительным, потому что я начинаю понимать (вероятно, пойму годам к девяносту!), что в атеизме есть что-то очень реальное, атеизм — не просто непонимание, отсутствие опыта и т.д.

Меня очень поразила, — простите, я перейду на другое — летом на коллоквиуме в Женеве встреча с несколькими богословами «смерти Бога». Один из них мне сказал: «Видите ли, я нахожусь там, в том моменте жизни Христа, когда Он сказал: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?.. В тот момент Христос выразил крик отчаяния миллионов и миллионов людей. Он был по эту сторону смерти, но уже на Кресте. И у меня нет другой надежды, я разделяю это человеческое отчаяние». И он остается христианином. Только он — христианин, потому что познал Христа распятого. Главное в его жизни — ужас той минуты, когда Христос оказался обез-боженным. Вот что составляет его жизнь.

И я думаю, что в недрах тайны Христовой нам следует признать большее содержание, чем мы обычно признаем. Видите ли, я думаю, что мы, христиане, ошибаемся, когда думаем, что каждое событие бывает превзойдено следующим. В нашем представлении нам кажется, что Воскресение уничтожило все, что его предварило. Мы воображаем, что живем уже в Воскресении. Это не так — по большей части мы живем по эту сторону Страстной седмицы. Мы не христиане пост-христианского мира. Мы христиане, которые еще совсем не христиане, — или очень мало. В жизни Христа каждое событие не уничтожает предыдущего. Руки и ноги воскресшего Христа все еще носят язвы от гвоздей. В ребрах Его рана. На челе у Него следы тернового венца. Все это не принадлежит прошлому, безвозвратно прошедшему. Если можно так выразиться, Христос не исцелился от Своих страстей, потому что воскрес.

И я думаю, что слишком часто мы, христиане, ведем себя так, будто Церковь в какой-то момент прошла через предшествующие события, но теперь она опочила в Воскресении; так что и мы находимся в Воскресе-

нии, мы во славе; и нам непонятно, каким образом другие не вошли сюда же. Так вот, это наивно, это глупо, нам не хватает чуткости; можно определить это множеством неприятных слов. Разве мы не могли бы проявить немного больше понимания? Потому что все мы довольно-таки а-теисты, то есть вне Бога, и могли бы несколько лучше понимать ужас того, кто совершенно без Бога. Мне кажется, что здесь нам нужно глубже понять некоторые аспекты того, что происходило со Христом: Гефсиманский сад, Тайная вечеря и ее тута душевная, Распятие, целый ряд событий Страстной седмицы и т.д. Тогда мы стали бы гораздо ближе атеисту, и он понимал бы нас немного лучше. Потому что когда мы делаем вид, что воскресли, а на самом деле еще мертвецы, — никого это не убеждает; в этом-то вся беда. Я думаю, что мы могли бы углубить свои отношения, свою связь с атеистами именно углубляя и обогащая свою связь с событиями жизни Христа, усвая себе жизнь Христову или включаясь в жизнь Христову все глубже, точнее, определеннее, гораздо более трезво и реалистично, чем делаем обычно.

Марксисты говорят о необходимости «прямого действия». Как должен действовать христианин?

Я не претендую на то, чтобы давать ответы и рецепты! Во-первых, деятельность христианина должна быть такова, как я говорил раньше: действие Божие, совершаемое теми, кто являются живыми членами Тела Церкви. Но помимо этого есть целый мир вещей, где мы можем найти свое место. Мы могли бы обнимать человеческое общество со всех сторон. Но если мы действительно христиане, мы превосходим это общество, как тот, кто живет в трех измерениях: он живет в двух измерениях и, плюс к тому, в третьем. В этом смысле мы должны были бы жить, как люди, у которых нет Бога, во времени и пространстве — что и составляет два измерения; но кроме того, в нас должно присутствовать то измерение безмерности, бесконечности, вечности, которое и есть третье измерение, принадлежащее Богу. И в рамках любых профессий, любых ситуаций мы должны были бы уметь вести себя так, как человек трех измерений, живущий среди тех, кому доступны только два измерения. В жизни мира очень многое относится к области чисто человеческой. И когда я говорю «человеческой», я не говорю «безбожной», я имею в виду: в масштаб человека. Это вопросы милосердия, честности, правды, жалости, мужества — все проблемы общечеловеческие, которые не нуждаются в ярлыке «христианские». Разумеется, христиане должны были бы вносить в них еще одно измерение, но эти проблемы стоят, и мы должны были бы в них принимать участие.

К сожалению, в наше время понятие «общины», христианской общины, начинает обесцениваться. Первые христиане были едины и неразделимы, потому что любили друг друга, любили Бога, у них действительно было опытное знание Бога, они жили одной жизнью, и будь они в одиночку или собраны, они составляли Общину, которую ничто не могло

разрушить. Мы теперь пытаемся создавать своего рода общины, сущность которых — собраться и быть одиночками — вместе. То есть мы не способны любить друг друга, но мы можем согреться друг о друга. Мы в состоянии сгрудиться так, чтобы не чувствовать себя уж очень одинокими, отчаянно одинокими. Но это не община. Такая община основана только на страхе одиночества, на внешнем страхе, на чувстве, что в одиночку ты уж очень ничтожен. Христианская община должна быть основана на преизбытке жизни, а не на чувстве ничтожества.

В результате таких потуг «общинности» (в каком-то плане совершенно законных; я вовсе не хочу сказать, что нам не нужны подобные общины, группы, общая жизнь) очень часто — и я говорю главным образом об англосаксонских странах, которые теперь знаю лучше, чем Францию, — приходы, христианские конфессии, церкви пытаются быть небольшими обществами внутри Общества. Каждый приход пытается предоставить своим прихожанам все элементы общественной жизни: танцы, вист, покер, настольный теннис — все это под крышей, которую вернее назвать зонтиком «церкви». Я не вижу существенной разницы: играть ли в настольный теннис под эгидой церкви или секулярно; качество игры зависит только от вашего умения. И мне кажется, что сейчас нам грозит опасность пройти мимо чего-то очень важного: в нашем стремлении к «христианскому действию» пройти мимо интеграции в общечеловеческую деятельность. А когда, вдобавок, мы занимаемся христианской деятельностью и говорим: «Если мы будем все это делать лучше, чем атеисты, это привлечет к нам больше людей» — то дальше идти некуда. Потому что если люди приходят ко Христу потому, что у нас лучше организована работа с детьми или экскурсии или что бы то ни было, — нет! Извините, но Христос умер на Кресте не ради этого.

И тогда встает проблема деятельности. Я думаю, что наш долг — быть везде, участвовать в любой человеческой деятельности, везде и в любое время. Но участвовать во всем с чувством ответственности, с пониманием, ощущая третье измерение, превосходящее то, что привносят в деятельность другие. И тогда мы будем действовать, вероятно, незаметно, без всякого ярлыка: христианский, нехристианский, католический, православный, протестантский — или любого другого; но в результате мир, в котором мы находимся, постепенно откроется новому измерению.

Только ли те, кто стал мучеником, вправе сказать Христу: «Прости им»?

Нет. Мы все можем это делать и должны это делать, в той мере, в какой в нас уже есть что-то Христово. Но мы должны быть готовы принести ответственное свидетельство. Мы не имеем права сказать: «Господи, прости тех, кто гонит Церковь за железным занавесом!» — и одновременно не прощать того, кто подшутил над нашим именем или грубо толкнул в метро. В этом вся проблема: мы все готовы прощать большое зло, которое нас не касается, и полны злопамятства в том малом, что затрагивает нас самих. И

в тот момент, когда мы не способны ко второму, мы теряем право и на первое. От нас не требуется отдаться на съедение львам и прощать римских императоров; но когда нас кусают блохи, мы могли бы проявлять более христианские чувства!

Какое значение имеет вечная материя? материя этого мира будет как бы одухотворена, будет освящена после Страшного суда, славного явления Христа?

Да. Но тут, думаю, нам нечего сказать, это превосходит то небольшое, что нам известно, это совершенно нам непостижимо.

То небольшое, что нам известно, вот оно: когда Христос являлся после Своего Воскресения, Он имел то же тело, которое было распято, и вместе с тем это воскресшее тело имело совершенно иные свойства, — и тут нам дано как бы прозрение того, к чему мы призваны. Нам дано единственное свидетельство — нет, не единственное: в лице Божией Матери нам дано второе свидетельство, пример того же: человеческой плоти, неподвластной времени, принадлежащей вечности.

Но представить себе конкретно, какова будет материя этого мира, когда Бог будет всё во всем, когда она будет прославлена, явлена во всем своем величии, разверзнется, — этого, думаю, мы не в состоянии представить. Можно выдумывать, но мне кажется, невозможно богословствовать на эту тему.

Каково отношение Православия к классовой борьбе в империалистических странах?

Мне кажется, у Православия нет какой-то особенной позиции по отношению к классовой борьбе или к империалистическим странам. Мне кажется, существует общая, основоположная христианская позиция, которая заключается в следующем: только и именно христианство впервые объявило человеческую личность абсолютной ценностью. Человеческая личность — вот абсолютный критерий нашего видения вещей. А значит, идет ли речь о человеческих личностях как индивидах, идет ли речь о группах людей, христианин обязан отвергнуть любое проявление эксплуатации, несправедливости или жестокости.

Кроме того, думаю, что тут возможны два подхода: есть медленная, постепенная борьба, которую вели христиане, всерьез воспринимавшие христианство, готовые платить за свои убеждения, например, борьба против рабства, борьба, которая тянулась порой десятилетиями или даже столетиями за выправление общества, несправедливости и т.д. И есть проблема насилия, — и проблема эта сегодня встает перед христианским сознанием чрезвычайно серьезно. На экуменическом съезде в Упсале эта проблема насилия была поставлена в отношении малоразвитых стран, в частности, по отношению к Южной Америке. И не только я, но и все представители Церквей из-за железного занавеса ужаснулись легкости, с которой представители Запада говорили: «Ну да, бывают моменты, когда

надо реагировать насилием, когда насилие становится законным»; или наивности, с которой, например, на конференции «Церковь и Общество» в Женеве в 1966 году французский социолог нам сказал: «Но революция совсем не обязательно связана с пролитием крови или с насилием! Революция — просто ускоренная эволюция». Помню, один из членов русской делегации ему сказал: «Послушайте, уж нам-то не надо говорить т а к о е».

В насилии есть нетерпение, есть иллюзия, будто построить рай можно так же легко, как разрушить то, что раем еще не является. Мне кажется, что христианское сознание должно очень внимательно вглядеться в эту проблему насилия, прежде чем одобрить его.

Что касается классовой борьбы: слово «борьба» трудно приемлемо с христианской точки зрения, потому что мы не должны бы принимать антагонизм, который подразумевается этим словом.

В настоящее время историческая Церковь все больше удаляется от мира и мир — от Церкви духовной; так ли это? И чем тут помочь?

Я думаю, что беда исторической Церкви нашего времени в том, что она одновременно совершает две вещи: она обмирщается, становится все меньше Церковью, и вместе с тем пытается убежать от мира, создавая свой собственный мирок. В результате мир отходит от Церкви духовной, потому что через нас очень трудно разглядеть Церковь с большой буквы. Увидеть образ Божий, глядя на нас, не очень-то легко.

Что делать? Мне кажется, помогло бы серьезное восприятие того, о чем я говорил раньше: во-первых, церковь в становлении, церковь как человеческое общество должна стремиться стать Церковью, а не одним из множества обществ, которые существуют согласно естественным законам; и во-вторых, Церковь, которую мы составляем, при всем нашем несовершенстве, — абсолютно уникальное общество, и мы призваны быть свидетелями, мы должны свидетельствовать дорогой ценой и абсолютно правдиво. Мне кажется, только это может помочь [...]

Если перед лицом мира Церковь не должна быть агрессивной и победоносной, сильно структурированной, действовать избирательно, то ей следует изменить свои нынешние временные формы. Какую форму ей следует иметь?

Думаю, тот, кто поставил эти вопросы, должен адресовать их кому-то более непогрешимому, чем я. Но мне кажется, что на самом деле проблема не в том, чтобы изменить структуры. В конце концов, любые структуры хороши и приемлемы, если внутри этих структур — живые люди. В конечном итоге, существенное влияние оказывают не те или другие структуры, а люди.

Что мы действительно должны постараться перерасти — так это агрессивность, которую порождает в нас страх; желание восторжествовать, потому что мы путаем победу Божию с победой, так сказать, «поповской» — или с победой епископов, или с победой «благочестивых хрис-

тиан». Мы должны суметь перерасти это смешение между Богом и нами, между Царством Божиим и Церковью в ее временном бытии. И тогда жизнь всегда порождает структуры, формы, потому что жизнь никогда не бывает аморфна. С другой стороны, если бы в нашей среде была любовь, множество вещей стали бы ненужными, и многое другое стало бы возможным. Нужда в благотворительных обществах возникает, когда люди недостаточно щедры и не дают сами по себе; то или другое приходится организовывать, потому что оно не возникает само по себе. Разумеется, есть уровень, на котором следует заниматься организацией. Но прежде всякой организованности должно быть движение сердца, порыв воли, который позволит осуществить задуманное.

Я вам дам пример такого сердечного порыва. Лет семь-восемь назад я был в Индии. Когда я вернулся в Англию, меня попросили выступить на тему голода в Индии. И я выступил, — я рассказал, что видел, и говорил со всей доступной мне страстностью, гораздо большей, чем сегодня. После собрания, как принято в англиканских церквях, я стал у выхода, и люди подходили попрощаться со мной. Подошла одна дама и сказала: «Ах, отец, какой хороший вечер мы провели с вами!» Я посмотрел на нее (мысленно я бы не знаю что с ней сделал!) и сказал: «Надеюсь, что вы по крайней мере достаточно заплатили за этот вечер». Она ответила: «Я дала шиллинг». — «Тогда вернитесь и дайте фунт, потому что если вечер был хорош, это позволит накормить хоть кого-то в Индии».

Так вот, мне кажется, что проблема в этом. Мало что-то организовывать, если люди, придя, просто говорят: «Вот замечательный доклад» или: «Мы провели хороший вечер за счет тех, кто умирает с голоду». Нет, нет и нет!! А если есть люди, способные на иной подход, нет нужды стоять с тарелкой на выходе, — они найдут способ, как вручить вам деньги.

Чем объяснить, что история Церкви всегда вступала в явное противоречие с теми евангельскими и Христовыми принципами, которые Вы изложили?

Ну, ответу просто и прямо: тем, что слишком многие христиане похожи на меня, им не хватает мужества быть христианами! Мне кажется, что если бы мы принимали всерьез свое христианство, многое бы изменилось; только вот это нас страшит. Мы все время пытаемся превратить Евангелие в Ветхий Завет, принять заповеди Христовы за приказания, руководство к исполнению. Вы знаете, что такое закон: закон — то, что надо исполнять. Но у закона огромное преимущество перед любовью; закон гласит: если вы исполните то-то и то-то, этого достаточно, больше ничего не требуется... А трагедия евангельского делания в том, что Христос нам говорит: Закона нет... То есть: нет предела тому, что мы должны исполнить. Христос нам говорит: «Любите». Но «любить» так, как говорит Христос, означает: будь готов забыть о себе настолько полно, чтобы для тебя существовал только другой, а ты сам для себя вовсе не существовал. Если бы Евангелие было только это — и то Христа убили бы, потому что это самое страшное, что только можно себе представить.

Принять существование другого — и то уже нелегко; предпочесть существование другого собственному — это ужасно страшно. Но сказать: я готов, согласен не быть, для того чтобы был другой, существовать только ради него, по отношению к нему, в зависимости от него, и забыть себя — это смерть. Так вот, этого все мы боимся. Посмотрите на наши дружбы, на отношения приятельства, отношения взаимной любви. Вот что важно. Мы боимся потерять самосознание, боимся не ощутить себя самими собой, совершенно потеряться. Вместо того, чтобы быть зерном — а зерно должно умереть, чтобы принести плод, — мы говорим: нет, я готов принести плод, но не хочу умереть до конца. Я хочу все время знать, что существую... И это катастрофа; и мне кажется, что это и стоит в сердцеvine евангельской трагедии: если мы не способны любить, нет такого Евангелия, которое мы способны исполнить. Потому что победа Евангелия — это не гарантия социального обеспечения, это не справедливое общество, это не равное распределение богатств и благ. Все это, конечно, входит в Благую Весть, но составляет очень незначительную часть ее всецелого требования. И я думаю, что в этом вся трагедия. Чтобы Церковь стала сама собой, нужно, чтобы каждый христианин стал христианином. Вот в чем стоящая перед нами проблема. Потому-то я говорил раньше, что для взаимоотношений мира и Церкви важно, чтобы мы были верны в малом; потому что если нет верности в малом, то и великое просто не может совершиться. Мы говорим о построении единства: мы готовы строить единство мира, мы готовы строить единство Церквей — и не способны создать единство, общность трех или четырех человек. Как можно быть строителями единства, если мы нелояльные товарищи, неверные друзья, или бессердечные начальники, или бесчестные работники и т.д.? Вот где все начинается. Только не в порядке закона, потому что по закону всегда можно на чем-то остановиться, а в порядке любви, жертвы, служения.

Я думаю, что в христианской Церкви миллионы людей сумели быть христианами, и что таково наше призвание, таково требование к нам Евангелия. А когда мы говорим: Церковь явно противоречит собственным принципам и потому я от нее отворачиваюсь, — это лазейка, уловка, ничего другого. Стань тем единственным членом Церкви, который будет в уровень своего христианского призвания, — и вся Церковь станет выше, сначала благодаря примеру, затем и самим делом.

Если позиция Церкви по отношению к миру должна быть позицией Бога по отношению к миру, как объяснить, что на практике различные христианские Церкви занимают различные позиции?

Мне кажется, что в основе того, о чем вы говорите, факт: Церкви в своем внешнем выражении — это человеческие общины, которые считают себя христианскими, потому что заявляют, провозглашают что-то; но не живут этим в достаточной мере. В ту меру, в какую мы знаем истину, но не живем ею, мы перестаем улавливать что-то существенное в самой

истине. Позиции Церквей в какой-то степени расходятся, пока какая-либо проблема не становится трагически-реальной для одной определенной общины. Например, в период гонений все Церкви обнаруживают между собой глубокое единство — я говорю о единстве в действии, единстве в жизни. Сейчас на Западе и во многих частях света мы живем слишком обеспеченно, защищенно и успешно находим возможности всяких уверток. Когда же реальная проблема встает перед нами со всей остротой вопроса жизни и смерти, тогда люди либо перестают быть христианами, либо отзываются на ситуацию вполне по-евангельски. Я думаю, в этом отношении наша задача состоит в том, чтобы учиться, чтобы пытаться поступать по-евангельски, прежде чем нас к тому вынудит Суд Божий. И это очень, очень серьезно, потому что Суд Божий неизбежно настигнет нас рано или поздно, — потому что Бог не станет терпеть Церковь-изменницу.

Почему все христианские авторитеты не призывают молодежь: не учитесь убивать других людей, отказывайтесь от военной службы?

Это один из тех вопросов, которые очень трудны для меня, потому что у меня нет ответа, — я имею в виду: у меня нет внутреннего ответа на него. Недавно я проводил говение для студентов в Оксфорде, и один молодой человек подошел ко мне и спросил, пацифист ли я. Я ответил: «Нет». Он сказал: «А я вот радикальный пацифист». Я говорю: «Да? Совершенно радикальный?» — «Да». — «Так вот, представим, что тыходишь в комнату и видишь, как мужчина пытается изнасиловать твою невесту. Что ты сделаешь?» — «Я обращусь к нему с просьбой не делать этого...» Так вот, для меня это неприемлемо. Я в этом смысле еще необращенный язычник. Вот как мне представляется эта проблема: если эта проблема встает передо мной частным случаем и я не в состоянии ее разрешить, это значит, что у меня нет ответа и на общий вопрос.

Разумеется, в плане войны, при хорошей подготовке мы могли бы отказаться от военных действий. Но как быть с преступником? бандитом? хулиганом? Вот где для меня встает вопрос. И я не способен дать такой ответ, какой дал тот оксфордский студент, я убежден в обратном! Возможно, это лишнее доказательство того, что я плохой христианин, который еще и не начал становиться христианином, — этого я не отрицаю! Но для меня это неразрешенная проблема. Я не вижу ее решения. Например, в 1939 году, если бы меня не мобилизовали, я бы ушел добровольцем; я и сейчас так поступил бы — потому что мне казалось, что происходит что-то, что надо пресечь, сделать невозможным, что в уродливой ситуации военная реакция менее уродлива, чем та ситуация, с которой она призвана бороться. Но я вовсе не претендую, что это христианский ответ, и дай Бог, чтобы нам не пришлось участвовать в том, о чем я сейчас говорил. Но мне просто приходится признаться, что мое христианство настолько слабо, что у меня нет решения.

том Вивекананды в Америке и Европе, он решил, что мир созрел для принятия Кришны как единого Бога. Мир однако предпочел остаться в неведении, что неудивительно — достаточно вспомнить, чем занимались европейцы и американцы в первую половину столетия, и станет ясно, что им было не до Кришны. Миссия распалась сразу вслед за смертью основателя, и позднее мы еще вернемся к этому вопросу, но прежде посмотрим, как демократические ценности укоренялись внутри кришнаизма.

Здесь мы сразу сталкиваемся с одним любопытным явлением — сын, на первый взгляд, оказался менее прогрессивным, чем отец, и восстановил в движении брахманский статус. Как же уживалось это с провозглашением Кришны вселенским Богом, возвышающимся не только над кастовыми барьерами, но и над культурными, расовыми и национальными различиями?

Очень просто — восстанавливая ценность брахманского шнура, отвергнутого отцом, сын собирался удостаивать им каждого, кто преданной любовью к Кришне доказал, что он истинный *брахман*, независимо от того, в каком теле ему случилось родиться или точнее — родиться вновь. Основа *варнашрамы* в ее историческом бытовании — наследственный принцип. В чем смысл одной рукой восстанавливать к существованию то, что другой лишаешь смысла существования?

На первый взгляд, все достаточно просто — теряя свой исконный смысл, слово «брахман» становится знаком приверженности кришнаитской вере. Так сказать, индийским аналогом слова «христианин». Обряд вручения брахманского шнура выступает в этом случае эквивалентом крещения. Но «брахман» — это не просто новое слово, в индийской культуре оно нагружено массой смыслов. Лишив его одного из главных — наследственной принадлежности к жреческому сословию, — Бхактисиддханта и не помышлял отказываться от остальных. Возможно, он чувствовал, что отказ от варнашрамы являлся слепым копированием чужого, таким низкопоклонством перед Западом. Но время слепого западничества отцов прошло, и сыновья высоко поднимали знамя индийского национализма. Раньше брахманами были лишь избранные, а теперь любой индиец может стать избранным, возлюбив Кришну. Более того, европеец тоже может стать кришнаитом, то есть индийцем, признав тем самым индийское превосходство.

Но *брахман* — это еще и высшая ступень социальной иерархии. Сохраняя ее, неизбежно сохраняешь и другие — воинов, торговцев, слуг. Сохраняется вся цепочка общественного неравноправия. Можно, конечно, придать ей относительный характер, лишив наследственного принципа, как это было проделано с брахманом. В этом случае социальная иерархия станет иерархией призваний, однако если есть иерархия, значит должен быть и тот, кто осуществляет ее здесь на Земле. Понятно, что этот кто-то — *брахман*. Но истинное призвание предполагает свободу следования Призыву...

Не прав ли был радикальный отец, одним махом отбросив социальные препоны, мешающие свободным отношениям с Творцом? Может быть...

Но сын, судя по всему, оказался более последовательным богословом. Корни варнашрамы уходили в самую глубину кришнаитского мировоззрения и обрубить их одним махом — значило изуродовать его. Предстоял более длительный и сложный процесс его переосмысления.

4. Брахманизация Запада

К сожалению, мне не удалось раздобыть богословские труды Бхактисиддханты. Пыляться себе где-нибудь в калькуттских библиотеках, попробуй, доберись до них. Но зато по всему миру, включая и Россию, продано и роздано немыслимое число трудов, возможно, лучшего и, уж точно, самого удачливого ученика Бхактисиддханты — Чарана Де (1896—1977), известного всему миру под своим религиозным именем свами Бхактиведанта Прабхупада. Это он семидесятилетним стариком без гроша в кармане высадился на благословенные берега «под сенью статуи Свободы» и в считанные годы создал самое, может быть, любопытное новое религиозное движение — Международное общество сознания Кришны. Новизна его, конечно, относительна и восходит к Бхактивиноде и его сыну, но Бхактиведанта подробнейшим образом систематизировал учение и расставил все точки над *i*. Поэтому интересующая нас проблема усвоения кришнаизмом демократических ценностей раскрыта у него во всей полноте. Кроме того, у него был и богатый непосредственный опыт руководства движением в условиях демократического общества. Но об этом позднее.

Подобно своему учителю, Бхактиведанта сохранил в кришнаизме систему *варнашрамы*, придав, однако, кастовому делению относительный характер. Его западные ученики присоединялись к движению, проходя через специальное посвящение, когда им присваивалось новое религиозное имя и вручались четки для речитативного повторения различных имен Господа Кришны. Но сохранилось и второе посвящение, в ходе которого наиболее успешным ученикам преподносился брахманский шнур, и они таким образом делались членами *брахманской* касты.

Парадокс ситуации заключался в том, что *брахманами* зачастую становились те, кого в ту пору именовали отбросами общества, всякие контркультурные персонажи — хиппи, иппи, бывшие наркоманы, студенты, бросившие учебу, и т.д. Сам Бхактиведанта прекрасно осознавал этот парадокс, но утверждал, что именно западная молодежь лучше всего подходит для создания новой духовной элиты, ибо она «сыта по горло материализмом».

Известно, однако, что так он считал не всегда. За три года до приезда в Америку он писал: «Мы уверены, что если трансцендентальное содержание Шримад Бхагаватам (имеется ввиду Бхагавата-пурана, один из основных вероучительных текстов кришнаизма — *Б.Ф.*) будет усвоено лидерами мира, чувства их наверняка переменятся и остальные люди естественно последуют за ними. Ведь люди в массе своей — это, так сказать, инструменты в руках современных политиков и лидеров. Если

изменится настроение лидеров, конечно, произойдет радикальная перемена в мировой ситуации».

Однако традиционная элита подвела, и Бхактиведанта с колоссальным энтузиазмом взялся за создание новой. Идея иерархического устройства общества осталась неизменной. Равенство людей в духе упорно не желало превращаться в правовое. Почему?

5. Борьба духа и материи

В кришнаизме еще с давних пор существовал один тонкий богословский инструмент под названием «непостижимое различие неразличимого». В принципе он напоминал знаменитую формулу о «неслиянном единстве», выработанную христианской патристикой, но все же отличался от нее. К примеру, он объяснял, каким образом в Кришне, а стало быть и в человеке, соединяются духовные и материальные энергии, но не считал каждое такое соединение уникальным в своей неповторимости. Христианское духовно-материальное единство личности кришнаизмом мыслиться не могло, так как в нем, как и в любом виде индуизма, присутствовала идея перевоплощения, согласно которой духовная сущность человека путешествует из одного тела в другое, сбрасывая их по мере использования, как старые одежды. Поэтому Бхактиведанта и не уставал повторять, что в духе все равны, но вот в материальном плане ни о каком равенстве и речи быть не может. Материально все тела разные — отличаются они не только своими физическими особенностями, но и душевными, и интеллектуальными (ум в кришнаизме — тоже энергия материальная, правда, «тонкая»). Поэтому люди в здоровом обществе (*варнашраме*) и распределяются по иерархическому принципу — ведь каждый из них предрасположен к вполне определенному роду деятельности.

Христианство видит в каждом человеке уникальное духовно-материальное единство — личность. Конечно, люди разные, Творец наделяет их разными талантами, но реализация таланта, призвания — личное дело каждого человека в его отношениях с Творцом. Повторюсь, Реформация помогла европейскому человеку осознать, что эти отношения не нуждаются в посредниках, и в ходе долгого пути духовные свобода и равенство стали правовыми категориями. Конечно, этот путь сопровождался и огромными потерями, в том числе и потерей веры в Источник свободы. Поэтому неудивительно, что в поисках веры современный человек зачастую готов отказаться от своих свобод. Правда, в этом случае он может рассчитывать лишь на суррогат веры.

Но существует и другой путь, когда человек отказывается не от свободы, а от своеволия, добровольно вручая себя Творцу. Однако современное обмирщенное сознание не всегда способно заметить столь тонкие различия, и большинству из нас человек, уходящий в монастырь, кажется беглецом от свободы.

В случае с молодыми людьми, уходящими в кришнаизм, такое впечатление усугублялось тем, что они, во-первых, уходили к чужому Богу, а не «законному», «своему», и, во-вторых, принимали правила игры, предложенные Бхактиведантой, добровольно становясь членами иерархической социальной структуры, от которой европейское человечество отказалось со времен Средневековья.

Был, наконец, и еще один настораживающий момент. Поскольку устройство нового общества должно было начаться «с нуля», кому-то следовало позаботиться и о правильном распределении людей по социальным нишам. Для Бхактиведанты было совершенно естественно, что этим должны заняться *брахманы*, так как в них «тонкой материи» больше, чем в остальных.

Все это и объясняет, почему западным сознанием уход молодежи в кришнаизм воспринимался не как отказ от своеволия во имя духовной свободы, а как бегство от свободы социальной в объятия авторитарного «отца», то есть подмена веры одним из ее суррогатов. Что же происходило на самом деле?

6. Монастырь на колесах

Во время одного из кришнаитских празднеств по улицам города везут увитую цветами повозку с любовно украшенным изображением Кришны. На Западе это традиционное индийское шествие приобрело неожиданный смысл, символизируя динамичность распространения новой веры. Увидев его впервые, я подумал — вот, везут монастырь на колесах. То, что молодежь, последовавшая за Бхактиведантой, предпочла чужой монастырь собственному, свидетельствовало не столько о его достоинствах, сколько об обмирщении западного христианства и прежде всего протестантизма. Скорые на руку американские религиоведы сразу посчитали, что в основном кришнаитами становились молодые люди из либеральных протестантских семей. Действительно, зачем молодому католику идти в монастырь кришнаитский, когда у него есть свой, не хуже — с celibатом, строгим уставом, духовными упражнениями, то есть со всем тем, что требует молодое горячее религиозное сердце?

Но кришнаизм предлагал не только эту перспективу собственного духовного спасения, он обещал и спасение человечеству путем распространения своего сурового устава на всех тех, кто захотел бы прибегнуть к его услугам. Именно в этой точке и сошелся молодой энтузиазм контркультурной молодежи, которая нашла, наконец, подходящую духовную упаковку своему юношескому идеализму, и проповеднический пыл старого кришнаита, который искренне предлагал «ведический рай» всем тонущим в океане материального кошмара. И рай этот включал в себя «справедливое и благородное» социальное мироустройство — *варнашраму*. Контркультурная утопия, мечтающая об обществе свободном от каких-либо ограничений, где люди смогли бы предаваться радостям самореализации, наложилась на утопию индийскую, где иерархическое миро-

устройство являлось залогом духовной свободы. Идеал анархический, обретя духовное измерение, оказался подчинен идеалу иерархическому.

Но ни о каком насильственном осуществлении *варнашрамы* и речи не шло. Индийский принцип ненасилия (*ахимса*), который Бхактиведанта усвоил еще в далекой юности, будучи горячим поклонником апостола *ахимсы* — Махатмы Ганди, идеально отвечал принципиальному отказу «детей-цветов» от насилия. А как же *брахманы*, распределяющие людей по кастам? Они должны это делать путем просвещения, открывая гражданам глаза на их истинную природу. Некоторые сомнения в безграничной силе просвещения со временем все же возникли, но об этом чуть позднее.

Важно и то, что хиппи, вслед за Бхактиведантой, не усматривали в *варнашраме* никакого неравноправия. В обществе, где главной ценностью будет любовь к Богу, ценность пребывания в той или иной социальной нише станет относительной. А поскольку пребывание это будет отвечать еще и внутренней предрасположенности человека, выявленной экспертом-*брахманом*, то он будет вполне счастлив.

Эта любопытнейшая метаморфоза контркультурной идеологии вызвала неоднозначную реакцию. Многие заподозрили здесь некий подвох. Никому еще не удавалось обуздать анархические выходки хиппи, и если какой-то «старый индус» проделал это так легко, значит он их просто загипнотизировал, «промыл им мозги», лишил их свободы. Ну а коли обманутые дети еще и предлагают превратить все свободное общество в кришнаитский монастырь, то это, ясное дело, заговор. Вот возьмут и всех загипнотизируют.

Надо сказать, что проживший длинную и непростую жизнь индеец довольно скоро понял, что что-то здесь не так. Энтузиазму хиппи он вначале удивился, но вскоре решил, что коли Кришна снабжает его таким странным материалом для своего земного царства, то, видимо, имеет на это какие-то свои высшие соображения. В конце концов официальная элита может присоединиться и потом. Но вот за что его невзлюбила широкая общественность, он вначале не понимал — ведь он же хочет, как лучше. Затем он решил, что такая реакция естественна — злобные *ракшасы*, враги Кришны, не дремлют, принимая на себя все новые обличья — обезумевших «ученых материалистов», «демонических» фундаменталистских проповедников, «олжцов-журналистов» и т.д. Косная материя сопротивляется хирургическому скальпелю духа.

И все-таки он как-то пытался смягчить направленные на него критические удары. Будучи честным богословом, он не мог в угоду своим критикам взять и отвергнуть систему *варнашрамы*, но все чаще намекал, что принятие ее — дело отдаленного будущего, что общество не созрело для понимания столь возвышенных социальных форм, а покуда следует голосовать за тех политиков, которые верят в Бога, причем совсем не обязательно в Кришну. Сгодятся и Христос, и Аллах. То есть он вслед за Черчиллем готов был принять демократию за неимением под рукой более

совершенных форм правления. Однако, в отличие от циничного британца, он-то знал, что такие формы уже были изобретены ведическими *риши* много тысяч лет назад и когда-нибудь мирно завоюют землю. Так происходил хорошо изученный религиоведами процесс вытеснения несбывшихся надежд в неопределенное будущее. Принятию Бхактиведантой демократического статус-кво способствовали и некоторые проблемы управления кришнаитским обществом.

7. Комиссия по управлению железной дорогой

В начале своего повествования я обещал вернуться еще к железнодорожной символике, которой суждено было сыграть заметную роль в становлении кришнаизма на Западе. В индийском сознании колониальных времен одним из самых явных свидетельств эффективности британского правления была система железных дорог. Для традиционного индийца, жившего вне времени и пространства (поскольку, по большому счету, все это майя, иллюзия), многочисленные поезда, ходившие туда, куда им положено и при этом не всегда опаздывающие и не слишком часто сталкивающиеся между собой, были чудом. Управлял железной дорогой совет директоров («главная комиссия по управлению»), работавший на коллегиальных началах. Видимо, поэтому он и стал одним из символов эффективности демократии. Во всяком случае, неудивительно, что перед своей смертью в 1937 г. Бхактисиддханта, учитель Бхактиведанты, завещал создать «главную комиссию по управлению» (ГКУ) для централизованного коллегиального руководства деятельностью миссионерской организации. Но многочисленные братья-учителя не сумели договориться, и «миссия Гаудия» распалась. Будущий свами Бхактиведанта переживал эту неудачу чрезвычайно болезненно, ибо еще в молодости считал повсеместное распространение единого кришнаизма главной целью своей жизни. Поэтому, создав собственную организацию на Западе, он был с самого начала обеспокоен проблемой преемственности и, как оказалось, не зря. С этой целью, дабы не искушать судьбу, он решил учредить ГКУ еще при своей жизни и на ежегодных собраниях установил систему принятия решений путем голосования, причем сам голосовал на равных с другими. Исполнение этих демократических процедур противоречило принципу абсолютного авторитета учителя, принятого в кришнаизме, но и здесь, как и в случае с *варнашрамой*, прагматические соображения оказались важнее догматических.

Вместе с тем, необходимость принятия в общество новых членов, которое совершалось путем посвящения, требовало сохранения института авторитетных учителей, могущих его осуществлять. Поэтому незадолго перед смертью Бхактиведанта передал право посвящения одиннадцати региональным учителям. Однако способов, которые могли бы предотвратить перерастание духовного авторитета в авторитарное управление движением, он разработать не успел или не сумел. Эта нелегкая задача выпала на долю его наследников.

8. Утопия у власти

В 1977 году свами Бхактиведанта оставил этот мир, и бразды правления в обществе подхватили его молодые ученики. Трезвость пожилого индуса сменилась молодым энтузиазмом новообращенных. Внутри общества это вылилось поначалу в преобладание авторитарных методов управления. Похоже было, что худшие опасения Бхактиведанты начали претворяться в жизнь: некоторые молодые гуру, упоенные своим безграничным авторитетом, растаскивали организацию на куски, каждый становясь царьком в своей вотчине. Этому пыталась противостоять ГКУ, но на первых порах казалось, что хрупкая демократия вновь терпит поражение в схватке с самоуверенным авторитаризмом.

Процесс, происходящий на «внутрипартийном» уровне, неизбежно распространялся вовне. Вновь получили хождение проекты будущего мироустройства, в которых истинным *брахманам* отводилась трудная роль регуляторов социальных отношений. Вот такой проект, созданный одним из региональных учителей — Харикешей свами (в миру Роберт Кампаньола), и дошел с опозданием в 16 лет до широкой российской общественности. Ученик Бхактиведанты старательно развивал взгляды учителя на *варнашраму* в применении к западному обществу. Одновременно он муслировал и ставил любимую хиппи идею о вселенском заговоре плутократов (не чуждую, как уже было показано, и учителю), которые норовят подчинить себе демократическое общество, искусно манипулируя им через средства массовой информации.

Последовательное развитие двух этих идей и привело к главной мысли проекта — с заговором плутократов бороться неумно и бесполезно, следует этих плутократов просветить, открыв им глаза на их истинную природу *кшатриев*. Напомним, *кшатрии* в кастовой системе — это воины, а шире — представители власти вообще. Энергии у плутократов хоть отбавляй, верно рассуждал Харикеша, надо эту энергию использовать в мирных целях. Это и должны проделать *брахманы-кришнаиты*, внушив власть предержавшим истинные ценности взамен ложных. Вот эти ценности: вера в Бога, презрение к грубым материальным наслаждениям, высокие помыслы, отказ от эгоизма, бескорыстный труд на благо общества.

Замечу, кстати, что в своих мечтах о просвещении и использовании *кшатриев* в мирных целях, Харикеша предвосхитил соображения ряда наших интеллигентов о выдвигании на трон генерала Лебеда. Сходство, казалось бы, неожиданное, но, если подумать, закономерное.

Когда новые *кшатрии* окончательно перевоспитаются, заговор это автоматически станет заговором добра, и общество начнет работать, как хорошо отлаженный механизм: *брахманы* будут думать, *кшатрии* руководить, *вайшьи* — делать бизнес (тоже, естественно, во благо обществу), а *шудры* — доить коров и забавлять счастливую публику. Коров доить, так как общество избавится от промышленного кошмара и станет «безмятежной аркадской идиллией» (в священных текстах Кришна — Бог пастушеского

племени), а забавлять, потому что актеры, писатели и художники, в соответствии с индийскими представлениями, — *шудры*, то есть класс прислуживающих.

При последовательном продумывании способов претворения утопии в жизнь Харикеша столкнулся все же с проблемой насилия, так как понял, что возможности просвещения безграничны. Вероятно, та же проблема возникла в свое время у французов, претворявших идеи философов-просветителей в жизнь. Чем это закончилось, все мы хорошо помним. Но Харикеша обдумывал ее на сугубо теоретическом уровне и вдобавок в рамках иной системы идей. Решая проблему обуздания зла, он пришел к выводу, что смертную казнь преступников отменять не стоит, потому что если ее совершать в соответствие с ведическими предписаниями, то карма убиенных улучшится, и они в следующий раз родятся в более пристойном теле. Эта логика, кстати, дает нам возможность лучше понять, как индус-экстремист, убивший Махатму Ганди, мог объяснять себе свой поступок. Задумаешься, поневоле, что зло не стреножить никакой системой идей, и понятней становится истинный смысл крестной жертвы Христа. И трагической смерти Ганди.

Вынося свой проект на широкое открытое обсуждение лучшими умами Запада и Востока, о чем он сообщал в послесловии, Харикеша отнюдь не питал иллюзий, что его ждет скорая реализация. Как и его учитель, он отдавал себе отчет, что косная материя всеми силами будет сопротивляться усилиям духа. Он даже высказывал предположение, что истинная *варнашрама* установится на Земле только после какой-либо всемирной катастрофы — мировой ли войны (время было страшненькое — мы держали на мушке Запад, Рейган бряцал космическим оружием), природного ли катаклизма («зеленые» тогда утверждали, что экосистеме вот-вот придет каюк, и с этим еще не успели свыкнуться). Мысль Харикеша, таким образом, явно работала в апокалиптическом направлении, и *варнашрама* все явственней напоминала смесь Платонова «Государства» с хилястическими чаяниями христианских сект.

9. Победа демократии

Между тем авторитет новых учителей заколебался. Груз абсолютной власти оказался не по силам многим молодым энтузиастам, возмечтавшим, что несколько лет, пусть и строгой, аскезы способны превратить их в святых. От падений не застрахованы и более умудренные. Кончилось это чередой скандалов, когда из одиннадцати учителей шесть были уличены в различных формах неприличного для их статуса поведения, а один из них оказался даже косвенно замешанным в деле об убийстве. Харикеша свами, кстати говоря, испытание властью выдержал успешнее многих своих коллег. После ряда коренных реформ власть в движении перешла к ГКУ и стала осуществляться демократическими методами.

Проведение реформы во многом оказалось заслугой лидера американского кришнаизма Равиндры Сварупы Даса, в миру д-ра Уильяма Дэдлу-

айлера, защитившего, кстати, докторскую диссертацию по религиоведению в престижном университете Темпл. Путем внимательного изучения кришнаитской традиции он сумел с помощью блестящего богословского хода соединить принцип абсолютного учительского авторитета с демократическим управлением. Рассуждения его сводились к следующему. Одно из основных положений кришнаитской доктрины состоит в том, что учитель обязан неукоснительно подчиняться воле посвятившего его наставника. Все западные учителя получили посвящения от Бхактиведанты, следовательно, его авторитет для них абсолютен. Он же в своем завещании недвусмысленно заявил, что власть в движении после его смерти переходит к ГКУ. Ученикам-учителям остается только подчиниться. Таким образом, путем абсолютизации духовного авторитета Бхактиведанты мирской власти его учеников был придан относительный характер. При этом их духовный авторитет и, стало быть, право посвящать учеников вполне сохранились благодаря преемственности от Учителя.

Богословие Равиндры вновь заставляет нас вспомнить о Лютеровской реформе, в ходе которой осознание Богочеловека Христа как абсолютного посредника между Богом и человеком сделало относительной посредническую роль священства. Но если в протестантизме пастырь превратился в пастора, то есть лидера, избираемого паствой из своих рядов, то в кришнаизме он сохранил ауру духовного преемства.

Появление в движении богословов такого уровня приводит меня к мысли, что со временем будут предприняты и попытки нового осмысления *варнашрамы* с целью адаптации ее к принципам правового общества. Абсолютизация любви к Богу, делающая относительной ценность социального статуса, плюс лишение его наследственного принципа — большие шаги в этом направлении. Но как быть с учением о перевоплощении, создающим объективные предпосылки для иерархического уклада общества? Когда Индия обрела, наконец, независимость и приняла конституцию, утверждающую западные идеалы демократического равноправия, казалось (по крайней мере, самим законодателям), что кастовую систему ждет неминуемый конец. Прошло более полувека, изменилось очень многое, но просвещенные брахманы по-прежнему совершают очищающие омовения после беседы с просвещенным западным ученым...

А пока что кришнаиты успешно стреноживают собственную утопию, переводя ее в эсхатологическую перспективу. Как было показано, на этот путь вступил уже Харикеша свами, хотя это решение чревато рядом сложностей. К примеру, кришнаитское послебъитие носит чисто духовный характер и материальное царство *варнашрамы* там ни к чему.

Тем не менее, можно предположить, что встреча Лютера и Чайтаньи на берегах Ямуны перерастет в прочную дружбу где-нибудь в окрестностях Миссисипи или, кто знает, Москва-реки...

10. Бой с тенью

На этом оптимистическом прогнозе я хотел было поставить точку, но вспомнил, что поводом для нашего разговора как раз и послужила статья, опубликованная в московской газете. Чем было вызвано ее появление? Зачем, спрашивается, понадобилось обнародовать, да еще в весьма спорном переложении, устаревший текст, представляющий интерес разве что для историка-специалиста? Текст, о котором еще в 1982 году было заявлено, что он не выражает официальной кришнаитской позиции и является частным богословским мнением. Наконец, текст, о резкости которого сожалеет сейчас и сам автор. Все это, конечно, не случайно. В чем же дело?

Последние пару лет в России набирает силу борьба с «культами и сектами». Это чрезвычайно любопытное явление, которое нуждается в серьезном анализе, и мне не хотелось бы говорить об этом впопыхах. Поэтому отмечу лишь одну его характерную черту, имеющую непосредственное отношение к предмету нашего повествования. Антикультовая борьба ведется под лозунгом борьбы с тоталитаризмом, пережитки которого гнездятся в глубине наших умов и сердец. Согласен — гнездятся. Одним из самых ярких симптомов этого как раз и является сама эта борьба.

В современной психологии хорошо известен такой феномен. Нечто вызывающее у нас ужас и страх (скажем, тоталитаризм) вытесняется из нашего сознания и проецируется вовне. Признаками тоталитаризма наделяется какое-то явление, которое дает к этому любой, самый пустяшный повод. Подсознательно мы считаем, что освобождаемся таким образом от нашего немезиса, но это совсем не так. Демонизированный нами объект отнюдь не освобождает нас от собственных демонов. Страх, спроецированный вовне, продолжает пугать нас с возросшей силой. Мы требуем искоренить пугающее нас явление с максимальной жесткостью. Нам уже не до каких-то правовых тонкостей. Вытесненный из нашего сознания тоталитаризм возвращается в него с неумолимостью бумеранга.

На это можно возразить: но ведь вокруг нас действительно пробуждаются какие-то тоталитарные движения: фашизм, национализм, неокommунизм. Что же, не обращать на них внимания, сосредоточившись на собственном душевном здоровье?

Нет, обращать внимание надо, но на явления реальные, а не фантомные, порожденные нашими собственными страхами.

Как же отличить одно от другого?

Мне кажется, многое зависит от типа внимания. Если оно взвинченно-истерическое, мы любой автомобильный выхлоп принимаем за пальбу в нашу сторону, если спокойно-аналитическое, то у нас появляется шанс понять, что к чему.

Некоторый опыт религиоведческих исследований подсказывает мне, что значительное число так называемых «сект и культов» — это и есть

фантомы тоталитаризма, проецируемые нашим сознанием. А, стало быть, битва с ними — это битва с собственной тенью. Тут еще вкрадывается и такой немаловажный психологический фактор, как упоение борьбой со слабым врагом, которого одним росчерком пера превращаешь в сказочного великана. Конечно, могут быть исключения, поэтому явление это и нуждается в тщательном профессиональном исследовании.

Как, вероятно, заметили читатели, демократизация кришнаизма, начавшись в Индии, завершается на Западе. Оказавшись в качестве религиозного меньшинства в демократическом обществе, кришнаизм, подобно другим новым религиям, хорошо осознает, что только принцип свободы совести дает ему правовую гарантию выживания в часто недружественной среде. Последовательное продумывание этого принципа в отношении себя и других, вероятно, сыграло немаловажную роль в его демократизации и сделало решительным сторонником религиозного плюрализма. Напротив, лишение правовых гарантий может загнать движение в такое подполье, где фантом тоталитаризма начнет обрывать плоть.

И, наконец, еще одно наблюдение. Однажды Бхактиведанта, совершая традиционную утреннюю прогулку по океанскому побережью в Калифорнии, разговорился с доктором Стилсоном Джудой, автором, вероятно, лучшего исследования о кришнаизме в США, об Иисусе Христе. Религиевед с некоторым удивлением констатировал, что его собеседник верит в то, что Иисус — Сын Божий. Как же это уживалось с верой в Кришну как высшее личное божество? В ходе разговора выяснилось, что Бхактиведанта не настаивал, будто Иисус — одно из многочисленных воплощений Кришны наряду с божествами других религий, что является самым распространенным в современном индуизме толкованием религиозного плюрализма. Нет, его ответ был выдержан в тринитарном ключе: Иисус — сын Кришны, Бога-отца.

Принятие индуизмом тринитарного богословия — это огромная подвижка в его диалоге с христианством. Кришнаизм, судя по всему, открыт для такого диалога, — вежливо ли захлопывать дверь перед лицом собеседника?

ПОСТМОДЕРНИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Нет единого мнения о дате рождения постмодернизма. Хотя очевидно, что уже ко 2-й половине 70-х сложилось своеобразное постмодернистское «гибридное поле» социологии, литературоведения, философии и культурологии. Концептуальной основой его послужили работы философов Ж. Делеза, Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Бодрийяра, Ж. Деррида. Сегодня же о постмодернизме говорят и пишут много. Больше всего — сами постмодернисты. Отталкиваясь от предыдущей культурной традиции модерна, они определяют себя не «анти-»модерном, но именно «пост-». Что принципиально, поскольку новый авангард декларирует примирение всех и всяческих традиций, критериев, норм, верований — он проникнут идеей множественного смысла и выдает себя за квинтэссенцию предыдущих эпох. Недаром и сам постмодернизм до сих пор не нашел еще для себя однозначного определения. Это «категория духовная» — ограничился в свое время известный теоретик неоавангардизма писатель У. Эко. И это правда.

О постмодернизме стоит говорить не только как о новом направлении в архитектуре, литературе, искусстве. Но и как о новом мироощущении. Начавшись тусовочным захлестом, постмодернизм взошел на благодатной почве уставшей цивилизации, переживающей момент кризиса парадигмы Просвещения и традиционных религий. И потому очень быстро из эстетского искусства и превратился в мироощущение масс, мировоззрение толпы. Процесс неожиданный лишь на первый взгляд.

«Это игра с запретными темами» — признался не так давно с экрана телевизора один наш российский постмодернист, разоткровенничавшись: «мама сказала... ты все-таки сексуальный маньяк». Конечно, подобного рода заявления, манифесты и поступки наших нынешних постмодернистов звучат особенно эпатажно-«элитарно», как бы «свысока». Но на самом деле они как раз и выдают тайну психологии и мироощущения современного массового общества. Во всяком случае — значительной его части. «В моем поколении вдруг стали писать о том, что зло — это явление не социальное, а внутреннее... И это запретная тема для русской культуры» — наивно-глубокомысленно прозвучало в той же телевизионной передаче...

Масштабность явления постмодернизма, его действительная укорененность в современном существовании человека в его сознании, подсознании, в его ценностных ориентирах — все это требует самого серьезного анализа, определения подлинных истоков и природы постмодернизма, возможностей прогнозирования его развития (поговаривают, скажем, что «король умер», на смену ему заступил пост-постмодернизм — и «да здравствует король!» Тогда — тем более — давайте расставлять акценты).

Стремясь помочь нашему читателю разобраться в происходящем, «Континент» обратился с предложением высказать свое понимание постмодернизма к людям, чей профессиональный и личный авторитет заслужен в рамках культуры традиционной (коих придерживается и сам журнал). Ибо мы сознательно ищем р а з у м н о е объяснение тому, что происходит с нынешней культурой и цивилизацией на пороге XXI века.

Оценки наших авторов различны — как различны и их религиозные, мировоззренческие и культурные позиции. Однако тем важнее показалось нам дать читателю возможность сопоставить их взгляды на духовное и культурное состояние современной цивилизации в связи с проблемой постмодернизма.

К этой проблеме мы обращаемся сегодня в двух рубриках нашего журнала.

В этой — «Гнозис» — мы печатаем две специально написанные по заказу «Континента» обширные статьи о постмодернизме, принадлежащие филологу Юрию Давыдову и культурологу Ренате Гальцевой. Кроме того, мы попросили кратко ответить в связи с этой проблемой на ряд предложенных «Континентом» вопросов философа Бориса Гройса и литературного критика Льва Аннинского. Ответы Б. Гройса и Л. Аннинского на эти вопросы читатель тоже найдет в этой рубрике.

К теме постмодернизма мы обращаемся и в рубрике «Литература и время». Здесь мы предлагаем вниманию читателя две статьи литературных критиков Евгения Ермолина и Станислава Рассадина, посвященные некоторым особенностям и сюжетам пребывания постмодернизма на нашей отечественной литературной почве.

Кроме того в связи с публикацией в предыдущем номере повести Юрия Малецкого «Любью» мы получили очень интересное, на наш взгляд, письмо нашей читательницы Инны Жерневской и попросили ответить на него автора повести. Оба эти материала — и письмо, и ответ, имеющие опять-таки самое прямое отношение к обсуждаемому в этом номере феномену постмодернизма, — мы тоже сочли поэтому целесообразным опубликовать в этой рубрике.

Надеемся, что начатое нами в этом номере обсуждение столь значимого явления современности, как постмодернизм, будет интересно нашим читателям и позволит нам и в будущем еще не раз вернуться к этой теме.

Юрий ДАВЫДОВ

СОВРЕМЕННОСТЬ ПОД ЗНАКОМ «ПОСТ-»

1. К истории постмодернистской мифологемы

Термин «постмодернизм», прибывший к нам с Запада с обычным для вечно «догоняющей» российской цивилизации запозданием, в нынешнем нашем интеллигентском сознании прочно соотнесен с тем общим приме-

чательным сдвигом, который произошел в последние десятилетия в современной западной культуре в целом. Однако стоит напомнить, что первоначально термин этот возник на Западе для обозначения понятия, характеризовавшего всего лишь некоторые особенности новейшего архитектурного стиля, уже не умещавшиеся в порядке поднадоевшую категорию «модернизма» (кстати, и у нас тоже он первоначально получил хождение именно среди людей, близких к архитектуре). Иначе говоря, слово «постмодернизм» тогда не имело еще того общего «миросозерцательного» подтекста, который уже чувствуется в книге Чарльза Дженкса «Язык постмодерновой архитектуры», вышедшей в Германии в 1978 году.

Впрочем, это была не единственная работа, использовавшая термин «постмодернизм» в расширительном смысле. В последней трети 70-х годов в США и во Франции одновременно появился целый «пучок» архитектуроведческих работ аналогичного типа.

Это не случайно. Как свидетельствует история эстетики, художественные принципы, концепты и определения, зарождающиеся в рамках архитектуры, этого едва ли не наиболее синтетического из искусств, легче всего и часто весьма охотно и быстро подвергаются ассимиляции и в рамках других искусств, задавая им тем самым как бы некий единый стилеобразующий принцип. Недаром так характерно для них и достаточно нередкое *бессознательное* подражание тем или иным архитектурным стилям, и, с другой стороны, столь же нередкое вполне *сознаваемое* стремление найти у себя нечто аналогичное стиливым поискам архитектуры.

Но там, где та или иная стиливая тенденция раскрывается и теоретически осознается как общая для многих (если не для всех) видов искусств, она приобретает уже общеэстетическую категориальную значимость. Иными словами, она начинает осознаваться уже в общих категориях эстетики, а эстетика, как известно, резонно считается — наряду с этикой, логикой и онтологией — вполне «законной» частью философии. И это открывает прямой путь к осознанию такого рода общей стиливой тенденции и в более широком контексте — в категориях «чистой философии».

Именно таким путем и происходило — сперва на Западе, а затем и у нас — превращение архитектуроведческого термина «постмодернизм» в категорию общемировоззренческого порядка. Вернее сказать — в мифологему, ибо речь здесь должна идти воистину о сотворении именно некоего нового мифа.

Механизм этого превращения неплохо проиллюстрировал один из философских столпов постмодернизма, известный французский философ Жак Деррида в одном из своих интервью¹, — особенно в его последнем разделе под названием «Построение Вавилонской башни», где интервью достигает высшего своего напряжения. Здесь Ж. Деррида пытается «утилизировать» действительно глубокий библейский миф, символизирующий

¹ Архитектура и философия. Интервью с Жаком Дерридой. «Беседа», Ленинград—Париж, 1986.

крах любых *человекобожеских*, как называли их В. Соловьев и С. Булгаков, притязаний *конечных* людей на *бесконечную* мощь и власть.

Речь идет о двух внутренне сопряженных (хотя и разномасштабных) неудачах, к которым привели людей притязания такого рода в наш век. Главная из них — всемирно-историческая неудача «мифа о прогрессе». Правда, точнее было бы сказать — крах утопий социализма, этого последнего порождения «мифа о прогрессе», которым человечество обязано эпохе «модерна» или «модернизма», понимаемым в широком культурно-историческом смысле этих слов (то есть — эпохе Нового времени). Вывод этот напрашивается, можно сказать, сам собою, но Ж. Деррида явно избегает его, дабы (по-видимому и скорее всего) не тревожить традиционно «левоватые» чувства французской интеллигенции.

Вторая неудача, которую он имеет в виду, не столь масштабна, но столь же, на его взгляд, показательна. Это крах попытки западных интеллектуалов успокоиться на последней интеллигентской религии нашего века — претензии структурализма на построение некоей *универсальной*, «абсолютной» структурной модели Языка, то есть своего рода именно *религии* Языка. Увы, — бог этой религии — Язык — обнаружил такую же непреодолимую свою *конечность* (смертность), как и боги всех предшествующих ей интеллигентских религий XX столетия — Техника, Наука, Культура вообще и т.д...

Обе эти неудачи символизируют, считает Ж. Деррида, один и тот же общий крах: окончательное поражение *модернизма*, который именно и понимается здесь Ж. Дерридой уже не как (или не столько как) художественный стиль или эстетическое воззрение, но прежде всего как некий общий тип мирозерцания, некий тотальный способ культурно-исторического существования человека и человечества, характерный для Нового времени. Этот способ «отличается стремлением к абсолютной власти» — стремлением преобразовывать действительность согласно тем или иным «*проектам*», претендующим на безусловную, непреходящую ценностную значимость. Потому-то и *постмодернизм* выступает здесь уже не как (или не только как) некий художественный стиль, а прежде всего как тот новый тип мирозерцания, тот новый способ культурно-исторического существования человека и человечества, начало (рождение) которого как раз и знаменуется концом *модернизма*. Постмодернизм, поясняет Ж. Деррида, есть выражение опыта тотальной неудачи модернистского «*проекта*» Новой и Новейшей истории, его претензий на свою непреходящую непреложность, его «*конечности*». А потому и в более широком, всеобщем мирозерцательном плане — «это опыт *конечности* («*конечности*» как таковой, взятой во всей ее тотальности — Ю.Д.); опыт, в котором находит свое отражение обреченность *всех завоевательных планов*» (курсив мой — Ю.Д.).

Что же это за новый способ культурно-исторического существования человека и человечества, стимулированный крахом «*проектов*» эпохи «модерна»?

Свой ответ Ж. Деррида связывает прежде всего с тем, что постмодернизм, родившийся как «опыт конечного», вступает в совершенно «новое отношение к божественному», со всей непреложностью вытекающее из этого опыта, — отношение, которое и обуславливает его радикальное отличие от модернизма. Ибо оно, это отношение, уже «не может быть выражено в традиционных формах греческого, христианского или другого мышления».

В чем же состоит это отношение? Вернее — что это за «божественное», открывающееся после смерти «последнего бога» и предполагающее совершенно новое к себе отношение?

Это такое божественное, которое *предполагает сознание конечности (смертности) всех богов вообще*. Это такое «божественное», которое в принципе исключает возможность всякого олицетворения и всякого индивидуально-личностного к себе отношения как к живому Богу, с которым человек способен установить какую-то связь.

Отметим, что у истоков этого принципа, который кладется затем в основание всего постмодернистского мирозерцания, лежит все тот же миф о «Вавилонском столпотворении», но — в весьма своеобразной интерпретации.

Древний библейский миф доносит до нас один из первых опытов крушения богоборческих («человекобожеских» в противоположность «богочеловеческим») устремлений людей, возжелавших достичь «равенства» с Богом, а тем самым и «превзойти» его, лишив абсолютного превосходства перед смертными. И естественно, что Ж. Деррида впрямую связывает этот опыт с опытом людей своего века, низложивших — одного за другим — своих «рукотворных» богов (то есть *идолов* — если взглянуть на них с точки зрения любой из великих мировых религий). Но сделав это, Ж. Деррида совершает еще одну операцию, сомнительность которой бросается в глаза уже при изложении им *истинного*, как он считает, смысла события «Вавилонского столпотворения».

Дело в том, что он приписывает этому великому мифу вывод о «конечности» не только человека и человечества со всеми его земными начинаниями и рукотворными богами, но и самого того Бога, который превратил «столпотворение», исполненное злосчастной гордыни, в «жалостливую комедию» смешения народов, неспособных найти общий язык друг с другом. Ведь если можно представить себе Бога способным «отплатить» людям таким типично земным же, «конечным» актом, то это может свидетельствовать лишь о том, что такой «Бог» низводится нами, в сущности, на тот же самый уровень, на каком существуют и любые наши «рукотворные» боги. Он оказывается ничем не лучше всех этих идолов, которым тщетно пытались и пытаются придать статус божественности люди, либо не доросшие еще до представления об истинно божественном, либо безнадежно утратившие уже его. Отождествить свое понимание божественного с *таким* «Богом» Ж. Деррида, естественно, отказывается, и, таким образом, «Божественное» самого Ж. Дерриды оказывается, в

сущности, полностью *обезбоженным* — лишенным какой бы то ни было связи не только с конечными рукотворными (то есть действительно неистинными) человеческими «божествами», но и с тем единственно истинным бессмертным Богом, к которому обращены все великие живые религии мира, каким бы они себе Его ни представляли и ни изображали в своих мифах.

Так возникает у Ж. Дерриды самопротиворечивое понятие *безбожной божественности*, которое и кладется им в основу его модели постмодернистского мировоззрения. Перед нами своего рода философско-«религиозная» перверсия, которая является, в сущности, ничем иным, как *проекцией неверия* постмодерниста в возможность Бога истинного и живого.

Вот почему единственным способом мышления, в формах которого, считает Ж. Деррида, только и может быть выражено «новое отношение к «Божественному» (точнее, отношение к новому, то есть *безбожному* «Божественному», «Божественному» без Бога) — является для него «мышление архитектурное». Ведь мышление, освобожденное от той потребности человека верить в Бога как Личность («личного Бога»), которая нашла свое выражение в *этически ориентированных* мировых религиях, должно быть, очевидно, абсолютно «бессубъектным». Вместо Бога для него должна существовать и существует лишь некая недостигаемая «Высота», лишь некое недостижимое «Всевышнее» — как абстрактный символ «запредельности», как знак несостоятельности всех человеческих устремлений, направленных «ввысь», их тщетности и тщеславности. А какому же еще мышлению установление *такого рода* «отношения» к *такого рода* «Всевышнему» в рамках *такого рода* философско-мифологического (чтобы не называть его философско-религиозным) построения оказывается доступнее, если мышлению не «архитектурному»? Ведь оно и отличается от всех иных способов художественного мышления как раз предельной техничностью, то есть максимальной удаленностью от *этического* отношения к предмету своих устремлений, своей «воли к власти».

Абсолютно недостижимое «Всевышнее» как истинное воплощение «Божественности», отношение к которой может быть выражено лишь бессубъектным «архитектурным мышлением», чуждым религиозности (ведь религия — это связь с живым Богом, а Его здесь быть уже не может), играет, таким образом, у Ж. Дерриды *весьма двусмысленную* роль. Фактически это не только утверждение *трансцендентности* «Божественного», но одновременно и своеобразный запрет: априорное *табуирование* всего того, что может быть квалифицировано как стремление человека подняться над своей собственной конечностью, как «дум высокое стремление». Да и что удивительного? Ведь постмодернизм уже исходно, «по определению» своему в качестве опыта переживания тотальной конечности, и есть не что иное как *окончательное самоутверждение человека в этой своей безысходной конечности* перед наглухо закрытым от него лицом абсолютной «Высоты» — этого анонимного «Всевышнего», этой запредельной безличности, которая потому и выше всех лиц, что в своем собственном лице ей отказано...

Отсюда и итоговый безнадежный парадокс построений Ж. Дерриды: единственное, что может быть достигнуто на путях постмодернистского «архитектурного мышления», извлекающего уроки из мифа о «Вавилонском столпотворении» и являющегося, по Ж. Дерриде, наиболее аутентичным способом отношения к «Всевышнему», или «Божественному», — это как раз построение все новых и новых «Вавилонских башен», единственное отличие которых от библейской — их принципиально, заранее предусмотренная *незавершенность* (а значит, фрагментарность) — их неизбежное *превращение в руины*. Что же касается истории, то оказывается, что именно эти и только эти развалины (следы крушения всякого очередного человеческого начинания, устремленного в недостижимую высоту; всякого спора с Богом, умирающим в тот самый момент, когда обнаруживается невыполнимость богоборческого замысла людей) и есть *единственно реальное* из всего того, с чем когда-либо «имел дело» человек (да и все «прогрессивное человечество»). Все остальное — иллюзия, подлежащая разоблачению. Лишь руины свидетельствуют о реально свершающемся бытии, развертывающем само себя в этой неизбежной противоположности «Всевышнего» и непреодолимо конечного («фрагментарного»), безнадежно низменного. И бытие предстает здесь, таким образом, всего лишь как нищезовое «вечное повторение одного и того же» — никуда не направленный и ни к чему не ведущий, однако повторяющийся снова и снова «процесс», описывающий один и тот же магический круг, замороженный своим собственным вращением. (Вспоминается блоковское: «Ночь, улица, фонарь, аптека// Аптека, улица, фонарь»). Всякий раз возникает лишь очередная «Вавилонская башня», обреченная остаться своим собственным незавершенным эскизом, превратившись в бесформенную грудку камней — в развалины, руины. Величественный миф о «Вавилонском столпотворении», исполненный глубочайшего смысла, оказывается редуцированным до простой иллюстрации к сартровскому: «Человек — это бесплодная страсть»...

И тем не менее (а отчасти как раз и благодаря этому) французскому философу экзистенциально-постструктуралистской ориентации (уже простое обозначение которой обнажает ее внутреннюю парадоксальность) удалось выразить с помощью своего метафизического истолкования библейского мифа не только общее умонастроение, но и основные мировоззренческие интенции постмодернизма. Более того — представить их как нечто целостное, если не логически, то *мифо-логически*.

Это и нам дает возможность при рассмотрении онто- и мифо-, но не тео-логического *ядра* постмодернистского мирозерцания, равно как и разнообразных философских «веяний», в результате «перекрестного опыления» каковых оно и возникло, ограничиться реконструкцией содержания рассмотренного выше интервью Ж. Дерриды. Так что, завершая наш краткий очерк исходных мировоззренческих постулатов постмодернизма, объединяющих в рамках этого умонастроения весьма различных его представителей, нам остается добавить к сказанному сравнительно немного.

Мы говорили уже о неоднородности источников этого умонастроения, которые предстали так изящно воссоединенными в рамках только что описанной «мифологемы» Ж. Дерриды.

Мы находим здесь, во-первых, художественную идеологию вполне определенного *архитектурного стиля* (у которого постмодернизм и заимствовал свое имя) — стиля, утверждающего принцип сознательной *игровой эклектики*, эстетическую возможность конструкций, созданных на основе совмещения *разных стилей* (то есть того, что и будет позднее осознано как «руины» несостоявшихся «Вавилонских башен» культуры). Это художественная идеология архитектурного стиля, сложившаяся в русле архитектуроведческих исследований уже упомянутого Ч. Дженкса и Л. Вентури, а также М. Брикса и М. Штайнхаузера — авторов примечательной статьи «История на службе строительного искусства» (в сборнике «История — это единственно современное»), как и ряда других немецких, французских и американских теоретиков архитектуры.

Во-вторых, мы видим здесь уже и более общую эстетическую идеологию, достаточно быстро разработанную на основе усвоения архитектурных импульсов искусствоведами, литературоведами и культурологами структуралистски-постструктуралистской ориентации. Они-то и придали ей соответствующую терминологическую окраску, сформулировав принцип «синтеза», положивший начало постмодернистской эстетике, которая стала осознавать себя как альтернативу эстетике модернизма.

И наконец, мы видим здесь *философию* постмодернизма, «синтезирующую», в чем мы только что убедились воочию, обе отмеченные тенденции с помощью философии постструктурализма, переосмысленного в духе «фундаментальной онтологии» позднего М. Хайдеггера и ницшеанской критики христианства.

В духе этой философии, у которой были как более, так и менее отдаленные предшественники (начиная с Ж. Батайя, которого долгое время причисляли к философам модернизма, и кончая М. Фуко, отдавшего свою дань постструктурализму), и развивает свой вариант идеи «деконструкции», вошедшей в теоретический арсенал постмодернизма, Ж.-Ф. Лиотар. В работе «Постмодернистское состояние», опубликованной в 1979 году в Париже, он пытался определить философскую суть постмодернизма, отправляясь от рассмотрения постструктуралистской литературы. Ее специфику он усматривает в «недоверии к метарассказам» (учитывая иронический смысл, придаваемый этому языковому новообразованию, следовало бы говорить здесь скорее о «мета-россказнях», «метабайках»), без помощи которых не обходилось и до сих пор не обходится ни одно повествование традиционного типа. С их помощью и организуется «дискурс» — некая структура взаимопонимания (и, соответственно, взаимоотношения) как между автором и его читателями, так и в среде самих читателей. Это происходит именно потому, что «метарассказы», «метаповествования» или «метаистории», с помощью которых организуется тот или иной текст литературно-художественного произведения, уже

заранее структурируют читательское сознание, задавая ему набор определенных предрассудков (в двояком смысле этого слова — как констатирующем, так и оценочном), обуславливающих движение воспринимающей читательской мысли в строго определенном направлении.

К числу таких «великих рассказней», которые организуют некий исходный «метадискурс» («дискурс дискурсов»), определяющий самые общие правила «языковой игры» в подведомственных ему локальных «дискурсах» (в отдельных произведениях, цикле произведений, целом литературно-художественном направлении и т.д.), Ж.-Ф. Лиотар относит «главные идеи» человечества. Среди них — просветительская «идея прогресса», гегелевская идея «диалектического развития духа», западно-европейская идея «эмансипации личности», идея научного знания как способа учреждения «всеобщего счастья» и т.п. (у других постмодернистских мыслителей эти идеи фигурируют как «мертвые боги» — Прогресс, Культура, Наука и т.д.) Все они, согласно лиотаровой констатации, потерпели крах на протяжении нашего века и ныне уже не играют больше роль «великих метаповествований», узаконивающих «тотализацию» расхожих представлений о действительности — их объединение в крупные «мировоззренческие комплексы», в цельные блоки общей «картины мира». Все они были подвергнуты скептическому отстранению и прямому разоблачению как в постструктуралистской литературе, так и в соответствующей литературной теории и критике. И тем самым, считает Лиотар, была показана иллюзорность и фальшь тех «метаповествовательных скреп», с помощью которых придавалась видимость цельности и завершенности всей традиционной идеологической продукции — начиная от отдельных литературных произведений и кончая крупноблочными идеологемами.

Процедура такого вот рода развенчаний стремления к целостности как со стороны отдельных литературно-художественных произведений, так и в рамках философских систем (которому нанесли решительный удар уже модернисты, вдохновлявшиеся адорновским: «целое — это неистинное»), и получила название «деконструкции». Она стала боевым лозунгом постструктуралистов, перехваченным у них постмодернизмом. И теперь в новейшей литературе, как не без удовлетворения констатирует Ж.-Ф. Лиотар, мы имеем дело уже не с большими литературными полотнами, неподвижная архитектоника которых базировалась на мнимой незыблемости общей «картины мира», но с множеством мелких рассказов и фрагментарных зарисовок, уже не претендующих на то, чтобы поддерживать и расширять повседневный процесс легитимации нашего знания о мире, включаясь в какие-то более широкие и всеобъемлющие повествования. Речь идет сегодня не о легитимации нашего «общеупотребительного» знания, но о его скептизации и парадоксализации, подвергающей сомнению безусловность и авторитетность его неотрефлектированных оснований. В этом и заключается деконструкция всех его несущих конструкций.

Отсюда — и отсутствие организующего (или, что для постструктуралиста то же самое, — «тотализующего») центра в произведениях, отвеча-

ющих постмодернистскому вкусу (как будто бы именно третируемые постмодернизмом модернисты не были первыми, кто подверг разоблачению идею не только целостного произведения, но и само понятие «произведения» как чего-то внутренне структурированного).

Отсюда — и программно заявленная постмодернистами «децентрированность», и напряженный интерес их авторов — не только писателей и поэтов, но и живописцев и музыкантов — ко всему тому, в чем можно усмотреть печать разрывов и разломов, непримиренных антагонизмов и обнаженных «зияний».

Отсюда — и общее тяготение постмодернистской литературы и искусства ко всему фрагментарному, внутренне надломленному и неустойчивому — к тому, что уже само по себе вопиет против «догматического» тяготения к законченному и завершеному (так что в качестве творческой неудачи расценивается даже само стремление к подобной законченности и завершенности, сама попытка двинуться в этом направлении).

Но поскольку та «политика новых игр», которая создает видимость *целостности* художественного произведения, отдающей «тоталитаризмом», подвергается радикальной «деконструкции», поскольку само постмодернистское творчество — *включая философское* — превращается в некую детективную «игру без правил». Ведь здесь собственно творческий — подлинно творческий, смыслообразующий — момент если и возникает, то лишь произвольно и задним числом, когда непредсказуемое «событие» творческой объективации, неминуемо приводящее к появлению какого-то (хотя бы внешне) *целого*, которое традиционным восприятием «реципиента» столь же неминуемо подвергается и нагружению его каким-то «смыслом», уже свершилось, и этот заклятый враг любого «подлинного» постмодернистского «творца» повержен и подвергнут посмертному осмеянию.

Каков же результат?

Все те же развалины разнородных «фрагментов» — руины, возведенные Ж. Дерридой в ранг единственной реальности, достойной нашего понимания...

Как видим, уже самое беглое сопоставление лиотаровой версии постмодернистской мифологемы с тем, что предложил Ж. Деррида, позволяет убедиться, что творцы ее весьма согласно расставляют одни и те же, в сущности, жирные точки над «i» в ходе развертывания пропаганды и внедрения ее в массовое интеллигентское сознание.

Еще более выразительными предстают эти «точки» у такого философствующего литературного критика и публициста, как американец И. Хассан, распространяющий на американском континенте это новое французское мифоучение.

В своей статье «Критик как инноватор...», опубликованной в 1977 году (и явно «тянущей» на программность), он определяет «постмодернистское мгновение» с помощью английского «unmaking», означающего одновременно и разрушение, и уничтожение, и переделку (вспомним нашу «перековку» 30-х годов), и понижение в статусе.

Суть же этого «инновационного» процесса (осуществляемого, в сущности, «самой историей»), так что постмодернисту остается лишь констатировать этот непреодолимый факт) — «руинизация» всего осмысленного, выявление в любом «разумном» (это слово полагается употреблять лишь в кавычках) его бессмысленных, иррациональных оснований. Поэтому-то всякой (не только современной западной) цивилизации и следует судить не по тому, что она о себе сама думает, а прежде всего по реальным результатам — то есть по ее историческим отбросам, по всему тому, что выбрасывалось в конце концов на вселенскую свалку как мусор и хлам. Причем эти «суждения» следует выносить без тех печали и гнева, какими были отмечены, например, *модернистские* свидетельства коренной «неудачи» цивилизации «буржуазного Запада», а с чувством облегчения, если не веселья. Таков основной тон, отличающий новую «музыку» постмодернизма от прежней заунывной модернистской додекафонии.

Все это вместе взятое и можно рассматривать, согласно И. Хассану, как расшифровывающий перевод заокеанского термина «деконструкция». Ибо «антиномический момент», который в ней заключается и который связан с *безграничностью* открывающейся перспективы *разрушения* (воспринимаемой *не без удовольствия*), и образует, по его утверждению, самую суть «познавательного» метода постмодернизма — то, что можно назвать постмодерновой *эпистемой* (термин, введенный в оборот М. Фуко). Суть ее — в «онтологической отбраковке» целостного субъекта — *cogito* западной философии. Это — своего рода «эпистемологическая одержимость» фрагментами, или обломками, цивилизации — как современной, так и ушедшей в прошлое. Правильно мыслить, правильно чувствовать, правильно действовать и правильно говорить — означает, с точки зрения этой «эпистемы деконструкции», радикальный отказ от «тирании целого, сознание того, что всякое популозновение к «тотализации» (к утверждению целостности) потенциально уже является «тоталитаризацией», то есть движением к тоталитарному обществу».

«Мгновение постмодерна» (а такими мгновениями он только и живет) есть, таким образом, не что иное, как «момент взрыва» прежней, *модерновой* эпистемы — взрыва, в «миг» которого *разум* и его *субъект* (как местоблеститель «единства и целостности») распадаются на куски. В этом смысле постмодернистское сознание «снимает в себе» (в гегелевском духе) самые радикальные импульсы искусства модерна, собирая, концентрируя их и возводя в высшую степень разрушительности.

В заключение отметим еще один любопытный и важный момент. Характерно, что развертывая постмодернистскую мифологию, И. Хассан не раз упоминает, что принципы постмодернизма находят свое соответствие в реальном поведении разнообразных «меньшинств» в «политике, сексе и языке». Это лишнее подтверждение того, сколь не случайно постмодернизм и в самом деле стал, как известно, идеологией «сексуальных меньшинств», обнаруживающих в наш век все более растущую озабоченность не просто своим самосохранением и легитимацией, но и

завоеванием политической власти. Что же касается власти идеологической над умами и душами людей, то ее перспективы представляются им достаточно уже гарантированными — хотя бы тем, какое количество властителей интеллигентских дум и душ выдвинула эта среда на авансцену истории и культуры именно в наш проклятый Богом век...

Но здесь мы подходим уже к следующему, не менее выразительному сюжету нашего повествования.

2. Социальная философия постмодернизма и ее садо-мазохистские импликации

Итак, начавшись с чисто как будто бы «стилистических» подступов к тому новому общекультурному феномену, который закрепил за собою, в конце концов, название «постмодернизма», теоретическое его самосознание очень быстро вышло, как мы видели, на уровень куда более масштабных культур-философских его характеристик.

Но внимательно вглядываясь в результаты этого процесса, нельзя не заметить, что они обязывают нас к весьма определенным и очень показательным выводам и в отношении их *социально-философского* (и даже непосредственно *социологического*) генезиса и «подтекста», — не говоря уж о тех характернейших отражениях, которые теоретическая постмодернистская мифология нашла в самом быте, в самой повседневной жизни современного общества.

В самом деле, — начнем с такого, например, любопытного факта. Знакомясь с постмодернистской литературой, нельзя не обратить внимания, что всякий раз, когда возникает необходимость определить, что же конкретно представляет собою тот самый *модерн*, из противоположения которому и выводится понятие «постмодернизма», теоретики постмодернизма идентифицируют его обычно с *капитализмом*. Причем — в самом традиционно-марксистском смысле этого слова.

Показательно ли для постмодернизма такое отождествление?

На наш взгляд — очень. Ибо оно свидетельствует, несомненно, о соответствующих корнях и истоках нынешней постмодернистской социальной философии и социологии. И прежде всего — о зависимости постмодернистски ориентированных социологов от неомарксизма и идеологии «новых левых», которым они и были обязаны своим знакомством с марксизмом и приобщением к нему.

Эта зависимость и эта идейная связь сразу же обнаруживают себя, как только постмодернистская теория делает следующий шаг после отождествления «модерна» и «капитализма». Он, этот шаг, выглядит так: поскольку «модерн» (то есть «капитализм») выступает в философии и социологии постмодернизма в качестве самого общего — «категориального» — определения *современности* (современности как таковой), поскольку «пост-модерн» оказывается, естественно, в этом контексте тождественным «пост-современности» — то есть тому, что наступает (а отчасти уже и

наступило) «после» *современности* (после *модерна* — то есть *капитализма*).

Правда, эту «пост-современность» (=«*пост-модерн*»=«*пост-капитализм*») теоретики постмодернизма никак не хотят вписывать в традиционную систему координат, связывающую причинной зависимостью прошлое, настоящее и будущее (по аналогии, например, с «феодальной», «капиталистической» и «коммунистической» общественно-экономическими формациями). Напротив, всё, что наступает «после» насквозь капиталистической *современности*, они стремятся рассматривать не столько онтологически, сколько, так сказать, **эсхатологически** — как некое состояние, «имеющее место» (но уже не время!) после «конца времен».

Однако при всех этих оговорках соответствующие аналогии с марксизмом, которые указывают на несомненно имеющуюся здесь генетическую связь, напрашиваются, можно сказать, сами собою.

Вспомним — ведь марксизм, и (особенно) неомарксизм тоже были чрезвычайно склонны как раз к толкованию пролетарской революции как некоего **тотального** («до основания...») **разрыва** со всем «старым миром», — разрыва, в результате которого должен возникнуть некий «совершенно новый мир», живущий по законам, *коренным* образом отличным от законов прежнего «мира эксплуатации и насилия». Более того: марксова идея совершающегося при этом революционного *скачка* «из царства необходимости в царство свободы» давала, как известно, вполне серьезные основания развивать ее и в том смысле, что в этом «новом мире» **вообще не будет** никаких законов, действующих с «естественно-исторической необходимостью». Потому-то молодой Г. Лукач в 1923 году в своей книге «История и классовое сознание», этой «библии» неомарксизма, и выдал в сущности всего лишь «секрет Полишинеля», когда охарактеризовал Пролетариат как подлинного Мессию, а его Революцию, как настоящий «конец времен». И так думал в XX веке не один Г. Лукач. Ибо несмотря на все разочарования, какие принес своим жрецам и пророкам этот самый Пролетариат, так и не исполнивший «историческую миссию», возложенную на него лево-марксистски настроенными интеллектуалами (начиная В. Райхом и А. Арто и кончая Т. Адорно, Г. Маркузе и «новыми левыми» экстремистами), — несмотря на все это, идея Революции, понятой в духе «конца времен», так и не покинула их теоретическое сознание, все более превращаясь, правда, в некое «теоретическое бессознательное».

Но вот здесь-то, в этой точке, мы как раз и обнаруживаем то соединительное звено, которое прочно связывает марксистскую и неомарксистскую мифологию с мифологией постмодернистской в некую **непрерывную** цепь **единой** идейной традиции — традиции, в русле которой именно и вызрела мысль непосредственных предтеч и основоположников нынешнего постмодернистского «миросозерцания» — Ж. Батайя и П. Кlossовского, Ж. Делеза и Ф. Гваттари, М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотара и Ж. Дерриды. Потому-то лишь с очень большим трудом и удается вычлени их из этой общей идейной традиции, когда речь заходит об идейных

истоках этого мирозерцания и особенно — об идейном «приоритете». Тем более, что провести здесь сколько-нибудь определенные разграничительные линии на глубинно-«мирозерцательном» уровне мешает еще и то обстоятельство, что, в свою очередь, и у Э. Фромма или Г. Маркузе, М. Хокхмайера или Т. Адорно тоже можно найти при ближайшем рассмотрении немало аналогов постмодернистским новациям.

Вот почему мы и вправе сказать, что центральная постмодернистская мифологема «постсовременности» находится в прямом идейном родстве с марксистской идеей тотального революционного разрыва со всем старым миром и его историей. Более того — является ее прямой наследницей.

Конечно, речь в данном случае может идти только о самом глубинном, типологическом родстве. Что же касается всей более конкретной социально-философской и особенно социологической разработки и «расшифровки» постмодернистской концепции «постсовременности», то здесь мы находим как раз достаточно четкие разграничительные линии и «разрывы», которые и дают обычно постмодернистам повод настаивать на своей оригинальности.

Но как характерно, что и этой своей «нетривиальностью» постмодернизм обязан (если говорить об ее истоках) не столько самому себе, сколько совместным усилиям З. Фрейда и идеологов «общества потребления», неомарксистских теоретиков и «новых левых» теоретиков и практиков «всемирной сексуальной революции»!.. Именно благодаря их работам массовое сознание современного общества «доросло» до усвоения пансексуалистской метафоры мира как одной *большой спальни*, где все происходит *как бы* вне реального исторического времени, в отрешении от него — *как бы* во сне. А ведь только при условии такого усвоения перед интеллигентским и полунинтеллигентским постмодернистским сознанием и могла открыться перспектива прямого совокупления тех двух принципиальных идей, на соединении которых постмодернизм и основал, в сущности, свое мирозерцание. А именно — марксистской идеи скачка «из царства необходимости в царство свободы», с одной стороны, и идеи «до-», «вне-» и «сверх-современности» фрейдовского «либидо», или «принципа удовольствия», — с другой. Признать интимную близость этих идей основоположникам неомарксизма мешал, несмотря на все заигрывания с психоанализом, лишь их застарелый прямолинейно-политический марксистский революционизм. Зато для сознания, освободившегося от этого застарелого «примитивизма», здесь открывались возможности небывалого дотоле теоретического «творчества».

В самом деле, — ведь если освободиться от постылой цензуры «буржуазно-рациональной» *рефлексии*, «рабски зависимой» от «реальности» (с какой имеет дело лишь «дневное сознание», то есть человек, пребывающий в здравом уме и трезвой памяти) и полностью отдался, наконец, всемогущему (ибо *естественному* и стало быть *подлинно универсальному*) «принципу удовольствия», то мы сразу же и окажемся тем самым как бы «по ту сторону» времени. И для достижения этого райского состояния (здесь, на земле!) не

нужно будет уже никакого кровопролития, никакого насилия, никакой политической революции. Все произойдет само собой, — достаточно лишь понять и убедить себя в том, что «время — это невроз», от которого каждый должен поскорее излечиться в интересах его же собственного счастья. А чтобы произвести эту акцию исцеления, нужно просто как можно дольше жить по отношению к реальности как бы во сне, всячески оттягивая момент пробуждения, отдающего нас под власть тоталитарного «принципа реальности», защищая нашу счастливую способность наслаждаться «либидиозными» отправлениями нашей «телесности». Правда, деспотический принцип реальности не дремлет, прибегая к разнообразным уловкам, чтобы заставить индивида пробудиться ото сна, освобождающего его от тягот времени. Но тут ему и может как раз придти на помощь новое «мировоззрение, идеологическая» задача которого — убедить разбуженного-таки индивида в *мнимости* состояния бодрствования. Ведь мир, открывающийся перед ним в момент его «пробуждения», — это уже совершенно иной, чем когда-то, мир. Это мир *постсовременности*, толкуемой как состояние, когда современность уже окончилась (или оканчивается), ушла в прошлое (или уходит в него), и на смену ей пришло нечто «из ряда вон выходящее». Во всяком случае, — выходящее из традиционно толкуемого в классической философии *временного ряда*. Ибо это мир, состоящий из *мнимостей* тех самых *руин, обломков и отбросов* всех бывших культурно-исторических «Вавилонских башен», о которых шла речь в предыдущем разделе нашего обзора и принципиальная «незавершенность» которых делает их для нас ценностно абсолютно равнозначными в своем одновременном для нас сосуществовании в нашем свободном от всех «богов» постсовременном сознании. Тем самым наша постсовременность оказывается полностью эмансипированной от всего, что свидетельствовало бы о *необратимости* времени, от невозможности разорвать его закономерно сопряженные друг с другом «моменты». Напротив, они становятся абсолютно свободными от этой необратимой связи, а время, соответственно, — как раз *абсолютно обратимым* в любой его точке, в которой ты всегда можешь повернуть его, что называется, «в любую сторону твоей души».

А раз так, то в ситуации такого рода постмодернистского времени, состоящего лишь из мнимостей всех бывших и небывших абсолютных ценностей, немедленно обнаруживается, что человеку и все соответственно «позволено». Да и с какой стати должен ограничивать себя человек, разместившийся в этом безвременье? Почему бы и ему не пуститься в вакхический танец, каждый момент которого абсолютно непохож на другой, не разрешить себе все, что потребует в этот миг Либидо, целиком завладевшее им?.. Ведь вопрос: «А что потом?» — оказывается не просто «пошлым», но, в сущности, просто бессмысленным в силу постмодернистской ликвидации самого этого «потом».

Впрочем, мы погрешили бы против истины, если бы ответственность за устранение этого постылого «потом» возложили на одних лишь «сознатель-

ны» постмодернистов. Тут у них тоже были свои влиятельные предшественники, сформировавшиеся, между прочим, как раз в лоне презируемого ими «модерна». Это современная (без всякого «пост-») медицина и мощнейшая индустрия **контрацепции**. Сперва они «эмансипировали» несознательных постмодернистов от одного из самых неудобных «потом»; затем пришли «новые левые» сексуал-революционеры, которые тоже не были еще вполне сознательными постмодернистами. И только затем (уже, что называется, «на готовенькое») пришли «сознательные», «твердокаменные», «до конца последовательные» и т.д. постмодернисты.

Словом, стоило только прикончить это неприятнейшее «потом», как даже ежу стало понятно: в самой «популярной», воистину «массовой» сфере «межчеловеческих контактов» время и впрямь оказалось «обратимым». Где-где, а здесь полностью обнаружил свою бессмысленность вопрос, которым Л. Шестов «донимал» (в надежде унизить) самого Бога: может ли Он «сделать бывшее — небывшим»? Что там Бог — любой школьник, которым всерьез занялись, наконец, сексологи, знает, «как сделать» *это*, уклонившись от необратимости течения природных процессов.

Таким образом, надо признать, что сексологи, опиравшиеся на всю мощь индустрии контрацепции, сделали для успехов «мировой сексуальной революции» гораздо больше, чем неомарксистские теоретики и «новые левые» практики этой революции. Именно благодаря им она стала быгом, чем и была достигнута ее «перманентность». Так что нынешним постмодернистам осталось, в сущности, немного: теоретически ее «осмыслить» и показать, как без всякого «революционного насилия» вся наша «повседневность» стала той общей огромной постелью, в которой люди могут вполне счастливо существовать «не просыпаясь», под властью Либида — или, что то же самое, под знаком «пост-», свидетельствующими о том, что «современность» уже кончилась и ее постыло-необратимого времени больше уже нет.

А что же «есть»? Уж не то ли и в самом деле «прекрасное мгновение», которое так хотел, но никак не мог обрести гётевский Фауст, жаждавший преодолеть свою буржуазно-«модернистскую» сущность?

Но увы, в «практическом постмодерне» все обстоит не так гладко, как в теоретическом. Здесь все-таки никак нельзя отвлечься от такого неустраняемого, «неудобного» факта, свидетельствующего, увы, именно о *необратимости времени*, как **неотвратимость смерти**. И потому неудивительно, что несмотря на все стремления социологов-постмодернистов придать живописуемой ими постсовременности черты благопристойности и даже благостности, этот флер то тут, то там прожигается языками скрывающегося под ним адского пламени.

Этот язык, который Мефистофель показывает нашим маниловски настроенным «пост-современникам», носит двойное имя — садизма и мазохизма, или садо-мазохизма, явно завоевывающего сегодня как западную, так и (особенно) нашу отечественную «культурную танцплощадку».

Казалось бы, зачем нашим «пост-современникам» ко всему прочему еще и Сад, и Л. фон Захер-Мазох?

ВТОРОЕ КРУШЕНИЕ ГУМАНИЗМА

1

Сейчас выходят разные словари по постмодернизму; я полистала один такой словарь (литературоведческих терминов¹) и поняла, что сообщаемые в нем сведения мне абсолютно не нужны и, надеюсь, никогда не понадобятся (если не будет лагерей по перевоспитанию и курсов постмодернистского ликбеза). Ну, подумайте, кому могут потребоваться «акторы» и «аукторы». Актор — «теоретич. конструкт, абстрактная категория, одна из функций рассказа или инстанций акта художеств. коммуникации. В зависимости от степени абстрактности его понимания может означать различные функции. На самом верхнем уровне повествования (манифестации) А. выступает в роли функции персонажа»; «акторы приобретают в результате дистрибуции отличительные черты, таким образом они индивидуализируются и трансформируются в персонажи»... Кто не удовлетворится этим объяснением, см.: «акторальный, аукторальный, центральные нарративные типы». Ауктор — опять же «теоретич. конструкт, абстрактное понятие, вычленяемое в результате анализа» (а как же иначе, если это понятие?), «был введен для разграничения различных нарративных типов» (см. выше), «или способов презентации повествовательного материала с точки зрения того, кто служит для читателя центром ориентации», то бишь попросту речь идет об авторе, который может выступать сторонним рассказчиком, а может быть также и действующим в повествовательных событиях лицом и т.д. Для «правильного» усвоения этих давно известных различий и вводится вавилонская башня новых «дистрибуций» и «абстракций».

Устрашающее наукоучение возводится не из одной любви к новациям: на самом деле здесь идет неукоснительное абстрагирование от человеческого элемента. Новое литературоведение, как Баба-Яга, вынюхивает, где человеческим духом пахнет, и изгоняет этот дух. То, что до сих пор в литературе называлось «рассказчиком» или «повествованием от первого лица», теперь должно именоваться «повествовательной ситуацией». Кто не понял должным образом, какие бывают рассказчики, читайте про «гетеродиегетич. аукторальный тип, гетеродиегетич. акторальный тип и гомодиегетич. повествование».

Кому может это все понадобиться? Разве только тому, кто захочет быть специалистом по этому диковинному предмету, теориям постмодерна, чтобы затем в кружке себе подобных, как в эзотерической секте, перебро-

¹ Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. Концепции, школы, термины. М., 1996.

ситься новоизобретенными концептами... Тут напрашивается аналогия с эсперанто: вы можете изучать этот надуманный язык и ходить в клуб, чтобы беседовать с такими же фантазерами, но для понимания иноязычных требуется усвоение их естественного, подлинного языка.

Из литературоведческих рассуждений последнего времени выясняется, что и сама литература — это только сырье для умозрительных конструкций (или, вернее, деконструкций) постмодерниста. Роман «Красное и черное», к примеру, определяется как «выражение риторики желания» (а не — самого «желания», человеческих страстей и страданий, как мы думали раньше и за что ценили этот роман; конечно, под пером Стендаля они оказываются в том числе и «риторикой», то есть получают «*красноречивое* выражение», но это уже второй вопрос). Читая подобные дефиниции, себя тоже ощущаешь сырой материей, из которой тут собрались вылепить нового реципиента, переставив в нем все с ног на голову — цель, которая, между прочим, требует от нас, этих реципиентов, бесплодных и изнурительных усилий. Таким образом, дело это не просто не нужное, но и вредное. Посему, я надеюсь, мне позволят говорить о постмодернизме не изнутри, следуя за его извивами, а по сути — с точки зрения его последствий для культуры, а значит, и жизни.

2

Что такое постмодернизм?

Прежде всего это — отрицание серьезности и смысла за всем существующим, будь то человеческое бытие или мироздание. Вы скажете: подобное уже было, и напомните о сравнительно недавнем абсурдизме экзистенциалистов. Однако что касается последних, то тут ситуация была все же иная, ибо если вселенная с их точки зрения и представляла собой бессмыслицу, то для человека (пусть в этом мировоззрении и не хватало логики) тут делалось исключение: личность с ее уникальным «проектом» и «подлинностью» бросала вызов враждебной, бессмысленной вселенной. Но, главное, все известные до сих пор провозвестники нигилизма и абсурдизма — и те, что скорбели, и те, что бравурно декларировали бессмыслицу существования, — *понимали*, что означал сей факт. И это понимание отразилось в трагическом умонастроении экзистенциалистской и абсурдистской литературы, в экзистенциалистских романах и драмах. В той или иной степени подобное состояние духа подпадало под формулу С. Франка «утрата веры, но тоска по святыхне», под определение «скорбного, несчастного сознания», и потому само оно, это состояние, не было бессмысленным. Проклятые поэты судились с Богом, Ницше устраивал грандиозные демарши против Него, Камю трагически, а Сартр с надсадой экспериментировали с абсурдом. «Человек есть бесполезная страсть» — этого не мог придумать равнодушный. Теперь, как видно, дело движется к тому концу мира, который — перефразируем Дж. Элиот — будет сопровождаться не «всхлипом», а «взвизгом». Постмодернизм не

терпит «слезливости» и всяких там «эмоций», презирует пафос и страдание. Он требует равнодушия, безразличия по отношению ко всем вещам. Предпочтение одной из них, сосредоточенность на ней подвергается в постмодернизме осуждению (осмеянию) и изгоняется из сознания, подобно тому как в антиутопическом «бравом новом мире» О. Хаксли изгонялась всякая человеческая избирательность и привязанность.

А это и есть уничтожение серьезности.

Психологии безразличия соответствует тут идеология не-различия: отрицание значимых различий между вещами; упразднение бытийной, а следовательно, и ценностной иерархии; отмена оценочного подхода как такового.

А это и есть отказ от смысла.

Всем все равно, потому что все равно всему, и наоборот, все равно всему, потому что всем все равно¹.

Один из методологических принципов философского постмодернизма-деконструкционизма²: выискивать и инвентаризировать контрастные пары понятий («бинарные оппозиции»): мужское — женское, устное — письменное, обозначаемое — обозначающее (знак) и т.п., чтобы разоблачить эту «бинарность», как якобы замаскированное утверждение превосходства одной стороны, одного термина над другим, противостоящим. Цель подобного разоблачительства — отменить, объявить незаконной саму констатацию реального контраста и различия, поскольку в ней усматривается злонамеренная воля к ущемлению, подавлению половины реальности, всего, что находится по другую сторону придуманных баррикад.

Деконструкционистская философия не требует каких-то особых приемов по выведению ее на чистую воду. Она открыто объявляет о выбранном ею враге, назвав его «логоцентризмом». Она бросает беспрецедентный для мыслящего человечества вызов — всей европейской традиции, основанной, как с отвращением констатирует постмодернистские идеологи, на понятиях «истины, рациональности, логики», от гнета коих как от «репрессивного фактора» требуется освободить современное сознание.

3

Явно, что мы имеем здесь дело с наследниками «новых левых», с «новыми новыми левыми», с глубоко продвинутым маркузианством, в своем первоначальном виде сосредоточенном на борьбе с «репрессивной

¹ Симптомы воплощения этого принципа в цензуре описаны в заметке «Соломоново решение», помещенной в разделе «Разное». — *Прим. ред.*

² Очень модное философское направление, основанное Жаком Деррида, который сам затрудняется его определить (об этом парадоксальном положении, а равно и обо всей этой философии я высказывалась в статье «Борьба с Логосом», «Новый мир», 1994, № 9).

культурой буржуазного общества» и рассматривающем ее через призму «господство — подчинение», «власть — угнетенные». Но ту «репрессивность», которую Маркузе и теоретики «новых левых» связывали с буржуазным строем, то есть с преходящим социальным фактором, деконструкционисты экстремистски распространяют на сами основы духовно-интеллектуальной деятельности человека. Однако если «репрессивные отношения» пропитывают все измерения сознания и засели даже в самой сердцевине языка, то идея «освободительной борьбы» попадает в совершенно безнадежное положение.

«Продвинутость» постмодернистских установок по сравнению с «новыми левыми» дает о себе знать в эскалации разоблачительного критицизма, с одной стороны, и релятивизма — с другой. Потому что смысл невиданной по замаху и противоречию здравому рассудку операции упрощительного смешительства (когда накладывается запрет на фиксации реальных контрастов) раскрывает себя в сфере ценностных суждений как отмена самих ценностей. Как раз тут все противопоставления действительно построены по принципу оппозиции: истинное — ложное, прекрасное — уродливое, святое — греховное и т.п., где один ряд ценностей имеет сущностное «превосходство над другими». Постмодернизм отменяет различия добра и зла, истины и заблуждения; этот абсолютный релятивизм имеет хождение также под именем плюрализма.

4

Согласно объявленной борьбе с «логоцентризмом» отменяются не только законы высокой Логики, но и повседневные нормы дискурсивного рассудка, правила дорожного движения мысли. Деконструкционисты уже «не втирают очков» по части соблюдения логики, не удостаивают публику хотя бы камуфляжем рассуждения, а, что называется, лепят от темного столба. И это заразительно. Мы встречаемся с подобной логикой «поверх барьеров» и на умеренно радикальной радиостанции «Свобода», где нам объясняется, что данную передачу ведут три лица (имярек) «и отнюдь не в унисон», отчего (!!) «разрозненный мир обретает *единство*». Без постмодерна тут не разберешься. Впрочем, частичный ответ на эту загадку можно найти в другой программе этого радио, где возвещается о «нашей святыне — правах человека». Ведь в качестве «святыни» эти права ничем не ограничены, закон им не писан.

Познакомьтесь с философскими пассажами на странице «Искусство» газеты «Сегодня». Здесь тоже не в почете логика, а равно и правила словоупотребления. Идет кампания по ликвидации грамотности. По настоянию В. Курицына понятие «адекватность», прилагательное «адекватный» теперь употребляются без дополнения (чему?) — как в медицинском аргументе, принятом для характеристики шизофренического сознания. «Больной адекватен», «больной неадекватен» — это выражения, понятные врачу-психиатру. Быть может, в том же самом хочет нас заверить и критик, сооб-

щая, что кто-то из литераторов «адекватен»? Да мы еще не сориентировались.

Мода на деконструкцию многострадальной тургеневской «Муму» преподносит нам трактовки, буквально, из «мифов народов мира». В соответствии с охватившей постструктуралистов социофрейдистской страстью изобличить господство вездесущих репрессивных отношений герои разбиваются на два противостоящих друг другу лагеря — власти и подчиненных, соответственно барыня и — Муму с Герасимом, вместе зачисляемые по ведомству фауны. Герасим, по одной из версий¹, лишь на время поднимается из животного состояния в человеческое и вскоре снова низвергается в звериное. Тут-то и раскрывается, почему барыня перестает его искать: власть не насыщается тиранством над животным существом, ей подавай homo sapiens'a.

Пробегите по диагонали (я не призываю читать) новейшие романы с «историей» в некоторых столичных журналах. (Тоже кампания ликвидации грамотности, исторической.) Свобода мысли необыкновенная. Вам встретятся персонажи из прошлого, попавшие в совершенно невообразимые для них обстоятельства времени и места. Екатерина Великая под ручку с Чапаевым и Менделеевым может разгуливать под сенью египетских пирамид эпохи Аменхотепа IV.

Вы скажете, ну и что такого, неужели писатель не имеет права включить в свое произведение — fiction! — пару-тройку общественно-исторических деятелей, коли так повелю его творческое воображение?! В том-то и дело, что здесь — *тенденция*. Сегодняшние сочинители стремятся смешать все исторические карты, зачертить своими иероглифами карту истории — так, чтобы бывшее стало небывшим. «Сколько было крику вокруг «конца истории», и он «неожиданно наступает, но не в бытии, где событийности хоть отбавляй, а в сознании, по крайней мере — в сознании нашего культурного истеблишмента», — замечает Ирина Роднянская в статье «Гипсовый ветер» (см. ее сборник «Литературное семилетие», М., 1995).

А как эти сочинители обращаются с внеисторическими и потому более важными вещами, — с этим лучше разминовываться заранее...

5

Процесс «рассвобождения личности» 60-х годов из области «сексуальной революции» (начавшейся как утопия всеобщей любви, но выпившаяся на практике в наркоманию, беспорядочные связи и повальные заболевания, а главное — в утрату представлений о любви) перекинулся в постмодернизме на сферу ментальности, произведя революцию в мышлении. Нравственная вседозволенность обернулась вседозволенностью умственной.

¹ Да хотя бы у С. Зимовца в его эпатажном «Молчании Герасима» (М., «Гнозис», 1995).

Вместе с постмодернизмом мы переживаем второе крушение гуманизма. При первом, относящемся к временам авангарда и затем структурализма, в искусстве и мысли шло искоренение человеческого элемента, человеческого присутствия — как «неустойчивого», ненадежного, «психологического», «неподлинного», субъективного (цитирую из статьи «Борьба с Логосом», «Новый мир», 1994, № 9). В 1925 году теоретик «дегуманизации искусства» Х. Ортега-и-Гасет настаивал на том, что «поэт начинается там, где кончается человек», что от человека-творца требуется одна рассудочная, причем комбинаторно-конструирующая, способность, творящая «мир наизнанку».

Поставангардные борцы с «логоцентризмом», с так называемым «унаследованным способом мыслить» направили свои силы на сотрясение оснований самой этой рассудочной способности, а вместе и других естественных склонностей человека (например, радоваться гармонии и красоте), то есть, на выворачивание «наизнанку» не только природы того, что вовне — от вселенной до отдельного предмета, — но и природы самого человека.

Переведа на язык библейских терминов ту ожесточенную борьбу постмодернистов против «различения добра и зла, истины и лжи» (в чем, как замечательно сказал Вл. Соловьев, «заключается весь интерес человеческой жизни»), можно заметить, что если первое грехопадение связано с вкушением от плода «познания добра и зла», то второе, нынешнее — от плода противознания добра и зла. При том, что мы уже не в раю.

Искусство требует жертв, теперь — от зрителя и слушателя, вынужденных терпеть душевный дискомфорт и перебарывать отвращение при встрече с новыми образцами творчества, принимать их наподобие принудительной инъекции. Заметим, однако, что разница между модернистским авангардом и постмодернизмом существенна в том, что первый, провозглашая непрременную новизну форм и ломку художественных аксиом, шокируя чувственность и ментальность своей аудитории, в одном всегда оставался понятным — он был идееносен, проникнут замыслом и смыслом, нес некое целепологание, целостное мирозерцание. Постмодернизм занят хаотизированием внешнего и обесмысливанием внутреннего мира человека.

Но встает вопрос, что же может принудить свободного человека «старой чувственности», то есть нормального, пока еще не поврежденного восприятия, к признанию тех форм и продуктов творчества, которым противится душа? Как могли легализоваться в культуре и прослыть шедеврами отталкивающие и возмущающие дух экспонаты?

Есть тут элемент инерции. В культуре всегда торжествовало и получало право гражданства то, что производится на самом веру, в высшем образовательном слое. Оттуда сиял свет культуры, и это было естественно. Очевидно, все дело, каков он, этот верхний слой, этот творческий источник. С модерна, а конкретнее, с авангарда верховное место оказалось

окупировано творцами нового типа, почувствовавшими себя застрельщиками радикальных общественных сдвигов и переподчинивших творчество глобальным задачам всемирного прогресса, а точнее, переворота. Постмодернизм унаследовал этот взгляд, взгляд эзотерической секты, особого «ордена», воюющего с традицией и обществом, с «молчаливым большинством». Получатели культуры, низы, при встрече с миром элитарных творцов — по исконному порядку вещей — оказываются зависимы, безответны и, конечно же, внушаемы. В «Современной истории» А. Франса вовсе даже не рядовой, а ученый, академический человек заробел перед новой вестью из артистического мира в виде модной поэмы: «...и с чувством благоговения перед непонятной ему красотой он молча пожал поэту руку».

Казалось бы, по своему элитарному самочувствию и противостоительно-фантастическому умонастроению — «рассудку вопреки, наперекор стихиям» — постмодернизм должен был бы оставаться камерным, кулурарным занятием избранных. Как эсперанто. Но нет. Само захваченное положение — властителей дум — позволяет «передовому отряду» диктовать свое кредо пассивному большинству через бойких пропагандистов и агитаторов из литературной критики и философской публицистики, внедрять в общественное сознание взгляд на афишируемые новинки и школы как на последние достижения мысли и художественной воли. Простой человек, человек с нормальными чувствами и здравым смыслом, ежится, смущается, но не станет возражать существам высшего полета. В крайнем случае он признается в своем «непонимании», что, в конце концов, «можно простить» рядовому нерафинированному, «отсталому» индивиду. Но это касается человека, успевшего сформироваться не без воздействия русской классики в подмороженной советским режимом России, вдали от магистралей прогресса. Новое поколение, прошедшее школу постмодернистской перековки, этой новейшей контркультуры, будет «адекватной» аудиторией — с подавленными запросами к смыслу, логике и гармонии.

Постепенно разрыв между элитой и массой в атмосфере постмодерна диалектическим образом обращается в тесное их взаимодействие. Высококолючее изобретение своим погромом логики и истины прямо и непосредственно формирует ситуацию на полосе массового сознания. В этой связи интересны проводимые сегодня в пользу постмодернизма параллели между ним и марксизмом-коммунизмом. Мол-де, марксизм ставил задачей реализовать утопию (а это страшно!), в то время как постмодернизм живет играючи в своей гиперреальности искусственных знаков, как бы в уже осуществленной утопии сознания и ничего не претендует изменять. Но на самом деле он чрезвычайно много меняет в сознании и способен доставить великие потрясения в общественной жизни. Во-первых, марксизм, проливая реки крови, в ментальной области все же не порывал связи с основами мировой культуры, говорил на языке «логоцентризма», апелли-

ровал к достижениям, которые «выработало человечество». И потому он оставляет в сохранности как рассудочные способности человека, так и представления об идеальных целях и смыслах. Во-вторых, при всей чудовищности социальной практики марксизма, общество, устроенное по Марксу, имеет структуру, что при любых условиях составляет преимущество перед крайней степенью аномии и энтропии, вытекающих из постмодернистского мировоззрения. Диффузное, ценностно нейтральное состояние социума — это беспрецедентный образец «крысария», т.е. общества без какой-либо идеальной, духовной надстройки. Такого мы еще не переживали!

В бесструктурном, хаотическом мире всегда торжествует низшее, — подобно тому, как в толпе, в отличие от структурированного сообщества, общины, люди организуются по низшему уровню; толпа управляется самым зычным окриком и грубым жестом. Мы уже видим разнузданных выходцев из толпы на текущем телеэкране, где беззастенчиво демонстрируют себя небритые помятые физиономии старых блудников и голые торсы молодых бритоголовых горлопанов, нет — хрипунов. Казалось бы, что может быть дальше от «металла» и попсы, чем претензии элитарных постмодернистов?.. Но, увы. В ситуации погрома истин и смыслов неизбежно торжествует низкопробность.

Даже если дорогу к постмодернизму протоптали модернистские снобы, то сам он с его ликвидацией вертикального измерения — это подарок для амбициозной посредственности; это мечта «раскрепощенного» обывателя. Ибо отмена духовной иерархии открывает перед самодовольной заурядностью перспективу встать вровень с талантом. И вообще, «кто тут временные, слазь!» Постмодернизм — проявление психологии знаменитого революционного ressentiment, зависти и обиды, но уже не в материальном, а в духовном отношении. Как коммунистический режим ни старался вывести «нового человека», чтобы ему из своих рук выдать мандат на одаренность, этого не получилось, потому что коммунистическая идеология «не догадалась» отменить все старые понятия и критерии.

Таким образом, «социальную базу» постмодернизму предоставляет зрелый этап «массового общества», для которого характерен выход на культурную поверхность «неквалифицированного индивида» (термин Х. Ортеги).

А чем грозит постмодернизм России?

А тем же, чем и другим иноземным городам и весям, только с большим эффектом. Встреча с ним, как и со всяким новейшим словом, залетающим с Запада, а теперь и с Востока, производит на русского человека большее впечатление, чем на аборигенов передовых стран, где оно изобреталось. Духовный эффект тут подчас сравним с эффектом, произведенным в свое время спиртным зельем на неподготовленный организм североамериканских индейцев.

«ПОСТМОДЕРНИЗМ ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОШЛОМУ»

1. *Что такое постмодернизм с Вашей точки зрения? Его признаки, отличительные черты?*

Постмодернизм ни в коем случае нельзя считать этически, политически или эстетически нейтральной культурной позицией. Теоретики и художники постмодернизма стремились в первую очередь реабилитировать все те культурные феномены, которые по тем или иным причинам оказались за пределами модернистской нормы — и делали это с немалым морально-политическим пафосом.

Героем исторического модернизма является способный к саморефлексии, «просвещенный», критически мыслящий субъект. Соответственно, модернизм негативно относится ко всему тому, что не подпадает под определенную «гуманистическую» норму, что не соответствует идеалу свободно мыслящей и действующей личности: массовое искусство, религия, миф, культура «непросвещенных» меньшинств. И вот постмодернизм теоретически и эстетически *реабilitирует* эти отклонения от модернистской нормы, не отказываясь, впрочем, от самой этой нормы.

Эта реабилитация часто принимает форму дискурса о подсознательном, т.е. обо всем том, что ускользает от самосознания и ставит субъект в зависимость от «другого», которую сам этот субъект не способен отразить. В настоящее время, кстати сказать, такой общий дискурс о подсознательном, выступающем синонимом всего социально, культурно и лингвистически вытесненного — а вместе с ним и сам постмодернизм, как определенная идеологическая установка — потеряли свою историческую актуальность. Право маргинальных культурных феноменов на реабилитацию теперь никем не оспаривается и не нуждается в специальном «постмодернистском» теоретическом обосновании. Поэтому каждый теперь занимается своим частным делом: феминизмом, этническими или сексуальными меньшинствами и т.д. Общей идеологической крыши больше не требуется — так что постмодернизм сегодня принадлежит прошлому, не будучи при этом, разумеется, «преодоленным».

2. *Каковы, на Ваш взгляд, философские, социально-культурные истоки постмодернизма?*

В социальном и политическом отношении постмодернизм является следствием победы «модернистского проекта». Постмодернизм возникает там и только там, где современное просвещенное, рационально организованное общество, основанное на принципах гражданской свободы, не нуждается более в борьбе со своими врагами и может их интегрировать в свои структуры подобно тому, как современные музеи интегрируют в себя

разнообразные знаки «другого». Там, где модернизм не победил, т.е. в различных до-модернистских или фундаменталистски ориентированных культурах, постмодернизм как культурная установка или невозможен, или понимается превратно. Постмодернистская реабилитация маргинальных культурных феноменов превращается в таких культурах в агрессивную антимодернистскую риторику с до-модернистских позиций.

3. *Как Вы определите характер, содержание, основные направления, теории и установки постмодернизма (имена их создателей)? Ваши оценки? В чем Вы видите социальный интерес постмодерна?*

Основные теоретики постмодернизма суть те авторы, которые радикализировали теории психического (Фрейд), социально-политического (Маркс), лингвистического (Соссюр) или экономического (Батай) подсознательного. Если в эпоху модернизма вышеперечисленные теоретики создавали свои теории с целью овладения подсознательным посредством его научно ориентированной рефлексии (со всеми известными «тоталитарными» последствиями этого жеста овладения), их постмодернистские последователи ограничиваются указанием на фундаментальную нередуцируемость подсознательного как радикально «другого». Соответствующие имена известны: Фуко, Лакан, Делез, Деррида, Лиотар.

4. *Как, по-Вашему, складываются взаимоотношения христианства и философии постмодернизма? Правомерно ли определить и неоязычество как постмодернизм?*

Для постмодернистского теоретизирования характерна реабилитация экстатической стороны любой религиозности — включая и христианскую. Подсознание есть, в известном смысле, не что иное, нежели новое имя Бога: ведь речь идет о сверхличном в самом человеке, от которого человеческое сознание оказывается в нередуцируемой зависимости. Конечно, подсознательное — это бог, с которым нельзя рационально договориться, но таков и Бог многих теологов, включая христианских. Особенно Лакан подходит под такое определение христианского католического мыслителя. Но и все остальные, считающиеся постмодерными, дискурсы имеют отчетливое теологическое измерение, поскольку ориентированы на бесконечное: бесконечное движение дифференции (Деррида), бесконечность текста (Барт), бесконечность желания (Делез) и т.д.

5. *Ирония, как подавляющий стилистически-смысловой прием, как этак постмодерна — имеет ли она, на Ваш взгляд, перспективы в культуре? Какие? Или постмодерн в культуре — это свидетельство окончательного распада ее?*

Постмодернистское искусство и литература вовсе не ироничны. Ирония характерна для романтизма и диктуется верой в неограниченную способность субъекта трансцендировать любое конкретное содержание, любой определенный стиль, любую внешнюю форму, любые границы.

Постмодерное искусство, напротив, контекстуально. Индивидуальное художественное творчество ставится в контекст внешнего культурного поля, не контролируемого субъектом: автор обнаруживает здесь свои

непреодолимые границы. В качестве такого поля могут выступать художественная традиция, массовая культура или банальность повседневной коммуникации. Пользуясь терминологией Кьеркегора, можно, вероятно, сказать, что постмодерное искусство *комично*, так как оно демонстрирует ограниченность претензий «творческой индивидуальности» на авторство — но оно, во всяком случае, не романтично и не иронично.

6. *Что такое, с Вашей точки зрения, постмодерн в России?*

Русский постмодернизм занимается, начиная с 70-х годов, художественной и теоретической реабилитацией тех сторон русской культурной действительности, которые не соответствуют современной, т.е. модернистской, культурной норме, включая и всю эстетику советского тоталитаризма. Имена соответствующих авторов хорошо известны. Назову только некоторые: Илья Кабаков, Виталий Комар, Эрик Булатов, Дмитрий Пригов, Владимир Сорокин, Лев Рубинштейн.

При этом следует отметить, что эта реабилитация имеет смысл только в контексте современных международных культурных институций, мало или вообще не представленных в России. В самой России *до-модернистские* формы государственности и культуры все еще играют доминирующую роль. Поэтому их эстетизация наталкивается на двойное непонимание: сторонники Просвещения и современного гражданского общества все еще — и вполне по праву — видят в этих до-современных формах русской действительности своих актуальных врагов, в то время как культурные консерваторы не видят смысла в эстетизации этих до-современных форм, поскольку они им и без того нравятся. В результате постмодернизм в самой России остался маргинальной культурной позицией, хотя и дал — в международном контексте — ряд блестящих художественных результатов.

Лев АННИНСКИЙ

МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ПОСТМОДЕРНИЗМА?

1. *Процесс всякой самоидентификации начинается, как известно, с демонстрации выбранного типа поведения, т.е. выработки «поведенческого кода» и объявления неких внешних признаков своего появления.*

Признаки постмодерна обычно называются с легкостью: эклектика, плюрализм, полифония взамен диалога, абсолютизация относительного, непризнание идеи прогресса, отрицание парадигмы Просвещения, неучастие в споре традиции и модерна, примирение всех со всеми (при равнодушии ко всему), растворение личности как ответственного морального, гражданско-го, эстетического субъекта и т.п.

Согласны ли Вы с таким пониманием постмодерна? Что такое постмодернизм с Вашей точки зрения? Его признаки, отличительные черты?

Черт до черта, признаков тоже, но вернемся к печке, обозначенной словами «как известно». Не в с я к а я самоидентификация начинается

с демонстрирования выбранного типа поведения, с выработки «поведенческого кода» и объявления внешних признаков.

Бывает и так, что поведение реализуется практически мучительным опытом проб и ошибок, либо моцартовским легким наитием, и лишь потом становится предметом рефлексии и кодирования. В этом (нормальном для меня) случае духовно-практическая реальность никогда не исчерпывается ни кодами, ни правилами, ни теориями, а может стать источником бесконечного (в принципе) количества «моделей».

«Заявление о себе» как о «примере для...» (подражания или нигилистического обращения — это как угодно) — лишь частный случай самоидентификации. Мне он кажется ущербным и болезненным, но, как и все на свете, интересным. Признаки болезни общеизвестны, потому что многократно объявлены самим пациентом, который спрашивается на диагноз, и врачами, к которым пациент взывает.

Диагноз такой: все по фигу, потому что всего навалом. То есть всего слишком много, не переварить. Любить невозможно никого и ничего, потому что при таком веере возможностей и напоре соблазнов сил все равно не хватит. «Парадигма Просвещения» смешна, потому что информация висит в воздухе и имплицитруется спонтанно, так что сама парадигма уже впаяна в сознание постмодерниста прежде, чем он эту парадигму обнаружит в себе, чтобы искоренить, и прежде, чем он поймет, что он постмодернист.

Это комплекс заучившегося отличника, который начинает крушить учебные пособия, делая вид, что он хулиган и дикарь. Но он сам себе лжет, потому что все сокрушаемое он все равно знает наизусть.

Сам принцип: сначала — «выбранный код», потом — «поведение» — выдает в постмодерне неисправимую жертву «разума». Не только в постмодерне такая беда — двадцатый век вообще помешан на «манифестах». Сначала что-нибудь «заявить», потом окапываться вокруг знамени. Идеальная ситуация для средних талантов и неуверенных в себе людей с претензиями. Сделать «направление», а потом разбираться.

У Ахматовой (в старости) спросили: почему акмеисты так свирепо воевали против символистов? Она улыбнулась: да место себе очищали, только и всего.

Способ очистки, открытый в начале века, мы и унаследовали. Впрочем, он существовал всегда.

2. Новая глобализация, постмодерн, постхристианство, неоязычество... — вот далеко не полный перечень определений этого мировоззренческого явления. Очевидно, что такая разногласица вызвана прежде всего различием оснований в выведении генезиса постмодернизма. Каковы, на Ваш взгляд, философские, социально-культурные истоки феномена?

«Оснований» много, а «исток» один. Сначала пройду по «основаниям».

Глобализация? Да. Потому что мир «слипся» в единое целое: две мировые войны и ужас ожидания третьей спаяли его в сжавшийся информационный комок, в комок нервов. «Глобальный» слой есть сегодня

ня в любом бутерброде, который подносишь ко рту. Впрочем, почему только сегодня? История человечества не знает бесстержневых эпох. Римляне естественно чувствовали себя «мондиалистами» (знай они это слово), и весь мир определяли по степени близости к центру (слово «предел» они знали очень хорошо). Китайцы считали свою империю Срединной. Роосийская империя рождена из вселенской идеи, унаследованной от «второго Рима»... Всякая империя — дело в принципе мировое, и две сверхдержавы полвека крутились вокруг этой оси. Глобализм также естествен, как и постоянно компенсирующее и корректирующее его дробление; равнодействующая клонится то туда, то сюда; мы сейчас на «плече» дисперсии, но грядущие пучки собираются в этом видимом хаосе так же, как растекается «плпорализм» из-под треснувших державных колпаков. Говоря «глобализм», никто ничего не прибавляет к самоочевидности; дело только в том, как в эту очевидность впишется личность.

«Постхристианство»? — Почему нет? Если в христианстве мы видим одно из величайших глобальных вероучений, то вполне возможно все беды нынешнего мироустройства навесить на это учение («мир во зле» как лежал, так и лежит; значит, это христианство «не справилось»; значит, налицо «всемирная неудача христианства»), а мы — пост-, мы другие, мы — поверх неудачи.

«Неоязычество» — того же типа определение, только еще более поверхностное. Язычество так же бесконечно многообразно, как природа, оно — «поверх природы», и определять так что бы то ни было — значит просто реагировать на то, что стремились преодолеть языческую природность: на любую мировую духовную систему, а на ходящей ходуном арене истории все эти системы, «как известно», терпят неудачи.

Между прочим, самая беспредметная кликуха оказалась и самой меткой, и приросла: «постмодернисты». Что это такое? То, что «после» модерна. Очень находчиво. А потом что? А потом — опять какое-нибудь «после»... Есть уже «пост-постмодернисты», «пост-пост-постмодернисты». Нормально!

Исток один: напор всемирной информации. Не переварить. Пльвем кучей в мировое информационное пространство. Естественно, под уклон.

3. Постмодернизм представляет собою еще и вполне определенные социальные теории и установки. Как бы Вы определили их характер, содержание, основные направления? Ваши оценки? В чем Вы видите социальный интерес постмодерна?

«Еще и...» — не слишком увлекательный повод для вдумывания. Социальных теорий и установок сейчас так много, что я не запомнил, какие из них — постмодернистские, а какие — нет. Если появится социофилософ, который научит человека сопрягать в себе «гражданина мира» и «сына отечества» (а оба эти начала есть в каждом человеке, да редко уживаются мирно, если это действительно доминанты поведения, а не абстрактно-прекрасные идеи), то я приму этого социофилософа безотносительно к тому, постмодернист он или не постмодернист. Точно

так же, если из глубин этого течения выплывет великий художник, я его приму. Прежде всего — чувством, интуицией, спонтанной реакцией духовного организма: «там что-то есть!», — потом усилиями разума буду соображать, что же там есть, и только потом, с накоплением фактов — посмотрю, что он нашел в постмодернизме и во что превратил найденное. Это уже вопрос контекста. Данте можно понимать в контексте гвельфов-гибеллинов, можно — в контексте Возрождения, а можно — в контексте мировой культуры, где каждый перечитывает его по-своему (вычитывает свое, вернее, вчитывает свое).

4. *Конец XX века нередко определяют еще и как постхристианскую эпоху (выделяя несколько существенных черт: равнодушие к Богу, энтропия личности, отвержение идеи прогресса уже в христианском смысле как движения к Богочеловечеству и т.п.). Неоязычество — что это такое, на Ваш взгляд? Правомерно ли определить неоязычество как постмодернизм? Как, по-Вашему, складываются взаимоотношения христианства и философии постмодернизма?*

Равнодушие к Богу существует столько же, сколько вера в Бога. Энтропия личности — нонсенс, потому что личность — это именно концентрация смысла или, если говорить на языке Норберта Винера, «информация», хотя, конечно, язык Винера тут не поможет. «Отвержение идеи прогресса» опять-таки сопутствует идее прогресса во все века. Как только в Древнем Египте реализуется идея «пути» (путь человека от рождения до смерти и... дальше), логически возникает вопрос: что же дальше? и до каких пор? — мгновенно обозначается идея совершенства «здесь и сейчас», и античность реализует альтернативу. История — бесконечный диалог «Афин» и «Иерусалима». Почему идеи прогресса надо объявлять абсурдными именно сегодня, и при чем тут постмодернисты? Зверь как сидел в человеке, так и сидит, «природа» в нем как была дика (но и естественна), так и осталась. Бесконечное количество конкретных «цивилизационных» линий, по которым жизнь совершенствуется технически и смиряется психологически, — это и есть бесконечные линии «прогресса», из которых каждая может дать какое-то конкретное улучшение жизни, но не может стать смыслом жизни. Смысл — таинствен, неисчерпаем, непредсказуем. Но это не причина каждый раз торжествовать «победу» над очередным «прогрессом» и объявлять его абсурдным. Мы преодолели «прогресс» социобиологический и посмеялись над резателем лягушек Базаровым. Мы смеемся над «прогрессом» социалистическим и топчем отцов, построивших Днепротэс и Магнитку. Мы замахиваемся на «прогресс в христианском смысле» и обвиняем Христа в том, что мы по-прежнему звери и дураки, а он зачем-то говорил нам, чтоб мы любили друг друга.

«Движение к Богочеловечеству» — это, конечно, проблема, но по другой причине. Мы уверены, что именно христианство — путь к абсолютной истине. Но как быть миллиарду мусульман, знающих друг о друге? Как быть буддистам, индуистам, синтоистам, даосистам, конфуцианцам — их тоже миллиарды? Да не в миллиардах дело — иудеев не наберется и на десятую долю процента, но у них — своя великая идея и своё понимание пути. Да распоследний сектант, если он честен и не лезет

переделывать мир по своей схеме, имеет право идти к истине своим путем. И никто не смеет сказать ему: не туда идешь.

Так, может, это равнодоистинство бесконечного количества путей, в которых теряется и тонет идея общего «прогресса», — и есть правда нашего теперешнего состояния, которое с одного бока выглядит как плюрализм, с другого бока — как экуменизм, с третьего — как клумба, где расцветают все цветы, а с четвертого — как постмодернизм, где всякий опыт сидит в своей щели, в своей складке, и всё опробовано, всё потрогано, всё опровергнуто и все опростоволосились, но... жить все равно надо?

Я понимаю вашу логику: так, может, всё это (то есть неоязычество, постхристианство и всё сопутствующее) и е с т ь постмодернизм?

Может, «и есть». Постмодернизму от этого много не перепадет, как не перепаало Просвещению от того, что Руссо как педагог нашел себя на его территории, а Толстой как автодидакт нашел себя в поле действия руссоистских принципов.

5. Ирония, как подавляющий стилистически-смысловой прием, как эпатаж постмодерна — имеет ли она, на Ваш взгляд, перспективы в культуре? Какие? Или постмодерн в культуре — это свидетельство окончательного распада ее?

Никакого «окончательного» распада культуры не будет, как не будет и «окончательного» торжества ее. Будет — вечное преодоление вечного бытийного ужаса, вечная апелляция к «разуму» и вечные же проклятия этому самому «разуму» за то, что он бессилён «окончательно» исправить природу человека.

Глупость и разум — вещи настолько взаимосвязанные, что вряд ли стоит придавать значение тому, на какой конец коромысла подвешивают груз ответственности. Один умный человек заметил: для того, чтобы казаться умным, необязательно быть им, достаточно быть дураком в другом роде. Из других житейских замет: дурак обычно боится того, что он дурак; первый признак поумнения — это когда человек не боится быть дураком.

Применительно к поводырям постмодернизма: нет ничего умнее, чем похвала глупости; чтобы понять это, не надо даже подпирать себя авторитетом Эразма; ирония как п р и е м — дело чисто техническое и не очень замысловатое; э п а т а ж постмодерна — продолжение эпатажа модерна, и, видимо, новое продолжение последует, так как дети, отчаявшиеся «обратить на себя внимание», иногда обнаруживают готовность поджечь дом. Но «перспективы» в культуре не может иметь ни эпатаж, ни прием, ни ирония как таковые. «Перспективы» — это в некотором роде «путь», а «путь», как мы выяснили, это то, во что постмодернисты не очень верят. Всё исхожено, отработано, отслежено, продано-перепродано; можно только комбинировать «дискурсы», громоздить «римейк» на «римейк».

По-моему, это похвала не глупости, а лукавству.

6. Что такое, с Вашей точки зрения, постмодерн в России?

Постойте... Прежде, чем о том, что такое постмодернизм в России, несколько слов о том, что такое Россия в этом постмодернистском потоке.

«Особняком» стоит в собственном сознании в с я к а я национальная группа или единица. И не только национальная. Россия не этноцентрич-

на, она по замыслу кафолична, по составу полиэтнична; этноцентром — гибель русской идеи, русской культуры, русской оригинальности, русской традиции в ее тысячелетней протяженности.

То, что русская культура полиэтнична, вовсе не означает идиллии, напротив, это непрерывное напряжение, взаимоупор несходящихся начал. От чеченского и татарского до какого-нибудь исчезающего (десяток семей в последнем стойбище расточившегося северного народа), который тем не менее с полным правом претендует и должен сохранить память о себе — в поле русской культурной безбрежности. И само это поле — десятки «этноцентризмов»: соперничество Москвы и провинции — казаков, челдонов, питерцев, волжан, уральцев и прочая, и прочая, и прочая.

Говорить в этой связи о русском манихействе — значит абсолютизировать наши безумства в те исторические мгновения, когда мы либо раскалывались, либо силились преодолеть раскол зверским напряжением воли. Однако с таким же правом можно сделать упор на том, что русские изначально заряжены на всемирное братство, на вселенскую гармонию и на верность высшему предназначению; наши всеотзывчивость, мечтательность, сердечность, ориентация на безбрежное добро с таким же успехом укладываются в неоплатонизм, как наши безумия — в манихейство.

Глобалисты мы — по факту судьбы. Евразийцы — по определению, то есть по «месту жительства». Православные — по духовному генезису. Хвалить и поносить это можно до бесконечности.

«Стирание национальных традиций» — непрерывный эффект «глобализации» (как эпоху назад — «стирание классовых антагонизмов»). Но непрерывно же идет и коррекция, компенсация, накопление традиций и различий, вплоть до антагонизма: классового, национального... или какого-нибудь еще на очереди? И поскольку оба эти процесса естественны, мы никогда не избавимся ни от одного из них, а будем мучительно соотносить и сопрягать — без надежды на «окончательное» решение, но с надеждой на бесконечность жизни.

Разумеется, Россия раздирается этими противоречиями, но думать, что она стоит «особняком» или что весь мир обречен без конца упираться в Россию взглядом, хваля или понося, — значит страдать застарелым комплексом неполноценности.

Хватит нам на Россию горечи и боли — без того, чтобы она была пупом Земли. Мысль о России настолько важна и тяжела сама по себе, что, думая о ней, можно обойтись и без постмодернизма. Но можно ли обойтись без него вообще? Нельзя обойтись. Как всякая культурная мода и как всякое явление интеллектуального быта, постмодернизм подсвечивает эпоху и свидетельствует о ее состоянии. Он входит в контекст времени и сам составляет контекст для определенного слоя явлений культуры. Как субъект изучения он может быть интересен для специалистов и как фон размышления — небезразличен для прочих смертных.

Мой случай — последний.

МЕЖДУ КЛАДБИЩЕМ И СВАЛКОЙ

Постмодернизм как паразитическая версия Постмодерна

Много острых перьев затупилось в прениях об отечественном постмодернизме. А все не верится в него — хоть убей. Отложишь в сторону какой-нибудь новый постмодернистский литературный опус, выйдешь на воздух прогуляться — и уже мнится, что весь этот хитроумный постмодернизм — только пестрая закладка между страницами старой, давно знакомой и любимой книжки. Не зря же каждый второй практикующий художник или литератор-постмодернист исподволь открещается от своей прописки в постмодернистской метрополии, перманентно выбирая себе другую деревню на жительство.

Да и владеет ли постмодернизм собственной, незаемной вещественностью? Или существует отражением отражений, как брошенная хозяином или вышедшая из повиновения тень? Будто новое продолжение старинных гофмановских фантазий, он того и гляди — исчезнет. Поблазило, померещилось, мелькнуло — и пропало. Поминай, как звали.

Голова идет кругом: где начала — и где концы? Но попытаемся унять головокружение от неудач, чтобы прояснить как природу подобных эффектов, так и собственно духовный смысл постмодернизма. Откуда и зачем явился он на исторической сцене?

1

Чтобы появилась тень, нужен источник света. И нужен объект (или субъект), бросающий эту тень. Может ли таковым считаться модернизм, историческим преемником и наследником которого является постмодернизм, если верить его автоаттестации? Два эти культурно-исторические феномена сравнивали уже не раз — с переменным, но несомненным успехом. Здесь, однако, нужна, кажется, более глобальная перспектива.

Начать с того, что есть постмодернизм — и есть постмодерн. В текущих разговорах эти понятия существуют рядом, то подменяя друг друга, то расходясь на некую дистанцию, определить смысл которой, мало, однако, кто берется. Путаница тут не нужна, и лучше сразу отделить одно от другого. В конце концов, это не первый случай, когда слова звучат похоже, а значат не одно и то же. Сравнить хотя бы «модерн» и «модернизм»: их с завидным постоянством смешивают и путают только нерадивые студен-

ты-первокурсники. Не говоря уж о том, что и модерн — это, во-первых, синоним Нового времени (собственно — Модерн), а во-вторых, стилевое и культурное явление рубежа XIX—XX веков.

Соответственно, на мой взгляд, есть прямой резон термином «Постмодерн» обозначать ту особую культурную эпоху, которая наступает после Модерна, — эпоху, которую отличает культурная ситуация, не входящая в культурную номенклатуру Нового времени. А термином «Постмодернизм» — локальный и специфический культурно-художественный вектор в пределах этой новейшей глобальной ситуации.

Объяснимся.

2

Новое время пришло к самоотрицанию. Вот ситуация, в которой происходит современное культурное брожение. Приметы оскудения, омертвления и разложения Нового времени стали попадаться все чаще с середины XIX века. А в веке XX-м разразилась культурная катастрофа, погрузившая мир в разброд и смятение. Об этом много уже написано, но в нашем контексте нелишне все же кое-что и напомнить.

Начнем с того, что главный замысел Нового времени, как это согласно все сегодня формулируют, заключался в самоутверждении человека. Началось-то, правда, все, насколько помнится, с богоподобия, открывавшего человеку необозримые творческие горизонты. Но постепенно вера в абсолютное бытие, в трансцендентный источник человеческого существования скудела, и логика историко-культурной эволюции привела в конце концов от сомнений к убежденности: Бога нет, «Бог умер». Одни от такого открытия заплакали, другие — рассмеялись. Но как бы то ни было, в результате ушло то, что до сих пор организовывало духовный опыт и житейскую практику, и мир, иерархически организованный посредством веры в Бога, на глазах стал распадаться, расплываться. Наиболее отважные человеческие особи уже начали играть им, как мячиком, — между побудкой и чаепитием.

Однако тоска по осмысленности заставляла-таки снова и снова его собирать, сращивать расщепившиеся части, сшивать лоскутки. Но уже вручную. Стальной иглой. Путем абсолютизации человека. Так веру в Бога заместила истовая вера в человека. Она звучала гордо и претендовала на организацию человеческого существования. И Новое время длилось, пока была эта вера в человека, в его творческие силы и возможности, в его разум и интеллект, в его благородство, достоинство и способность к возвышенной чувствительности.

Однако человек — не только главная задача Модерна, но и его главная проблема, забота и боль. Эпоха, сделавшая ставку на человека, хотела не просто верить, но и убедиться в том, что ее вера истинна. Иногда главный вопрос о взаимоотношениях человека и Бога начал сходиться на нет, на первый план вышли, естественно, новые и по-новому принципиально

важные вопросы о самодостаточных взаимоотношениях человека с природой, с другими людьми и обществом в целом. Это время бесконечных экспериментов: что есть человек? на что он годен? на что способен? что в его силах? как соотносятся безмерность человека с безмерностью окружающего мира? может ли страстная сущность человека находиться в гармонии с внемлужным ей долгом? есть ли пределы у разума? каковы прерогативы воли?..

В разные культурные периоды ответы, как мы знаем, давались разные. Но подход к проблемам был единым: человек (индивидуальность, личность) помещался в центр мироздания и становился точкой отсчета во всех последующих спекуляциях.

Между тем одновременно с самоутверждением человека происходило и его саморазвенчание. Постепенно все яснее обнаруживалось, что Модерн в самом себе содержит противоречие, оказавшееся неразрешимым и в конце концов подорвавшее его изнутри. История Модерна может быть прочитана как история постепенного, растянувшегося на века, но неуклонного разочарования в гуманистическом идеале самодостаточной, абсолютной человечности. Попытка взять человека за основу мироздания оказалась не слишком удачной. И если поначалу все можно было списать на фальшстарты, то мало-помалу оптимистическая вера в человека оказалась все-таки погребена под действием двух главных факторов. Приходилось считаться с очевидностью. Во-первых, не все оказалось в человеческих силах. Человек может до поры-до времени поддерживать жизнь или прерывать ее, но не может ее вернуть и продлить в вечность, победить болезни, одиночество и смерть. А во-вторых, хотя человек и способен на все, но явным образом не только на все хорошее, но и на все дурное.

Человек как таковой в своем самодовлении оказался не способен к устойчивому самоосуществлению и самоутверждению в качестве абсолютной величины.

XIX век сделал попытку превратить в ось бытия романтического героя, ведающего истину: художника, полководца, ученого... Но к концу столетия оказалось, и что гениев слишком много, и что никакой Ломброзо им не указ, и что разобраться с теми истинами, которые продуцирует каждый из них, нет решительно никакой возможности. Общая иерархия бытия распалась на частные, а отсутствие устойчивых критериев истинности и гениальности позволяло считать свою субъективную правду и веру мериллом вещей, и в результате к XX веку истина обесценилась. Она оказалась значимой и авторитетной лишь для ее обладателя и продюсента — для прочих же являлась только мнением. Это была истина гвоздя у меня в сапоге или истина расписания поездов на Камышинском направлении, — то и другое было впридачу явно «гениальней Святого Писания», хотя сызнава его всё перечти. Истина доступна каждой кухарке, — так объявили социалисты. Но у каждой кухарки сплошь и рядом оказывалась собственная истина — беда, что случайная и банальная.

Мир и человек потеряли твердую цену, не говоря уж о тех подлинности, незаменимости и бесценной значимости, которые гарантировал некогда Бог. И если раньше про это знал один Вольтер, то в XX веке сие стало известно всякому сапожнику. Человек лишился высшего критерия, сакрального центра бытия, служившего точкой отсчета для всего, что есть в мире.

Истина есть Бог и Бог есть истина, а если Бога нет, то что же такое истина?

Истина есть человек — извещает Модерн — и человек есть истина. Но если человек уносит свою истину в могилу, а пока жив — бывает злым и опасным хищником, то что же делать и как с этим знанием существовать?

Разочарование в человеке стало чуть ли не общим вектором культурных процессов. Реальный, наличный человек был низринут с пьедестала, красноречиво разоблачен законодателями интеллектуальной моды. Заново проблематичным оказался мир, в центре которого такой человек себя утверждал. В этой реальности никакой гармонии быть не могло. Истина ушла из мира, он потерял ценность, и не только ценность, но даже и достоверность, стал зыбким маревом, местом грез, знамений и предчувствий.

О духовном неблагополучии этой ситуации свидетельствует весь опыт искусства рубежа XIX—XX веков.

Художник всегда исходил из убеждения, что где-то есть некоторая бытийная истина — либо в посюстороннем, земном мире, либо вне его. В традиционном христианском понимании подлинно быть — означало быть с Богом и благодаря Богу. Искусство как способ быть и существовал как орган выживания этого бытия художника с Богом. Причем орган, специально для этого и предназначенный: природа искусства в раскрытии человека в его отношении к Богу и к миру; искусство — способ выявления божественного Логоса в триединстве истины, добра и красоты. Неизменно и ежемоментно актуальным является в искусстве именно вечное — именно оно промеряет и испытывает реальность дальнего мира.

Обезбоженная же человечность Нового времени оказалась неспособна к тому, чтобы обеспечить надежность бытия и гарантировать достоверность человеческого знания. Едва ли не все истины стали выглядеть сомнительными и недостоверными, едва ли не все идеалы обесценились, едва ли не все инструменты познания были отброшены за неадекватностью. И в конце концов стало казаться, что у художника вообще ничего не осталось в запасе, что реальность ускользнула от него и вовсе исчезла.

Согласно такой логике, традиционный реализм, отражающий жизнь, анализирующий ее, стал казаться наивным и грубым. Его познавательные ресурсы оценивались теперь крайне низко: ведь искусство и вообще было готово отказаться от познания жизни ввиду отсутствия надежных критериев подлинности. Какое уж тут познание, если невозможно определить, где в мире и в человеке настоящее, а где — подделка, и где грань, отделяющая одно от другого.

Но если так, то чем же тогда заняться художнику?

И вот в пределах Модерна была предпринята последняя, крайне радикальная попытка найти место человеку в ненадежном, недостоверном, очень недоброкачественном мире. Формируется парадоксальное, пограничное культурное явление: модернизм.

С одной стороны, в своем самоутверждении человек здесь действительно достигает полной и окончательной степени самодостаточности. И это действительно весьма оригинальный культурный выбор. Утрата культурной обеспеченности стала предпосылкой и оправданием самой радикальной практики — конструирования новой жизни, не считающегося ни с какими обычаями и традициями, обыденными нормами и стабильными ценностями. Конструктор-модернист является сочинителем новой жизни и новой истины — своего рода художником, на каком бы попроще он ни реализовал свои таланты. От подражания жизни, от учета ее собственных глубинных интересов происходит переход к созданию ее заново — будто на пустом месте, с чистого листа.

Так на культурной сцене первой половины XX века появляется и начинает господствовать человекобожеский и богоборческий модернизм, адепты и практики которого уверены, что из остаточного шлама и мусора обесценившейся допотопной реальности можно и нужно сотворить иную, рукотворную гармонию, создать небывалую и покуда отсутствующую истину. Один из ранних вариантов такого модернизма — теоретический проект российского богостроительства, творцы которого вербализовали, договорились то, чем душевно вдохновлялась маргинальная революционная кружковщина.

Справедливости ради нужно сказать, что была и религиозная версия модернизма: строительство тотальных религиозных утопий. Ярчайшим выражением такого рода деятельности можно, пожалуй, считать русский религиозно-философский синтез рубежа XIX—XX веков, осуществленный Владимиром Соловьевым и его продолжателями. Этот идеальный проект предполагал всеобщее преобразование бытия и реализацию метаисторического замысла Богочеловечества. И, казалось, человечеству по силам эта грандиозная задача: ведь предполагаемое содействие Бога в ее решении вполне как будто бы гарантировало, что именно творческий подвиг человека может привести в конце концов к искомой цели.

Любопытно посмотреть, однако, на обеих этих версиях модернизма изживало себя Новое время и как самые грандиозные амбиции личности влекли за собой ее упразднение в качестве культурной единицы.

Религиозный модернизм сам по себе, одним фактом своего существования уже являл антитезу ведущей тенденции Нового времени, по-лапласовски упразднившей Бога «за ненадобностью». Бог возвращался, и оказывалось, что Он, в общем-то, никуда и не уходил... Но что показательно: в позднем опыте Соловьева историческая перспектива предстала в таком виде, что о творческих перспективах человечества и человека говорить стало почти уже невозможно. Прогресс к Богочеловечеству сменился на апокалиптику.

В искусстве же начали с сочинения нового языка. Старые языки показали никуда не годными. Бог-Логос больше уже не гарантировал полноценный смысл слова; время таких гарантий, показалось, кончилось. Модернистам представилось, что язык омертвел, что от него остались только мертвая плоть и дурной запах. Если он куда и годится, так разве только для выражения каких-нибудь шаблонных значений. Перестал удовлетворять и образ, основанный на жизнеподобии, даже на зрительных впечатлениях импрессионистического типа. И вот учреждаются словесно-звуковые и звуко-красочные синтезы, сочиняется новая, «сущностная» визуальность. Модернист, как некий демиург и спаситель, творит и «воскрешает» язык, добиваясь небывалой его годности к выражению бытийной сути — то ли существующей (в варианте Кандинского), то еще только назначенной к существованию...

А продолжили уже в жизни — сочинением такой новой реальности, которая вознамерилась претендовать на самое настоящее социально-историческое бытие. Весьма абстрактные и не посягавшие на вторжение в жизнь Утопии сменились агрессивными Инониями, масштабными политическими проектами, которые обзавелись и собственной исторической практикой. Модернизм поставил на поток создание новых объектов веры, новых истин, новой реальности, нового мира и нового человека. Новой религии, наконец.

И здесь он пришел к полному отрицанию основной сверхценности Модерна — человека. Происходит отказ от масштаба конкретной личности, индивидуальности. Модернистская эпоха мыслит уже некими гиперличностями: народ, нация, класс — антицеркви с антипапами-вождями. Вождь — это завершающая модернистская метаморфоза романтического гения. Ему по традиции принадлежит истина. Но он уже представляет собой какую-то надчеловеческую, сверхчеловеческую и метафизическую силу. Вождь числится воплощением исторической закономерности, инкарнацией мойры. Реальный человек, конкретное пространство и историческое время становятся материалом нового модернистского искусства, социохудожественной индустрии, использующей рядовых художников на инженерных должностях.

3

Эпоха Постмодерна — это такая ситуация в культуре, когда кризис Модерна стал очевиден, когда Новое время исчерпало свои духовные и творческие потенции.

Обнажилось дно. Стало ясно, что человек не самодостаточен. Король гол, и это — предпосылка, которая и определила направление новых культурных процессов. Конечно, эпитоны Модерна еще долго не переводились — и не переведутся. Но разрыв совершился, и в своем актуальном смысле и значении Новое время от нас уже отрезано.

Новая культурная логика, новое человеческое самоощущение имеют, в общем-то кое-какую родословную. Оппозиция Модерну тлела в его просторных недрах, нередко выплескиваясь на поверхность и архаичес-

кими бунтами толпы против самовольства отдельной личности, и в опыте именно отдельных личностей, получивших от эпохи законное право заявлять о себе и использовавших его для того, чтобы противустать ведущим культурным идеям и силам своего времени.

Самая, наверное, полная духовная антитеза Модерну была предложена еще в XIX веке Федором Достоевским. Знаменитый призыв: «Смирись, гордый человек!» опирается у него на прочный художественно-философский фундамент. Человек у Достоевского раскрывает себя во всю свою ширь — так, как ни у кого из его нововременных предшественников. И именно в процессе такого самораскрытия он натывается на бытийные ограничения, выходит на конечные координаты своего земного бытия, на ту грань, за которой либо Вечность — либо баня с пауками. Человек совершенно суверенен и свободен в выборе, но несвободен в том, что выбирать-то ему приходится что-нибудь одно и что жизнь его в конечном счете, сколь бы длинна и разнообразна она ни была, истончается до этой острой грани выбора.

Конец Нового времени — это историческая данность, отмеченная как общеизвестными знаменательными вехами, так и становлением нового чувства истории. Если в XIX веке история была безосновательно абсолютизирована как процесс прогрессивного развития, то век XX-й отменил этот абсолютизм линейной истории и упразднил веру в прогресс и научность. Будущее оказалось потеряно, история как бы прервалась. Началось броуново движение, брожение, поиск человеческого места за пределами и в пределах основных идей и проектов Нового времени. Открылся диалог с Модерном как с некоей культурной целостностью, границу которой мы перешли и с которой вступаем в отношения отчасти партнерские, а отчасти враждебные. Возобновился и диалог человека с вечностью (он, конечно, никогда не прекращался, но, было время, отошел как будто на второй план). Ситуация такого полилога и обусловленного им культурного плюрализма — это и есть «эпоха Постмодерна»: самое новое, еще небывалое, незнаемое время. Культура эпохи как будто двинулась сразу во все стороны.

Эта культура чрезвычайно разнообразна. Есть консервативный путь: возвращение к старым, испытанным истинам, качество которых, однако, весьма различно. Реакционный путь: дестилиляция одной из старых истин вне традиционного контекста. Эсхатология: предчувствие, предощущение конца и, может быть, явления Истины. Декаданс: абсолютизация личной истины текущего момента, настроения или впечатления...

И если бы только эти пути! Многое в культуре сплелось и смешалось, что дает впечатление хаоса и бестолковости, царящих в мире Запада в XX веке, но, в сущности, отражает реальный процесс поисков духовного обетованья, спасения из тупиков Нововременья.

Когда линейная последовательность культурной эволюции сменилась на разновекторное движение, одним из локальных путей культуры и стал постмодернизм.

Что-то такое в намеках брезжило уже в начале века — на башне Вячеслава Иванова, в эссеистике Ортеги-и-Гассета... Но наиболее отчетливо эта тенденция заявила о себе именно в последнее время: пошла в тираж, начала распоряжаться в культуре. И у нас — по нашей склонности особенно чутко внимать всему новому, когда оно огласилось достаточно внятно, — постмодернизм был воспринят уже и вообще как последнее, высшее слово современной культуры. Хотя, с другой стороны, никак, конечно, нельзя отрицать, что он является действительно важным знаком духовной ситуации второй половины XX века. О постмодернизме на Западе сказано уже немало, и здесь я отсылаю читателя к другим авторам. Я же хотел бы сосредоточиться сегодня на русском варианте постмодернизма — мне это и ближе, и больнее. Пусть даже в русской культуре (и в литературе в том числе) он и осуществился весьма слабо, даже вроде бы неинтересно.

4

Специфическая примета постмодернизма — умение жить без истины. Качество вполне оригинальное. Есть, правда, предположение, что модернизм и постмодернизм — родные братья, а различия между ними — чисто косметические. Но так ли это?

В течение столетия новые модернистские религии и инициированные ими сверхличности сошли с исторической сцены. Однако если отвлечься от судеб модернистского тоталитаризма и их провиденциального смысла, то придется признать, что модернизм был убежден в своих истинах и верил в обеспеченность своих, подчас довольно кровавых проектов.

Не пресекается чаяние непреложной истины и на новых путях Постмодерна. Самые, пожалуй, важные и впечатляющие результаты анализа координат человеческого существования в XX веке дает экзистенц-реализм в искусстве, «школа Достоевского»; и нализ этот опирается на реальный личностный опыт, нажитый человеком в нашем столетии. Да и отчаянно оппонировавшее квазирелигиозному модернистскому мифотворчеству контркультурное брожение второй половины века, хотя обычно и разделяло чувство полной относительности культуры, все ж таки не лишено было жажды бытийной подлинности, стремления к обретению жизненной полноты в каких-нибудь ее натуралистических изводах.

Постмодернизм не знает никакой истины. Он ничего не берет на веру, потому что потерял веру напрочь. В этом месте здесь дыра. Модернистская убежденность в относительности и изжитости культурно-исторических ценностей, идеалов и концептов распространилась теперь и на ту метаисторическую область, в которой строили истину модернисты. Ни Бог, ни черт, ни человек, ни нация, ни народ, ни светлое будущее не вызывают у постмодернистов доверия. Нет никаких оснований верить во что бы то ни было.

Это мирозерцание скептическое: равнодушный, холодный, сухой и самодовольный агностицизм. Скепсис продуцирует релятивистскую без-

участность к миру. В мутной воде нейтрализма без остатка растворяются твердые вещества принципов, убеждений, веры. Беспристрастному наблюдателю открывается здесь очаг поразительной, еще, быть может, небывалой духовной пустоты. Но в постмодернистской когорте об этом еще никто не горевал. Орган веры атрофировался, и место это не болит. Оказывается, можно прожить и без веры. Не нужно ее искать, и без нее хорошо устраиваются в жизни. За это даже платят гонорары.

В энергичном утверждении этого житейского кредо особенно преуспел эссеист Вячеслав Курицын, самый последовательный идеолог нашего самого непрошибаемо-самодовольного, филистерски-оптимистического отечественного постмодернизма. С завидным постоянством он декларирует и демонстрирует обретенный способ духовной жизни, являясь миру существом почти что райским — по степени свободы от чувства греха и вины, от необходимости и долга.

Как уже было сказано, Постмодерн — это ситуация, когда человек встретился с чем-то надчеловеческим, столкнулся с тем, что не он сегодня в мире главный, не от него ведется отсчет времени и пространства. От того, как конкретизируется абсолютизм и как самоопределяется относительно его человек, зависит вектор того или иного пути в культуре века.

Постмодернисты — абсолютизируют *игру*, которая приобретает у них самоценный характер. Кто, однако, здесь играет, кому это доверено ныне? У индусов, помнится, играл брахман, у Шиллера, да еще и у Хейзинги — человек... У постмодернистов, судя по всему, игра играет сама по себе и сама для себя, как ни абсурдно это звучит.

Казалось бы, постмодернистский автор — полный хозяин в своем сочинении. Однако сочиняемое незаметно подчиняет и даже начинает пересочинять номинального сочинителя.

Предположим, что человек больше не ищет истину, не претендует на тайноведение. Он — игрок, манипулятор. И его искусство — игра, наподобие подкидного дурака. Она подчинена неким вполне условным правилам, которые не имеют никакого отношения к подлинной бытийности. В процессе такой игры автор без явной цели (игра во имя игры) конструирует свой мир, а использует он главным образом средства рас-судка, то есть логику, в которой «личного остатка» почти не осталось. Все съедено технологическими схемами, арифметическими вычислениями. Без такой орудийной рассудочности, без моделирующего расчета нет литературы модернизма, в версии ли Владимира Шарова или Александра Бородини, Виктора Пелевина или Владимира Сорокина... Рационалистический игровой прием у них господствует, лимитируя содержательность произведения ресурсами довольно ограниченными. Ведь даже полный произвол как игровое задание только прибавляет хаоса, но не увеличивает смысловой объем артефакта.

В принципе обозрим и запас игрового материала.

Недавно Вячеслав Курицын известил публику, что он не читает тех сочинений, которые рецензирует. Да этого, по его мнению, и не нужно.

Пишут многие и помногу, за всем не уследишь, всего не перечитаешь. Легче усваивать и адаптировать искусство по «метатекстам»: рецензиям других критиков, оглавлению журнальной книжки, телефонным разговорам со знакомыми... Проще всего отнестись к этому как к анекдоту: не читал, но знаю. Но Курицын, как всегда, достаточно гибок, чтобы не щеголять совсем пустым эпатажем. Интерпретация не текста, а контекста — важный концептуальный штрих. Она становится возможной, если ничего самобытно-уникального в мире больше не осталось.

Все уже было. Глубина и тайна жизни сошли на нет. Постмодернист умерщвляет все, с чем сталкивается. Это какой-то особый, новейший случай некрофилии, не описанный Эрихом Фроммом. Элементы культуры освобождаются от связи с единым, животворящим принципом бытия и становятся элементарными, условными смысловыми единицами — этикетками или фантиками, которыми легко манипулировать, меняя один значок на другой. Эрудиция или отсутствие таковой определяют багаж художника, понатащившего к себе домой плюшкинскую кучу дармового добра со свалок и кладбищ. Колода игральных карт, набор дорожных знаков, вавилонская библиотека — разница только в количестве, емкость же каждого знака исчерпаема и заведомо конечна. Если критик осведомлен об этой элементарной смысловой определенности каждого из знаков и о способах игры с ними, то ему действительно достаточно двух-трех наводящих сигналов, чтобы продолжить игру.

Критик Владимир Сальников по поводу переведенного на русский язык сочинения, «насыщенного революционными (садистическими) любовными практиками», замечает, что мир его фантазий для русского «малодоступен» — «и по причине иноприродности русского языка: почвенности и невысокой абстрактности его, недостаточной нейтральности по сравнению с современными французским и английским, давно уже превратившимися в средства коммуникации». Язык как Слово Божье, как средство выявления сокрытой истины обладает мистической способностью называть вещи своими именами, вставляя их в абсолютную систему координат. Но если считать, что эта система — только мнимость, то логично отнестись к «сакральному остатку» в языке как к предрассудку, от которого никак не отучишь людей, «прозябающих в своей пресловутой духовности, а на самом деле — в душевности, стерильности». В смысловой глубине слову отказано, смысл его вынесен на поверхность. Одномерное слово-ярлык иссыхает, как мертвый лист, упавший по осени с древа жизни.

«Другой» в постмодернизме — это фишка, марионетка. Персонаж игры детерминирован на уровне авторского рационалистического замысла. Он может быть вовсе лишенным свободы данником принципа, рабом заданного ему положения — либо имеет беспредельную свободу, непредсказуем и неуловим ввиду отсутствия малейшего контакта с реальным проблематизмом жизни. В любом случае ему не дано подлинной жизни души в сопряжении свободы и необходимости.

Все кубики постмодернистской мозаики равны, поскольку изъятые из качественной вселенной и стали только «средством коммуникации». В этой связи испытываешь некоторую признательность художникам-постмодернистам за их почти полное равнодушие к Богу. По крайней мере они не делают читателя соучастником богохульств.

Впрочем, бывают и исключения. Таковы **исключительно** похабные сцены с участием Бога в романе Виктора Ерофеева «Страшный суд».

Роль и задача постмодернистского искусства предельно ограничивается — и в то же время сфера искусства расширяется до безграничности.

С одной стороны, настаивают на автономии искусства, даже на полной его независимости от реальности (реальностей, квазиреальностей...) Искусство освобождается от необходимости отражать и анализировать, учить и воспитывать, исправлять нравы и указывать на общественные язвы, «вдохновлять к самосуду». Предостерегая от социальной терапии реалистического толка, один из литераторов толка постмодернистского, Анатолий Королев, утверждает, например, что «современный текст не должен иметь никаких последствий для человека. Он не должен быть ни уликой, ни приговором против него». Вполне характерны и суждения Виктора Ерофеева: «Роли пророка и учителя жизни исчерпаны (...) Я думаю, это цинизм — использовать литературу во внелитературных целях».

С другой стороны, вся жизнь рассматривается как пространство игровой манипуляции — и границы искусства и жизни тут начинают стираться. Раньше это, говорят, было свойственно художникам, которые брали на себя ношу истины, право обладать истиной или строить ее. Теперь, сбросив эту ношу, можно творчески жить налегке, жить играючи.

Игра по собственным правилам или вовсе без всяких правил — известный и испытанный суррогат рая, дающий субъективное впечатление полной свободы и счастья. И здесь ни Курицын, ни кто другой не могут претендовать на открытие. Но свою выгоду они, конечно, от этого имеют. Другое дело, что свобода и легкость бытия покупаются за счет искусственно, условно, понарошку снятого груза человеческих проблем и задач.

5

Постмодернизм нельзя считать случайностью, выдумкой или бредом. Это отклик на реальные духовные проблемы века.

Нас действительно нередко посещает сегодня острое чувство относительности культуры. Исторические катаклизмы, кажется, лишили ее той тяжелой основательности, прочности, надежности, какую находили в ней люди XIX века где-нибудь в викторианской Англии. Оказалось, что культуру нетрудно потерять. Это что-то легкое, хрупкое, полувоздушное. Она уходит без возврата.

Постмодернизм и передает ощущение культуры, находящейся словно бы в подвешенном состоянии, без опоры или фундамента. Это дом на песке, культура-мираж, Принцесса Греза. Поэтому здесь все возможно,

допустимы любые метаморфозы (лучшим мастером которых в нашей литературе постмодернизма считают Пелевина), и ничего, и никого не жалко. Подчас литераторы разворачивают поистине апокалипсические картины. Так, уже упоминавшийся автор романа «Эрон» Анатолий Королев пишет: «По телу культуры, по романному телу пошли глубокие трещины». Тут и «недоверие к прогрессу, шок перед неисправимостью человеческой натуры, убедительные факты о явном ухудшении исторического человека: человек — божественная грязь и только».

«Да, глубина нынешнего кризиса поражает», — продолжает Королев и делится предположением о полной и окончательной смерти культуры. Тут, правда, он сам пугается такой неутешительной перспективы и не слишком убедительно начинает уверять, что имеет место «брожение темноты» и наше состояние сродни состоянию, в котором находится куколка бабочки.

Но так ли уж страшна и беспрецедентна современная культурная ситуация, чтобы реанимировать архаические мифы о человеке — Божьей вехотке (известные, к примеру, «Повести временных лет», 1071 год) и стращать честной народ, указывая на трупные пятна культуры? В принципе культура почти всегда пребывает в кризисе, поскольку почти никогда не может решить те задачи, которые задает ей человек. Разница, если она есть, — только количественная и... субъективно-психологическая. Иногда хочется предположить, что кризис зачем-то нужен. Эту идею «нам подбрасывают» затем, что на кризис легко списать чью-то творческую и духовную немощ. Оказывается, можно уютно устроиться в щелях и «трещинах» кризиса, сжиться с ним, даже использовать его.

Довольно показательно, что постмодернизм имеет такой успех именно в постсоветской России, где на смену эпидемиям оспы и чумы пришла эпидемия духовной невменяемости.

Если культура — во-первых, условность, а во-вторых, при смерти, как будто «закончилась», исчерпалась, и развивать ее некуда, то не остается ничего иного, кроме как панорамно развернуть старую, случившуюся культуру и работать с нею. Художник-постмодернист готов все на свете включить в свой релятивный контекст, претендует на широкую осведомленность. Этой своей прожорливостью и всеядностью постмодернизм внешне напоминает то состояние мира, которое мы назвали Постмодерном. Но то, что в панораме нашей эпохи полно живой жизни и борьбы разных идей, идеалов и вер — далеко не изжитых и не изъеденных сомнениями и колебаниями, — в постмодернизме имеет характер имитации, муляжа.

Метод постмодернизма — эксплуатация культурного фонда, паразитирование на культурной памяти, на вере в то, что слова и реалии имеют несомненный смысл. Культурные факты извлекаются из исторического и метаисторического контекста, холостятся и используются в качестве сырья. За счет прошлого нередко питался уже модернизм, эксплуатировавший традиции ради и во имя своих сверхцелей. Сверхцели отмирают, метод — остается.

Исторический процесс подошел к какой-то критической точке, к важному (хотя, может статься, и промежуточному) итогу — и отсюда культура минувшего очень хорошо видима не в линейной динамике, а панорамно-статически, типологически. Мы можем выйти из исторического потока и взглянуть на него «извне», оглядеться широко и далеко окрест. Однако эта возможность опять-таки не отличается суперновизной, ее просто актуализировало ощущение тупика нововременной культуры и цивилизации. В общем-то, всегда любой желающий мог взглянуть на культуру прошлого и настоящего с точки зрения вечности, пусть это и не обходилось без риска и соблазна.

В самой культуре, в искусстве есть преходящее, музейное — и есть непреходящее, печать вневременной истины. Первое вызывает любопытство, второе — связывает прошлое с настоящим и с будущим цепью живой духовной преемственности, общностью проблем и идеалов. Прошлое нельзя отрубить, нельзя его умертвить, выпотрошить, чтобы поставить чуелом на полку. Достоевский современнее сегодня многих наших календарных современников.

Ключевой вопрос — есть ли в мире что-то настоящее? Есть ли онтологически подлинная почва для культуры, обеспечивающая ее полновесность? Постмодернистам, пожалуй, не удалось найти убедительных аргументов против существования — в принципе — истины. Не удалось им и расторгнуть союз истины и искусства. Искусство, хочется думать, по-прежнему значимо постольку, поскольку добывает смысл, сообщает и открывает какую-то да истину. Истину божественного бытия, истину о природе человека, о демонических силах и энергиях. Человек открывает в искусстве себя и расширяет горизонт своего бытия до пределов мироздания и, может быть, за его пределы.

Истина одна, но путей к ней столько, сколько людей на свете. Искусство расширяет наш опыт истины при участии художников-профессионалов по добыче истины. Ночевала ли истина в искусстве постмодернизма? Если это истина о состоянии мира, то — да. И об этом уже было здесь сказано. Если это истина о духовном опыте автора, то — да. И это тоже нетрудно увидеть.

Ощущение, что кровь, которая некогда текла в жилах культуры, охладела. Типичный постмодернист в своем творчестве — весьма хладнокровное существо, явно обделенное энергией преодоления. На фоне современных эсхатологических предчувствий, политических и религиозных страстей, охвативших человечество, он выглядит комично и жалко. И чем выше он вознесен художественной модой, тем более комично и жалко. Он не умеет давать достойный ответ на вызовы эпохи и вечности — и умеет только наложить пикантный макияж на старчески расслабленную душу. Практика наших постмодернистов, как правило, так относится к их заявкам и амбициям, как игра в домино вечером во дворике к «игре в бисер» в утопии Гессе. И это не свойство характера или темперамента. Это результат специфической духовной ориентации, закрывающей пер-

спективу. Беспечно отбросив заботы об истине, заблокировав жажду веры, сочинитель оказывается в состоянии духовного отщепенства, в холодном мире, не обогретом верой, не понимая, какого сокровища он лишился, и рискуя своей душой.

Не стоит отдавать постмодернистам на откуп всю эпоху Постмодерна. Она неизмеримо богаче исканиями, открытиями и перспективами, чем это может показаться постмодернистским мудрецам. (Признаюсь, и я в статье о постмодернистской критике «Примадонны постмодерна...», опубликованной в «Континенте», слишком щедро распорядился тем, что мне не принадлежало: это видно уже из названия статьи. Представительствовать за эпоху в целом наши постмодернисты не имеют никаких особых прав.)

Если же отвлечься от претензий постмодернистов на ведущее место в культуре современности, можно приискать для них один культурный аналог, если уютно — нишу. Это провокативное, игровое и ироническое скоморошество, баюнство в манере Абрама Новопольцева, Куприяники или, самое верное, Степана Писахова — литератора, который сочинил сам себя, от фамилии до внешности, возраста и творческой маски. Новые баюны-сказочники тоже желают жить в сказке, в условной, сказочной вечности, где инфантильно хочется остаться навсегда. Правда, выдумка у постмодернистов далеко не всегда увлекательна, веселья — мало. Следить за их игрой обычно довольно скучно. Неудивительно, что их читатель неуловим. Хотелось бы убедиться, что он существует, но сделать это удастся только на собственном примере и опыте.

Можно предположить (и нередко предполагают), что читатель постмодернистской литературы вступает в игру с автором, договариваясь с ним об ее правилах. Автор сочиняет кроссворд, читатель его разгадывает, ловит, так сказать, кайф, подобный радости удачливого игрока. Самая смелая идея состоит в том, что смысл текста не задан автором: произведение — только повод для читательской интерпретации, а автор — лишь один из читателей своей книги. Идея, исходящая из предположения, что читатель не хочет ни о чем узнавать (да ему и не дано узнать ничего нового), он хочет только повторять то, что ему и так известно, воспроизводить на основе каждого произведения самого себя...

Есть подозрение, что читатель не так прост и, как правило, предпочтет Сорокину, Бородыне или Ерофееву Искандера, Астафьева или Солженицына.

Вообще многих паспортных постмодернистов выручает их непоследовательность. Скучно же всамделе быть чистопородным постмодернистом. Иногда кажется более предпочтительным уйти... хотя бы в мирные обыватели (Кибилов), либо в жуткие декаденты-садомазохисты, испытывающие неодолимое пристрастие к сладострастным кошунствам и красоте зла (Вик. Ерофеев, а пожалуй, и Сорокин). Противоречивой сложностью души, ее необычным для нашего времени богатством все-таки покоряет Галков-

ский — едва ли не самый интересный из наших постмодернистов. Перемчивой бойкостью, доступностью и увлекательностью берут увлекающиеся постмодернизмом как модой беллетристы: остроумный Слаповский, пластичный и гибкий Петр Алешковский, изобретательный Буйда, философствующий юморист Пьецух... Много есть хороших писателей.

6

Когда-то нас учили, что надстройка соответствует своему базису, человек есть совокупность социальных отношений, а история — это борьба классов, в которой каждый из нас объективно занимает место по ту или другую сторону баррикады. Потом выяснилось, что на белом свете все обстоит несколько иначе. Мы учились понимать и ценить свободу.

Однако никуда не делся и детерминизм — как соблазнительная возможность упростить бытие, представив его механической конструкцией, задачей с готовым ответом. Новейший апологет подобного рассудочного извращения, Вячеслав Курицын, оповестил публику, что постмодернизм — это наша судьба: мы волей-неволей воспроизводим его в своих опыте и практике. Век, так сказать, поджидает на мостовой. Время диктует человеку логику его самореализации — и литератору, хочешь-не хочешь, придется с этим считаться. И если он скажет «солги» — солги; и если он скажет «убей» — убей... вдобавок в интерпретации Курицына постмодернизм выглядит как если не высшая, то уж точно последняя стадия культурного процесса. Дальше ехать некуда.

Было бы весьма грустно, если бы это на самом деле было так. Хотя бы потому, что в том варианте эпохального синтеза, который лоббирует Курицын, нет, как показал опыт, места для человека, ищущего полноценного духовного самоосуществления. Ему здесь нечего делать. На языке литературы, поверившей Курицыну (а также, вероятно, Дерриде, Лиотару, Бодрийару...), об этом сказано с полной определенностью. Как уже говорилось, в ней просто нет человеческого измерения, оставлены без внимания «существенные потребности человеческого сердца», выражаясь в старой доброй манере (по Гегелю). Нет повода для серьезного сопротивления, для напряженного драматизма, сшибки противоречий, вообще нет острого, насущного проблематизма.

Но по трезвом размышлении трудно ощутить себя хоть в какой-то мере связанным детерминистской логикой. Можно считать, что культура — явление относительное, поскольку относится к чему-то высшему. А можно считать, что все вообще относительно (как, кажется, склонны предполагать иные постмодернисты). В любом случае нет никаких оснований превращать культурно-исторические явления в некий абсолюте. И пускай тот или другой «неомарксист» тиражирует свои претензии. Добро-

вольно замыкать себя в сфере постмодернизма — просим покорно. Скажем иначе: постмодернизм — самая духовно убогая версия Постмодерна. Если искать ему аналог в культуре Нового времени, так это то ли рококо, то ли декаданс...

Думая о перспективе, можно, конечно, представить себе эпоху махрового постмодернистского расцвета. Новейшие технологии создадут для человека возможность полного погружения в фиктивный мир, «виртуальную реальность», и он перестанет отличать реальное от мнимого, безмятежно затеряется в игровых мирах и забудет о себе. Мерещится иногда эдакое синтетическое безвременье, с которым шутки плохи. Симптоматично, наверное, что игровая техника постмодернизма находит применение в самом практичном и спекулятивном искусстве — искусстве художественной рекламы, а самые отпетые постмодернисты очень умело занимаются саморекламой...

Есть, однако, надежда, что человечество пройдет мимо этого соблазна. Да надолго его и не хватит.

Сегодня нам рекомендовано ничего не ждать, а «жрать, что дадено»: новых де блюд история уже не подаст. Но, кажется, будущего у нас никому не отнять. Эпоха слишком напряжена и слишком драматично набухли ее вены. Этот эпилог к Новому времени едва ли долговечен. Будущее — непредвидимое и непредсказуемое — срежет, как ножом, моду и злобу текущего дня. Хотелось бы, конечно, чтобы не в пустых, утомительных играх завершился исторический цикл. Чтобы из Нового времени мы вынесли какой-то важный урок. Но сегодня мы знаем только одно: будущее предстоит.

В поисках аналогий на исторической спирали не раз уже выходили к позднеримским временам. Но есть тут принципиальная разница. Тогда мир жил предчувствием новой истины. И Истина явилась. С тех пор она уже есть. Предчувствия нашего времени могут быть чаением нового творчества, новой религиозной эпохи. Безопорное существование культуры не может длиться долго. Ей нужно получить основание в первозданной реальности, опереться на веру. Речь идет о духовном выздоровлении и обновлении человека и общества.

Постмодернизм, да и не он один, свидетельствует о исчерпанности Нового времени, об относительности его культуры. Мы чувствуем дистанцию по отношению к культуре, не справившейся с духовными задачами. Исторический и культурный выбор назрел. Конечно, ввиду некоторых литературных событий даже неловко как-то говорить об ответственности искусства и художника перед временем и Богом. Но, может быть, выбирать все-таки придется. И, может быть, выбор уже происходит. Во всяком случае в русском постмодернизме можно отыскать контрабандный товар истины.

Эти люди не прочь побороться против дидактики, учительства. Но тут же сами начинают исподтишка учить и даже чему-то верить. Один пример — наивное самообожествление Курицына, пророка постмодер-

низма. Другой — открытие залежей зла Ерофеевым, Сорокиным и иже с ними. С одной стороны, литература этого толка, потеряв сакральное измерение, лишилась и всего вообще откровенного, тайного, таинственного (имитации — не в счет). Все обнаружено и обнажено, все загадки разгаданы, все чудеса — это только фокусы писателя-артиста с обязательным последующим разоблачением. Эта литература поразительно нецеломудренна. Одно из главных занятий сочинителя здесь — поднятие всех и всяческих покрывал, задиранье всех и всяческих юбок. Но характерно, что этому придается подчас еще и особое качество тотального вызова, когда из «зла» умудряются сделать религию, внедрить культ и аскезу кощунств, назначить героев и мучеников...

Показательны вообще и попытки создания новой религии. Еще век назад на фоне мировоззренческого хаоса начали заново возникать подозрения о наличии иной реальности и стремление вступить с нею в связь. Сегодня о чем-то таком довольно серьезно рассуждает Виктор Ерофеев. Какие-то мировоззренческие амбиции обнаружил Александр Ивагченко в романе «Монограмма». А роман Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» вообще был назван «первым в России дзен-буддистским романом» (А. Генис). В романе два событийных плана. Герой пребывает в современной психушке — и, с другой стороны, в роли адъютанта Чапаева, изображенного дзенским мастером. Какая из этих реальностей настоящая? Никакая. Дзенский релятивизм и нигилизм в этом смысле выбран Пелевиным безошибочно. Только на роль «священного писания» роман не тянет. Сколько бы в критике ни говорили о «священных книгах» постмодернизма, это не более чем метафора. Роман Пелевина — скорее игрушка для гурманов, да и те не вполне им довольны.

Можно, наверное, искать здесь тоску по новому откровению, опыты нового богоискательства. Но результаты таковы, что по ним мы не вправе что бы то ни было решать за самого художника. Да и Бог является человеку в судьбинные моменты его, человеческого существования не по заказу.

Игра жизненных сил и творческих потенций — ее немало было в искусстве раньше — будет и после. Но как знать, не потребуются ли и иное, помимо забав. Не вернемся ли мы к преодолению тяжелого, кос-ного вещества павшего мира творческим, духовным усилием. И вправе ли мы надеяться на пусть временные, но приобретенные не по дешевке, не в сэкондхэнде победы духа, триумфы свободы над необходимостью?

7

Припасть к земле — не слышен ли, как встарь, тяжкий грохот копыт коня Аттилы?

НОМЕНКЛАТУРА-2

Полемика

1

Не прошу прощения у читателя за то, что начинаю статью эпизодом, по видимости не имеющим отношения к «собственно литературе». Есть-таки основания.

В минувшем декабре сижу за банкетным столом на заклочительной церемонии вручения премии Букера, и вдруг моя жена с некоторым ужасом говорит: «Погляди! Кто это?» Глянув, вижу аккурат меж головами сидящих напротив посла Англии и Елены Георгиевны Боннэр (никакой нарочитый сарказм не придумает лучшего обрамления для открывающегося мне «жанра») парня в мятой не то майке, не то ковбойке, который то и дело чешется. То голову чесанет, то, виноват, противоположную часть тела. Приглядевшись, узнаю фигуру — в одном, очень определенном смысле — знаковую. Критика Вячеслава Курицына.

Пробую настроиться на благодушное понимание.

Что это? Простодушие дикаря, Кандида из ПТУ? Или сознательный вызов «мещанам», в данном случае, скажем, жюри, прогневавшему не-включением Вл. Сорокина в шорт-лист? Эпатаж, простительный юности, если даже сама юность непростительно затянулась?..

Кто знает, может быть, и последнее — тем более, что наш художественный авангард и вообще вял и несмел, не умея придумать ничего интереснее нечистоплотства. Не зря, когда года три-четыре назад некие авангардисты протрясли свои голые телеса по Арбату, это вызвало не оторопь, а скуку. Кого эпатируют? Новых русских? Так те не ходят лешком, предпочитают «линкольны» и «мерсы». Нищих старушек? Им, полагаю, не до того. Власть? Да ей-то какое дело! Вы бы поэпатировали Брежнева с Андроповым, а нынешняя безразлична и не к таким безобразиям. Так что, ей-Богу, жаль времен желтой кофты Маяковского и есенинско-имажинистского озорства. И здесь — уценка, и здесь — уценка; была «кофта фата», был онегинский цилиндр на рязанской головушке, и вот вам — почесывающийся маргинал, не решившийся, раз уж на то пошло, продеть хоть кольцо в ноздрю. Или, допустим, известная телеведущая Ксения Стриж, тоже из разряда «крутых», которая при вручении премии уже ей самой сообщает залу, что, де, запоздала явиться на сцену, ибо приспичило помочиться...

Отчаянно рискуя быть обвиненным в комических преувеличениях, скажу: подобное, даже явленное не столь демонстративно, всегда есть симптом весьма существенных перемен. Вы замечали, ну, хоть бы то, как

переменилось самосознание молодых мужиков, традиционно не уступающих мест в метро женщинам, в том числе и пожилым? Уж как наизощрялись фельетонисты насчет сильного пола, сплошь и немедленно погружающегося в летаргию, едва их зады коснутся вагонных сидений, но уже и об этой поре притворства вспоминаешь с ностальгической нежностью. Притворялись измученными либо неотложно уткнувшимися в книгу — значит, еще стыдились, значит, подозревали, что ведут себя в нарушение общепринятых правил... Ныне же глядят светлым взором в упор, не обходя им лиц стоящих рядом старух, и это означает победное раскрепощение от данного нам историей воспитания. От того прекрасного автоматизма, о котором писал Ключевский, живописуя, как уличные прохожие держатся каждый своей стороны, а извозчик осаживает лошадь, завидев переходящего улицу ребенка: «...Это не природа, а история. Это не сотворилось, а выработалось, стоило многих трудов, ошибок, вдохновенных замыслов и разочарований».

Что же до литератора любого толка и ранга, то ныне уже мало того, что бытовые его проявления всегда воспринимались неотрывно от его сочинительства. Сейчас уже и «собственно литература» (вернее, утверждающая себя в качестве таковой) все чаще, привычнее обретает черты именно быта, непреображенного, не стесняющегося быть коммунальным, кухонным, сортирно-пахучим. Захотелось справить ту или иную нужду, не обязательно физиологическую — так чего же, кого стесняться? И вот — не ходя далеко, не дальше того самого скребущегося критика — цитата из его статьи в «Литгазете», где он высмеивает «дурацкую модель, согласно которой может быть литература искренняя, стон или там писк души, а может быть литература «головная», «просчитанная»...

Нет, Боже меня упаси от полемики: пусть одни считают, что писательство без искренности — не писательство (как считал Лев Толстой, который, хваля Чехова, избрал именно этот критерий: Чехов, сказал он, еще искреннее, чем Достоевский). Пусть другие, напротив, предпочитают литературу «просчитанную» — на здоровье. Любопытно вот что: каким образом этот, можно сказать, отвлеченно-академический спор способен родить **такую** ожесточенность: «Эту модель активно тиражируют хорошо известные нам...»

Между прочим, неслабо звучит — не слабей, чем недавние предвыборные угрозы с «той» стороны: дескать, все вы у нас на заметке, ужо!..

Но ладно: «...хорошо известные нам критики-публицисты, выводящие из нее свое кислое право клеймить кого-то как ненастоящего и поверхностного... истошно доказывать, что искреннее — искреннее неискреннего (получили тычок, Лев Николаевич? — *Ст. Р.*) ...Ясно, насколько это дикое представление о мироустройстве».

«Дурацкое... кислое право... истошно... дикое...» — накал злобы на удивление неадекватен проблеме, решаемой «вообще»: ведь не треклятый же Букер, напомним, отвоевывается для собственного фаворита! Недостает для комплекта разве что непременно в этаких сварях «козла», чтобы в

среде, где в ходу подобная лексика, взяты за «калашникова» или хоть за заточку...

Но как же происходит такое вот превращение полемики, которой, казалось бы, по самой природе ее предписан дух состязательности, а не разборки, в откровенное сквернословие? Каков скрытый первотолчок того, что нынешняя словесность без стеснения перенимает доводы и язык улицы с ее уголовщиной и блатной агрессивностью анпиловщины? Ведь подчас даже ловишь себя на явном излишестве — нет, не вежливости, что всегда не вредна, но отвлеченности терминологии, упускающей суть явления: говорим «киллер», когда надо сказать «убийца», не маскируя экзотичностью слова отнюдь не новую профессию; говорим «маргинал», хотя порою стоит выразиться общепонятно — допустим, «шпана»...

Вот мой самый первый и частный (это не означает — неверный) ответ: ожесточает сознание собственной созидательной маломощности, будь то активист «Трудовой России» или, продолжая наш разговор, тот же Курицын, чьи статьи построены и написаны никак — сумбурно, неряшливо, без начальных представлений о ремесле, запоминаясь (а кого-то и привлекая) именно повышенной кусачестью. Что ж до его прозаических опытов, то они осмеяны даже теми, кто готов принимать его как критика.

Или вот... Недавно чистил свою библиотеку, выбрасывал старые журналы, и когда прощально листал позапозакакие-то «Октябри», наткнулся на стихотворения, подписанные Ефимом Лямпортом, еще одним из агрессивно-неутомимых, кому даже Виталий Третьяков, уж такой терпеливый, в конце концов указал на дверь своей «Независимой». (Кстати, следует честно признать, что «литературный рэкетир» — определение, данное Аллой Латыниной Лямпорту, — добился-таки поставленной цели: в стародавнем году я промахнул мимо его стихотворных опытов, зато уж теперь... Куда денешься? Прочел. И что вычитал?)

«Фазан — это птица которая снится кронпринцам начальникам ведьмам девицам»...

Узнаете?

«Житков за границу по воздуху мчится... А это веселая птица-синица, которая ловко ворует пшеницу...»

Да, Маршак, его авторское клеймо, а как только наш автор остается без плагиаторски выключенной поддержки мастера, ткань безнадежно ползет, вылезает наружу нечто несусветное:

«Фазан как жар-птица исполнит желания как Феникс — недаром созвучное (?) имя, а может быть Сирий под новым названием а может Фазаны прописаны в Сирии...»

Остается если не посочувствовать, то понять: не умея писать выше такого уровня — непечатного без вмешательства всяких цензур, сугубо домашнего, когда сходит за рифму даже «имя» и «Сирии», — как, в самом деле, не возненавидеть удачника Окуджаву? Как не впасть в маниакальность, осознав себя как бы Бичом Божиим?..

И все же во всем этом есть и менее частная логика, даже ежели она и может показаться странной до нелогичности.

Не чересчур схематизируя, можно сказать, что при всей произвольности, с какой в прессе толкуется постмодернизм, на одном сходятся все. Он — явление кризиса или конца (для кого как) культуры; ее процесс завершился; все сказано; остается играть прежними смыслами, метафорами, цитатами, возводя эклектику в принцип и одновременно ее пародируя. Словом — оставаясь в самом замкнутом из кругов, замкнутом бесповоротно, ибо замкнула его не отдельная воля художника, но сама история. Вплоть до того, что, говорят, «иной эстетики, кроме как постмодернистской, сегодня не существует». Понимай: и не будет существовать — такой нестрашный, карманный, ручной апокалипсис.

Излагаю общеизвестную точку зрения, чтоб удивиться: но разве те, для кого постмодерн есть Бог, а сами они — пророки Его, не занимаются именно тем, что нарушают свой наиглавнейший принцип, размыкая то, что объявлено замкнутым? Скажем, мат, этот первый сигнал по-своему понятой свободы, трубно поданный сперва эмигрантами последней волны, ознаменовавшими им избавление от советской цензуры, затем и тутошними свободолобцами, признавшими его первым даром внезапно свалившейся на них гласности, — разве мат, матерщина не есть самое робкое заимствование у того, что стоит явно *вне* искусства, во всяком случае много ниже его — то есть у непросвещенной толпы, у косноязычной улицы? «Улица корчится безъязыкая», от безъязыкости и изрыгая похабные междометия, — а мастера языка радостно подбирают эти экскременты речи...

Вот в чем главное — как и в озадачившем было случае, необъяснимо, казалось бы, неадекватной злобы (чего не исчерпать непосредственными, мстительными позовами неудавшегося прозаика или неумелого стихотворца). Хотя связь с этой, самой простенькой из причин тоже, конечно, есть: злоба приходит со стороны, она привнесена в литературу по соображениям бытовым, она не трансформирована, не преображена задачами, специфическими для искусства. Ведь именно оставаясь в пределах искусства, скабрезное выражение только и способно сыграть необходимо экспрессивную роль, а несправедливое чувство неузнаваемо преобразиться: даже ненависть не то что к удачливому современнику, но и вообще к человеку, к человечеству и народу, — даже она предстает в искусстве оскорбленностью тем, что человек, человечество и народ не таковы, какими им надлежит быть в идеале. Отсюда — и ниоткуда иначе — разница между брезгливостью бунинских «Окаянных дней», Блоком, умирающим от отвращения к жизни, да хоть бы и мизантропом Шопенгауэром — и универсально-удобной формулой: «все говно, кроме мочи». Формулой, ныне, кстати, воплощаемой с плоской буквальностью и с самой что ни на есть прагматической целью: взбудрить интерес к себе пахучими средствами, — так что никак не удастся поверить снобистским (якобы) декларациям о равнодушии к читательскому успеху, о неподкупной своей «самовитости».

Самодостаточность эксперимента, как к ней или к нему ни относиться, в самом деле может быть безразлична к читателю-потребителю, по-хлебниковски (точнее, по формуле Маяковского, согласно которой Хлебников «поэт для производителя») ориентируясь на собратьев-коллег. Однако, не назначаясь читателю, она предназначает себя культуре. Ныне — иначе; нынешние спешно покидают именно поле культуры, потрудившейся над облагораживанием человека, охотно жертвуют первородством искусства, жадно перенимают у улицы матерщину — вообще совершают путь, обратный тому, которым успело пройти художество, возвысившее инстинкт совокупления до Петрарки и Пушкина.

И это нередко наглядно до простодушия.

2

Скажем, тот же Владимир Сорокин, как известно, избравший строительным материалом для своих сочинений именно что «говню», кал (как и многие, многие — только не надо подозревать здесь истинное безумие, вроде того, что настигло Мопассана: «расчетливость, Гораций!»), — словом, в романе «Норма» Сорокин заимствует у неприятзательной улицы неприятзательную же метафору. Дескать, в дерьме сидим, дерьмо и хаваем. И, оставив эту уличную метафору на первоначальном уровне, не только забалтывает ее до скуловоротности, превратив в непрерывное, поголовное говноедение, но и...

Впрочем, цитирую: «— Ладно, — Куликов подошел к двери, обернулся. — Вы вот норму едите (информирую непосвященных: «норма» — это как раз псевдоним сушеных какашек. — *Ст. Р.*), а я вспомнил, как мы с Чеготаевым пришли в «Новый мир». К Твардовскому. Он при нас норму выгацил, тогда они ведь поменьше стали (? — *Ст. Р.*), так вот, норму, значит, выгацил и бутылку с коньяком. Нам по стопке налил, а сам раз куснет — стопку опрокинет, другой — и снова стопку».

Скажите, мерзко? Но попробуем даже отвлечься от того, в какой, с позволения сказать, контекст погружен не некий вымышленный персонаж, с которым что хошь, то и твори, а существовавший во плоти Александр Трифонович Твардовский... Вернее, не совсем так: отвлечемся лишь от посягновения на славное имя, не доставим радости прозаику-авангардисту, кто по роду своих занятий как раз и рассчитывает на нашу страстную оскорбленность. Но характерно, что эта проза не существует вне такого вот сверхпрагматического расчета. Без опоры, как на сей раз, на реальное имя, каковое само по себе для нас уже связано с той или иной эмоциональной реакцией; то есть опять-таки без того, что Сорокину и его фантазии не принадлежит, относясь отнюдь не ко «второй», а к «первой реальности». Это, если угодно, эстетика даже не анекдота, пусть самого низкопробного, но все-таки претендующего на родство с новеллой и притчей; это эстетика сплетни, грязной не только по причине обращения к «телесному низу» или неблагоприятным отбросам, но по самой своей

пакостной природе, не меняющейся от того, шепчут ли сплетню соседу в ушко или орут на весь околоток. Опошляют ли быт отдельных известных фигур или же всенародную трагедию.

Чего, скажем, стоила бы история «комплексов» мальчика, ничем, кроме них, не примечательного, если бы Александр Бородыня (повесть «Цепной щенок», «Знамя», 1996, № 1) не развернул ее на фоне абхазо-грузинского кровопролития?

Ну, был такой мальчик, ну, писал дневник: «В течение ближайшей недели я должен поверить в Бога... В пятидневный срок... вступить в физический контакт с существом противоположного пола... самым уродливым, безобразным способом... Например, какое-нибудь морщинистое существо, например, где-нибудь в вокзальном туалете...» Ну, была у него еще менее безобидная мания: «Он хотел убить человека. В общем, все равно какого. Но он предполагал: это будет женщина. Мужчину трудно столкнуть на рельсы»...

Не стоит покуда морщиться: исследование патологических случаев дало нам не только «Лолиту», но и «Бесов»; даже очевидная, скучная ординарность героя, лезущая из дневниковых его откровений, сама по себе достойна особого, чуть не сочувственного внимания. Не шокируюсь (правда, слегка наступая на горло собственной песне) и тем, что означенный мальчик, соблазненный собственной теткой — та обещает его научить «правильному пониманию слова «секс», — сперва совокупляется с нею, а потом и с собственной матерью; все, все на свете достойно стать предметом искусства!

Но вот берется реальный, кровоточащий фон — и остается фоном, на котором кто-то кого-то «трахает»; больше и хуже того. Кровь, о которой мы точно знаем, что она-то — не клюквенный сок балагана, оказывается в роли всего лишь декоративных пятен, долженствующих доказать, что именно все эти дотошно поданные на переднем плане извращения, кровосмешения, причуды похоти и т.д. как раз и заслуживают самого серьезного сопереживания. Заслуживают права быть главным и первостепенным. Подлинная трагедия братоубийства — лишь унижительно вспомогательный стимул для реализации «комплексов» порочного мальчугана, который осуществил-таки и вожделенный «контакт» (притом отъявленно «безобразным способом»), и убийство «существ противоположного пола» (притом с многократным перевыполнением плана: «Он стрелял в своих женщин, больше ни о чем не думая в возрастающем ужасе и восторге... Последней жертве он выстрелил в голову... «Я сделал это... Я управляю!»)...

Почему реальность, использованная таким манером (в данном контексте «использованная» невольно звучит как синоним изнасилования), не имеет отношения к реализму, — даже если вообразим, что автору этого бы захотелось? Реализм, понятие не меньше и не больше условное, чем все подобные термины, это — по совокупности относимых к нему разнороднейших произведений — не зависимость от «первой реальности», но ответственность перед ней. Не знаю, к которому из течений относит

себя Александр Бородыня, но «Цепной шенок» — вещь иждивенческая по отношению к жизни; она, то есть жизнь, со своими невыдуманскими проблемами, с военными сводками, со смертями, притянута, дабы своей подлинной кровью питать литературные извращения, придавая им, ничтожным в их частной патологичности, незаслуженную значительность.

И подобное-то паразитирование на готовом, взятом со стороны материале, есть, как нас уверяют, свобода (от учительства, от реализма и т.д. и т.п.)? Этот примитивный натурализм (повторяю: речь не о грязи, берущейся в подножие искусству, а об отсутствии творческого ее преобразования) — «новое слово»? На самый худой конец, может, это хотя бы грубое, но по крайности верное средство завоевать читателя?

Однако — если не оставаться в пределах литературных междоусобиц и междусобойчиков — даже последнего не замечал. Читаю: «Когда Вл. Сорокин наконец издал свой «Роман», в критике началась, как положено, вакханалия...» (Павел Басинский, «Новый мир», 1995, № 9). Или: «Речь об «Эроне» А. Королева, повергнувшем в шок даже самую либеральную часть нашей критической интеллигенции» (В. Сердюченко, там же и тот же год, № 5).

Господи, до чего же мы склонны к самовозбуждению! Какая вакханалия? Какой шок — даже если учесть оговорки («в критике... критической»), заметно сужающие круг вакхантов-вакханок? А уж шире его... Разве сами мы не скорбим по временам, когда был возможен читательский бум? Какие такие массы взволнуют и возбудят пирамиды и мавзолеи, сложенные Сорокиным из его излюбленного материала? Ерофеевские (говорю, конечно, о Викторе) однообразные непристойности?

Меж тем писатели все еще соревнуются в этом спорте, думая, вероятно, что борются за читателя.

Ладно, допустим, Дмитрий Савицкий («Тема без вариаций», «Знамя», 1996, № 3), — куда он денется от своего ритуального антуража, от дамы, в которую «вбивает себя» партнер (причем — фирменная деталь! — та «всхлипывает не ртом»), от «свежевыбритой журавы», через несколько строк трансформирующейся в «обриту мяу-мяу», от руки, что «была у нее между ног, он осторожно ласкал ее там, где природа надрезала ее», а «она текла, как порванный пакет с манговым соком»? Ведь это уже как фабричная марка, лейбл, и кто согласится считать стиль Савицкого авторским, ежели у него даже военно-морской флот, производя салют, не будет «эякулировать калиброванными фаллосами, развешивая в небе родины цветную сперму»?

А с чего и куда так заторопилась благоднейшая досель Людмила Улицкая в чопорном «Новом мире» (1996, № 4): «Она сидела на подоконнике, обняв ногами поясницу. Он стоял перед ней и видел, как оттопыривается ниже ее пупка бугорок, обозначающий его присутствие»? Вакханалия, на которую, того гляди, опоздаешь? Да кто ж в это поверит! Конвейер, бесперебойно штампующий стереотипы, обесценивающий их вконец, затаривающий читательское сознание. Так что сама бесперебойность, поставившая на поток нарушение норм и запретов, свойственных «старой» литературе, есть дело коварное, бьющее по самому нарушителю; это тонко

заметил прозаик из «новых», «постдовлатовец» Михаил Веллер, взяв для примера всего лишь одно из преодоленных табу — на матерщину:

«Экспрессия! Потому и существует языковое табу, что требуются сильные, запредельные, невозможные выражения для соответствующих чувств при соответствующих случаях. Нарушение табу — уже акт экспрессии, взлом, отражение сильных чувств.

...Снятие табу имеет следствием исчезновение сильных выражений.

...Незапертый порох сгорает свободно, не может произвести удар выстрела. На пляже все голые — ты сними юбку в филармонии... Нет запрета — нет запретных слов — нет кощунства, стресса, оскорбления, эпатажа, экспрессии, кайфа и прочее — а есть очередной этап развития лингвистической энтропии, понижение энергетической напряженности, эмоциональной заряженности, падения разности потенциалов языка. И вместо обогащения выходит обеднение» («Ножик Сережи Давлатова», «Знамя», 1994, № 6).

Да и вышло — как голые на Арбат (а могли бы растелешиться и в филармонии). И запланированные скандалы тихо проваливаются...

Что ж, тем нужнее оказываются самовозбуждение вкупе с самовнушением. Вспоминаю, как Петр Вайль рассказывал: приезжая на бывшую родину из Америки, где он никому не известен, Лев Наврозов расписывает, что западные критики называют его Мильтоном, Прустом и Оруэллом, а наш Виктор Ерофеев, наоборот, оказавшись там, накручивает про нас с вами: «Я для них Набоков, Джойс, Флобер». А как нам внушают, сколь повсеместно славен у них Сорокин!.. Нет, не исключаю этого вовсе, патриотически полагая, что они ничуть не умнее нас, но вот встречаю умницу-англичанку, славистку, переводчицу Петрушевской, и она напускается на меня: «Ваш ужасный Сорокин, с которым вы все носитесь!..»

Мы? Все? Однако, как бы то ни было, — свершилось: **Ничто** превратилось в **Нечто**, и вот уже, говоря о нынешней *литературе*, о *словесности*, не обойдешься без имени (имиджа) все того же Сорокина с его «Нормой» или «Романом», предназначенными не для чтения, а... Как сказать? Для рассматривания, что ли, как обстоит дело с его братьями по иному — иному ли? — роду занятий? Скажем — с «художником» Александром Бренером, приподно демонстрирующим свой срам, или с Олегом Куликом, который ползает нагишом на собачьем поводке. В сорокинском случае сама многостраничность нарочито бессмысленного текста (не Крученых же, не Каменский, чья заумь щадяще кратка) издевательски подсказывает, что читать это — невозможно, ненужно, незачем...

Да что Сорокин; не обойдешься — даже! — без упоминаний его апологета Курицына, даром что сам он навряд ли воспринимал свою «букеровскую» чесотку как хэппенинг (может, просто помыться забыл, может, воду выключили, дело житейское). Ничего не попишешь, да и писать-то необязательно, — *внелитературность* посягнула на литературу, на ее законы, отчего я не только получил возможность, но как бы был вынужден начать свою стагью так, как начал.

Посягнула, конечно, далеко не впервой.

По всем посвященным ему мемуарам Михаил Михайлович Зощенко прошелся стеснительно-запинающейся походочкой интеллигента, страдающего от своей интеллигентности; но то ли жизнь ожесточила, то ли, что куда вероятнее, есть причина менее явная, но в его поздних записях «для себя» вдруг проступила жесткость к нехудшим из собратьев, повысилась планка критериев. Например:

«Шкловский. «Что больше всего хотел бы — чтоб была уже готовая книга». (Не писатель!)».

Вот так — лишь за то, что результат оказался (может, всего на минуту) важнее, чем сам по себе процесс.

Очень люблю историю, рассказанную Горьким в очерке «А.А. Блок» — точнее, данную в постскриптуме к очерку:

«Только что записал беседу с Блоком — пришел матрос Балтфлота В. «за книжечками поинтересней». Он очень любит науку, ждет от нее разрешения всей «путаницы жизни» и всегда говорит о ней с радостью и верой. Сегодня он, между прочим, сообщил потрясающую новость:

— Знаете, говорят, будто один выученный американец устроил машинку замечательной простоты: труба, колесо и ручка. Повернешь ручку, и — все видно: анализ, тригонометрия, критика и вообще смысл всех историй жизни. Покажет машинка и — свистит!

— Мне эта машинка тем особенно нравится, что — «свистит».

Сбивает с толку тире перед началом последней фразы, но все же, видно, не матросу она принадлежит, а Горькому: это его тогдашний сарказм. Да и может ли быть иначе, если мы только что присутствовали при разговоре Алексея Максимовича с Александром Александровичем: «У меня нет причин считать взгляд Ламеннэ менее серьезным, чем... Панпсихизм... Ничего, кроме мысли, не будет, все исчезнет, претворенное в чистую мысль... Мысль — результат диссоциации атомов мозга... Мозг, мозг... Это — ненадежный орган, он уродливо велик, уродливо развит. Опухоль, как зоб...»

Сидят, нудят два интеллигента, один урожденный, другой — из самостроителей (но у таких-то интеллигентские комплексы и вовсе развиты до гипертрофии, «уродливо велики»), и вот, озадачивая и отменяя обоих, приходит матрос с идеей и моделью революционного скачка — непосредственно к результату, минуя процесс. Моделью смешной или страшной, в зависимости от воспринимающего темперамента, но равно неприемлемой для сознания художника или просто интеллигента, упертого как раз в процесс — в процесс созидания или хотя бы сомнения, но все равно в процесс, для которого остановка в финале («свистит!») равносильна творческой смерти.

Приходит тот, кому, в согласии с его хулиганским жаргоном, сразу «даешь» готовенькое, итог без усилий, затраченных на пути к нему, — приходит с той же победной безотказностью, с какой матросня громила

портовые бордели, где и родился лозунг-клич «даешь», по праву наследования ставший комсомольско-партийным. Приходит тот, кто уж никак «не писатель». Потому что — революционер. Экспроприатор. Представитель — пока еще политического — авангарда.

Кстати, прикинем: что подумал бы горьковский визитер-симпатия, доведись ему услышать беседу двух интеллигентов о «панпсихизме» и «диссоциации» — эту чушь, которую очень просто можно принять за шифр заговорщиков (а вероятней всего, и надо принять, ибо разве культура с ее пристрастием к творческому и творящему процессу, с ее равнодушием к скачкам и переворотам не есть подобие контрреволюционного заговора?) Находясь в состоянии благодушества, порою свойственном победителю, наш матрос, возможно, поначалу лишь крутнул бы пальцем возле виска. Ну, а если б обиделся, что в общем-то неизбежно, — зачем, дескать, мелкот, чего простому человеку и не понять, не нарочно ли, чтоб обидеть? Тогда у него, что еще возможней, зачесались бы руки вывести болтунов в расход. Что — логично; когда финн Эйно Рахья, запомнившийся как ленинский телохранитель, говорит Шаляпину, распив с ним бутылку эстонской картофельной водки, что таких, как гениальный его собутыльник, надо резать, ибо «галант нарушает равенство», — это не причуда пьяного хулигана, а как раз торжество логики. Торжество уравниловки, этой демократии смердяковых, доуравнивавшейся до Софронова и Грибачева.

Впрочем, они-то как раз забыты. И — накрепко, навсегда, так что, случись прийти к власти их новейшим единомышленникам, от чего Бог нас покуда избавил, даже тогда не станут извлекать из забвенья уже не нужные имена. Выдвинут новых. Но дух вульгарной вражды ко всему, что талантливее тебя, дух зависти, конечно, не испарился. И вот поэт Алексей Дидуров, сам не старый, в печальной литгазетовской статье сказав, что его «ужасают поколенческие счета», воскликнув: «Сколько злобы кипит в молодых!», заключив: «Стыдно и горестно жить среди такого кипения», обнажает первооснову злобы, природу зависти. «Популярный куртуазный маньерист», — сообщает Дидуров (правда, рождая во мне сомнение: если б среди «маньеристов» были и впрямь популярные, возможно, и не сказано было бы то, что сказано?), — так вот, вышеуказанный куртуазник высказывается таким, не совсем куртуазным манером: «В литературе они, старшие наши будто бы товарищи, мало что открыли и сделали, зато пожили от щедрот капэзэсного эспэ — чтоб я так жил: халивная хавка и дринч на декадах национальных искусств по всем республикам, тесное общение с пионерками и комсомолками в Дни книги, дачи в Переделкине, белоснежные санатории и дома творчества посреди зелени над лазурью зеркала вод. Они попользовали литературу — и я хочу».

В общем, даешь результат. Грабь награбленное. Подавай пионерок. Прямо матрос с «Аврорь» с наклонностями Гумберта Гумберта.

Впору заполошно схватиться за опростоволосившуюся голову: ах, я, Аким-простота! Что ж это, пробыв тридцать лет в этом самом «эспэ», я

проглядел, прохлопал сладкую жизнь с хавкою на зерцале, мне, оказыва-ется, полагавшуюся?

Впрочем, можно шутить, когда иностранка Марина Влади сетует, что ее мужа Высоцкого не приняли в Союз писателей (что — имею в виду неприем, — конечно, свинство и глупость), где дачи, квартиры — бери, не хочу, но не смешно, а тоскливо и тошно, когда молодой куртуазник, требуя уравниловки, выбирает образцом не жизнь Домбровского и Шаламова, а секретарско-софроновские блага и льготы.

В сущности, ничего не имею против разгулявшейся ненависти к «старшим будто бы товарищам», к тем же шестидесятникам. «Кусать груди кормилицы нашей» (Пушкин) либо изображать отцов непременно «промотавшимися» (Лермонтов) — это почти неизбежно для детей, одержимых своими соответственно неизбежными комплексами (слава Богу, в массе хотя бы не столь извращенными, как у героя повести Бородини, не настолько вульгарно рваческими, как у дидуровского маньериста, не идущими дальше самоутверждения). Худо совсем дру-гое.

Читаю заметки саратовца С. Боровикова («В русском жанре», «Новый мир», 1996, № 1) и стараюсь со всем покладисто соглашаться — жалко, что ли? Когда твоё поколение или твой профессиональный клан бранят вообще, в целом («вы все...»), в этом всегда същется капелька правды. Скажем: «Вы все верили в социализм...» или даже: «Вы все аплодировали Брежневу...» — да, да, все так, пусть даже в первом ты был виноват чуть-чуть и недолго, а уж во втором — ни сном, ни духом. «Вы все» — самый простой и отчасти прощительный способ самоутверждения, как «мы все» — самый безболезненный, впрочем, и безрезультатный способ покаяния. Но это еще не цитаты из Боровикова.

«Шестидесятников, — говорит он, — всегда подводил вкус...» О, конечно, конечно! «Они не умели вкушать, они хотели есть. Их веселила инструкция на бутылке болгарского виньяка: напитком не следует напиться, им следует наслаждаться... Тут, правда, в самом деле слегка веселья, встопорщиваюсь как человек, в этом грешном занятии кое-что понимающий: мы (шестидесятники?) просто знали, что «Плиска» — скверный напиток, полуконьяк, насладиться им трудно, а напиток — можно, если нет ничего получше. Дальше, однако, то, чему действительно не возражишь: «Военные юность или детство двигали ими по жизни. Они не могли забыть голода и борьбы за выживание».

И на этом, самом бесспорном, месте прекращаю без передыху кивать, как фарфоровый андерсеновский китаец. Сколь ни демонстрирую покладистость, но удручает вот это упорное установление прямолинейно-тотальной связи биографии поколения в целом с обликом всякого из его представителей. Привычка топить индивидуальность в удобно безликой общности. Что-то вроде «пятого пункта».

Подстрекаемый, может быть, и сознанием собственной полувины, тем, что аккурат накануне наступления шестидесятых спроста пустил эту

ключку «шестидесятники» (одно утешает: не я, так другой бы пустил — дело больно нехитрое), взываю — столь же давно, сколь, увы, безуспешно. Хорошо, пусть Вознесенский («Уберите Ленина с денег»), пусть Евтушенко с его подзатыннувшимися иллюзиями насчет камарадо Фиделя, Аксенов с «Коллегами» и «Звездным билетом» (но уже не со своими замечательными рассказами), — они еще как-то укладываются в стереотип сторонника «ленинских норм», «социализма с человеческим лицом»... Но вот уже и говоря об Аксенове, возведенном едва ли не в символ «шестидесятничества», не обойтись без «но», без уточнения и оговорки, а упомяните, допустим, Владимова, Чухонцева, Искандера: где тот микроскоп, в который удалось бы увидеть, простите за тавтологию, микроскопическую дань поколенческой сплотке? А коли так, где сама эта сплотка?

Хотя — могу сказать, где. На ответ нечаянно намекают цитируемые заметки: «Если бы сейчас молодой поэт предложил для печати строки: «Женщина, Ваше Величество» или «надежды маленький оркестрик под управлением любви», его бы всерьез никто не принял». *Никто...* Отметим, отметим эту категорическую огульность.

Не стану отстаивать строк Окуджавы, и на мой нынешний взгляд прелестных, тем паче не буду (полагаю, беспронитрышно) сопоставлять их с иным из того, что сегодня воспринимается «всерьез», — дело в конце концов не в частности вкуса. Но вспоминаю, как в недавней статье молодой автор, справедливо раздражив роман своего сверстника, ставит ему в пример и укор искандеровское «Созвездие Козлотура». И, уступив естественному обаянию чудной прозы, тут же спохватывается, сообщая: это не значит, что рискнул бы перечесть «Козлотура» сегодня.

Вот они «поколенческие счеты», заменившие собою постоянные, вечные критерии прекрасного. Допустить, будто Искандер написал нечто, не подверженное стремительной переоценке протекших — немногих — годов, как-то не хочется, неудобно. Да, скажу без обиняков, и просто невыгодно, отчего даже в самом неагрессивном (тот же Боровиков) варианте самоутверждения проглядывает его изначально корыстная природа: «Шестидесятники требуют к себе исторического отношения, без галковщины. Новым дегустаторам «текстов» невозможно представить, как звучало в те годы само имя Евтушенко или как трогал и объединял голос Окуджавы. Не надо обижать шестидесятников».

«Трогал» — снисходительно-похоронный перфект. И сам «текст», от смысла которого, к чести его, не отвлекает напористое хамство, именно по этой причине особо красноречив. Возможно, саморазоблачителен?

Ладно, Боровиков — всего лишь почтительный оратор на погребении или поминках (и на том спасибо); чаще, однако, встречаешь торопливость могильщиков, норовящих закопать клиента живьем. Что — печально. И — не для клиентов, отчего мне и кажутся чрезмерными ответная ли агрессия Евтушенко или глубокая задетость Окуджавы. Ведь образ врага, каковым в оное время приходилось быть евреям или интеллигентам, ныне отчасти смененным в широкой среде «лицами кавказской национальнос-

ти», а в узкой (до чего массам, к счастью, нет дела) — шестидесятниками, всегда сигнализировал: дело у тех, кто ищет и, разумеется, обретает врага, неблагоприятно. Они утратили общественные (на сей раз — эстетические) ориентиры. Отсюда та самая злоба, порожденная тщательно скрываемой, иногда даже от себя самих, неуверенностью в своих силах. А восприятие супротивника как неразделимой общности — не говорит ли оно об органическом пороке, о том, что сами-то воспринимающие поразительным образом не делят свою среду на тех, кто мечен талантом, а кто — увь?

Стадность — это... Болезнь? Нет — скорее, наоборот: проявление сверхздоровья, позыв примитивного, стало быть, неуязвимого организма. Это — ежели говорим о тех, кто полноценно бездарен и кому вне стада неохота, невыгодно существовать; другое дело, когда болезненно реагируют «лучшие, талантливейшие». И здесь позволю себе пример, коснувшийся лично меня.

«Рассадин обрушился с филиппиками на всех без разбору «младших», — читаю в № 87 «Континента», в редакционной аннотации, излагающей суть статьи Александра Архангельского, полемизирующего как раз со мною. Думает ли то же и сам автор аннотации? Автор *этой* — не знаю, но вот автор другой (уже непосредственно о моей статье «Освобождение от свободы» — «Знамя», 1995, №11) пишет: «Рассадин фиксирует невзрослость литмолодняка, неготовность его к свободе». И если в глаголе «фиксирует» не различаю упрека (фиксируют то, что фиксируется, что — есть), то неужто и вправду мое «Освобождение...» воспринимается плохой всему «литмолодняку»?

Не тороплюсь, дабы назидать, категорически присоединиться к словам «веховца» Сергея Булгакова, что «находиться... в духовной зависимости» от поколения молодых, «заискивать перед ним, прислуживаться к его мнению, брать его за критерий — это свидетельствует о духовной слабости общества» (хотя, вероятно, так оно и есть). Не упираю даже на то, что само лезет в глаза: бородато-лысеющий «литмолодняк» давно и благополучно миновал не только лермонтовско-есенинский, но в значительной части и пушкинско-блоковско-чеховский возраст. Другое... не скажу: тревожит, тем более — что им моя тревога, но — озадачивает. Ведь ни Александр Архангельский, ни Андрей Немзер, оскорбленно-отчаянно возражавший все той же моей статье в газете «Сегодня», уж никак не мерещились мне в пределах круга избранной мною мишени — и пуще того, как я полагаю, куда больше меня должны были озаботиться качеством своей «возрастной категории». Вот и раздумываю: лестно ли для меня, что они, с кем, нередко с ними не соглашаясь, я связываю — хотя бы отчасти — судьбу отечественной критики, приняли и на свой счет упреки в иждивенчестве, в самодовольстве и в инфантильности? Выходит ведь, что — прицелился, выпалил и вдруг накрыл мишень позначительней той, в которую непосредственно метил.

Но, как когда-то говаривали, не льщусь. Хорошо, если это — совесть, берущая на себя и чужие вины. А ну как неосознанная, то бишь тем крепче вьезшаяся круговая порука?

Надеюсь, что не она. Но и сомнение пложет, потому что вижу: по сути почти и не существовавшая целостность, которая приписывается шестидесятиникам (и которая опровергнута, кстати, на самом что ни на есть бытовом уровне: как скоро они разошлись, передрались, расплевались!), реализовалась как раз в среде их ниспровергателей. Реализовалась наглядно, порой — с истерическим нажимом. А то даже и в форме карикатуры, гротеска, как вышло с самой шестидесятнической из формул: «Поэт в России больше, чем поэт».

4

Сперва немного истории — притом той, что поотдаленней шестидесятых годов.

Когда-то Юрий Тынянов замечательно определил, что внес в русскую поэзию Блок, в чем был его феномен (вслед которому возникнут феномен Маяковского, феномен Есенина, феномен Цветаевой и т.д., вплоть до феноменов Высоцкого или Евтушенко): «Блок — самая большая лирическая тема Блока... В образ этот персонифицируют все искусство Блока; когда говорят о его поэзии, почти всегда за поэзией невольно подставляют *человеческое лицо* — и все полюбили *лицо*, а не *искусство*».

«Лицо», или «имидж», как выражаемся ныне.

Блок — стареющий юноша, пригвожденный к трактирной стойке; хулиган Есенин; Маяковский — горлан-главарь, одновременно любовник паспортно поименованной Л.Ю. Брик, — прежде такое заголение было немыслимо. Даже те, про кого молодой Корней Чуковский сказал в своей задорной манере, что «подле Пушкина они все уроды, и только уродством своим различаются друг от друга» (имея в виду гипертрофию той или иной характерной черты, сменившую пушкинскую уравновешенность), — даже они, погруженный в «философию природы» Тютчев, импрессионист Фет, профессиональный страдалец Некрасов, скрывали от публики все *слишком личное, слишком индивидуальное*, — свое «лицо», а не «искусство». Так что, допустим, насмешник Дмитрий Минаев жульничал (что почти простительно завязтому пародисту), когда высмеивал фетовскую нежную лирику способом опрокидывания ее в поместную обыденность: «Холод, грязные селенья, лужи и туман, крепостное разрушенье, говор поселян... И работника Семена плутовство и лень». Сам Фет не допускал в поэзию весьма занимавшие его «по жизни» заботы хозяина-жоха.

Целомудрие это имело невольную целью возможно дольше удерживать уходящую гармонию, божественную — без преувеличения — сущность русской поэзии, словесности вообще.

Отец Александр Мень в книге «На пороге Нового Завета» замечал, что в Иисусовых притчах то прозвучит намек на мастерство плотника, точнее, строителя, так как в Иудее плотник бывал и каменщиком (на мастерство, которому Его, уж наверное, обучал Иосиф), то отзовется опыг пастуха, *пастыря* (по преданию, Он пас возле Назарета овец). То есть, говорит о. Александр, «если вслушаться в притчу... легко уловить в ней нечто личное...»

Как характерны, однако, эти — «вслушаться... уловить... нечто...» Не больше, не громче, не навязчивее.

И: «...В Евангелии самое главное — не новый закон, доктрина или нравственный кодекс, а именно Иисус, Человек, в Котором воплотилась «вся полнота Божества». Тайна, пребывающая выше всякого имени, обретает в Нем человеческое имя, лик и человеческий голос...»

Словно нарочно — и в точности! — сказано о русской поэтической, гармонической традиции. «Тайна, пребывающая выше всякого имени...» «Искусство», а не «лицо»; искусство, которое важнее, выше, типизированнее лица. Когда лицо проступает слишком явно и узнаваемо, это даже мешает восприятию — гармоническому, если говорить об эстетике, божественному, если о духовном обиходе. Когда Михаил Васильевич Нестеров, расписывая собор св. Владимира в Киеве, придал лику св. великомученицы Варвары внятные глазу черты любимой девушки, то губернаторша графиня Игнатьева имела резон воскликнуть: «Не могу же я молиться на Лелю Прахову!»

Во всем этом не стоит подозревать с моей стороны прямолинейную оценочность: само по себе самовыявление «лица» еще ни хорошо, ни дурно. Это может быть Блок, а может — и Пригов. Расстояние между ними всего-ничего: то самое «искусство», которое, даже при возрастающей роли «лица», не вытесняется, а лишь трансформируется; в сущности, дело именно в том, каково само «лицо» — в его качестве, в его соприродности «искусству». Короче — в том, чтоб «лицо» не превратилось в голую физиономию, решившую, что обойдется самой собою.

Но — обходится ли? Ведь «тайная свобода», понятие, перенятое Блоком у Пушкина, неотрывна от сознания, что «цель поэзии — поэзия». А это — не столько самодостаточность, сколько самозащита поэзии от вторжения чужеродного и необязательного — от подмены, от того, чтобы в той самой формуле, за чью четкость мы в любом случае должны быть благодарны ее автору («...больше, чем поэт»), это «больше» не стало значить: «вне», «вместо». Когда же это превращение происходит-таки, тогда и возникает катастрофическое расстояние меж «искусством» и решившим его вытеснить-подменить «лицом» — расстояние не меньшее, чем между гессевской игрой в бисер и уличной игрой в наперстки (помимо всего наипрочего, они различаются еще и тем, что наперсточнику нужны зрители и участники. Желательно, понятно, из разряда доверчивых олухов — зачем ему играть в одиночестве?)

Как бы то ни было, говорю, — свершилось. И если нет сейчас под рукой текста заявления того же Пригова, в том именно роде, что имидж — главное, если не все, так он и необязателен, ибо воспроизводит то, что сказано сотни раз. Любопытность здесь разве лишь в том, что отчаянный концептуалист не только не пошел дальше и выше сугубо, казалось бы, шестидесятилетнего лозунга «...больше, чем...», но низвел его в одноклеточность, «к кольцедам спустил и к усоногим», истолковал в духе предельного буквализма. Который в плане житейском — а другого практически не

осталось — реализуется как забота о месте в тусовке, о мелькании на телеэкране; как судорожная боязнь, что разок не мелькнешь, пропустишь цикл, и тебя непременно забудут.

Но тут еще одна разница — между опять же, допустим, Приговым, который не случайно попал на язык, и... Нет, теперь уже не Блоком, а тем, что поближе. Тем, что огульно (и, следовательно, не совсем справедливо), но и не без основания считается эстетическим знаком пятидесятых-шестидесятых годов, которые Эренбург определил как «время стихов». Имею в виду так называемую «эстрадную поэзию», где бы она ни подвизалась — в демократически-элитарном Политехническом или в гладиаторских Лужниках. Этот выход поэтов в народ, в массу, в толпу, с одной стороны, красноречивее многого объявлял об общественном подъеме с колен (отчего пошел снобизм, хихикающий при воспоминании о лужниковской чаше, наполнявшейся всклянь ради Ахмадулиной и Окуджавы), но с другой — обнаруживал перерождение отношений поэта и читателя. Последний превращался скорее в слушателя, даже — в зрителя, первый же (говоря, разумеется, не обо всех, по необходимости вновь схематизируя) утрачивал свое племенное драгоценное преимущество, свое первородство, выгодно отличающее его от племени артистов: независимость от непосредственной реакции публики. Можно и укоротить: попросту — независимость.

Так было. А как — стало? «Я не поэт, я — артист!» — откровенно, за что спасибо ему, заявляет Пригов, обнаруживая то, чего постеснялся бы Вознесенский и на что обиделся бы Булат Окуджава. И заодно демонстрирует уровень *этого* артистизма (цитирую хладнокровного очевидца, Павла Басинского — «Новый мир», 1995, № 1): «...В Смоленске, в старинном, XVIII века, здании городской филармонии близ кремля мне довелось побывать. На сцене Дмитрий Александрович Пригов блял козлом, напрягая мощные голосовые связки. Старушки-работницы этого дома, «гордости Смоленска», смотрели на артиста с мистическим страхом».

Если скажу, что само вторжение артистического начала в собственно стихотворство, наметившееся в «эстраде», здесь деградирует до маразма, то не для того, чтобы обидеть маразмирующих: маразм, распад, бегство из сферы культуры запрограммированы и радостно осуществлены. Это сознательная акция, и если Рылеев, сказавший то, что некогда насмешило Пушкина: «Я не поэт, а гражданин», указывал свое точное место там, откуда уходит не собирайся (как и Денис Давыдов, всего лишь лукавивший и кокетничавший: «Я не поэт, я — партизан, казак»), то нынешний «артист», открещивающийся от титула «поэта», думаю, прав даже в большей степени, чем полагает сам. «...Графоман, играющий в игру в графомана», — определила приговский статус Марина Кудимова («Континент», № 87), уточнив: «Ничего сверх ему природой не дано». И, не споря, добавлю разве что следующее: может, и дано (кто в точности может узнать, в какие глубины иной человек загоняет свой дар, затаптывает искру, брошенную ему свыше?) Главное, что он не испытывает ни малейшей потребности в этом «сверх», — отчего, между прочим, при всей

ординарности собственных сочинений (по живости и по невольному юмору решительно превзойденных сочинениями «настоящих» графоманов, что в свое время я и доказывал в статье «Голос из арьергарда» — «Знамя», 1991, № 11), может быть даже по-своему и весьма интересен — как объект исследования. Во всяком случае — показателен, ибо иллюстрирует серьезный процесс происходящего ныне пересмотра ценностей, нравственных и эстетических, — от опоры на Льва Толстого до культа маркиза де Сада, от «Тайны», что «превыше всякого имени», до заголения срама и демонстрации всяческого дерьма, от «Седого утра» до бляения козлом в филармонии (для чего, воля ваша, таланта и вообще всего, что «сверх» одножлеточности, не требуется. Только — голосовые связки, срам и кишечник, всем дающиеся от рождения, включая, понятно, и натуральных козлов).

Вот уж — всем плюрализмам плюрализм, такой, что дальше, верней сказать, ниже — некуда, потому что всеобщее уравнивание происходит не на уровне «сверх», а, в общем, не выше «телесного низа». И удивляться ли, что в пору, когда позволено все, даже симпатичный саратовец, зовущий не закапывать шестидесятников, а снисходить к ним, — даже он, задавшись вопросом, способен ли кто-то сегодня ценить стихи Окуджавы, ненароком роняет тяжелое, как надгробный камень, словечко: «никто»? А менее, признаюсь, симпатичный екатеринбуржец, ныне москвич, ведя как будто вполне отвлеченный спор (не хавку же с дринчем отвоевывает для себя), говорит уже отнюдь не ненароком: «Ясно, насколько это дикое представление...» На сей раз прошу обратить внимание не на агрессивную лексику, а всего лишь на «ясно». Так когда-то меня насмешил Василий Белов, заявивший: «как известно», мол, от Чаадаева до Смердякова один шаг... Чем насмешил? Сопоставлением? Да полно — Петру Яковлевичу и при жизни доставалось: пожалуй, еще и не так. А главное — что ж, хорошо: озадачили аналогией, аргументируйте, развивайте ее, поспорим... Куда там! «Ясно». «Известно». «Никто». И — точка.

Конечно, все это, даже исполненное в атакующем стиле, не дотягивает до большевика Эйно Рахья, считавшего, что таких, как Шалапин, надобно резать. Разные времена, разные темпераменты, да и возможности разные; логика — вот что схоже. «Талант нарушает равенство» — и разве в самом деле не так для тех, кому «ничего сверх природой не дано»? Или, снова скажу, может, и дано, но только не нужно им это «сверх», понуждающее считаться с вершинными критериями, обременяющее ответственностью за дар, полученный свыше, ограничивающее вседозволенность и разнузданность...

5

«Как известно... Ясно... Никто...»

Что за этим упором на свою исключительность, за этим категорическим отторживанием? За всем тем, чему, к слову сказать, приходилось быть изысканным и не столь односложно? Например (цитирую уже достаточно давнюю — «Театр», 1991, № 4 — статью теоретика авангарда Михаила

Айзенберга): «...Так называемая «неофициальная литература» — это именно отдельная литература, определившаяся за тридцать лет система связей, отношений и зависимостей. Каждый автор и каждое произведение получают истинное освещение только в контексте этой литературы... «Официальная» и «неофициальная» литературы практически несоединимы, потому что они разноприродны». (И это снова более чем понятно: ведь «официальная» литература здесь не только, скажем, Твардовский, но и Ахматова, отчасти и Бродский.)

Итак, что же за всем этим? Не боязнь ли соревнования, вариантности, сказал бы: инакомыслия, — если б слово это так прочно не стало синонимом политического диссидентства?

Хорошо, не скажу. Вообще — чтобы не упростить проблемы — нарочно возьму высказывание не Айзенберга, уж тем паче не Курицына, а умного и одаренного Сергея Гандлевского. «Я имею честь, — говорит он в повести «Трепанация черепа» («Знамя», 1995, № 1), — принадлежать — и сейчас я не паясничаю, а говорю вполне серьезно, — действительно *имею честь* принадлежать к кругу литераторов, раз и навсегда обуздавших в себе похоть печататься. Во всяком случае в советской печати».

Вы имеете что возразить? Я — нет, твердо помня, во-первых, ту банальнейшую из истин, что ценность искусства никак не измеряется широтой аудитории, способной его воспринять, а во-вторых, и, может быть, в главных, уважая выбор души, даже если он не совсем вольный. Даже если последовал за выбором, который сделала за Гандлевского неприязненная действительность.

Но, оказывается, возразить все-таки можно — и со стороны, каковую никак уж не обвинишь в сопричастности к логике силы и власти. «Уход в подполье, — говорит прекрасный поляк Кшиштоф Занусси, — я полагаю выражением слабости». И, извинившись за резкость, тут же, однако, обостряет ее: «Если молодой человек сразу же заявляет, что он будет делать кино для узкого круга любителей, значит, он не слишком отважен и отказывается от независимости, от подлинной самостоятельности».

Вот тут, коли ввязаться в заочный нечаянный спор, легче найти контраргумент, хотя бы смягчив упрек. Напомнив именно то, что в андерграунд, в подполье уходили, как правило, не от хорошей жизни, были туда загоняемы. Пусть не всегда самой по себе десницей власти, пусть собственным брезгливым сознанием, необходимым художнику, какова она, эта десница: «Власть отвратительна, как руки брадобрея». Бр-р!

Впрочем, готов быть ходатаем перед суровым Занусси при одном условии: чтоб из бывшего несчастья (которое ты, разумеется, вправе с гордостью осознать как счастье и честь) не вывести, выйдя на белый свет, права на самодовольство.

Приведу строки поэта, предлагающего реестр собственных ценностей:

Нет, не за то, что нет чесночной
И краковской (хоть никакой)...

Тут же, впрочем, и оборву цитирование. Как нетрудно понять по колбасным реалиям, стихи вчерашние, даже позавчерашние, отчего начало попросту опушу, прозаически сформулировав: поэт не предъявляет счетов за то, что ему недодано, включая и долгую зависимость своей судьбы и своей плоти от шевеления державного мизинца. Его мучит и бесит другое:

Но — за оборванное «здрасьте»,
За слог, почерпнутый из ям,
Мы счет предъявим этой власти
По всем законам и статьям.
О логос-лотос, ты растоптан,
Ты обещен на корню
Публицистическим восторгом
И бранью невских авеню.
Слух голоден. Эдем, олива,
Фонарь, аптека — о, изыск...
Начпупс, горгав, тыр-пыр, главпиво...
Любая кара справедлива,
Как месть за вырванный язык!

Известна позиция — или поза — гордо-вызывающая: мне, художнику, от вас, от властей, ничего не нужно. Пошли вон, дураки! Прекрасно, хотя сам контраст *их* и *меня* подозрительно отдает сладостью самоутверждения.

Тут — иное: равнодушное неприсутствие на той территории, где что-то выдают и чем-то обделяют, но взрыв гнева неминуем, едва речь зайдет о посягательстве на единственное достояние поэта, на язык, выпестованный родной культурой.

Поэт — Ольга Бешенковская, мало кому известное имя из питерского андерграунда, понимаая последний этимологически буквально: из-под земли, из котельной, где она, как многие люди схожей судьбы, работала кочегаром. И, подчеркиваю, кажется, не имела и не имеет общего с андерграундом в нынешнем, престижном значении; с тем, который, будучи выпущен из подполья, в значительной части своей вдруг оказался уж так озабочен подсчетом воздаяний за прежнюю неизвестность, что овладел новономенклатурным сознанием. Не имея охоты присоединиться к суровости Занусси, не имею сил не сказать о глубинной его правоте, сколь ее ни оспаривай количеством частных примеров. Как бы то ни было, но принципиальное существование «для узкого круга», ставшее честолюбивой целью, — противоестественно. Больше того: это сдача на милость той власти, что и загнала тебя в подпол. Еще больше: это усвоение ее языка.

Парадокс? Не думаю.

Гипнотизирующее слово «авангард» обманчиво, потому что потворствует обезличке — не меньше, чем помянутые «маргиналы». У авангарда не только свои традиции, куда более жестко-партийные, чем у реализма с его раздвижными границами (при том, что границы, отодвигаясь и

раздвигаясь, сохраняются сами — и сохраняют очертания мира, подвластного художнику, осваиваемого им); авангард к тому же весьма снисходителен к своим адептам, смотря сквозь пальцы, как правило, на эстетическую слабость того или другого из них. Впрочем, так и должно быть: именно жесткая непримиримость к нарушителям генеральной линии*, как и преданность ей, возводимая в наиглавнейший критерий, ведет к уценке. К отрицательной селекции — в точности так же, как привела в истории той организации, которая узурпировала это понятие, «генеральная линия».

Поясню.

Сколько угодно можно поминать великому авангардисту Маяковскому строки (действительно, жуткие): вы, дескать, орете: «Пожарных! Горит Мурильо!» —

А мы —
не Корнеля с каким-то Расином —
отца, —
предложи на старье меняться, —
мы
и его
обольем керосином
и в улицы пустим —
для илломинаций.

Родной отец, сжигаемый ради того, чтобы илломинировать дорогу в грядущее, — метафора, выдающая чрезмерный надрыв, натугу, истерику интеллигента (или полунинтеллигента), старающегося подняться до уровня классово-борьбы, однако от старания неосторожно перемахивающего даже через этот нечеловеческий уровень. Впадающего в самую крайность садизма. И, конечно, интеллигент-истерик, додумавшийся (а не почувствовавший — чувство его как раз бы остановило) до *такого*, самой экстравагантностью торопил гибель своей породы, а скорее всего и самого себя: сколько угодно, снова скажу, можно — и нужно! — ужасаться поэтической извращенности, но трудноато представить себе Маяковского пережившим тридцатые годы. Помешали бы крупность, громоздкость и, возможно, прежде всего именно эта истовость, надрывное стремление убедить себя в искренности своих порывов.

Ей-Богу, порою готов даже само понятие «авангард» оборонить от желающих даром числиться по этому ведомству. Авангардист ли все тот же Сорокин, благополучно штампующий своих монстров? И когда они пожирают кал, мозги или требуху друг дружки, слышим ли хоть отдаленно гул реального катаклизма, ощущаем ли ужас заправдашних катастроф?

* Не в первый раз вспоминаю выразительное в этом смысле высказывание талантливого Тимура Кибирова. Он, сказав, что хотел бы быть «традиционным поэтом» («вроде Тютчева»), как бы спохватывается: «Все это страшно сейчас проговорить... Я рискую свою репутацию авангардиста свести совсем на нет». Такова партийная дисциплина с постоянной угрозой остракизма?

Какое-то время назад я читал воспоминания друзей Венедикта Ерофеева (к авангарду мною не причисляемого): мучительное получилось чтение — с множеством тех бытовых подробностей, что, кажется, лучше бы и не знать о писателе, которого полюбил. Зато с какой очевидностью из этого зрелища самоуничтожения (поистине: «Там человек сгорел») возникает понимание, как родилась, как только и могла родиться трагическая проза «Москвы-Петушков». И — Боже меня упаси желать такой же судьбы Веничкину однофамильцу, но его-то книги не менее очевидно подтверждают очередную банальность: цену, заплаченную тобой за написанное, не скроешь. Отчего, не слишком шутя, считаю самым замечательным произведением отечественного постмодернизма ту игру природы, которая подарила одну фамилию столь разнокачественным писателям.

Вот почему и не вижу решающей разницы между официальным искусством недавнего прошлого и большинством нынешних игровых и даже словно бы шоковых произведений. Что, в самом деле, такое соц-арт, как не вольное или невольное, но продление жизни соцреализма? И так же, как бессмысленна старая шутка, что в недалеком будущем их, соц-арт или постмодернизм, все, пародирующее искусство официоза, можно будет воспринимать лишь вкупе с подшивкой газеты «Правда», в союзе с ней, в одном, выходит, строю, — так же в одном строю одно дело творят две стихии, о которых с равным омерзением говорится в стихотворении Бешенковской. Наш язык — и наше сознание — извратили и извращают как внедряющийся властью «публицистический восторг», так и «брань авеню», то есть без пропуска впущенные в словесность уличный мат, хамский жаргон, косноязычие, выдаваемое за обновление языка.

Иначе быть не могло? Хочу сказать: бедные дети застоя, согнанные им с литературной поверхности, и должны были явиться на Божий свет мстителями за свои искривленные судьбы, мстящими кому попало? Должны были предстать тем, чем и предстали — не все, но заметною частью: воплощением ненависти и отторжения, хоть от тех, кто поближе, от шестидесятников, хоть от всей предыдущей русской литературы, которая звала и вела *не туда?*

Вероятно, так. Вероятно, должны были. Потому пусть не без юмора, но и с долей сочувствия к тем, чья кожа не так дублена многолетним битьем, как у моих сверстников, гляжу... Вот, допустим, Дмитрий Галковский, начинавший свой путь с беспримерной грубости по отношению к предшественникам и разумно начавший с человека такой репутации, как Окуджава, унижить кого — уже попасть на заметку: с какой инфантильной верой в свою правоту он отказывается держать ответный удар и, прочитав у Игоря Золотусского что-то нелестное о себе, молит пощадить его маму, «простую женщину», наконец-то возгордившуюся талантливым сыном. «Мне-то что, я философ... А вот видеть слезы матери как?» Или же — полуклассик нашего авангарда Всеволод Некрасов, ознакомившись уже с моей статьей, с поминавшимся «Голосом из арьергарда», не менее панически объявляет: если никто не собрался ответить на нее статьей-пощечиной, значит, хана, литературный процесс кончился.

Авангард, как известно, и прежде бывал нетерпим к тому, что на него не похоже, — опять-таки по-партийному. Можно спорить, насколько это вообще в природе его, однако не зря Маяковскому было необходимо не только словесно унижить знаковые фигуры «старья», Растрелли и Рафаэля, но и физически вытеснить из литературы живого «белогвардейца» Булгакова, вовсе не удовлетворяясь сосуществованием — даже и в вожделенном случае собственного главенства. Нетерпимость сегодняшняя, пожалуй, не столь агрессивна, сколько нервна. Верней, агрессивность ее придержана историческим опытом, который порою чему-то все-таки учит: стало более или менее ясно, что рычаг управления, к которому наивно тянулись руки прашуров авангардизма, если и достается кому, так отнюдь не художникам.

Вот почему злоба, о которой пришлось с сожалением говорить, тем злобней, чем бессильней, а вариант нетерпимости, преобладающий ныне, — это как раз повышенный (до абсурда и до комизма) градус обидчивости. Казалось бы, с чего вдруг? Ведь паникуют (чур меня, чур) не перед лицом гибели, даже не перед угрозой возвращения в андерграунд; нет, держатся за обретенный комфорт внутреннего (для кого-то, возможно, и внешнего) существования. За самочинно присвоенное право собственной непреложности и неприкасаемости, что, если и перешло по наследству, то никак не от битых шестидесятников. Я ведь и не думал острить, сказав о *новономенклатурном сознании*.

6

Увы! То, что мы задним числом так презирали в среде партократов, давно уже принадлежность не их одних; оно часть общественного — больше и хуже того: народного сознания, оно пронизало всех сверху и донизу да и вширь, «от Белых вод до Черных». Смысл его иметь то-то и то-то, в то время как прочие этого не имеют, — список дефицита может быть уточнен в зависимости от положения номенклатурной особи, возможно, достаточно экзотичен для мировой общественной психологии, но нисколько не удивителен в стране, привыкшей считать, что на всех не напасешься. И в этом смысле, скажем, буфетчица спецбуфета ощущала себя номенклатурой в гораздо большей степени, чем... Да хоть бы и сам Леонид Ильич Брежнев! Он-то, бедняга, как раз, наверное, был лишен этого, ни с чем не сравнимого, удовольствия; он нас не презирал с такой самоутверждающейся страстью, как гипотетическая буфетчица, если только вообще догадывался, что мы заслуживаем презрения (но для этого ему надо было бы осознать, кого мы терпим и прославляем в его лице).

Что до буфетчицы, твердо знающей, что дефициту, при коем она состоит, на всех в самом деле не хватит, то в ее роли у нас перебивала (тут ничего нового не скажу) и литературная номенклатура в самом прямом, начальственном, назначаемом смысле. Но теперь, когда ее потеснили, разве сознание самоликвидировалось? Оно мирно перетекло и готовится перетекать из одного слоя в другой, и уже не начальство, а

терпевшие от начальства, нося синяки, как новейшие ордена, требуют льгот, которых — вот что особенно важно — лишены и должны быть лишены другие: иначе-то что за сласть? Тут, что скрывать, и заслуженные диссиденты; и писатели-эмигранты, иные из коих не хотят допустить, что пережитое не может служить ни гарантией качества их сочинений, ни лицензией на критическую неприкосновенность; и наш авангард, являющий собою — по крайней мере в глазах своих теоретиков и вожаков — слаженность и взаимовыручку воинской части, для которой честь гвардейского знамени всегда выше отличий, заслуженных тем или иным солдатом. Тут-то номенклатурное сознание особенно явно обнажает одну из своих обязательных черт — *коллективизм*, ибо всегда требует привилегий не одному кому-нибудь за его индивидуальный талант, а всем поголовно, за причастность и принадлежность.

Эта *преемственность*, кажущаяся воплощенной справедливостью (терпели! Ждали! И дождались!), и справедлива-то по-советски, традиционно. Здесь тоже — перераспределение благ, даже если не такое вульгарное, которого захотелось «куртуазному маньеристу». *Преемственность* — повторяю и настаиваю я, так что, снова услышав, будто «обрушился с филиппиками на всех без разбору «младших», серьезно это не восприму. Дело не в старших, не в «младших» (поскольку, напомним, речь, в частности, о мужах, проживших полвека — без кавычек здесь действительно не обойтись). Дело в объединяющем многих и многих сознании, которое мало подвержено переменам, а ежели и предстанет порой в возрастном, поколенческом варианте, то это не столь уж существенное отличие.

Мы — похожи и долго будем похожи.

Конечно, само колесо истории, наехавшее на нас, одних подмяло, исторгнув вопли отчаяния, других его оборот поднял вверх, наподобие девятого вала. Но ведь «гребень волны — не скала и не твердая почва», сказано поэтом-шестидесятником. Колесо — одно на всех, и сам постмодернизм, объявивший о конце движения литературы, об отмене критериев и координат, — не более, чем веселая разновидность того же катастрофизма. Вот только поведение в час катастрофы — или после нее, посреди развалин недавних твердынь — может быть разным, даже разнополярным. Первый полус — когда самое страшное из потрясений способно, как вспышкой взрыва, высветить смысл бытия, и тогда Андрей Белый, узнав о смерти Блока и осознав ее как духовный рубеж, произносит: «Орангутангом душа жить не может». Хотя — как сказать? Бывает и беспечная жизнь (полус второй) киплинговских бандерлогов, превосходно обжившихся в руинах величественного дворца (тем превосходнее, что они «не знали, для чего построены эти здания и как ими пользоваться») и весьма собою довольных, **самодостаточных**: «Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения!» Номенклатура джунглей, сама себя ею назначившая. Лишь к тем, кто не является бандерлогом, здесь относятся со злобою и презрением.

Посильный выбор, «кем быть», каждый делает сам — в решительной независимости от случайной даты рождения.

По поводу повести Юрия Малецкого «Любью»

Уважаемая редакция!

Хотя по образованию и роду деятельности я так называемый «гуманитарий» и не столь уж безразлична к собственно литературным спорам и проблемам, всё же литература всегда интересовала и интересует меня прежде всего «по-человечески» — как традиционная область «душеведения». Увы, те из «новых русских» писателей, кого мне доводилось читать, ушли довольно далеко от этого традиционного приоритета литературы и занимаются совсем другими вещами. Кому-то, наверное, очень интересными. «Старые» же наши писатели, которых я любила и люблю — Битов, Искандер, Петрушевская и некоторые другие, — за последнее время не сообщили (или мне не подалось) никаких «новых сведений о человеке», которых мы не узнали бы от них раньше. Поэтому с какого-то момента я охладела к беллетристике и журналы, если они попадают мне в руки, всё чаще читаю с конца, с разделов публицистики, мемуаристики и пр. Так и последний, 88-й номер «Континента», я приобрела в первую очередь из-за чрезвычайно любопытных воспоминаний покойного о. Александра Меня. Так вот, здесь же мне попала повесть «Любью», которую автору почему-то угодно было назвать «фугой в стиле фьюжн». Фамилия автора — Ю. Малецкий — мне ничего не говорила, хотя по «послужному списку» в сноске было ясно, что он не новичок, но название мне показалось несколько странным, претенциозным, это раздражило, и я решила заглянуть. И неожиданно для себя прочла целиком, но после прочтения у меня осталось настолько странное чувство, что, как видите, я даже не поленилась взяться за перо и написать Вам. Или, может быть, автору.

В повести, мне кажется, немало интересного, много достаточно тонких и точных наблюдений. И по прочтении этой вещи, воспроизводящей картину ссоры между близкими людьми, я должна была констатировать: да, автор имел-таки право на столь несбыточное название. Мне понравилась та смелость и откровенность, с которыми автор так по-новому ставит вопрос «о странностях любви», об ее соотносительности с ненавистью, о разделении чувства, о тонких слоях нежности, жалости, ревности, вообще о том, что есть любовь по существу. И это, мне кажется, очень вовремя, потому что сейчас, без конца склоняя слово «любовь» (как и «духовность»), имеют обычно в виду лишь самый поверхностный слой интимных отношений — как это бывает в телепередачах типа «Я сама». Такое впечатление, будто все остальное, главное, давно вынесено за скобки или о нем просто забыли — за неимением практики.

Но, Боже мой, во сколько одежек со сложными застежками завернута нормальная житейская история! Сколько тем, каждой из которых можно посвятить отдельное произведение, вплетено и впутано в рассказ о двухчасовой ночной беседе мужа и жены, вылившейся в тяжелую сцену! Тут тебе и пространное обсуждение выбора религиозной конфессии и юрис-

дикционных разногласий, и тема «прямого и непрямого» слова в искусстве, и проблема евразийства, и выяснение отношений России и Европы, и т.д. и т.п. Сколько тут длинного, умного, но, по-моему, совершенно лишнего!..

Под стать этой смысловой мешанине и мешанина стилистическая: прозаические формы соседствуют со стихотворными, современный разговорный — с церковнославянским. И — если не ошибаюсь — сильнейшее влияние Пруста и даже, кажется, Джойса — его я знаю плохо, но заглядывала. И цитаты, цитаты, 35 тысяч одних цитат — от хрестоматийных до таких, что только понимаешь: точно цитата, а чья и прямая или обыгранная — изволь догадаться, напряги эрудицию... Уж не знаю, хотел этого автор или нет, но это массивное обилие цитат, вторичность языка при сколь угодно умелом манипулировании стилями, вся эта смесь языкового эпигонства с желанием «показать образованность», может быть, потрафит вкусу какой-нибудь элитарной тусовки, но у нормального среднеинтеллигентного человека, вроде меня, набивает оскомину.

Я пишу, как Вы понимаете, совсем не рецензию. И не мое дело хвалить автора, ругать его или, упаси Бог, указывать ему, как писать. Но я вспоминаю мысль Бетховена о том, что он тогда достиг мастерства, когда понял, что не надо пытаться вложить в одну сонату содержание десяти сонат. Мне просто по-читательски и по-человечески очень огорчительно, что то ли непонимание такой простой мысли, то ли желание «не отстать» от мировых стандартов испортило вещь, совсем неплохую в своей основе. Может быть, она могла бы стать даже каким-то новым словом в литературе, будь всё происходящее в ней очищено от интеллектуалистских кунштюков и поведано просто и ясно — так, как могли говорить о самых сложных и тонких вещах Толстой и Чехов, Бунин и поздний Пастернак или, ближе к нам, Казаков, Трифонов, а сейчас, скажем, Маканин.

Но вот какое дело, и вот, собственно, из-за чего я Вам и пишу. Повесть и заинтересовала меня, и огорчила, но больше всего заинтриговала: ее явно написал человек рефлектирующий. Значит — отдающий себе отчет в том, что, зачем и почему он делает. И при этом достаточно взрослый и вменяемый, чтобы не опуститься до того, чтобы быть чьим-то эпигоном — по крайней мере, эпигоном всех сразу. И вдруг — такая эклектика и сумбур. То и другое трудно представить вместе. Может быть, я чего-то не понимаю, каких-то правил игры, которых придерживается автор? Не могли бы вы показать ему мое письмо? Мне было бы очень интересно узнать, как он сам объясняет свое произведение — если, конечно, он склонен к объяснениям и снизойдет ответить письменно.

С уважением, Инна Жерневская.

Москва

Всегда приятно получать письма от умных читателей, тем более, что в последнее время пишут редко — не только мне, но и всем литераторам, кого я знаю. Письма умных читателей содержат то, чего не содержат рецензии умных критиков: заинтересованность. Больше того, читатель может позволить себе роскошь *н е п о н я т ь* — и удивиться. И даже попросить писателя что-то ему объяснить; а этого от критика нипочем не дождешься — он наперед знает, чего ты хотел и что у тебя из этого получилось; вообще писатель и критик сегодня находятся в ситуации заведомого неравенства по отношению друг к другу. Бедный автор хочет от критика того, чего хотел Коля Остен-Бакен от польской красавицы Инги Зайонц — любви. Ну, пусть мало-мальски живого равнодушия. Тогда как критик (кто быстро работает — тот неплохо ест) давно просек фишку и манипулирует авторами, как бойкий риэлтор — стоящими у него на учете хозяевами квартир. Только вот бизнес риэлтора честнее: понимая, что кормится за счет упомянутых, без существования которых не было бы его профессии, тот и хотел бы видеть в них лишь у.е., как это называется в нашей торговле, но вынужден самими обстоятельствами дела считать их за живых людей...

Виноват, отвлекся. Кому что, а вшивому баня. К делу. Значит так: пока я писал свою неправдивую повесть, всё представлялось совершенно ясным — ясным, конечно, в определенном смысле слова, ведь еще, кажется, Аристотель на просьбу Филиппа Македонского объяснить ему какую-то теорему проще, отвечал, что царского пути в геометрии нет, т.е. некоторые сложные вещи при всем старании не могут быть изложены совсем уже просто. Ясным — в смысле внятности, сказуемости. **В с м ы с л е о с м ы с л е н н о с т и.**

Выходит, я ошибся. Вам не ясно, а читатель всегда прав; конечно, умный читатель. Да, но ведь и писатель всегда прав — если, конечно, он сколь угодно маленький, но настоящий писатель, и при этом не шулерничает (бывает, что шулерничают и хорошие писатели: все люди, все человеки).

Если с моей стороны не будет наглостью предположить последнее, мы упираемся в проблему: как согласовать две несогласующиеся презумпции правоты. Трудновато, конечно, я не теоретик, и, перефразируя единственного в мире частного сыщика-консультанта, мне проще написать повесть, чем объяснить, почему я именно так ее написал; но попробую. Уж как получится, не обессудьте.

Не посетуйте и на то, что ответ будет не так короток, каким, наверное, должен быть. То, что написали Вы, и еще кое-кто, мне уже довелось выслушать устно от нескольких знакомых. Я всё отбояривался: зачем объяснять, что да почему, тогда не стоило и вещь писать. Но на серьезное письмо я решил серьезно и ответить, а раз так, стал серьезно продумывать всё, что чувствовал скорее интуитивно; и решил ответить не только Вам, но и всем, кто меня спрашивал или будет спрашивать — да и самому себе.

Поэтому отвечаю развернуто — в контексте достаточно широком, что представляется важным.

Итак, два обоснованных вопроса:

а) зачем такая тематическая перегрузка, затемняющая и топящая основной смысл-сюжет?

б) зачем эта стилистическая множественность, цитатность, словесно-скоморошние коленица и приколы, опять же уводящие от серьезного (изначально наличествующего в тексте, в чем мы оба сходимся) смысла?

Отвечаю: то и другое — для меня не прихоть, а настоятельная необходимость.

Первое. Если ведущая тема осложняется другими обер-темами, то развивающими главную, то уводящую от нее, — это по вине героя. Без него, согласен, было бы куда проще работать — и писателю, и читателю. Но ведь в нем-то, герое, всё и дело. Он-то всё и осложняет. Все фокусы, вкусные и безвкусные, которые в повести вытворяет язык, нужны вовсе не для того, чтобы показать что я и «так умею, и вот так умею», как говаривала героиня фильма «Волга-Волга», и не потому, что мне страшно захотелось порассуждать обо всем сразу и накатать для этого более 100 журнальных страниц, а только для того, чтобы показать человека, которого я считаю не меньшим героем нашего времени, нежели «челнок», бандит или политик нового типа. Более того, у этого героя есть шансы остаться героем времени и тогда, когда «челноки» и бандиты уйдут в тень. Еще более, этот герой проходит сквозь всю русскую литературу, начиная с Чацкого и кончая Веничкой. Чего греха таить, это наш старый знакомый — лишний человек, а точнее — вековечный человек, Вечный Жид российской словесности, постоянная ложка дегтя в бочке меда (а может быть, ложка меда в бочке дегтя — это как смотреть) не только нашей литературы, но и нашей жизни. Было время, когда он мне, как и всем, порядком поднадоел; зато сегодня, как никогда, вызывает живой интерес. Я ничего не знаю об Онегине, кроме того, что поведали мне о нем Пушкин и Лотман, а это сведения непроверяемые. Но о нынешнем лишнем человеке я кое-что знаю не понаслышке. О человеке поколения, сформированного дзен-буддизмом, «Роллинг Стоунз» и «Дорз» больше, нежели Солженицыным и Сахаровым, следовательно, более озабоченном вопросом: «Как мне построить себя?», чем: «Как нам обустроить Россию?»; о человеке настолько частном, а не общественном, что он не может вписаться ни в какие структуры и тусовки, и потому время его, в отличие от более психологически счастливо уродившихся со-общников по «поколению дворников и сторожей», не пришло и не придет никогда. О человеке, чья способность к духовному (читай — религиозному, чтобы не ошибиться) поиску осложнена психологической и интеллектуальной слоистостью, дробностью, не безмерной, но безразмерной широтой сознания, которая то тешит и улаживает, то мучит (по большей части) — и тогда он изо всех сил пытается «сузить» себя, обретая искомую целостность в Церкви, но то, что ему здесь, в наличной церковной данности, предлагается, по мере

удаления от неофитства, всё более представляется ему прокрустовым ложем. Прав ли мой герой в таком своем отношении к делу — вопрос не ко мне (как автору; как частное лицо, готов обсуждать этот вопрос в другой раз, если интересно). Характерен ли он (при всей своей ежечеловеческой уникальности) — это уже ко мне. Отвечаю: еще как. Люди, которых называют то «меневцами», то «кочетковцами», и люди, которые не вменяются и в эти квазипонятия, при этом честные, не лукавые в главном, невзирая на тысячи частных лукавств, ходят по нашей стране косяками. Подозреваю, что местные разновидности таких людей есть и в других христианизированных постхристианских странах.

Подозреваю также, что человек, мучимый своей многосоставностью, в той же степени страдает от своей вторичности, сделанности, «артефактности» — и то «отрывает» всё им усвоенное и переваренное (плохо или хорошо), то вдруг отчаянно пытается прорваться сквозь вторичность, окультуренность к некоей мнимой или действительной первичности мысли и чувства, отождествляемых им с подлинностью. Согласен, подлинность и первичность — не всегда одно и то же; часто самое первичное, что хочется сделать — это, скажем, плюнуть на мостовую, но подлинно ли это самовыявление? Отделить «подлинное» от «вторичного» внутри вторичной же, т.е. выработанной веками культурно-цивилизационной работы человечества, системы ценностей, — предприятие, заведомо не менее тщетное, чем попытка отделить «первичный» биологический состав своего организма от того, что ты ел на протяжении жизни. Весь вопрос в качестве этой вторичности, в мере ее или чрезмерности — словом, в черте, за которой окультуренность из формирующей силы становится деформирующей. В каждом культурном человеке неостановимо сталкивается то и другое, живительная и губительная сила культуры, помянутая черта подвижна, а потому не может быть проведена для всех однажды и навсегда; стало быть, люди, остро чувствующие в себе насущность, но не самоценность напряженной работы мысли, фантазии, эрудиции и пытающиеся разобраться с этим чувством, будут всегда обречены на риск «метода тыка» — самоубийственного или спасительного? как когда; во всяком случае, не нашим «младостарцам», призывающим к отказу от своеволия, своевольно и недолгодумно отбирать у человека свободу, которой наделил его Господь, и бесконечно обвинять во всем интеллигенцию, вовсе не по злонамеренной прихоти или пустому капризу, а по естеству своему живущую свободною мыслью и бесконечной вереницей образов и ассоциаций, как крестьянин живет своею пахотой и вереницей навыков, передаваемых ему откуда-то... Впрочем, на это много есть чего возразить, но и на возражающего, в свою очередь, найдется управа — и так до бесконечности. Ясно одно: обилие цитат вовсе не связано с желанием автора продемонстрировать свою эрудицию, равно как и обилие, скажем, разговоров о Церкви не связано с желанием написать что-нибудь «новаторское по форме и религиозное по содержанию», а связано исключительно с желанием продемонстрировать работу сознания героя, подводные

течения, рифы и мели, наличествующие в фарватере, где происходит его внутренняя одиссея.

Теперь мы плавно перешли ко второму вопросу — о языке. Главное в школьном сочинении — раскрыть тему. Главное в сочинении художественном, простите за трюизм, отягчаемый тавтологией, — раскрыть тему художественными средствами. Или, как интеллигентно выражаются генералы, воюющие в Чечне, — адекватными. Коли уж сознание героя (а сквозь него пропущено всё происходящее) неисправимо сегодняшнее, т.е. в сильной степени тронуту тлением посткультурного, постхристианского, постмодернистского времени, — то и показать происходящее можно точнее всего, прибегнув к языку постмодерна.

Этого мне очень не хотелось. Но пришлось. Я боялся, но потом перестал и даже вошел во вкус.

Не хотелось потому, что я не поклонник литературного постмодерна. А вошел во вкус потому, что... Нет, так мы безнадежно запутаемся.

Попробую подойти к вопросу с другого бока.

Смутно помнится, что Чехов, отвечая на попреки прогрессистской критики, что-де он печатается у Суворина, бросил: «А мне всё равно, где писать, хоть на подоконнике».

Далее эстафету принимает Бунин. Как Вы, конечно, помните, его «Сны Чанга» начинаются словами: «Не всё ли равно, про кого говорить?»

Всё равно, где. Всё равно, о ком. Не тшась присоседиться к великим, рискну тем не менее потянуть далее ниточку из клубка, который все пишущие, большие и малые, обречены разматывать дальше. И скажу: не всё ли равно, к а к писать?

Не в том, понятно, смысле, что всё равно, хорошо или плохо. Вообще не в буквальном смысле. Ведь не буквально же и Чехову на подоконнике писалось так, как за удобным письменным столом. А как бы это пояснее выразиться... Скажем, если тебе не терпится сказать с в о е, если ты вообще набрался наглости думать, что у тебя за душой это с в о е есть, что оно не было уже сто раз сказано — и при этом таково, что его стоит высказать всенародно, — это одна ситуация. А если ты убежден, что с в о е г о не только у тебя, но и ни у кого в наше многомудрое и сверхискушенное время, нет и быть не может (а если вдрут и появится, то это ровным счетом ничего не значит, потому что мы живем п о с л е катастрофы, когда все в мире слова и смыслы по мере их чудовищного накопления потеряли какую-либо насущную серьезность), всё уже сказано, но перестать говорить всё равно не приходится, потому что говорит всегда не автор собственно, но «сам Текст» выговаривает себя посредством очередного автора, выговаривает всегда по существу одно и то же, но всякий раз по-новому и т.п. — это ситуация совсем другая. Первый случай самоочевидно требует языка традиционного или авангардного, но всегда определенно-личного. «Своего». Во втором случае автор, не принимая смысла высказывания близко к сердцу, служит транслятором голоса своего владыки — Текста, только успевая поворачиваться, чтобы озвучить

все его нынешние капризы, трансформации, извивы, но и — донести всевозможные когда-либо звучавшие голоса, доносившие предыдущие желания того же Текста ранее (ведь у бога-Текста абсолютная «вечная» память, в которой всё в с е г д а звучит, ничего не пропадает). В этом случае «автор» (точнее — очередная аватара Текста) принципиально говорит «чужим» языком, а точнее — многими чужими языками сразу, выполняя задачу составления всякий раз новой мозаики из, казалось бы, уже известных старых стеклышек.

Этот принцип, практически примененный впервые (если ошибаюсь, пусть меня поправят) в 13-й, 14-й и 15-й главах «Улисса», а теоретически пра-сформулированный Гессе в «Игре стеклянных бус» (дословно; и он о стеклышках!), позднее набрал уже мощные практико-теоретические обороты и прокатился по всему миру под пресловутым ныне именем постмодернизма.

У нас постмодерн (за исключением тех, кто им проживается творчески и материально) не любят и не уважают. Относятся язвительно и «прикладывают» походя. Но если Вы, исходя из написанного выше, подумали, что и я туда же, то напрасно. Я его тоже, грешным делом, не люблю; но отношусь серьезно. Уважаю. В его настоящем, цивилизованном виде. Джон Фаулз, Умберто Эко, еще ранее — Борхес (которого Эко безоговорочно зачисляет в стан постмодернистов) не несут ответственности за головные заморочки с сексуально-перверсивными прибабасами, обогащенные феньками и приколами, за густой ёрш «Бурый медведь», изготовленный нашими умельцами и выданный за классический, идеально уравновешенный коктейль «Мартини».

Настоящий постмодерн в высокой степени доброкачествен, съедобен, умен не в ущерб занимательности. Он хочет удивить тебя тем, что достойно удивления — и достигает цели. Он выполняет серьезную экологическую миссию, так как ставит вопрос о создании нового не за счет отбрасывания старого, а как раз за счет предельно возможного его сохранения и оживления. Это его вызов и пустопорожнему (ныне) авангарду, и вялотекущему (ныне) реализму — я имею в виду не людей, которые пишут, как слышат, и могут только так, как могут, подобно Б. Екимову — и получается чистое золото, а людей, имя им легион (утверждаю это как бывший сотрудник одного из солидных толстых журналов), убежденных, что они пишут в «лучших традициях великой русской литературы», и даже не задумывающихся о том, что традиции эти только и делают, что взрываются людьми, ее же составляющими. «Война и мир» — смешение кропотливейшего психологического реализма с костюмированным историческим сериалом (с кучей фактических ошибок), да еще с отвлеченным трактатом о свободе воли и законах истории — это ли не безумие для своего времени? Философские высоты и бездны Достоевского, опирающиеся на желтую прессу, газетную уголовную хронику, гениальный Ставрогин, вырастающий из бульварного «рокового героя», невероятный бестиарий «Мертвых душ», условно-декоративная словесная вязь

«Запечатленного ангела», «черная магия» «Пиковой дамы» с очень не полным «ее разоблачением», подлинный родоначальник театра абсурда Чехов... — довольно. Где во всем этом «простота и ясность», «типические характеры в типических обстоятельствах»?

В истории русской классической литературы исключений больше, чем правил, что значит — правил вообще нет, кроме одного — художественности, которую опять же «каждый понимал по-своему». Людям, которые продолжают «реалистически отражать жизнь», лепить «сочные образы» и создавать «полновесные характеры» (или наоборот) — или, напротив, продолжают 20 лет без передышка заниматься минимализмом, концептуализмом, писать стихи на карточках или девственно неистовствовать, принимать за откровения свои «видеомы» или опрокидывать на голову слушателей целые слова-пады, подобно К. Кедрову, — этим людям, хорошо они делают свое дело или не очень, в их безмятежности просто повезло отключиться, не слышать звучащего в воздухе, сочащегося из него, бесконечно тревожащего, как тревожило оно когда-то Треплева и стоящего за ним Чехова: нужны новые формы! но не старые новые формы! больше так писать нельзя! нельзя, как Толстой, и нельзя, как Джойс, и нельзя, как Хармс, и если ты новый Чехов, то нельзя, как Чехов, и если ты новый Мандельштам, то нельзя, как Мандельштам! не знаю почему, но нельзя, надо по-другому, нужно другое зрение, другая структура, другая плотность...

Но как, когда уже не осталось ничего «другого»? любое другое — такое же? И весь постмодерн, с его «интертекстуальностью» и «открытым текстом», весь он, как есть, с его «двойными агентами» и «симулякрами» — это, по существу, честное вопрошание: литература надоела, мы переели ее, она мертва — от Гомера до Солженицына, но она должна жить, от Гомера и до конца света, она должна сохранить главное, что есть у человека: слово; но как? И честный ответ: а хотя бы вот так. Пока не предложили большего.

Вот почему я уважаю настоящий постмодернизм, так же мало повинный в «постмодернистских штучках», как Платонов и Бродский — в 2/3 продукции студентов Литинститута.

И всё же я его не люблю. Во-первых, потому, что он сам, в свою очередь, надоел и умертвел. А во-вторых, у меня к нему еще претензия. Заменяв еще посредством Джойса, отца авангарда и постмодерна сразу, и религию истинного Бога, и политеистскую религию Литературы (с ее пантеоном — Бальзаком, Толстым, Достоевским), на пантеистскую религию Текста, постмодернизм неизбежно и программно пришел к своему основному постулату — смысловой горизонтальности, равнозначности всех возможных смыслов не по принципу их равной серьезности, а по принципу их равной несерьезности, игровости (у русских — игривости): всякий смысл второстепенен, когда всякий смысл в одной и той же степени важен лишь как материал для осуществления вечной игры творящих сил одушевленного Текста, равнодушной словесной Природы, которой остается «красою вечною сиять».

А я с этим не согласен. Я очень люблю жизнь языка и потому люблю многие тексты, а многие не люблю. Но я ни в коем случае не хочу

подчинить себя Тексту; я хочу, чтобы он писался с маленькой буквы и подчинялся мне, а я Богу. И я очень люблю некоторые смыслы, без которых для меня нет жизни, — а другие активно не люблю. А к третьим равнодушен. И выравнивание первых, вторых и третьих — для меня по точному смыслу и есть духовная энтропия, затухание живой жизни. Наконец, я просто сам по себе, к несчастью, принадлежу к тем неизбежно первобытным дикарям, которых никакая дальнейшая отесанность не может разубедить в глупой уверенности: им, лично им, пусть это маловероятно, — есть что сказать — и необходимо это что-то сказать на полном серьезе.

Вот такая ситуация. Мне нужно сказать что-то очень серьезное, очень важное для меня; но постмодернизм для этого не приспособлен. С другой стороны, это «что-то» должно быть сказано посредством изображения героя, пропущено сквозь его сознание: а дать картину его сознания, как уже сказано, можно лучше всего средствами постмодернизма. Вот ножницы.

В конце концов надо было что-то решать. Я не видел другого выхода, кроме как попробовать оторвать цели постмодерна от его средств, предположив, что это не всегда утопия, что в искусстве можно, едучи в Индию, открыть и Индию, и Америку сразу, что, в частности, постмодернизм, выдыхаясь как тотально-игровое мирозерцание, открыл тем не менее новый и плодотворный способ писать, генетически связанный со своими философскими основами, но допускающий и иное наполнение... В конце концов, если постмодерн — это игра, почему сразу плевать ему в бороду, бросая походя: «постмодернистские шутки»? Есть игра в «бутылочку», а есть игра на рояле, и кто сказал, что последняя не может быть серьезной?

Во всяком случае, есть повод это проверить: наполнить постмодернистскую структуру языка (в моем случае можно говорить только о языке, о стилевой множественности и «чужести», цитатности и всяческой «интертекстуальности»; сюжетообразование постмодерна я не трогал за ненадобностью) чем-то совершенно антипостмодернистским, чем-то на полном серьезе, чем-то своим-пресвоим — и посмотреть, что будет: взорвется он изнутри, перейдя в нечто иное? или всё же окажется, что никак невозможно присобачить нос Ивана Кузьмича к губам Никанора Ивановича? Я поставил на первое: на то, что невозможное возможно.

Вот что приблизительно я и имел в виду, говоря: всё равно, как писать. Просто или сложно, «от себя» или «от Пруста», реалистически или постмодернистски. Было бы только то, что Тенесси Уильямс считал сутью всякой жизни и всякого творчества и называл *сгі de соег* (крик души), а уж оно найдет, как высказаться на каких угодно языках. При условии, что ты их хотя бы немного знаешь. И тогда станет ясно, что можно играть словами, не играя смыслами... Даже не так: можно играть смыслами, оставаясь предельно серьезным в отношении с м ы с л а.

Я отобрал для своего эксперимента по подрыву или перерождению постмодерна изнутри несколько языков, наиболее удобных, подручных. Читатель сам скорейшим образом их различит, подобно Вам; я говорю об

этом только затем, чтобы отместить упреки, могущие по недоразумению возникнуть, в подражании Прусту, имитации Джойса и пр. Речь может идти не о влияниях и эпигонстве, а только о сознательном использовании той или иной модели в качестве г о т о в о г о языка, пригодного более других к описанию той вещи, которая меня в данном случае интересует. Если же язык этот использован косноязычно, то, во-первых, что поделаешь, мы и по-английски говорим плохо, но иногда приходится; во-вторых, это, может быть, и нарочно, потому как структура сознания интересующего меня героя деформирована и смята как по отношению к отшлифованной гармонии прустовской рефлексии, так и по отношению к блеску раскованного Джойсом хаоса. Герой прочно сидит меж двух стульев, и некоторая косолапость не может не быть свойственна ему в таком положении.

Наконец, стихотворные формы понадобились прежде всего, чтобы вывить условность всей языковой формы, включая «простой разговорный» язык, — условность, подобную языку драмы, где герои Шекспира, Пушкина или Ерофеева, чтобы не наскучить, переходят с прозы на стихи и обратно. Я хотел увести поиск реальности подальше от «реализма», от привычки последнего времени видеть правду в речевом правдоподобии. Лучше Расин, чем Лимонов: не потому, что меньше хамит, а потому, что глубже копает. Кроме того, для меня условность была важна в плане чисто музыкального развития темы, «голосов оркестра».

Да, ну а что же всё-таки (это я уже не Вам, а другому оппоненту) я хотел сказать? Ради чего проделал всё это? если этот мой *сгi de соеиг* — о любви, то — что он о ней кричит? Тут уже я был бы последним дураком, если бы собрался объяснить: кушанье само должно говорить за себя, мое дело — если попросят — только сказать, с чем его едят. Но одно в связи с этим вопросом скажу, не удержусь: накопело. Не знаю, как кому, а мне обидно слушать ставшее уже с незапамятных времен аксиомой утверждение, что интересен и остр только порок, а добродетель скучна и пошла, поэтому и может быть темой разве что мексиканских сериалов. То, что мы ко всему привыкли, еще не значит, что ко всему привыкать обязательно. Я, во всяком случае, не собираюсь. И вера, и жизненный опыт говорят мне, что хорошее труднее, сложнее, тоньше, а значит, и интереснее плохого, а пути добродетели не менее причудливы, чем стези порока. Самое же интересное — суметь не только изобразить диффузию добродетели и порока, но попробовать и в случае теснейшей их переплетенности отделить одно от другого. Если мне это хотя бы отчасти удалось — буду рад. Если всё же, по-Вашему, нет — не откажу себе в удовольствии еще раз спрятаться за цитату, так сказать, «на посошок», точнее, за две цитаты из авторов, друг о друге и слыхом не слыжавших: В. Розанова и В. Черномырдина — привычным уже читателю макарон сплавленные воедино: вот я — плохо; а что делать? пусть получилось, как всегда — хотелось-то, как лучше.

*С уважением. Искренне Ваш
Ю. Малецкий*

**ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ
И ЖУРНАЛОВ РОССИИ**

Современная проза, литературная критика¹

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы, литературной критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь

¹ Обзор историко-культурной, философской и религиозной мысли за 1-е полугодие 1996 года читайте в следующем номере журнала. — *Ред.*

остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, фило—софской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиального, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя.

Этот раздел БСК публикуется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

1. Художественная проза

Журнальная проза и во второй четверти 1996 года по-прежнему демонстрирует очевидную тенденцию все большего высвобождения журнальных страниц от засилья постмодернизма. При этом столь же очевидно и все большее преобладание в нашей литературно-художественной периодике прозы, обращенной к сегодняшнему дню.

Начнем ее обзор с некоторых публикаций, принадлежащих перу наших литературных знаменитостей старшего поколения — проблемно-тематическая нацеленность их текстов в какой-то мере характерна и для всей нашей сегодняшней прозы о современной жизни.

Назовем в этом ряду прежде всего новый «двучастный рассказ» Александра Солженицына «На изломах» («Новый мир», № 6). Он обращен к постсоветской России и этим отличается от прежних, где речь шла о реалиях советских времен. Аспект же все тот же: человек и эпоха, власть обстоятельств и свободный выбор добра или зла. В центре внимания — три судьбы. Емцов — директор крупнейшего оборонного предприятия, человек огромной жизненной энергии и немалых дарований, характернейший советский командир производства. Он и в новых условиях не теряет присутствия духа, перестраивает с присущими ему решительностью и размахом и свою жизнь, и подчиненное ему производство. Человек дела, он знает, что работы на его век хватит, и преуспевает в новой жизни по-прежнему (и по-новому). Вчерашний студент, ныне молодой финан-

сист Толковьянов с тоской вспоминает о былом своем идеализме, увлеченности наукой, однако и в текущей жизни не хочет потеряться, хотя и не видит для себя другого пути, кроме финансово-коммерческого поприща. Но недаром и тут он все-таки в слишком сомнительные аферы не включается, пусть даже банковское дело сегодня, как он убеждается, — дело по неизбежности грязное; не случайно и сам он чуть было не стал жертвой покушения, и пути его с товарищами по коммерции разошлись. Косаргин — бывший гэбист, боролся с крамолой, а теперь занимается организованной преступностью. Совестьливый служака тоже ощущает себя в новое время неуютно, потерянно и тем не менее тоже не соблазняется легкими деньгами в коммерческих структурах. Всякое время порождает свои проблемы, свои искушения. Писатель осуждает нашу эпоху за аморализм, духовную немощь — и в то же время свидетельствует о том, что человек сегодня сам выбирает свою участь и способен отвечать за свой выбор. Свобода чревата как соблазнами, так и возможностями. Судя по всему, А. Солженицына не оставляет все же поэтому надежда, что те, кто стоит за его героями в реальности, впрягутся-таки в одну упряжку, став той тройкой, которая выдохит и вывезет Россию из сегодняшнего хаоса. Сопрягая прошлое своих героев с их сегодняшним днем, писатель показывает, почему они не потерялись, «не расслабились от излома»: люди жизнестойкие, предприимчивые и лично порядочные, они живут не сиюминутными эгоистическими выгодами и интересами, а заботой об общем деле. Вот почему бывший «красный» директор, ставший дальновидным, гибким и оборотистым хозяином, готов помочь кредитами молодому банкиру, а банкир, несмотря на личную нелюбовь к людям из органов, готов и для них найти место в общем деле. Да и комитетчику есть место в общей связке — расследовать дело о покушении на банкира. Мысль автора ясна — хватит выяснять прошлые отношения и сводить старые счета, толковый человек любого возраста и с любым прошлым может найти себе место и дело в обустройстве России. Рассказ написан в обычной для Солженицына манере: четко, сжато, почти конспективно. Писатель уверенно и властно строит повествовательную конструкцию. Хороша и практически уникальна в современной прозе фактура современности.

Рассказ Фазиля Искандера «Золото Вильгельма» («Знамя», № 4) — строго говоря, не о сегодняшнем, а о вчерашнем дне. Но характерен угол зрения, под которым автора интересует сегодня этот вчерашний день. Перед нами история о том, как в позднесоветские времена молодой московский историк Заур Чегемба нашел в архиве документы о деньгах, полученных большевиками от немцев в 1917 году. С этого времени жизнь его превратилась в ад: чуть не в каждом встречном ему видится агент ГБ, и все тревожные случайности в жизни интерпретируются как цепь гэбистских провокаций. В интригу вплетается и романтическая нить, а неожиданная развязка имеет трагикомический оттенок. Рассказ интересен, однако, не столько самим по себе специфически-советским изломом, сколько общим поиском писателем своего «искандеровского» ключа к

богатству впечатлений и художественных возможностей, связанных с ушедшей эпохой. Второй рассказ Искандера «**Чик читает обычаи**» входит в известный цикл об абхазском мальчике. Городской гость, он старается читать в ауле Чегем деревенские обычаи — но делает это не всегда впопад. Тонкая история об органической полноте патриархальной жизни, с которой трудно совпасть, но которая дает ощущение осмысленности и радости бытия, о детском одиночестве и об его преодолении, прочно прикреплена к своему времени, а вместе с тем глубоко современна, ибо Искандер как никто умеет обозначить в нехитрой житейщине экзистенциальную основу человеческого существования.

Иной поворот современной темы в ее соотнесении с недавними советскими временами в рассказе Григория Бакланова «**Кондратий**» («Знамя», № 5). Герой рассказа — старик из русских немцев, доживающий последние дни и умирающий в богатом дачном поселке сторожем при чужой даче. Оказавшись без своего дома, брошенный и обобраный сыновьями, которые «переделались немцами» и уехали на свою «историческую родину», подбросив ему психически неполноценного внука, старик вспоминает свою жизнь, доискиваясь причины, почему она так неладно сложилась. И находит — всю жизнь он скрывал, что он немец, «жил, потаясь: то под стыдом, то под страхом», «всю жизнь себя не за себя выдавал». И получил то, что заслужил. Отрезанная память лишь перед смертью возвращается к нему немецкими словами из забытого детства...

Представим, наконец, читателю в этом ряду и **роман без сюжета** Сергея Залыгина «**Свобода выбора**» («Новый мир», № 6). Это многосюжетное и скорее публицистическое, чем романное повествование, — своего рода коллекция разнообразных сюжетов-замыслов, которые писатель Нелепин извлек из своей записной книжки в надежде на то, что в своей совокупности они фиксируют болевые точки сегодняшнего дня. Среди сюжетов — троллейбусные и вагонные разговоры, картинки с натуры, газетные вырезки, мемуарные эпизоды, беседы Нелепина с Николаем II, а Николая II со Сталиным, размышления о природе власти, о судьбах России, о большевиках и сегодняшних коммунистах. Обрамляющий и пронизывающий эту коллекцию сквозной сюжет — затея романа, в котором Нелепин собирался учинить суд над Николаем II. Но из-за событий, последовавших за его царствованием, Николай II оказался неподсуден, и роман не состоялся...

Содержательные мотивы, разработанные А. Солженицыным, С. Залыгиным, Г. Баклановым и Ф. Искандером, достаточно характерны, как уже сказано, и для остальной журнальной прозы второй четверти 1996 года, обращенной к сегодняшнему дню. В своей совокупности они очерчивают, в общем, если и не все, то, во всяком случае, основные проблемно-тематические границы ее содержательного поля.

Так, подобно А. Солженицыну, внимание и интерес очень многих современных прозаиков к сегодняшней нашей жизни непосредственно связаны с самыми острыми, болевыми проблемами сегодняшней судьбы

России в целом — с состоянием ее общества, с нынешними нравами, с социальным, нравственным, духовным обустройством ее перевернутой событиями последнего десятилетия реальности. При этом разброс авторских позиций в художественном осмыслении и освоении этой взбаламученной реальности так же, понятно, велик, как и в самой жизни, отражая все разнообразие и сложность существующих на этот счет в нашем современном обществе представлений и умонастроений — от откровенно тенденциозных, полемически заостренных ее интерпретаций, сплошь и рядом отдающих призвуками своего рода «идеологических разборок» с идейными противниками, до трезвого и ответственного художнического желания дать предельно удаленную от всякого выпрямления и упрощения объемную художественно-аналитическую ее картину. Правда, последнее удается гораздо реже, зато «идеологической прозы» по-прежнему на апрельско-июньских журнальных страницах (особенно в «Нашем современнике» и «Москве») предостаточно. Как наиболее характерные в этом ряду тексты отметим:

— Повесть **Андрея Воронцова** «Дело Румянцева» («Наш современник», № 6) обличает сегодняшние мафиозно-издательские безобразия. Его герой, «кассовый автор», писатель, успешно пекущий криминальные романы и уже вкусивший обеспеченной жизни и читательского успеха, задумал создать исторический детектив о смерти Пушкина. Его исторические изыскания (книжные выкладки и рассуждения вокруг них занимают значительный объем) помогли герою выстроить конструкцию будущей книги, где вина за смерть Пушкина возлагалась на А.И. Тургенева («Белая голова») и прочих масонов с их далеко идущими планами погубления России. Книга была быстро написана, но издательский Фонд, заключивший с ним договор, по прочтении отказался ее издавать. Другие издательские фирмы — по указке Фонда, у которого «все схвачено», — тоже ответили вежливым отказом. Герой обратился к частному издателю, известному своей неразборчивостью, тот, почуяв запах денег, не убоился, и дело, кажется, пошло. Но люди из Фонда выкрали жену героя, пригрозив расправиться с ней, после чего он зарекся разоблачать масонов. Трудно сказать, чего больше в этой повести — конъюнктуры или болезни.

— Повесть **Юрия Кузнецова** «Худые орхидеи» и его же рассказ «Случай в дублинской гостинице» («Наш современник», № 6). Эти опыты в прозе известного поэта имеют явно автобиографический характер и тоже производят странное впечатление. Герой с жестокого похмелья страдает слуховыми галлюцинациями — стуки неизвестного происхождения в соседнем пустом номере гостиницы, угрожающие и глумливые голоса из соседней квартиры, которые обвиняют, грозят расправиться, действуют электронным излучением и «подлым гипнозом». Кажется, ясно — допил человек до белой горячки. Однако повествовательные усилия автора сосредоточены на том, чтобы доказать, что его герой, сражающийся со своим кашмаром, страдает не бытовым алкоголизмом, а за отечество — «погибла Россия», все продается и покупается, дух развращают «темные

орды чужебесия» и прочие шутики из известного набора. И голоса — не просто так голоса, а известно кто.

— «Московские гости» Василия Белова («Русская провинция», 1966, № 1). Жанр этого небольшого прозаического фрагмента автор обозначил как «еще один документальный рассказ», но в действительности сколько-нибудь определенная жанровая характеристика к «Гостям» вряд ли приложима. Сюжет (московский приятель писателя так и не находит возможности навестить его в родной деревне) едва намечен и по существу является поводом для саркастических рассуждений о губителях России — демократах и Москве, представленной средоточием вражьей силы, которая «разорила, сполла и обезлюдела» страну. Москве, естественно, противопоставлена «глубинка», хранящая вечные национальные ценности, в частности — целительную русскую баню, занимающую центральное место в авторских обличениях и причитаниях, — баню, которую демократы «покушаются «похерить», навязав русским людям «голубой черномырдинский газ», годный только для «австрияков и немцев», с коими «сражались и погибли все как один тимонихинские мужики» — земляки Белова. Баня, таким образом, обретает символический смысл, а отношение к ней позволяет автору поделить героев «Гостей», да и весь населяющий Россию люд на «своих» и «чужих». По одну сторону воображаемых баррикад Белов помещает «Голю Передреева» и «Колпо Рубцова», а с ними и других близких своих знакомцев, в том числе Яшина, Заболотского, Шукшина — заступников земли русской, а по другую — ее палачей и мучителей, в ряд которых попадают и коммунистические функционеры, и Горбачев, и Шеварнадзе, и главные злодеи — А. Яковлев с Е. Гайдаром.

С близких позиций, но в более сдержанном и разумном их преломлении выступает и герой-повествователь рассказа Станислава Золотцева «Встреча у Синичьей горы» («Москва», № 6) — писатель, почитатель Пушкина, церковный человек и многозаботливый словесный хлопотун о путях и судьбах России. Он вступает в полемическую беседу с игуменом Святогорского монастыря. Суровый монах, обустроивающий вновь обретенную обитель в борьбе с музейщиками Пушкинского заповедника (суть борьбы обозначена намеками, но недобрый словом поминается покойный С.С. Гейченко, высоко чтимый рассказчиком), озвучивает известные тексты о несовместимости и Пушкина, и его языческого культа с православной верой. Игумен, кажется, не прочь, чтобы могила Пушкина перенеслась куда-нибудь подальше, за пределы монастырской ограды, а за нею и устремляющиеся к могиле потоки туристов. Объясняя нетерпимость игумена его афганской биографией, рассказчик никак не может с ним согласиться и выражает надежду, что со временем такого рода крайности будут смягчены и изжиты. Тройка, вылетевшая из леса в конце рассказа, призвана подкрепить эту надежду в сопровождении соответствующей цитаты из Гоголя и обильной выписки из И.А. Ильина.

Для авторов, пишущих в традициях так называемой «деревенской прозы», по-прежнему характерно при обращении к сегодняшнему дню сопоставление его с былыми временами, когда деревню еще питали животворные истоки народной нравственности. Впрочем, и здесь разброс авторских позиций достаточно широк — от ностальгических сожалений до оптимистических упований на то, что эти силы еще проявят себя.

Так, ностальгическая тенденция определяет собою атмосферу автобиографической повести В. Шавырина «Коза-дерева» («Русская провинция», 1996, № 1). Это воспоминания о деревенском детстве автора. В повести нет целостного сюжета, последовательного изложения событий; автор пишет, «как вспоминается». Человеческая жизнь предстает в разрозненных эпизодах, отдельных впечатлениях, рассказах о земляках, быто- и нравописательных зарисовках. Но через них передается история русской деревни от памятной бабушке автора-героя «сказочной», счастливой дореволюционной поры — с зажиточными крестьянскими дворами, полными большими семьями, обильными урожаями, праздниками — до сегодняшнего исчезновения деревни с лица земли. Этот горький путь увиден одновременно и непосредственным взглядом ребенка, для которого жестокая, голодная жизнь — единственно знакомая и потому естественная, и взглядом взрослого, способного оценить и меру изуверства власти, ведущей вечную борьбу с народом, и неодолимую волю к жизни народа, меру его терпения, трудолюбия и незлобivosti. Нынешнее свое отпадение от заповедного мира деревни автор ощущает как безродность, сиротство, а скудное и тяжелое детство свое вспоминает как «лучшее, что было на горькой дороге из славян в варяги». Преходящесть русской деревни в ее законсервированном на десятилетия большевиками «первобытном» состоянии кажется автору преходящестью самой России.

Ю. Красавин в рассказе «Архипов» («Русская провинция», 1996, № 1) повествует о деревенском парне, который, выбившись в начальники, приезжает в родную, заброшенную, оставленную почти всеми жителями деревню с намерением вернуть ее к жизни. Герой строит коттеджи, чистит пруд, в одно мгновение осуществляет хозяйственные мечты (о дровах на зиму, например) стариков-земляков, он исполнен благих намерений, бескорыстен... Но владеющий им цивилизаторский пафос оказывается враждебен самой сущности деревенской жизни: из нее уходит естественная красота и воля, вольный дух. Автор сегодняшнему упадку деревни противопоставляет не ее модернизацию на западный лад, а ее былой, рубежа веков, расцвет. Тогдашний облик деревни, однако, невозвратим, а тогдашний путь развития безнадежно утрачен.

В ином жанровом повороте та же тема предстает перед нами в «Современных сказках» Татьяны Погодиной («Русская провинция», 1996, № 1), привлекательных бесхитростностью, безыскусностью повествования. В сказке «Про то, как живут в деревне Моркины Горы» автор создает идиллический мир, населенный деревенскими старушками и медведями — работящими, ласковыми, веселыми, годными и крестьян-

ские работы справлять, и с председателем в карты играть, и городских внучат местных бабок нянчить. Медведи заменили в колхозе оставивших деревню мужиков. Исход мужиков (общий для деревенской прозы мотив) — знак обреченности деревни — в сказке Погодиной волшебным образом, усилием воображения лишен трагического смысла, но именно такое — сказочное, несбыточное — решение проблемы и придает повествованию призывок печали.

В жестком реалистическом ключе обрисована сегодняшняя деревня в рассказе **Евгения Носова «Яблочный Спас»** («Москва», № 5). Деревенская старуха, его героиня, на войне была снайпером, а теперь одинокая, никому, кроме своего кота, не нужная, позабывшая властью и людьми в своей кухоньке, оставшейся от спаленного заезжими цыганами дома, она безропотно несет свой крест. Чужая в новой жизни, несмело, но набирающей обороты, она стала заложницей прошлого, осталась в историческом тупике, который был ее жизнью.

Рассказ Владимира Сапожникова «Анютины глазки» («Новый мир», № 5) тоже повествует о неудавшейся женской судьбе, но здесь уже — молодой деревенской женщины. Прорисован жесткий рисунок судьбы — если уж на роду написано, что не видать счастья, то и не видать...

В ностальгически окрашенных рассказах **Александра Веденеева** («Север», №№ 5, 6) описывается вымирание северной деревни, где остались последние старухи — они продолжают трудиться, не желая никому быть в тягость, и в сравнении с этими держащимися своей правды, своих крепких устоев старухами их молодые современники — жалко, бесцельно и мелочно суетящиеся людишки.

Зато неподдельной душевной крепостью и безунывностью веет от маленьких повестей **Валерия Кобылина** («Север», № 4). В повести «**В деревеньке на реке Юг**» две бабки-подружки, глухая и хромая, последние жительницы брошенной деревни, встретили хлебом-солью блудного земляка, после 30 лет скитаний по тюрьмам вернувшегося в родную деревню, чтобы чем-нибудь в ней пожить. Когда он украл у них последние деньги, бесстрашные бабули поймали вора и, отобрав краденое, крепко поучили его палкой. В повести «**Рыжчики**» герой, мужчина не слабого телосложения, серьезный и положительный, оказавшись во временно безработных, не потерялся, а отправился в Архангельск на базар — продавать отборные, собственноручно укупоренные в банки соленые рыжчики. И этот день стал для него праздником, вернув забытое ощущение юности, удачливости и единения с хорошими людьми. Товар оказался ходкий, герой перезнакомился с соседями-продавцами, стал быстро распродаваться. Наехавших на него рэкетиров он не испугался и, не посрамив веры в него новых знакомых, уложил отдохнуть на асфальте. Удачно сбежал от милиции вместе с молодой товаркой Лариской, радушно угостил ее в ресторане, отметив знакомство, после чего, перегруженный впечатлениями от своих подвигов, благополучно отбыл домой, к родной жене.

Разнообразны подходы апрельско-июньской журнальной прозы и к более широко представленным в ней *городским* (по преимуществу) *пластам современной жизни*. Здесь мы находим и попытки более или менее объемного, «панорамного» ее запечатления, и более локальные *зарисовочные картинки* ее нравственно-бытовых и психологических проявлений, и претендующие на ту или иную типажность человеческие истории наших современников, поданные, как правило, под тем или иным моральным углом зрения.

Так, «Семейная хроника» Людмилы Улицкой «*Медея и ее дети*» («Новый мир», №№ 3, 4) представляет собою доведенную до наших дней историю греческого рода Синопли, обитавшего в Крыму с незапамятных времен. Родовое дерево с мощной корневой системой засохло бы среди превратностей советской истории, если бы не Медея, собирательница рода, хранительница его традиций, памяти и преданий о мертвых, тайн и проблем живых. Медея — медсестра, ныне крепкая старуха, в чей крымский дом летом съезжаются многочисленные родственники. С той или иной степенью подробности описана жизнь каждого из них, немало места отведено и жизни самой Медеи. Под ее ненавязчивым присмотром угасший, казалось, род выстоял, пустил новые побеги — вокруг дома бездетной Медеи в Крыму идет живая жизнь, к ней, как к магниту, притягивается ее многочисленная многонациональная семья с безнадежно перемешанной кровью — греки, русские, евреи, украинцы, татары. Жизнь продолжается — женитьбы, разводы, смерти, рождения, грешная любовь, детские дружбы и влюбленности. Повествование, разветвляясь, возвращается к своему истоку — роду, семье, Медее, но эти ответвления, связанные с жизнеописаниями отдельных персонажей, временами увлекают автора далеко и надолго в случайные стороны. Это оставляет впечатление художественной неуравновешенности, инородности, неорганичной вмонтированности отдельных сюжетов, разной смысловой насыщенности и разной плотности письма. Во второй половине этой многогеройной рыхлой хроники на первый план выходят двое: Ника и Маша, две прельстительные столичные дамочки, которые попеременно пользуются благосклонностью завязанного ловеласа Валеры Бутонова, аса любви и секса. Хроника сменяется историей адульгерных походов. Улицкая обо всем рассказывает увлекательно, подробно, вкусно, с красивыми подробностями и переживаниями. Гедонистическая этика сочетается в ее мире с сентименталистским любованием персонажами — грешными, но милыми путаниками. Напрасно, однако, ждать от автора больших идей или скольконибудь внятного морального суда. Жизнь течет здесь вне сферы морали, люди стремятся к радостям и наслаждениям — и нередко имеют их, хотя иногда на их головы откуда-то сваливаются и несчастья. Милый, уютный, неглубокий женский лепет.

На сходном мыслительном уровне, но уже в менее бодрой тональности написан роман Валерии Нарбиковой «... и путешествие» («Знамя», № 6) — не роман и даже не повесть, а длинный рассказ с рассуждениями.

Героиня по домашнему прозвищу Киса изменяет мужу Александру Сергеевичу (пушкинские аллюзии мелькают тут и там). Муж страдает, Киса тоже страдает, но сохраняет верность своей кошачьей природе. Исполнители ролей в этой психодраме, безучастно регистрируемой автором, пишут стихи — плохие и хорошие. Поверхность жизни можно сколько угодно разнообразить и раскрашивать, из одной жизни можно устроить две или три, но механика жизни проста и скучна, о чем неумолимо свидетельствует авторская интонация. Любопытно в этом плане рассуждение о православном кладбище с его «помоечной» живописностью, которая больше греет души живых и покойников, чем «расчетливое» католическое кладбище.

Еще одна «женская проза» — повесть **Нины Катерли «Красная шляпа»** («Звезда», № 4). Это психологический детектив, слабодушного героя которого направляет в жизни сильная, волевая теща. Как-то герой согрешил с подружкой своего сына, и события разворачиваются так, что позволяют ему некоторое время спустя, после смерти подружки и тещи, подозревать последнюю в убийстве... Можно, однако, предполагать, что девушка погибла по своей вине, от передозировки наркотиков, — таким образом, особой вынятностью авторской мысли повесть не отличается, не говоря уже о какой-либо «сверхзадаче». По-другому написана еще одна повесть **Нины Катерли «История Лучшего города»** («Нева», № 4) — антиутопия об обществе тоталитарной гигиены, городе, где никто никогда не огорчается, а главный и единственный принцип жизни — польза. По форме это простодушный апологетический сказ.

Куда меньше простодушия в крепко сделанных **рассказах Валерия Короткова** («Урал», № 4). В них преобладает мотив бессильной ярости. **Рассказ «Носом к стенке»** — горячечный монолог упертой в одну точку женщины, режиссера облдрамтеатра, которая всеми силами души ненавидит двух супругов-«основоположников» — главрежа и примадонну, вечных Ромео и Джульетту, разжиревших на номенклатурных харчах и подачках, нагло хозяйничающих в театре, выдавая свой убогий и пошлый балаган за великое искусство. Герой другого **рассказа «И последнее, чтоб не забыть»** — одинокий беспомощный старик в инвалидной коляске, бывший капитан второго ранга, которого раз в неделю в его квартире навещает любимая внучка, приносит еду, моет его, стирает, убирает. В ожидании ее прихода старик с большими усилиями отыскивает свой кортик и привешивает его на бок, чтобы, когда она придет, не забыть подарить ей. Но каким-то нехорошо обострившимся зрением видит в пришедшей внучке некрасивую, неряшливую, заезженную жизнью женщину — запойной матерью, больным ребенком, уставшим от такой жизни мужем, угрозой сокращения на работе. И старик, негодуя на то, что сделала с ним и с нею жизнь, думает зло: «хрен те кортик». Он выбрасывается из окна, а кортик прибирает себе нашедший его тело дворник.

В совсем другом нравственном ключе написан **рассказ Николая Евдокимова «Ольга Александровна»** («Октябрь», № 4). Вся семья заглав-

ной героини погибла в советских лагерях, сама она долгие годы провела в ГУЛАГе и навсегда осталась одинока. В старости она — бывает же такое! — встречает своего бывшего мужа, с которым была вынуждена расстаться вскоре после бракосочетания. Но он умирает. Тогда Ольга Александровна отправляется на поиск доносчика, по вине которого оказалась загублена ее жизнь. Но находит она беспомощного и беспамятного старика, такого же одинокого, как она сама...

С этим сентиментально-бытовым повествованием перекликаются отчасти незамысловатые **рассказы Владимира Крупина «Тихий воз на горе будет» и «Вредная старуха»** («Москва», № 4), преследующие откровенно дидактические цели. На примере своего поединка с неохватным пнем, который надо было расколоть на дрова, писатель рекомендует катить наш общий воз в гору по-мудрому, не торопясь, помаленьку-потихоньку. А старуха из другого рассказа, прислуживая в церкви, возгордилась своим умением наводить блеск и чистоту, знанием службы и храмовых правил, допекая своими замечаниями священника и прихожан. Но к концу рассказа она обретает смирение и перестает вредничать.

Сентиментально-моралистический характер носят и **«Простые и волшебные сказки» Людмилы Петрушевской** («Октябрь», № 4) — стилизация историй в манере Г.Х. Андерсена с использованием современных реалий (ТВ, компьютер и т.п.).

А **рассказ Галины Щекиной «Инверсия»** («Дружба народов», № 4) — это скорее история о «сложности жизни», изложенная тоже не без изыска и игры воображения. Современный молодой человек, фотохудожник, рассказывает о своем учителе, таланте, сотканном из противоречий и пороков. Возникает в рассказе и мотив странной любви.

Представлен в журнальной прозе обозреваемого периода и *опыт соприкосновения современных россиян с жизнью «дальнего» и «ближнего» Зарубежья.*

Наиболее примечательны в этом ряду **«Израильские записки» Михаила Козакова «Третий звонок»** («Знамя», № 6). Это обстоятельный и темпераментный рассказ известного артиста (в придачу к другим своим талантам не лишено и литературного дарования) о том, как и почему он перебрался на жительство в Израиль, как его тут проводили, а там встретили. И что после двух лет непрерывного, но плодотворного кошмара представляет собой теперь его тамошняя жизнь — личная и театральная. Автор явно не жалеет о содеянном, но собирается ли продолжать эту жизнь — неясно.

А герой **рассказа Андрея Волоса «Свой»** («Знамя», № 5), тоже москвич, остается в Таджикистане: очень ему там нравится. Он пытается стать своим в чуждом социокультурном мире, но его не принимают аборигены. «Своим» герой становится только в момент смерти: его убивают, приняв ночью за представителя враждебного клана...

«Хазарский ветер» Афанасия Мамедова («Дружба народов», № 5) — рассказ о советском и нынешнем Баку. Герой приезжает в город,

чтобы забрать оттуда свою дочь, рожденную вне брака. Это энергичное, мускулистое повествование с лирическими интонациями о неизменно суровых уличных нравах Востока.

Поиски человеком своего места в жизни на фоне и в условиях ее сегодняшнего движения — тоже одна из постоянных тем текущей журнальной прозы.

Герой повести **Михаила Федорова «Отпуск на край света»** («Урал», № 4), следователь райотдела милиции, испытывает, как сейчас говорят, кризис идентичности. К тому же он запутался между двумя женщинами — своей и чужой женой. И вот он берет отпуск и за казенный счет отправляется на край света — на Камчатку, где никогда не был, надеясь, что дальняя дорога поможет ему разобраться с собой и со своими делами. Величественные пейзажи, которые разглядывает равнодушный к красоте следователь, сменяющие друг друга вагонные попутчики со своими заботами и разговорами, в которых уставший от чужих исповедей следователь мало участвует, высадка ночью на случайной станции, от которой повеяло детством. Но вместо поманившего детства — перед ним труп женщины, которую убил топором ее сожитель, и местный участковый просит заезжего гостя поучаствовать в расследовании — как будто тому мало трупов дома. Снова поезд, пейзажи, попутчики. Кульминация повести — доехавший до Петропавловска герой взбирается на вершину Сопки Любви: «Он терпеливо ждал божественного откровения... «Что мне делать, Господи?» И вдруг снизу донеслась искаженная и усиленная далеким динамиком фраза: «Да пошли ты ее!..» Остолбеневший герой, так и не поинтересовавшись, кого «ее» имело в виду откровение, отправляется в обратный путь. Он возвращается в родной город, где его с равным нетерпением ждут служба, жена и любовница, из объятий которых ему, кажется, уже не вырвать новый праздник своей бессильной свободы...

Несколько иначе, но столь же пессимистически моделирует тему жизненных поисков своего героя **Сергей Яковлев в рассказе «Ловушка»** («Новый мир», № 4). Жизнь героя заходит здесь в тупик едва ли не по всем направлениям. На работе он не нужен, в семье все остыло. Своим «москвичом» он оцарапал чужой «мерседес» и боится теперь мести его владельца, связывая все события в цепь методично-беспощадного преследования со стороны неведомого врага. Кроме того, герой поддается соблазнам: невзначай испытывает чувственное влечение к мальчику-сыну приятеля и ощущает ответный флюид; грешит с сослуживицей без большой охоты, от нечего делать. Смерть героя в результате взрыва газа и пожара может быть интерпретирована как некое возмездие — или освобождение от тяготы бытия.

В этот же ряд можно поставить и повесть **Георгия Прусова «Никто не ждет»** («Нева», № 5). Это монолог питерца, неприкаянного гения застойных времен, который работает в котельной, — романтическая история об отщепенце-одиночке, маргинальном существе, не знающем, куда себя применить. Он не видит особого смысла в литературном

творчестве, но продолжительно философствует, размышляет «о системе подлости, господствующей на суше и на море», самолюбиво ворчит, испытывая горделивую неприязнь к окрестному миру. Он умеет за себя постоять, заявить свое право на независимость и отстоять его в борьбе со всяким сбродом, «победителями, властвующими подонками», в играх которых он не участвует, не желая «хрюкать и мычать» в компании. Примешивается в повествование и мотив несмелой влюбленности. Немалый объем повести дает, однако, простор не только живописным бытовым деталям для блесков остроумия, но и для самолюбования героя и пространного его занудства. При этом автор от героя не дистанцируется.

Претендуют, как ни странно, на смыслообразующий жизненный подтекст и «почти что мемуары» Игоря Степанова «Воплои, кичи!» и «Бонжур, Одесса!» («Урал», №№ 1, 3) — история похождения уральского барда Степы, сопровождаемая его бардовскими творениями, аккомпанирующими сюжету. С пятого на десятое, с хохмами и приколами повествуется о гастролях Степы на Арбате, откуда он заехал в Париж, где пил, гулял, похмелялся, но где его русской душе, желающей выйти из цивилизованных берегов, было тесновато. Зато в одесском спецприемнике, куда Степа загремел на месяц для выяснения беспаспортной личности и где быстро обзавелся корешками, — самый кайф. Местами занятая, а местами петая-перепетая вещичка, славящая «естественность» такого, как у Степы, существования...

Читатель не раз встретится, однако, в текущей журнальной прозе и с произведениями, для которых характерен более глубокий уровень художественного осмысления экзистенциальных ценностей человеческого бытия, сообщающий им порою, как и в случае с Искандером, качество серьезной экзистенциально-философской прозы.

На близких подходах к ней мы застаем, например, Михаила Гиголашвили в рассказе «Похлебка для человечества» («Знамя», № 6), где он описывает один день из жизни тбилисского юродивого Гижи-Колы. Все люди хорошие, и Кола незаслуженно счастлив от их ласки и доброты. Он смеется вместе с ними, когда над ним смеются или издеваются, не замечает, когда его обируют и обманывают, а если его гонят и бьют — то виноват сам Кола, он сделал что-то не так. Но он всех любит и хочет позвать к себе и накормить всех голодных...

К смыслу рассказа Валерия Пискунова «Кормление дракона» («Знамя», № 6) приходится продираться через труднопроходимые заросли философизмов. Пленной мысли раздражение нагромождает вопросы о множественности смерти, о ее физике и пределах, о расхождении двух существований — тела и души, о семи смертных грехах, предсмертной полноте знания и прочих интересных и пугающих материях. Сквозь это темное, но энергичное вопрошание просвечивает также желание автора посрамить «говорливых» пушкинистов — предлагается собственное прочтение отдельных строк из «Пира во время чумы». Но, наконец, к концу рассказа окончательно потерявший нить и смысл читатель вознагражда-

ется все-таки за терпение ясным, хотя и не рядовым сюжетом. Рейсовый автобус остановлен боевиками, водитель убит, пассажиры взяты в заложники. Рассказчику, ехавшему в том автобусе, каким-то образом удается выжить, чтобы поделиться с нами и уже вполне реальным и серьезным своим опытом смерти и смертного греха...

Близкая ситуация и в рассказе **Владимира Блинова «Прощай, Хорейнюр»** («Север», № 4). В оленеводческий поселок — тундра, ненецкая экзотика, радист-романтик, бригадир-реалист, красавица-вдова — прибывает журналист из областной газеты с пошлыми ухватками бойкого газетчика и покорителя сердец. Но из командировки он отбывает человеком, в котором, кажется, что-то сдвинулось — и тоже после того, как он походил рядом со смертью.

Неподдельной нежностью и грустным юмором светится рассказ **Вячеслава Марченко «Воробьянинов»** («Север», № 4) — о дружбе с замечательным котом, независимым, строптивым и верным. Это рассказ об одиночестве и предательстве, о верности своей природе и верности дружбе, о том, какими душевно глубокими могут быть отношения человека с животным.

Наконец, особо отметим в этом ряду три наиболее значительные, на наш взгляд, вещи.

Анатолий Азольский в повести «Клетка» («Новый мир», №№ 5—6; название пользуется повышенным спросом — см. рассказ Н. Полянского «Клетка» в журнале «Соло» и роман М. Попова «Клетка» в журнале «Лепта») рассказал еще одну историю о людях советской эпохи, зажатых в ее тиски. Биографические авантюры главного героя, Ивана Барина, связаны с попыткой выжить, не сдавшись властям, не капитулировав перед смертельным прищуром режима. Жизнь Ивана — это практика существования «в нетях», опыт перманентного бегства. Но он пытается еще и спасти своего двоюродного брата Клима, талантливого ученого-генетика, сберечь женщину, которую полюбил. Судьба, однако, щедра на потери. Манера автора традиционна для него: суховатый сказ, вложенный в уста беспристрастного, умного свидетеля. Наряду с опубликованными в «Континенте» «Окурками» это лучшая на сегодня проза Азольского, чей творческий взлет признали, наконец, даже и капризные критики из газеты «Сегодня» (см., напр., № 102).

Очень своеобразна хроника **Юрия Петкевича «Возвращение на родину»** («Дружба народов», № 5) — история одного семейства, обретающегося в деревне Гробово и провинциальном городке Снове-Октябре. Оригинальные повороты судеб, необычное, причудливое поведение персонажей, приливы и отливы чувств, затейливые детали — из этого соткана изящная сентиментальная стилизация, лейтмотивы которой — чудесность, неисповедимость жизни, тайна родной земли, влекущей к себе непонятно чем. Пунктиром намечен фон — события большой истории XX века, пребывающие за пределами восприятия героев и их оценки. Устранен из повествования и всякий намек на возможность моральных колли-

зий. Герои Петкевича живут как бы вне истории — как деревья и травы. Они связаны неким фатальным движением судьбы, смысл коей прекрасен, но им неведом.

Несколько подробнее скажем о романе А. Белая «Гром. Совершенный ум» («Лепта», 1996, № 30). Он написан намеренно сложно, что подчеркнуто, в частности, графикой текста: значительные по объему фрагменты представляют собой словесную вязь, не разделенную на предложения, как бы истекающую из сознания слитным потоком. С трудом прочитывается — угадывается сюжет романа. В его основе некая семейная драма (герой оказывается неродным отцом дочери, девочка-подросток погибает). Но автора занимает не конкретное (скажем, социально-психологическое) наполнение ситуации, а метафизическое. Точно так же автору интересны не характеры героев, а те состояния, проявления человеческой природы, моменты жизни духа и плоти, которые через них можно выразить. Так, отец — это «вообще «интеллигент, застигнутый среди привычных игр в духовность, утонченность, изысканность смертельной «духовной жаждой», в д р у г взыскавший Божьей правды и познавший не приятные терзания, позволяющие любоваться собственной возвышенностью, но подлинные, едва переносимые. Изображение мира героев выдержано в целом в прустовско-джойсовском ключе (хотя одна сцена написана нарочито под Достоевского). Автор создает особую оптику, как бы в увеличительное стекло рассматривая предметы, жесты, мимические движения персонажей, вводя в избытки физиологизмы, бесконечно затягивая темп повествования, силясь передать трудно уловимые словом ощущения потоком сложно сопряженных ассоциаций. Иногда такое повествование разрывается философскими монологами героев, резонирующими авторским идеям и переживаниям. Особенно значимы рассуждения героя из вставного эпизода романа, поданного как рукопись, которую читает девочка-героиня. В этом эпизоде повторен состав персонажей — отец, мать, сын, дочь. Но они явлены преображенными, очистившимися от скверны. Недаром здесь витает призрак Гоголя, возникают цитаты и реминисценции из второго тома «Мертвых душ». Ад оставлен позади, герои вступили в пределы Чистилища. Как было обещано Гоголем, явились миру и умудренный муж, и прекрасная русская женщина. И Рай обещан — образом сына героя, — сына, которому с младенчества открыты тайны бытия и дана власть над жизнью. В речах отца звучит анафема современному миру и человеку-богоотступнику, поддавшемуся искушению и обольщенному сегодняшними западными приманками цивилизации, философскими и художественными течениями. «Доморощенные умишки», как считает пророчествующий герой (а также, вероятно, и автор), овладели сознанием и русского человека, которому вообще-то «зараза» «зауми, абсурда, иррационального» не свойственна. Враждебен Божьему промыслу и современный культ «Жизни-на-Земле», которую в кромешном заблуждении полагают противостоящей Смерти, тогда как смерть — лишь «иная ипостась того, что боготворят». С этой точки зрения,

разрушительность по отношению к природе прогресса следует принимать как проявление Высшего замысла — как движение к Апокалипсису, к жизни в духе, а не «по природе».

Роман Белая производит впечатление, несмотря на неожиданность формы, очень личностного, исповедального высказывания, что вполне обнаруживает себя в заключительном фрагменте с символическим названием «У ограды», в котором автор становится персонажем текста. Автор-герой является тогда, когда он, по его признанию, исчерпал прежнюю жизнь и готов сделать «последний, он же первый — шаг» к иному — не опосредованному — существованию, такому, при котором не будет нужды в словах, этих «условных обозначениях, неизбежных извержениях родной речи». Автор отрясает прах «ветхих химер» Достоевщины, нищезанятия, фрейдизма, «трагизма», «абсурда» — всех излюбленнейших интеллигентских верований и пугал двадцатого века, чтобы обрести нового героя, не мудрствующего лукаво, но готового спасти и спасающего (буквально) автора в финале романа.

При всей несомненности переключек романа А. Белая с поэтикой так называемого «постмодернизма», его нельзя отнести, однако, к этой традиции — в ее «правоверной» модификации. А. Белая не играет смыслами и, какое бы отношение ни вызывала к себе его собственная духовная позиция, она не основана на принципе их относительности. Но в текущей журнальной прозе немало и вполне «правоверных» *постмодернистских* текстов, хотя, как уже сказано, их засилью приходит конец.

Отметим в этом ряду прежде всего замысловато выстроенный роман **Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота»** («Знамя», №№ 4, 5). Автор использует в качестве материала известный роман Фурманова, а также анекдоты о Чапаеве, Петьке и Анке. Но он заново сочиняет стоящую за ними «реальность», представляя Чапаева дзен-буддистским мастером, Анку — его опытной ученицей, а Петьку — декадентским поэтом, который, став адъютантом Чапаева, делает первые шаги к постижению дзенской мудрости. Параллельно развивается история, в которой Петька — пациент сумасшедшего дома в наше время (он и его сопалатники ввергаются в разнообразные приключения). По дзенской логике, нельзя сказать, то ли Петька — бабочка, то ли бабочка — Петька. Автор оставляет открытым вопрос о том, Петьке-адъютанту ли снится Петька-псих — или наоборот, психу снится гражданская война в буддистских декорациях. После «Монограммы» А. Иванченко это еще одна попытка привить буддизм «к российскому дичку», попытка не менее спорная и сомнительная. В игровом пространстве посредством чистого умозрения подобные артефакты создавать, конечно, можно. Но как только литературная игра вступает в контакт с реалиями отечественной истории, в этом месте начинает искриться. Роман написан мастеровито, но его немалый простор великоват для читательского восприятия. После того, как поймешь, куда клонит автор, читать роман становится скучновато. Приема хватает, в сущности, на рассказ. В объеме рассказа и стоило бы Пелевину уложиться.

В романе Геннадия Николаева «Стоп амебы» («Нева», №№ 4, 5) на Байкале появляется невесть откуда необычайная субстанция, гигантская амеба, производящая «кисель», употребление которого размягчает человека, делает его добрым и довольным всем на свете. В пространном повествовании в связи с этими чудесами возникает повод для разнообразных катавасий, бытовых драм, всевозможных разборок, а также и для засвидетельствования верной и преданной любви. По ходу дела выясняется, что амеба, явившись из глубин бытия, имеет задачей гармонизацию жизни на земле путем устранения всех и всяческих различий и конечного слияния всех землян в едином блаженном целом. В политическом плане на это по-своему реагирует советская власть. В философическом плане возникает вопрос о целесообразности такого рода деиндивидуализации. Автор идет по стопам Стругацких, Лема и тому подобных фантастов-интеллектуалов, но роман оказался явно затянутым, лишенным динамики, а мысли автора зачастую тривиальны.

Назовем также:

— повесть Сергея Антонова «Свалка» («Дружба народов», № 4). Это серия эпизодов, общий смысл которых в том, что люди превращаются в муляжи (в лучшем случае — из художников в официантов), а окрестный мир — в свалку;

— рассказ Вячеслава Пьецуха «Ночные бдения с Иоганном Вольфгангом Гёте» («Новый мир», № 5), где начитанный современный водопродчик беседует по ночам с являющимся ему немецким классиком на разные возвышенные темы. Разговор идет на равных, а порой водопродчик и поучает наивного немца;

— сочинение Дмитрия Елисеева «Кинжал и пистолет, фрагменты из «Фауста» («Нева», № 4). Это первая публикация молодого автора — интеллектуальная конструкция в манере Борхеса и Эко: довольно замысловатая иллюстрация тезиса о том, что достоверно существует только то, что существует в сознании. В условной реальности новеллы 29-летний аристократ, директор публичной библиотеки в Петербурге, встречается в провинциальной европейской гостинице с таинственным призраком. В духе романтической новеллы привлекается и загадочная рукопись о Фаусте и Мефистофиле.

В рассказах Бориса Хазанова («Октябрь», № 5) тоже много игровых ситуаций, фантазийных ходов, интеллектуальных диспутов, рассуждений на глобальные темы. Автор обнаруживает превосходное знание литературы Запада, с которой активно корреспондирует его проза.

Назовем, наконец, и «Мать Кирсана-плотника» Григория Петрова («Октябрь», № 5) — новый римейк евангельской истории (после «Первого второго пришествия» А. Слаповского). По канве Евангелия сочиняется рассказ о весьма необычном русском человеке нашего века, Кирсане-Санечке, с живыми подробностями простонародной жизни. На сей раз Петров уж слишком явно ударился в конструирование реальности. Имитация

простодушия выглядит здесь комично, пародийно. Игра с сакрумом себя едва ли оправдывает. Евангельский миф травестирован, а изображаемая реальность нашего века потеряла серьезное значение.

Возвращаясь к литературе более традиционных жанров, завершим наш обзор прозой исторической.

Начнем с обширного исторического романа Александра Сегеня «Тамерлан» («Москва», №№ 3, 4). Это традиционная историческая стилизация, повествующая «о богомерзком антихристе и лютым кровопроливце, хромом царе Тамерлане». События романа разворачиваются в первые годы XV века в Самарканде при дворе эмира Тамерлана, готовящего поход на Китай. Но смерть эмира, сначала мнимая, потом настоящая, определяет неудачу этого последнего похода. Автор рисует вероломного, хитрого, жестокого деспота, окруженного дрожащими от страха подданными, не перегружая свое повествование сверхзадачами.

Другая стилизация — историческая повесть Леонида Бородина «Царица Смуты» («Москва», № 5). На троне только что избранный на царство Михаил Романов, Россия, изживая Смуту, готова объединиться и преодолеть вражду и взаимные распри, начинается другое время — собирания сил и строительства. Марина Мнишек, воплощая идею Смуты, обречена на поражение; обреченность усугубляется еще и тем, что она не может понять безнадежно чуждого ей склада русского народа. Слепленная гордыней, возомнив себя орудием высших сил, она не видит, что она орудие сил и замыслов дьявольских. Потеряв одного за другим своих приверженцев, Марина остается с кучкой готовых изменить ей казаков и мечется между отчаянием и надеждой, между Астраханью и Яиком, где и терпит окончательное поражение.

«Документальное повествование» Владислава Бахревского «Савва Мамонтов» («Наш современник», № 6) представляет собой компиляцию с обширными заимствованиями по части фактов, сюжетов, цитируемых документов из книги Марка Копшицера «Мамонтов» (серия «Жизнь в искусстве», 1972). Собственные авторские достижения заключаются в деланном газетном пафосе и утверждении мысли, что историю движут зависть, обиды и интриги, в цитировании «Дневника» Суворина, который настойчиво именуется Александром Семеновичем, в поисках связей Витте с масонами и международными сионистами и, возможно, в чем-то еще, столь же малозанимательном.

Иного качества и направленности — «Плач по Вениамину» Александра Нежного («Звезда», №№ 4, 5), — «как бы приложение к роману о трагедии Церкви». Это документальная повесть о мученической смерти в советском застенке митрополита Петроградского Вениамина и о расправе над его окружением, из коего внимание автора в особенности привлекает профессор Юрий Петрович Новицкий. Повесть оформлена как беллетризованные записки, авторство которых передано некоему современному исследователю Боголюбову, но надежно основывается на

неизвестных ранее документах из архивов КГБ и ЦПА, на воспоминаниях и свидетельствах родственников казненных подвижников. В повествовании есть и выходы в современность, есть живое, страстное чувство («...я забылся коротким сном — и очнулся в слезах. Плакал же оттого, что во сне в голову мне пришла мысль о крушении христианства в России. В нашем Отечестве Кесарь победил Христа»).

«Дневник военнопленного» Сергея Воропаева («Знамя», № 6) — подневные записи, которые вел в немецком плену 24-летний красноармеец, работавший в шахте и умерший от туберкулеза, не дожив полтора месяца до конца войны. Рабский труд обреченных на голодное вымирание пленных, нормы выработки, обращение надсмотрщиков, нормы питания и распорядок будних и выходных дней, туберкулезный барак, порядки, методы лечения — вся эта фактография пропущена через светлый духовный мир автора, одного из многих, ушедших безгласно, недоучившегося, но тянувшегося к знанию, к самостоятельной мысли и трезво оценившего свои шансы на выживание.

Широко представлена на журнальных страницах и проза очевидно *автобиографического, мемуарного* характера — хотя и в разном жанровом оформлении.

«Воспоминания» Елены Пуриц («Знамя», № 5) — это мозаика, составленная из кратких мемуарных новелл, портретов, картинок с натуры, анекдотов, отражающих атмосферу предвоенных лет, блокадного Ленинграда, жизни эвакуированных в Ташкенте. Среди описываемых лиц — Ахматова, Ландау, Кузмин.

«Два рассказа о войне» Григория Петушкова («Наш современник», № 5) — героико-сентиментальные воспоминания фронтовика о том, что и как бывало на войне: бомбежка на ночной переправе (рассказ «В Академию»), военно-партизанская история одной семьи (рассказ «Близнецы»).

К детским воспоминаниям обращается **Михаил Еськов** в рассказе «**Брат мой меньший**» («Наш современник», № 5) — голодное военное детство, малыш-дистрофик подружился с козленком, как с братом, а козленка зарезали.

Воспоминания о военном детстве и в рассказах **Николая Пенькова** («Наш современник», № 5): танкисты, с которыми он подружился, совершают удачную вылазку за продовольствием в погреб брошенной деревни, где им удалось также уничтожить отряд немцев-лыжников и разжиться трофейными часами (рассказ «Люби меня, как я тебя...»); немецкая актриса рассказывает автору историю о том: как ее, восьмилетнюю сироту, спас от голодной смерти русский солдат (рассказ «День третий»).

Юрий Коврижных в повести «**Черная метка**» («Север», №№ 5, 6) идет уже хоженной дорогой, мелодраматизируя популярный сюжет о любви русского солдата и немки в оккупационной зоне Германии. Более удачно и со знанием дела представлены военные эпизоды и обрисованы атмо-

сфера победы и быт победителей из танково-артиллерийского полка, расквартированного в тихом немецком городке.

В рассказе Анатолия Генатулина «Ур» («Знамя», № 5) речь идет о наручных часах в жизни рассказчика-ветерана войны. Он подробно вспоминает, как победители разживались часами в Германии, а заканчивает историей о том, как на юбилей Победы ему вручили дешевые халтурные часы, которые вскоре сломались. Выводы предлагается извлечь читателям.

«Впечатления послевоенной поры» А. Баранович-Поливановой («Знамя», № 5) воспоминания о том, чем жила молодая московская интеллигенция с литературно-художественными интересами, какие у нее были увлечения, страсти, кумиры, описана университетская атмосфера тех дней — подробно рассказано о преподавательском составе филфака, о составе студентов и отношениях однокурсников, переданы впечатления от смерти Сталина.

Юрий Пахомов в рассказе «Жорка» («Север», №№ 5, 6) вспоминает о своем покойном друге — хороший врач и надежда науки попал в цепь случайностей и совпадений, скорее мистически, чем социально окрашенных, которые преследовали его, пока в цепи не произошло короткое замыкание.

«Пасынки поздней империи» Леонида Штакельберга («Звезда», № 5) определены автором как «фрагменты ненаписанного романа». Штакельберг — шофер такси, он величает себя графоманом и оказывается общим знакомым литераторов-нонконформистов толстиковско-романовского Ленинграда 60—70-х годов. У автора в запасе много шоферских баек, анекдотов о жизни города, о нравах партначальства, об изобретательном пассажире из Купчина, наживавшемся за счет ближнего, и разных прочих материях. Однажды рассказчик не без приключений вез Анну Ахматову в Комарово. В другой раз он встретил вернувшегося из ссылки Иосифа Бродского («Болван, — стучало в башке, — сбежал — ладно, но как можно засвечиваться в центре города, где тебя знают сотни людей, и стало быть — к вечеру поймают?!»).

Воспоминания уральского писателя-фантаста Александра Чуманова «Пишу тебе...» («Урал», № 3) — «непоследовательное» повествование о тоже «непоследовательной» жизни, экскурсии в собственное прошлое, «без придыхания» или украшения этого прошлого интригующими эпизодами. Автор считает серьезность своим врагом в наименьшей мере, чем «затяжое, бесконечное, липучее вранье», и ставит своей задачей «глядеть иронически на себя, бесценного, при любом раскладе». Политех, стройбат, суконная фабрика, пожарки, кочегарки, сторожки, писательская карьера — увидены из сегодняшнего дня, который задает меру драматизма и точку отсчета. Текст сопровождается стихами, посвященными фрагментами биографии.

Виктор Санчук в цикле «Давно, в Советском Союзе» («Знамя», № 6) воспроизводит памятную для него поездку из гор Тянь-Шаня в Подмоскowie — обыденность жестокости, привычность запаха опасности

и страха («В самом начале августа»). В «Плотине» подросток испытывает смешанное чувство страха и ненависти к плотине, строящейся рядом с его селением и воспринимаемой как неумолимое вторжение чужой и враждебной силы, разрушительной для жизни вокруг и внутри человека.

«Диалогия» Игоря Клеха («Дружба народов», № 4) — это главным образом воспоминания автора о первых эротических впечатлениях детства — с отступлениями о родственниках, об эпохе. Подробности жизни изысканно изложены и эстетски просмакованы. Клех то соблазняется прошлым, то оплакивает его.

Эссеистическая писательская проза представлена великолепной публикацией «Трех эссе» Иосифа Бродского («Знамя», № 4), которыми журнал открывает свой цикл: Иосиф Бродский «Труды и дни». Они посвящены разным темам. Эссе «Как читать книгу» — разговор о сегодняшнем смысле чтения и способах ориентации в океане издаваемых книг. Ссылаясь на собственный опыт человека, относящегося к определенной категории людей (дается самохарактеристика), Бродский предлагает практические рекомендации для «развития правильного вкуса в литературе». В философском эссе «Похвала скуке» Бродский в характерной для него «нескучной» манере, сочетающей смысловую глубину с «заземленной» интонацией, описывает феномен скуки как имманентного жизни экзистенциала, фиксирующего избыточность времени. Политическое эссе «Письмо президенту» — публичное обращение к В. Гавелу, где Бродский предлагает отказаться от употребления понятий «коммунизм», «посткоммунизм» и т.п. «измов» для обозначения вчерашней и сегодняшней реальности. Это удобные ярлыки, сужающие объем совершившегося человеческого зла, отстраняющие, представляющие его навязанным извне. Это был «чрезвычайный антропологический оползень», «он увлек массы, действующие в собственных интересах и в процессе этого снижающие свой общий знаменатель до нравственного минимума». «Не следует использовать терминологию, которая затемняет реальность человеческого зла — терминологию, я должен добавить, изобретенную злом, чтобы затемнить его собственную реальность. Также не следует называть его кошмаром, поскольку это человеческое падение произошло не во сне...», «пора... соскоблить термин «коммунизм» с человеческой реальности Восточной Европы, дабы можно было признать в этой реальности то, чем она была и остается, — зеркало... отражение нас самих».

2. Литературная критика

Журнальная и газетная критика второй четверти 1996 года по-прежнему щедро представлена статьями, обращенными к анализу, обсуждению и оценке сегодняшней литературной ситуации в целом — в ее основных тенденциях, проблемных и тематических проявлениях. Назовем наиболее показательные публикации.

Карен Степанян в статье «Реализм как преодоление одиночества» («Знамя», № 5) утверждает, что приходит время нового реализма в литературе. В произведениях, относящихся к этому направлению, художественный мир ориентирован на реальность существования высших духовных сил, Царствия Небесного. Это главный и, в сущности, единственный определяющий признак нового реализма, той духовной и художественной тенденции, которая, по Степаняну, в ближайшее время станет главной в отечественной литературе. В постмодерном контексте реалистическая традиция постоянно подвергается осуждению за дидактизм. Степанян полагает, что в новом реализме учительность вовсе не является отличительной чертой. Эти общие соображения критик пытается соотнести с конкретными разборами новой прозы А. Варламова, Г. Петрова, Г. Щербаковой, А. Славовского, А. Солженицына, Б. Екимова и других.

По-своему к теме «нового реализма» обращается **Валентин Курбатов** в статье «Уходящие вперед» («Москва», № 5). Для него «новые реалисты» — это те из активно печатающихся прозаиков, которые «уважительно и угрожающе» повествуют о киллерах, рэкетирах, крутых мафиози, «от которых не спастись» и которые легко одолевают своих «положительных» противников. Среди «новых реалистов», которые заняты «реалистической рекламой зла именно реализмом сочинений», критик называет Е. Попова, Ю. Буйду, Вик. Ерофеева, А. Славовского, М. Ворфоломеева, А. Афанасьева, А. Бородыню, А. Терехова, В. Сорокина. Критик отделяет от них «уходящих вперед», называя их «старомодными реалистами», А. Варламова (повесть «Лох») и А. Дмитриева (повесть «Поворот реки»), видя их отличие в том, что они сумели «вглядеться в настоящую глубину забот своего как-то пропущенного жизнью поколения», видя в них тех, «кто слышит дальше времени и остается сыном родной земли и родной мысли. Они в своем беспокойстве и усталости все слышат зов никуда не девшейся и все не сбывшейся, но вечно сбывающейся России». Среди писателей, внушающих критику надежду, что они тоже «уходят вперед», названы Н. Шипилов, Н. Коняев, В. Курносенко, Т. Набатникова, О. Павлов, В. Былинский.

Евгений Ермолин в статье «Собеседники хаоса» («Новый мир», № 6) вступает в конструктивную и уважительную полемику с авторами теории «хаосмоса» и концепции «постреализма» Н. Лейдерманом и М. Липовецким. В изложении Ермолина «постреалисты», для которых хаос — единственная и неотменимая данность мира, окончательно упразднившая прежние иллюзии мировой гармонии, полагают, что на смену постмодернистской установке на игры с хаосом идет литература «более сознательного и ответственного поведения». «Постреалисты» создают среди хаоса «усилия личной воли» свой космос, свой гармонизированный мир: «Если готового смысла в мире нет, нужно его построить своими руками». Соглашаясь с тем, что «постреализм» — убедительная альтернатива постмодернизму, Ермолин не согласен с тем, что она единственная. Оспаривая исходную посылку «постреалистов», что мир объят хаосом («И кто,

скажите, это доказал? Я хочу видеть этого человека»), деликатно предполагая, что «панхаотизм — только психическая aberrация, самообман художественного сознания, подавшегося модным настроениям богемной среды», критик противопоставляет вере в хаос свою веру в Абсолют и «конечную целесообразность сущего»: «Даже если в бытии есть для человека всего только одна точка подлинности, построение, основанное на вере в тотальность хаоса, рушится. Гвалт и хаос кончаются там, где начинается вечность». Несмотря на принципиальное расхождение с исходными установками «постреализма», Ермолин отмечает его важную черту — «решимость Н. Лейдермана и М. Липовецкого ввести современную литературу в круг экзистенциальных проблем». Здесь кончаются разговоры о пресловутом «эстетическом абсолюте» — «и начинается рассуждение по существу: о проблеме человека, о смысле творчества и миссии художника».

Наталья Иванова в статье «После. Постсоветская литература в поисках новой интеллигенции» («Знамя», № 4) размышляет о кризисе старой идентичности, который вызвало крушение советской империи, и индивидуальных путях преодоления этого кризиса тремя писателями — Ч. Айтматовым, Ф. Искандером и А. Кимом. Называя их для удобства оперирования «имперскими писателями» («не те, что выражали сам дух империи, а, напротив, те, кто работал на стыке сопротивления и подчинения: сопротивления имперской идеологии, подчинения русскому языку») и фиксируя, что каждый из них пережил кризис «сразу нескольких идентичностей» — экзистенциальной, статусной, идеологической, этнической, религиозной, — критик, анализируя последние публикации этих писателей, подводит промежуточные итоги поиска ими новой идентичности. Искандер (рассказы «Пшада», «Чик читит обычаи», повесть «Софичка») ищет свою опору в «возврате к чегемскому миру» и одновременно в «пушкинском доме». Айтматов («Тавро Кассандры») не возвратился в национальный космос, а вышел на «космополитический» путь, ища точку опоры в космическом пространстве. Ким («Онлирия»), пройдя через неудачную попытку идентификации с корейской прародиной и поиски «жизни после смерти», пришел тоже к «космополитическому» итогу, но этот итог не идеологический (как у Айтматова), а экзистенциальный («писатель вернулся из корейского мира в русский не просто гражданином мира, но и с желанием работать внутри русской культуры»).

Александр Агеев в статье «Бъсь борьбы» («Знамя», № 6) пишет о том, как в постсоветское время сложились отношения литературы с «чаемой широкими писательскими массами» свободой — от идеологии, от политики. И приходит к неутешительным выводам. Идеологическая борьба в литературе продолжается и даже обостряется. Литература, получив всю полноту свободы, свободной быть не желает. Литераторы по-прежнему хотят бороться — за что-то, с кем-то или с чем-то. Литературная или эстетическая по видимости борьба — на самом деле «самая что ни на есть идеологическая. Не реализм борется с постмодернизмом, не верлибр

с регулярным стихом, борются, по меньшей мере, разные точки зрения на то, «как нам обустроить Россию». Если еще недавно «этой глубокой, нутряной идеологизированности и политизированности принято было как бы стесняться», то теперь «и стесняться стало незачем». В качестве примера такой нестеснительности критик предлагает литературный альманах «Реалист» (главный редактор Ю. Поляков), где литературно-теоретические и эстетические понятия используются как пустые формы, наполняемые откровенно идеологическим содержанием: «Этакий момент сбрасывания всех и всяческих масок: и раньше-то было не до эстетики, а теперь и вовсе — какие уж там «течения» и «направления», когда Россия гибнет».

Татьяна Неретина в статье «Из страха исчезнуть бесследно» («Москва», № 5), фиксируя сегодняшний «упадок литературы, которая, как в зеркале, отразила все перипетии процесса самообожествления, выхолащивания религиозных основ сознания», иллюстрирует это утверждение на примере стихов И. Бродского («ироничное... но бессильное в преодолении пустоты, замкнутое на самое себя сознание»), романа Л. Петрушевской «Маленькая волшебница» («беспринципность в выборе форм и средств самоутверждения, которое в данном случае выглядит и цинично, и кощунственно»), особо останавливаясь на романе Л. Бородыни «Цепной щенок». Для критика этот роман симптоматичен в разных отношениях, будучи воспринят «как некий манифест новой литературы». Во-первых, он «откровенно полемичен относительно духовного наследия русской литературы». Бородыня — «мастер художественной фотографии», для которого «художественная законченность всей композиции куда важнее отсутствующей в романе оценки нравственной». Воображением автора, конструирующего свой роман по принципу видеоклипа, владеет «дурная эстетика сегодняшнего телеэкрана с мельканием красивых женщин попеременно с кадрами кинохроники военных репортажей, сцен насилия с «красивостями» рекламы». Роман Бородыни для критика — показательный «факт надвигающейся новой культуры», которая «нацелена не на разрешение «вечных проблем бытия», она не продвигает традицию, но потребительски использует все накопленное в ней».

Ряд статей посвящен проблемам *сегодняшнего бытия* т.н. «толстых журналов».

Так, **М. Ремизова** в статье «Жизнь взаимы» («Лепта», 1996, № 30) настаивает, что толстые журналы, заявив об определенной концепции в теории, не в состоянии подтвердить ее достойной внимания художественной практикой. Среди «новичков» по-настоящему интересны лишь журнал поэзии «Арион» и НЛО — издание литературоведческое, а не художественное. Поэтому «старички» («Знамя», «Новый мир», «Звезда» и др.) сохраняют первенство. Но и эти журналы живут «в кредит». Страхась утратить респектабельность, публикует в ряду «нового» скучное, лишенное дерзости, журнал «Знамя». Компенсирует реализм серыми в художественном отношении, уныло-бытописательными текстами «Новый мир».

Однако прогноз критика оптимистичен: реализм неисчерпаем, кризисный момент в жизни литературы минует, и с расцветом литературы вернется жизнь в журналы.

Та же общая тема, но применительно конкретно к «Новому миру», к его судьбе на переломе от советского к постсоветскому времени, к его месту в контексте современных культурных традиций и динамики, привлекает и **В. Кардина** в статье «**Орден интеллигенции**» («Независимая газета», 3 апреля 1966). Автор противопоставляет «старый» и «новый» «Новый мир». «Для моего, уже почти ушедшего поколения, — пишет он, — «Новый мир» Александра Твардовского был в какой-то мере точкой опоры», был эталоном литературного качества. А теперь журнал утратил высоту и четкость критериев, не стимулирует литературный процесс, плывет по течению. Более всего озадачивает В. Кардина стремление журнала к утверждению христианских ценностей, каковые он, судя по всему, считает несовместимыми с либерализмом. Критик огорчен тем, что в полемике Твардовского с Солженицыным журнал сейчас встал на сторону последнего, и усматривает в очерченной тенденции росток какого-то неототалитаризма. Признаки отказа от «наследства Твардовского» Кардин ищет в статьях Р. Гальцевой и И. Есаулова, подозревая журнал в нелюбви к интеллигенции и намекая на близость новомирского патриотизма к «патриотизму Шафаревича».

Оппонирует Кардину **Олег Мраморнов** в статье «**Старый и новый «Новый мир»**» («Независимая газета», 27 апреля 1966). Не согласившись со многими конкретными обвинениями В. Кардина, Мраморнов принимает ту его мысль, что журнал ныне пытается опираться на христианские ценности. Он полагает, что «в статье В. Кардина отчетливо проявилась застарелая интеллигентская боязнь христианства. «Новый мир» — журнал не конфессиональный и не церковный, а вполне светский, и ежели он трактует нечто о «христианских ценностях», то трактует о них как о фундаментальных культурообразующих формотворческих основаниях бытия, а вовсе не призывает всех без исключения в церковную ограду. К чему тут можно придаться?» Журнал, по Мраморнову, пытается «осуществить либерально-консервативный синтез, привлекая авторов как классически-либерального, так и традиционно-почвеннического направлений». Христианство в «Новом мире» не сводится к «национальной самоидентификации и к созданию церкви вокруг домашнего очага, чем занимаются другие толстые журналы, например, «Наш современник», «Москва». Здесь речь заходит о «глубинных основаниях индивидуального и общественного сознания», об осмыслении «христианских основ европейской демократии».

Из статей, обращенных к более локальным темам сегодняшней литературы, к творчеству отдельных ее представителей, отметим следующие выступления:

Павел Басинский в статье «**Мужики и бары. Старая тема и новая литература**» («Новый мир», № 4) постулирует извечность культурного

разрыва и его осмысления в литературе и в жизни XIX—XX веков. Мужик постоянно являл проблему для литературы. Но ныне деревенский мир пошел в небытие, отходит в сказочное измерение. Проблемная драматичность сменяется простым любопытством или даже равнодушием. Однако тема не уходит. Ее особый ракурс — советские баре, о которых повествуют Ю. Трифонов и Л. Бородин.

Татьяна Касаткина в статье «**Но страшно мне: изменишь облик ты...**» («Новый мир», № 4) рассуждает о мужской и женской прозе, о произведениях «самого мужественного мужчины» В. Маканина («Кавказский пленный»), «самой решительной женщины» Л. Петрушевской и соавторов («очевидно, весьма гармоничной парь») Н. Горлановой и В. Букура («Роман воспитания»). Маканин, согласно Касаткиной, написал рассказ об уходящей из мира красоте, которая напоминает о себе прекрасным пленным юношей. Горланова и Букур рассказали о попытке овладеть красотой, спасти девочку из подворотни и выпестовать ее талант художника, — но попытка оказалась неудачной. Особое видение у Петрушевской — «со стороны женщины». Мужчина в ее прозе — ребенок. Женщина же даже в самых унижительных обстоятельствах не предстает маленькой, забитой и униженной. Она — целый мир, к которому мужчина относится как часть к целому.

Е. Тихомирова в статье «**Звук слова я укрощаю эти стихи...**» («Октябрь», № 4) пишет о замороженности смертью в современной культуре, о мистическом повороте этой темы, мотиве упряя, в прозе «непостижимой Садур, ледяного Мамлеева, сильнодействующего Милославского» — и находит, что слово здесь «обнаруживает в себе магические свойства». Лишь бы не к ночи.

Нобелевский лауреат 1995 года **Шеймас Хини** в эссе «**Певец историй: о Джозефе Бродском**» («Сегодня», 24 мая 1996; перевод А. Наймана) размышляет о роли Бродского «на новой родине». В нем видели «представительствующего поэта, пророчески звучащего — сколько бы он ни протестовал против такого понимания». Поэт был склонен к дидактическому руководству вкусами и нравами в качестве преподавателя и пропагандиста «традиционных форм». Неслучайно в 1991 году он предложил печатать стихи миллионными тиражами, видя в поэзии «единственно доступную страховку от вульгарности человеческого сердца». В Бродском была «смесь безоглядного вызова и страстной веры», он горел «пламенем огнемета, со свистом и дальнобойностью, гибким и непредсказуемым, одновременно пышным и угрожающим. К примеру, когда он употреблял слово «тиран», я всегда был рад, что это говорится не обо мне».

Резкую отповедь **Андрея Немзера** вызвала публицистика Льва Аннинского на литературно-общественные темы в «Курантах» и «Дружбе народов» («Сегодня», 22 мая 1996). Это несколько сумбурный отклик на весьма бессвязные обвинения Аннинского в адрес Солженицына: «Писатель окончательно превратился в пустышку, — утверждает Немзер, имея

в виду Аннинского, — внешний повод для настойчивой агитации за коммунистов вообще и «социал-демократов» (роняется походя, какие тут нужны доказательства?), тов. Зюганова Г.А. в частности. Эхоносец Аннинский работает классно. Наизнанку вывернуто беспроегрышное Паскалево «пари на Бога» — превращено в «пари на коммунистов». Если победят большевики, то, может, и зачтутся lamentации о «слове «коммунизм», которое стало духовным символом, определило жизнь и смерть (последнее верно на сто процентов. — А.Н.) нескольких поколений». Если же президентом останется Ельцин, то кому какое дело, что писал свободный мыслитель в демократическом журнале». «И не беда, что сказать по существу публицисту нечего, что квазиаргументы повторяются из номера в номер, что опять все равно, вокруг какого «слова» объединяться, а «Маркс» равен не только «Михаилу Архангелу» (имеется в виду черносотенный союз), но и Христу».

Критически отозвался о рассуждениях Аннинского и Александр Архангельский («Новый мир», № 5), брезгливо отвергнув духовный релятивизм, которым щеголяет обозреватель «Дружбы народов». Он обвиняет Аннинского в «сознательном умалении несомасштабного оппонента», в намеренном «оглушении» Солженицына. Сделано это, по мысли Архангельского, для решения двух «сверхзадач». Первая — «чем более наивным предстает в статье «Руки Творца» вермонтский моралист, тем более практичным оказывается московский реалист; чем абстрактнее «математические» схемы первого, не учитывающие кривизну жизненного пространства, тем оправданнее податливость и гибкость второго». Вторая «сверхзадача» — «заново обосновать старую философию безвольной изворотливости, к которой Аннинский охотно прибегал в 70-е годы».

Главному редактору журнала «Континент»
И.И. Виноградову

Уважаемый Игорь Иванович!

Быть может, эта бесприютная заметка о сегодняшних явлениях в прессе найдет приют в Вашем журнале, не безразличном к симптомам текущего времени. В ней к тому же затрагивается и обсуждаемая в номере новейшая идеология, пришедшая на смену марксизму.

Рената Гальцева

От редакции

Познакомившись с «Горестными заметами» Ренаты Александровны Гальцевой, мы нашли, что они и в самом деле находятся в весьма выразительной переключке с ее статьей «Второе крушение гуманизма», печатаемой в этом номере. Но мы публикуем их еще и потому, конечно, что ни одна газета и ни один журнал, если только они действительно претендуют соответствовать демократическим нормам печати, не вправе отказывать таким авторам, как Р.А. Гальцева, в помещении на их страницах текстов, подобных ее «Горестным заметам». Даже если сюжеты, изложенные в них, непосредственно их не касаются. К ним обратились — этого достаточно, чтобы предоставить автору возможность высказать печатно свои претензии к нашей «четвертой власти». Тем более — когда они затрагивают достаточно принципиальные моменты установившейся у нас сегодня практики.

Рената ГАЛЬЦЕВА

СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ, ИЛИ НОВАЯ ЦЕНЗУРА

Горестные заметы

Нет, речь пойдет не о мудрости библейского царя, а о приемах нынешнего руководства. Стилистика его решений в области печатного слова своеобразно оттеняется на фоне как священной истории, так и практики недавнего нашего прошлого.

Каков же этот стиль?

Сегодня, в отличие от вчера, вас, автора, не будут править, в ваш текст не будут внедряться с идеологическими претензиями, но предпримут такую систему мер, что «последняя будет не лучше первого».

Положим, вашу статью взяли в «Литературную газету». Вы думаете: все в порядке, ваше мнение будет услышано, ваш голос будет внят читателю¹. Не тут-то было. Вас включают в качестве фрагмента в калейдоскоп столь разномастных текстов и окружают таким частоколом редакторских «сопроводилок» и методик по чтению, что у читателя зарядит в глазах, закружится голова, и он вряд ли через этот частокол переберется. Да и зачем перебираться, когда редактор-гид убеждает, что дело это — вникать в смысл и разбираться, где истина — ненужное.

А выглядит это так. Сверху, у изголовья текста размещается «крепкий врез», где вам объясняют, что людям свойственно волноваться по «нематериальным» поводам (так и сказано, — см. ЛГ от 31.01.96, с. 11), и редакция, откликаясь на эту возвышенную слабость, открывает для нее свои страницы. Внизу, из полы вашего столбца делается, наоборот, вырез, отхватывается клин, на котором в виде заплаты, — так, что без нее текст не может быть самостоятельно воспринят, — помещается еще одно сообщение от редакции, где она снова заверяет всех в своем идейном нейтралитете и стремится внушить его читателю. Вниманию последнего задается импульс: «мимо, мимо», — чтобы он, «паче чаяния», не особенно задумывался над вашими доводами, не останавливался на них. Мы, мол-де, публикуем «это» — про несовместимость христианства с антропософией, но не пропустите и «то», чуть ниже, про дианетику Хаббарда и сайентологическую церковь (она тоже предлагает спасение). Почувствуйте себя свободным... от выбора.

Но какая по сути разница вам, автору, испортят ли ваш текст, вторгаясь в него изнутри (чему, как правило, еще можно бы воспрепятствовать) или обезвреживая его через создание нейтрализующей среды и обесмысливающей чересполосицы (сюрприз, которому вы воспрепятствовать уже не можете — ибо не вправе)?

При этом результат достигается тихо-мирно. Всесмесительный коллаж составляется в тиши кабинета зам. главреда, в данном случае Ю.Б. Соломонова, без битв с автором, надрывов и скандалов, которые сопровождали процесс редакционного цензурирования при прежнем режиме, принимавшем писаное слово всерьез (по-своему не менее серьезно, чем древний царь Соломон).

В отличие от соломонова решения, направленного на выяснение истины, решение Соломонова устремлено к тому, чтобы ее затушевать. Да, да, как ни парадоксально это звучит применительно к цензуре, суть

¹ Так я думала при публикации моего ответа («Антропософией мобилизованный и призванный», ЛГ, 1996, № 5) на статью многостепенного лауреата штгейнерианца К. Свасьяна («Современный богослов с большевистскими манерами», ЛГ, 1996, №№ 1–2), оскорбительную по адресу замечательного энциклопедиста и интеллектуального таланта, коллеги по «Философской энциклопедии» ныне покойного Дмитрия Николаевича Ляликова, — статью, возмутительную бранной стилистикой вообще.

цензурной позиции в этом и заключается: редакция сама ничего не считает и другим не рекомендует это делать.

Конечно, параллельно с подобной (назовем ее постмодернистской) цензурой мы можем наблюдать и, увы, снова наблюдаем сегодня и опасные рецидивы надзора старого типа, неприкрыто выражающего требования высшей власти работать на нее. Но меня заинтересовали новые метаморфозы того же надзора, — пусть не имеющие такого громового политического резонанса (как смена руководства РГТРК, например), но весьма ощутимые в повседневной жизни, — обретающие по большей части потаенные формы и выступающие под видом интеллектуально-издательской деятельности. В последнее время расцвела добровольная специализация на цензуре как на методе присоединения к налаженному производству (я говорю уже не об авторстве). Вы, наверное, тоже знакомы с этим по собственному опыту. Если работа у вас идет неплохо, пользуется благосклонностью читателей, но «дело» при этом находится не в ваших руках, то ждите притока компаньонов, желающих поучаствовать и, так сказать, разделить ответственность. И вот тогда вам грозит, что это участие превратится в чисто цензурную активность, которая будет «проблематизировать» ваши рабочие шаги, ставя под сомнение либо репутации привлекаемых авторов, либо темы, либо их исполнение, либо все это вместе. К кругу ваших трудовых забот прибавится еще и розыскная служба по реабилитации всех авторских лиц и собственных замыслов, по сбору оправдательных документов. Вы станете кем-то вроде вечного диссертанта-соискателя, сборщика отзывов. Вы почувствуете себя как персонаж из фельетона М. Кольцова — человек, с мешком на спине, взбирающийся по лестнице и останавливаемый многоречивым вопрошателем; мешок рвется, движение стопорится. Впрочем, я фантазирую... Мешок, конечно же, вы дотянете...

Post scriptum

История с этой заметкой только подтверждает грустную истину, высказанную автором в статье «Новое начальство» (см. журнал «Новая Европа», № 7) о групповой солидарности газетчиков: говорить о своих братьях по цеху, как о мертвых — «или хорошо, или ничего». (Там речь шла об использовании служебного положения при новом, свободном от идеологической подотчетности государству порядке вещей. Материалом служила история двух публикаций, одной из них вовсе несостоявшейся, которая демонстрировала самоуправство членов редколлегии и вообще редакционных сотрудников, занятых охраной и упрочением своего имиджа за счет попрания чужих прав.)

Воспроизведенный выше крохотный текст заметки «Соломоново решение, или Новая цензура» обошел центральные газеты — «Сегодня», «Независимую», «Общую» — и получил отказ в кабинетах руководства. При этом сотрудники редакций-отказниц, возвращая заметку, настойчиво

рекомендовали «обязательно опубликовать ее», «она очень нужна!» (наверное, в «Herald Tribune»?)

Между тем, солидарность газетных органов между собой, — которая на самом деле есть страх получить в ответ неприятную пилюлю, — не такое уж частное дело самих газетчиков, поскольку она не ограничивается добровольным наложением епитимьи на выражение собственного мнения, а распространяется на мнения и не-газетчиков, то есть всех остальных людей. Так, на местах — самых свободолобивых! — отменяется единственное неоспоримое приобретение наших дней — свобода слова.

Интересно, кто-нибудь решится все-таки переступить через немой запрет тоталитарного режима, установленного на газетном поле?..

Май 1996

Post post scriptum

С тех пор заметка побывала и в редакции русской газеты международного хождения; руководительница издания дважды подтверждала, что «хотела бы» ее напечатать. Но поскольку текст не появляется, остается, видимо, искать разгадку моратория на него (а заодно и — сослагательного наклонения ответа главного редактора) в таком часто поминаемом нынче явлении, как «окружение» («окружение Президента», «ближайшее окружение монарха»).

Июль 1996

Художник *В. Лаврентьева*
Компьютерный набор и верстка *М. Егоровой*

ЛР № 0101184

Подписано в печать 23.09.96. Формат 84x108/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 21,84. Тираж 8000 экз. Заказ № 197

Адрес издательства «Московский рабочий»
и редакции журнала «Континент»:
101923, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8
Тел. редакции: (095) 928-97-42

Отпечатано в Московской типографии № 13 Комитета РФ по печати.
107005, Москва, Денисовский пер., 30

CONTINENT

THE TRANSREGIONAL PUBLIC BANK Corp

МЫ ОБЕЩАЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО МОЖЕМ ВЫПОЛНИТЬ!

АО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК «КОНТИНЕНТ»

Регистрационный №11

Основан 11 октября 1988 года

ГЛАВНАЯ КОНТОРА:

Россия, 423830, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, д. 14

ПРЕЗИДЕНТ: ОНУШКО ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ

Уставный капитал: 5,0 млрд. рублей

Акционерный капитал: более 30,0 млрд. рублей

ФИЛИАЛЫ:

- Филиал №1 — г. Казань, Татария, ул. Чистопольская, д. 3
тел.: (8432) 43-99-94
- Филиал №2 — г. Елабуга, Татария, ул. Марджани, д. 2
тел.: (84357) 3-69-89
- Филиал №3 — г. Сафоново Смоленской обл., ул. Советская, д. 5
тел.: (08142) 4-44-44
- Филиал №4 — г. Набережные Челны, Татария, ул. Пушкина, д. 14
тел.: (8552) 52-05-66
- Филиал №5 — г. Владимир, ул. Луначарского, д. 14
тел.: (09222) 3-23-54
- Филиал №6 — г. Лакинск Собинского р-на Владимирской обл.,
ул. Мира, д. 41
тел.: (242) 4-21-02
- Филиал №7 — г. Менделеевск, Татария, ул. Пионерская, д. 7
тел.: (249) 3-18-56
- Филиал №8 — г. Калининград (обл.), Литовский вал, д. 38/10
тел.: (0112) 46-62-30
- Филиал №9 — г. Москва, Милютинский пер., д. 18а
тел.: (095) 924-15-06

CONTINENT

THE TRANSREGIONAL PUBLIC BANK Corp

МЫ ОБЕЩАЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО МОЖЕМ ВЫПОЛНИТЬ!

**АО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК
«КОНТИНЕНТ»**

НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИМ, НО И УМНОЖИМ:

Расчеты в любую точку ближнего и дальнего зарубежья

Широкая гамма валютных операций

Отработанная система вексельного обращения

Надежные и высокодоходные вкладные операции

Вторичный рынок акций «КамАЗа», «Татнефти»,
«Алданслюды», других крупных акционерных обществ
России и Поволжья, собственных акций 5-ти выпусков

Доверительное управление капиталом и вкладами

Инвестиционная поддержка высокорентабельных
и быстрокупаемых проектов

Любые сложные многоступенчатые операции по заявке
Клиента

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК
«КОНТИНЕНТ»**

**ФИНАНСИРУЕТ В 1996 ГОДУ
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ «КОНТИНЕНТ»
ДЛЯ ДЕСЯТИ БИБЛИОТЕК ТАТАРИИ**

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «КОНТИНЕНТА»! СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

*В маленьком прикамском городке Елабуге покоится прах
талантливейшего поэта XX столетия –
Марины Ивановны Цветаевой.*

*31 августа 1996 года исполнилось 55 лет со дня ее
трагической гибели.*

*В 1992 году на спонсорские средства был создан
Благотворительный фонд М. Цветаевой, при фонде
работает Литературный музей.*

*Просим всех, кому дорога память замечательной русской
поэтессы принять посильное участие в увековечении
ее светлой памяти, оказать содействие в реконструкции
здания музея, в укреплении его материальной базы,
в комплектовании библиотеки и в создании
документального фильма
«Марина Цветаева. Последние годы жизни».*

**Литературный музей имени Марины Цветаевой
423630, г. Елабуга, ул. Казанская, 61**

**ВЗНОСЫ ДЛЯ ФОНДА М. ЦВЕТАЕВОЙ
ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ:**

ПО МОСКВЕ:

**АО МНБ «Континент», кор/счет 1168500
в АБ «Инкомбанк», код 5С**

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:

**АО МНБ «Континент», кор/счет 502161000/1168500
в АБ «Инкомбанк» в РКЦ ГУ ЦБ РФ г. Москва МФО 201791**

ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ В ВАЛЮТЕ:

**АО МНБ «Континент», кор/счет 100081159/001
в АБ «Инкомбанк»**



ВЫ ЕЩЕ НЕ КУПИЛИ АВТОМОБИЛЬ?
Продажа в рассрочку:
АО "Автоплан"

тел. 276-87-80



"МОСКВИЧ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Оптовая продажа

тел. 276-83-08

276-82-32

факс 179-49-81

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ * ОПТОВАЯ ПРОДАЖА